

Семь искусств 12/2015



Журнал

Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

12/2015

Журнал

**«Семь искусств»
№ 12 (69) 2015**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2015

Журнал «Семь искусств» № 12 (69)/2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 374 с., 19,8 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2015

Оглавление

<i>Евгений Беркович</i> Томас Манн глазами математика	5
<i>Михаил Натензон</i> Как я организовал землетрясение в Токио	26
<i>Михаил Голубовский</i> Причуды концептуальной истории генетики	39
<i>Эдуард Бормашенко</i> Лишь только записав результаты...	67
<i>Анатолий Вершик</i> Несколько мыслей об Арнольде. Приложение: Поломатема	78
<i>Сергей Носов</i> Галлюцинация как «формула литературы»	82
<i>Анна Урысон</i> Неизвестная страница жизни архимандрита Алипия (Воронова). Рассказ духовной дочери о. Алипия Марии (Майи Петровны Бессарабской)	88
<i>Азарий Мессерер</i> Книги на войне и Стэнли Плезент	97
<i>Ольга Генкина</i> Приближение к бесконечному	102
<i>Леонид Гиришович</i> Малеровская годовщина. Субъективные заметки	110
<i>Сергей Колмановский</i> Пока я помню...	118
<i>Яков Фрейдин</i> Судьба музыканта	138
<i>Инна Шейхатович</i> Гетто — это маленькая жизнь	150
<i>Дмитрий Бобышев</i> Я здесь (человкотекст). Трилогия. Книга вторая. Автопортрет в лицах	158
<i>Катя Компанеец</i> Работа над «Гамлетом» Тарковского	194
<i>Анатолий Добрович</i> Ты небу поддан (из недавних стихов)	202
<i>Полина Барскова</i> Сказка странствий	208

<i>Вероника Капустина</i>	
«Да она влюблена в тебя, и мучает потому!..»	214
<i>Вячеслав Вербин</i>	
Полшага в тень	221
<i>Филипп Исаак Берман</i>	
Сарра и Петушок	241
<i>Илья Криштул</i>	
Миниатюры	270
<i>Александр Матлин</i>	
В мире четырёх Наташ	278
<i>Анна Агнич</i>	
Мессендорф	283
<i>Владимир Матлин</i>	
Ларион-Ларик	301
<i>Александр Бириштейн</i>	
Плата за все. Рассказы	310
<i>Лиза Грунбергер</i>	
«Рожденная со званием». Предисловие и перевод Яна Пробиштейна	321
<i>Ромен Гари</i>	
Стена. Рождественский рассказ. Перевод Эдуарда Шехтмана	326
<i>Алексей Курилко</i>	
Путешествие в страну взрослых (о книгах Марианны Гончаровой)	329
<i>Игорь Ефимов</i>	
Закат Америки. Саркома благих намерений	361

Евгений Беркович

ТОМАС МАНН

ГЛАЗАМИ МАТЕМАТИКА

(окончание. Начало в № 7/2015)

«Атлеты бестактности»

Мы видели, что писатель проявил осмотрительность и осторожность, прочитав предварительно новеллу родственникам жены и заручившись их согласием на публикацию. Поэтому обвинять его в том, что он вообще не обращает внимания на чувства людей, являвшихся прототипами его героев, как это делает биограф Манна Клаус Харппрехт, называя Томаса и его брата Генриха *«атлетами бестактности»*^[1], не совсем справедливо.

Однако в новелле слишком много скрытых и явных указаний автора на то, что действие происходит в доме по улице Арси, 12, чтобы оставить это без внимания. Правда, хозяин виллы в Тиргартене коллекционирует не майолику, не картины и не серебряные и золотые изделия, как Альфред Прингсхайм. Господин Ааренхольд собирает всего лишь антикварные книги: *«Он постоянно приобретал литературные древности, первоиздания на всех языках — бесценное, подгнившее старье»* (Кровь Вельзунгов, 491).



Иллюстрация к "Крови Вельзунгов" художника Т.Т. Гейне

Зато в тексте есть тонкие намеки на то, какие именно сокровища хранились в шкафах и витринах, расставленных вдоль стен роскошной столовой в доме Прингсхайма. Речь идет об именах героев новеллы — хозяина дома Ааренхольда и жениха его дочери чиновника фон Бекерата. Скорее всего, эти имена Томас Манн услышал впервые во время разговоров именно в этой столовой, причем из уст самого Альфреда Прингсхайма. Дело в том, что крупный берлинский текстильный промышленник Адольф фон Бекерат (Adolf von Beckerath, 1834-1915), родом из Крефельда, считался в Германии основным конкурентом Альфреда Прингсхайма по части коллекционирования средневековой итальянской майолики. Когда его коллекция распродалась с аукционов в 1913 и 1916 годах, то некоторые образцы были куплены Прингсхаймом, а часть других попала в берлинский музей декоративно-прикладного искусства. Фон Бекерат был одним из немногих немцев среди крупных берлинских коллекционеров искусства, большинство из которых имели еврейское происхождение. Возможно, именно поэтому Томас Манн выбрал это имя для жениха Зиглинды, так как сокровенным желанием Ааренхольдов было войти в высшее немецкое общество.



Предметы из коллекции майолики Альфреда Прингсхайма

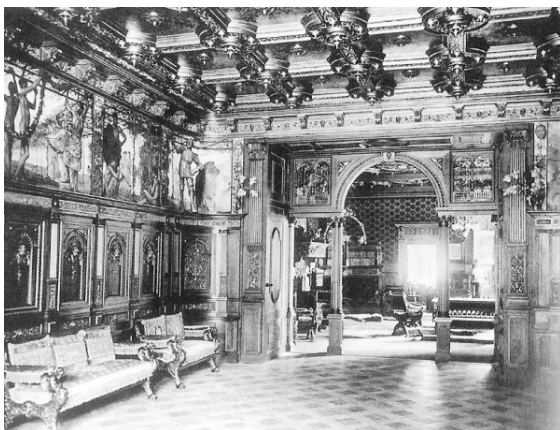
Фон Бекерат из новеллы Томаса Манна *«был чиновник из знатной семьи — бородка клинышком, маленький, канареечного цвета и ревностной учтивости»* (Кровь Вельсунгов, 493). В смысле учтивости его прототип был прямой противоположностью. Если верить воспоминаниям известного историка искусств и музейного деятеля Вильгельма фон Боде (Wilhelm von Bode, 1845-1929), реальный Бекерат отличался *«дурными манерами и озорством неумного холостяка, что было подчас непереносимо»*^[2].

Фамилия Ааренхольд тоже напоминает об известном предпринимателе, меценате и коллекционере Эдуарде Арнхольде (Eduard Arnhold, 1849-1925). Свое состояние он, как и отец Альфреда, Рудольф Прингсхайм, сделал на торговле каменным углем, добываемом в Силезии. Он был единственным евреем, назначенным кайзером членом верхней палаты прусского парламента (Herrenhaus). Он, как Альфред Прингсхайм и Адольф фон Бекерат, коллекционировал майолику и произведения живописи.

Господин Ааренхольд из новеллы Томаса Манна тоже разбогател на угольном бизнесе:

«Родившись в дальнем местечке у восточных границ и взяв в жены дочь состоятельного торговца, господин Ааренхольд, смелый и умный предприниматель, посредством великодушных махинаций, имевших предметом горное дело — развитие угольного месторождения, — направил в свою кассу мощный и неиссякаемый поток золота...» (Кровь Вельсунгов, 496).

И Альфред, и Рудольф Прингсхаймы родились «в дальнем местечке у восточных границ» - в Силезии, на границе с Польшей, Альфред — в городке Олау (Ohlau) в 1850 году, его отец Рудольф — в местечке Эльс (Oels) в 1821 году.



Музыкальный салон и библиотека в доме Прингсхаймов

Внутреннее убранство и оборудование дома Ааренхольда в деталях совпадает с описанием виллы Альфреда Прингсхайма в Мюнхене. Это здание не сохранилось, нацисты, придя к власти, заставили Альфреда продать дом, чтобы немедленно его снести и на этом месте построить Управление национал-социалистической партии (Verwaltungsbau). Но сохранились планы постройки, фотографии, воспоминания современников. По этим материалам по заказу Баварской академии наук историк Ханно-Вальтер Круфт реконструировал внешний и внутренний вид виллы на улице

Арси, 12^[3]. Вот что он говорил в докладе на заседании философско-исторического отделения академии 30 октября 1992 года:

«Все представительские и жилые помещения лежат на первом этаже. На обустройство дома не жалели средств. Поднимаясь по лестнице в сводчатый холл, попадаешь в двухэтажную «прихожую», из которой одна лестница вела на второй этаж. Самым большим и роскошным помещением был музыкальный зал, соединенный через венецианскую арку с библиотекой... Небольшой кабинет хозяина дома располагался за библиотекой и выходил окнами в сад. Отсюда еще одна лестница вела на второй этаж в спальни. Столовая находилась на другой стороне от прихожей и площадью около 65 квадратных метров была сравнима с музыкальным залом. Как видно на фотографиях, потолок и стены отделаны деревянными панелями. В библиотеке и в столовой выставлены для просмотра части прингсхаймовских коллекций»^[4].

Похожий вид имела внутренность виллы Ааренхольда в новелле Томаса Манна. Вот, например, описание столовой:

«В колоссальной, выложенной коврами и по кругу обшитой буасери восемнадцатого века столовой, где с потолка свисали три электрические люстры, семейный стол, накрытый на семь персон, терялся. Он был придвинут к большому, до пола, окну, под которым за невысокой решеткой плясала изящная серебряная струя фонтана и из которого открывалась широкая панорама зимнего еще сада. Гобелены с пастушескими идилиями, как и деревянная обшивка, прежде украшавшие французский замок, покрывали верхнюю часть стен» (Кровь Вельсунгов, 494).

Суп бесшумно спускался в столовую со второго этажа из кухни по лебедке, которая уходила в буфет. Такой же лифт действовал и в доме Прингсхаймов. Список таких совпадений можно продолжить.

Как и у Прингсхаймов, младшими детьми Ааренхольдов являются близнецы, брат и сестра, имена которых указывают на то, что их отец — страстный вагнерианец. Зигмунд и Зиглинда — персонажи музыкальной драмы Вагнера «Валькирия», второй части тетралогии «Кольцо Нибелунга». Имена всех четырех детей Ааренхольдов (старшего сына и дочь зовут Кунц и Мерит) подчеркнута германские, хотя еврейское происхождение всех членов семьи автор не просто отмечает, но настойчиво подчеркивает.

«...под чужим, более жарким солнцем»

В письме брату Генриху от 20 ноября 1905 года Томас Манн назвал новеллу «Кровь Вельсунгов» «историей на еврейскую тему» (Манн Г.-Т., 84)^[5]. Сегодня внимательному читателю новеллы очевидно то, что, воз-

можно, не было так заметно в начале двадцатого века. При описании еврейских черт своих героев, будь то физические характеристики, особенности языка и мышления или социальные признаки, автор использует откровенно антисемитские клише. При этом автор осторожен. В письме Генриху от 5 декабря он признается:

«Слова „еврей“, „еврейский“ не встречаются. Есть лишь очень сдержанный намек-другой на еврейскую интонацию. О господине Ааренхольде сказано, что он „родился на Востоке, в далеком месте“» (Манн Г.-Т., 85).

И все же еврейство героев новеллы не просто подчеркивается, оно подается карикатурно, с нескрываемой антипатией со стороны автора.

Все члены семьи Ааренхольдов имеют прототипы в доме Прингсхайма. И только мать семейства изображена так, что никакого сходства с Хедвиг Прингсхайм в ней не найти. Хедвиг — красавица, мы помним слова Клауса Манна: *«обольстительная смесь венецианской красоты а-ля Тициан и загадочной гранд дамы а-ля Генрих Ибсен»*. А в новелле мать — *«низенькая, некрасивая, рано постаревшая, словно высохшая под чужим, более жарким солнцем»*. Чтобы подчеркнуть безвкусие и богатство, упомянуты классические бриллиантовые ожерелье и брошь (Кровь Вельсунгов, 492). Томас Манн словно боялся нового гнева тещи, подобного тому, что случилось при чтении рассказа *«У пророка»*. Зато с остальными членами семьи писатель не церемонился.

Старший сын Ааренхольдов, Кнут, представлен как *«красивый, загорелый человек»*, но с этим соседствует клише, типичное для антисемитских изображений евреев: *«с вывернутыми губами»*. Для описания внешности его сестры Мерит используются образы животного мира: *«орлиный нос, серые глаза хищной птицы»* (Кровь Вельсунгов, 492).

У близнецов, Зигмунда и Зиглинды, *«одинаковые, чуть приплюснутые носы, одинаковые полно, мягко смыкающиеся губы, выступающие скулы, черные блестящие глаза»* (Кровь Вельсунгов, 493). Кроме того, у Зигмунда выделяются *«густые, черные, курчавые, силой зачесанные на пробор волосы, которые начинали расти низко на висках, и сами глаза под сильными сросшимися бровями — эти большие, черные, влажно-блестящие глаза»* (Кровь Вельсунгов, 520).

Зигмунд чрезвычайно чувствителен к запахам, постоянно пользуется косметикой и благовониями, и *«ему была присуща такая необычайная и непрестанная потребность мыться, что значительную часть дня он проводил возле умывальника»* (Кровь Вельсунгов, 502). Автор дает понять, что его герой знает, из какого общества он родом. Там, согласно антисемитским стереотипам, царят грязь и вонь, от которых он стремится избавиться.

Что-то звериное есть в описании волос на теле Зигмунда. Щетина его росла столь сильно, что приходилось бриться дважды в день (Кровь Вельсунгов, 502). Его торс был *«мохнатым от черных волос»* (Кровь

Вельсунгов, 506). Ласки близнецов тоже напоминают звериные: *«они принялись играть, как щенята, кусаясь одними губами»* (Кровь Вельсунгов, 508). Не так симпатично, но выразительно выглядит сравнение старшего Ааренхольда себя самого с *«червяком, вошью»* (Кровь Вельсунгов, 496).



Иллюстрация к "Крови Вельсунгов" художника Т.Т. Гейне

В юдофобской традиции принято сравнивать евреев со зверями, пресмыкающимися, насекомыми, чтобы отделить их от остального рода человеческого, показать обособленность от других людей. Выражаясь высоким слогом, можно сказать, что такими сравнениями достигается дегуманизация еврея, лишение его человеческого облика.

Показательно начало новеллы, так сказать, ее увертюра. Слуга дома Венделин вышел на площадку второго этажа и бьет колотушкой в гонг, призывая хозяев к столу:

«Медный гул, дикий, каннибальский, несоразмерный цели, проникал повсюду: в салоны направо и налево, в бильярдную, библиотеку, зимний сад, вниз, вверх, по всемудому, равномерно прогретый воздух в котором был изрядно пропитан сладким экзотическим ароматом» (Кровь Вельсунгов, 491).

Гонгом в прямом смысле слова озвучено противоречие между видимой на поверхности роскошью, в которой семья живет в одном из самых престижных районов Берлина, и звериной, «каннибальской», доцивилизационной сущностью этих людей, чей внешний вид свидетельствует о ближневосточных корнях семьи. Об этих корнях напоминает и *«выцветший от времени молельный коврик»*, на котором стоял Венделин.

Духовные черты евреев проявляются, прежде всего, в языке. В речи матери слышны слова и выражения ее родного языка — идиш, называемого Манном «диалектом»:

«Ее речь была пропитана странными, богатыми на гортанные звуки словами — выражениями из диалекта детства» (Кровь Вельсунгов, 497).

Речь у нее не совсем гладкая, она часто отвечает вопросом на вопрос, не точно выбирает слова:

«— И что ты там такое говоришь? — сказала она. — Ты этому учился? Ты мало учился» (Кровь Вельсунгов, 498).

Близнецы, напротив, говорят на правильном, культурном, можно сказать, изысканном языке. Правда, они иногда используют не очень употребительные, вычурные обороты. Например, желая поторопить брата, Зиглинда обращается к нему:

«— Не смею утаивать от тебя, — сказала она, — что эки-паж ждет» (Кровь Вельсунгов, 507).

Или Зигмунд благодарит Бекерата весьма заковыристой фразой, которая в русском, весьма упрощенном, переводе звучит так: *«покорнейше вас благодарим»* (Кровь Вельсунгов, 501)^[6].

Близнецы великолепно владеют речью, и это компенсирует, даже с лихвой, все недостатки разговора матери.

«Беседа была оживленной, всеобщей, дети играли в ней решающую роль, они говорили хорошо, жестикулировали нервозно и высокомерно. Они двигались в авангарде вкуса и требовали предельного» (Кровь Вельсунгов, 499).

Речь близнецов активна, даже агрессивна, они постоянно стремятся подавить оппонента, выиграть словесную схватку:

«Дети возражали по любому поводу, будто не возражать казалось им невозможным, жалким, постыдным, возражали превосходно, и глаза их при этом превращались в мечущие короткие молнии прорези. Они накидывались на одно слово, отдельное, использованное им, трепали его, отбрасывали и подбирали другое; смертельно-меткое, оно звенело в воздухе, попадало в яблочко и с дрожанием заседало в нем...» (Кровь Вельсунгов, 500).

Остроумие и образованность служат для демонстрации своего интеллектуального превосходства не только над родителями, но, прежде всего, над незадачливым женихом Зиглинды, дворянином из знатной семьи Бекератом.

Отношение автора новеллы к такой манере поведения откровенно отрицательное. Он полностью разделяет распространенное среди антисемитов клише о разрушающей силе еврейского интеллекта, вооруженного *«стальной и абстрактной диалектикой»* (Кровь Вельсунгов, 498).

Когда в Германии после Первой мировой войны вспыхнули первые беспорядки, переросшие в Ноябрьскую революцию, Томас Манн видит главную причину в евреях. В дневнике от 8 ноября 1918 года он пишет:

«Это революция! И делают ее почти исключительно евреи. Военными делами руководит лейтенант Кёнигсбергер» (Tagebücher 1918-1921, 63).

Здесь же Манн отмечает:

«В Мюнхене, как и во всей Баварии, правят еврейские литераторы. Да сколько же можно? <...> У нас член правительства — такой мерзкий литературный мошенник, как Герцог, спекулянт и делец по духу, из еврейских молодцов больших городов» (Tagebücher 1918-1921, 63).

Страх перед опасным интеллектном евреев сопровождал писателя всю жизнь. В российском большевизме, который угрожал западной культуре, он видит руководящую роль евреев-интеллектуалов. Результат беседы с Катей 2 мая 1919 года Томас записал в дневнике:

«Мы говорили также о таком типе российского еврея, руководителя мирового движения, о взрывоопасной смеси из интеллектуального еврейского радикализма и славянской христианской мечтательности. Если мир не потерял инстинкта самосохранения, он должен со всей энергией и по-военному быстро выступить против такого типа людей» (Tagebücher 1918-1921, 223).

Антисемитское клише о разрушительном еврейском интеллекте оказалось живучим. «Гной еврейского высокоинтеллектуального высокомерия» упоминает Виктор Астафьев в знаменитой переписке 1986 года с Натаном Эйдельманом^[7].



Виктор Астафьев и Наум Эйдельман

Похоже, что Томас Манн, работая над новеллой *«Кровь Вельзунгов»*, не отдавал себе отчета в ее недвусмысленной антиеврейской направленности. Показателен его восклицательный знак в письме Генриху Манну от 17 января: *«вернувшись из декабрьской поездки, я застал здесь слух, будто я написал какую-то резко «антисемитскую» (!) новеллу»*. И хотя он дальше в этом же письме признает, что его новелла *«не очень-то способна поддаться этому слуху»*, упрек в антисемитизме явно удивляет автора.

С течением времени, однако, на фоне всех трагедий XX века, которые ему суждено пережить как свидетелю, отношение писателя к его раннему произведению менялось. В письме от 19 марта 1948 года Мартину Шлаппнеру (Martin Schlappner, 1919-1998), будущему главному редактору газеты *«Нойе Цюрхер Цайтунг»*, в 1947 году защитившему диссертацию по Томасу Манну, писатель дает такую оценку «тиргартенской новелле»:

«“Кровь Вельзунгов“ — это, действительно, устаревшая работа, которая сегодня могла бы вызвать недоразумения. Я не включил ее в новое собрание своих рассказов и не хотел бы, чтобы она Вами была снова воспроизведена» (DüD, 230).

Спустя некоторое время, 27 апреля 1951 года, Томас пишет письмо шведскому писателю и журналисту Андерсу Эстерлингу (Anders Oesterling, 1884-1981), готовящему сборник рассказов Манна на шведском языке. Автор возражает против включения в него «еврейской новеллы»:

«Контраргумент состоит в том, что историю легко неправильно понять и интерпретировать в антисемитском смысле. Это возражение много весомее в наши дни, чем во времена написания новеллы» (DüD, 231).

«Беганэфт мы его, — гоя!»

Томас Манн придавал большое значение последней фразе текста, так сказать, завершающему аккорду новеллы. По замыслу писателя в конце повествования, уже после сцены инцеста, растерянная Зиглинда обращается к брату с вопросом, как быть теперь с обманутым женихом. Ответ Зигмунда предполагался хлестким, в нем должны были прозвучать мотивы превосходства над несчастным чиновником, мести за предстоящую свадьбу Зиглинды, за неизбежную ассимиляцию еврейской семьи в немецкое общество. Лучше всего, чтобы фраза содержала пару типично еврейских слов, означавших обман, надувательство или что-то подобное. Не владея идишем, Томас в начале осени 1905 года пришел за помощью к тестю, объяснив ему, какие слова нужны ему для новеллы, которую он как раз заканчивает.

Альфред Прингсхайм, по словам его сына Клауса, отнесся к просьбе зятя доброжелательно, правда, не захотел и слушать, о чем эта новелла, как мы знаем, художественной литературой он совершенно не интересовался. Но слово «ганэв» (ganev), означавшее на идише «обман», «воровство», «обвес», «обсчет», он охотно дал, добавив *«филологическое пояснение, касающееся возможных трудностей перевода, что всегда делается, когда отдельное слово, тем более, глагол, вставляется из еврейского языка в немецкий текст»* (Klaus Pringsheim, 263).

Здесь стоит отметить, что Игорь Эбаноидзе в статье *«О новелле „Кровь Вельзунгов“»* неправ, утверждая, что *«в качестве советника по во-*

просам идиша Т. Манн привлек своего шурина Клауса Прингсхайма — прототипа Зигмунда Ааренхольда»^[8].

Дело даже не только в том, что это утверждение противоречит воспоминаниям Клауса Прингсхайма, который подчеркнул, что Томас Манн сам направился к тестю, «*что он не часто делал, с вопросом, точнее, с просьбой*» подобрать подходящее к концовке новеллы еврейской слово (Klaus Pringsheim, 262). Клаус не мог быть советником Томаса Манна по вопросам идиша, потому что в доме Прингсхаймов дети росли, не зная, что они евреи. На идиш они не говорили, а отдельные еврейские слова, которыми иногда обменивались родители, воспринимали как семейную игру, проявление каких-то интимных родительских отношений^[9].

В результате консультаций с тестем у Томаса Манна получилась такая концовка новеллы, такая последняя фраза, сказанная Зигмундом: «*Беганэфт мы его, — гоя*». В оригинале последняя фраза новеллы звучит так: «*Beganeft haben wir ihn, — den Goy*»^[10].

Слово «*beganeft*» в значении «обманули», «обворовали» вряд ли предложил бы кто-нибудь из знатоков идиша, это результат ошибочного словотворчества самого Томаса Манна. На идише глагол «обманывать», «воровать» — *ганвэнэн* (*ganvenen*). Соответственно, в прошедшем времени *геганвэт* (*geganvet*) или *беганвэт* (*beganvet*).

Томас Манн построил свое слово «*beganeft*» по образцу немецкой грамматики: приставка *ge* (*be*) + основа глагола + *t*. Но вместо глагола *ganvenen* он взял существительное *ganev*, заменив последнюю букву на *f*, и получилось *beganeft*, которого нет ни в немецком языке, ни в идише.

Для писателя здесь важен был не конкретный смысл отдельного слова на чужом языке, а именно его «чуждость», «ненормальность». Последняя фраза Зигмунда звучит явным диссонансом к его правильной, изысканной, местами вычурной немецкой речи. Такого диссонанса и добились Волшебник, как называли Томаса его дети.

Редактору «*Нойе Рундшау*» доктору Оскару Би (Oscar Bie, 1864-1938) концовка новеллы не понравилась. По его мнению, последняя фраза выпадала из общего стиля повествования. Об этом подробно рассказывает Томас в письме брату 20 ноября 1905 года:

«...просьба моя касается рукописи, посылаемой тебе в сопровождении этих строк: „Крови Вельзунгов“, истории на еврейскую тему, и в связи с этой рукописью я и прошу у тебя совета, вернее, даже помощи. Новелла должна выйти в январском номере „Нойе Рундшау“ и уже сдана в набор. Профессор Би, однако, возражает против конца, против самой последней фразы с иностранными словами, боясь, что средний читатель найдет ее грубой, и умоляет меня, ради его парадного номера, смягчить конец, как смягчала эту ноту на протяжении новеллы. Но я не хотел кончать тире или многоточием (ты увидишь, каким), а чувствовал потребность все еще

раз перевернуть вверх дном какой-нибудь репликой - и при всем желании не могу найти ничего лучшего. Просто заменить еврейские слова немецкими нельзя, это ясно. Ничего не получилось бы. Но что делать? Как кончил бы ты? Если тебе придет что-нибудь в голову, не таи от меня! Но дело срочное...» (Манн Г.-Т., 84).

Более радикальный, чем младший брат, менее склонный к компромиссам, Генрих призвал не сдаваться и бороться с редактором за свое мнение, за свою формулировку последней фразы. Его письмо с ответом не сохранилось, но Томас цитирует высказывание Генриха в своем письме от 5 декабря 1905 года:

«Ты говоришь: жертвовать характерным ради благопристойности — это пошлятина. Но можно сказать: искусство в том и состоит, чтобы при предельной характерности не оскорблять чувство стиля. А „beganeft“ нарушает стиль, это надо признать» (Манн Г.-Т., 85).

В то же время, концовка с иностранными словами нравилась обоим братьям, и Томас принимает ее для окончательного варианта новеллы. В журнальном же варианте он пошел на компромисс и уступил редактору «Нойе Рундшау»:

«То, что ты говоришь о конце, очень укрепило мою веру в этот конец — всего возможность и внутреннюю оправданность. Я и решил оставить его в книжном издании. Для «Рундшау» я, пожалуй, в угоду Би сделаю другой, который не будет плохим компромиссом, ибо вовсе не обязательно связывать конец с «мстью». Напротив, дано уже столько мотивов, что можно представить себе еще четыре-пять других концовок» (Манн Г.-Т., 85).

В этом же письме Томас Манн приводит концовку текста, которая потом с небольшими изменениями вошла в опубликованные на разных языках варианты новеллы:

«Я мог бы, например, сказать: „А как же Бекерат?“ — „Ну, он должен быть нам благодарен. Теперь у него будет менее тривиальная жизнь“» (Манн Г.-Т., 85).

Когда в 1921 году Томасу Манну, наконец, попал в руки один из роскошных экземпляров новеллы, отпечатанных в мюнхенской типографии Dr. C. Wolf & Sohn, писатель был огорчен: концовка текста осталась той же, что была подготовлена для «Нойе Рундшау», без «грубых» еврейских слов. В дневнике от 13 апреля 1921 года Томас признается:

«Пришли экземпляры люксовского издания «Крови Вельзунов», к сожалению, не с оригинальным концом. Я должен был об этом позаботиться» (Tagebücher 1918-1921, 504).

Через три дня писатель дарит экземпляр книги другу Эрнсту Бертраму (Ernst Bertram, 1884-1957) и собственноручно исправляет последнюю фразу на первоначальный конец текста с еврейскими словами (Tagebücher 1918-1921, 505). Копия исправленной автором страницы текста приведена в томе комментариев к тексту новеллы - (Kommentar, 341).

Надо сказать, что качество, внешний вид и, соответственно, цена сильно отличались для разных экземпляров. Номера I-V были вручную переплетены в бирюзовый левантский сафьян и богато позолочены. Номера VI-XXX тоже переплетены вручную, но позолоты на них меньше. Все первые тридцать экземпляров (I-XXX) снабжены папками с отпечатками литографий на настоящей китайской бумаге, листы пронумерованы. Кроме того, в эти папки был вложен лист с оригинальной концовкой новеллы. В тексте остальных экземпляров стояла последняя фраза, исправленная по настоянию Оскара Би.

Экземпляры 1-500 переплетены в специальной переплетной мастерской Карла Херкомера (Carl Herkomer) в Мюнхене. Номера 1-30 сделаны в сафьяновом переплете, номера 31-100 — в переплете из телячьей кожи, остальные в различных комбинациях из кожи, сафьяна и специального картона^[11].

Экземпляры предназначались для истинных библиофилов, и цены были запредельные — от 350 до 1600 марок! Современники жестко критиковали и оформление книги, и ее стоимость. Ганс фон Вебер в своей газете «Цвибельфиш» («Zwiebelfisch») назвал появление такой книги «скандалом безвкусицы»^[12].

Самым полным и научно обоснованным собранием сочинений Томаса Манна является еще не законченное Полное комментированное франкфуртское издание (GKFA). «Кровь Вельзунгов» опубликована в томе 2.1 «Ранние рассказы». Концовка текста здесь та, которую придумал автор, т.е. с «грубыми» еврейскими словами. Так же поступили издатели французского перевода 1931 года, заменив, правда, еврейские слова французскими.

Русский читатель получил перевод «Крови Вельзунгов» в том виде, на котором настаивал редактор «Нойе Рундшау». Томас Манн был согласен с такой концовкой только в виде исключения, обещав брату Генриху, что в книжном издании обязательно вернется к оригинальной фразе. Увы, переводчики на русский язык (Е. Шукшина и Е. Соколова) желание автора проигнорировали.

«...я соблаговолитл принять конституцию»

Может ли писатель в своих произведениях изображать реальных людей, их внешность, поступки, достоинства и недостатки, успехи и неудачи? Томас Манн с первых своих шагов в литературе был убежден, что да, может! Его роман «Будденброки», сделавший писателя знаменитым,

принес и немало огорчений. В родном Любеке эта книга произвела сенсацию и вызвала ярость многих известных жителей города, узнавших себя в героях романа. В городе циркулировали списки лиц, послуживших прообразами тех или иных персонажей. Среди обиженных были даже родственники писателя, например, дядя Фридрих Вильгельм Леберехт Манн (Friedrich Wilhelm Leberecht Mann, 1847-1926). Обиду он долго терпел, но через двенадцать лет один случай подтолкнул его выплеснуть свой гнев на публику. В Лейпциге вышла книга Вильгельма Альбертса *«Томас Манн и его профессия»*. И дядя не выдержал. Он опубликовал короткую заметку в газете «Любекишен Анцайген» («Lübeckischen Anzeigen») от 28 октября 1913 года, где жаловался на множество неприятностей, которые ему в последние двенадцать лет принесла книга племянника. Поэтому автор заметки призывает всю читающую публику Любека по достоинству оценить упомянутый роман:

«Если автор „Будденброков“ карикатурным образом вываливает в грязи своих ближайших родственников и откровенно выдает обстоятельства их жизни и судьбы, то каждый здравомыслящий человек найдет это недостойным. Плоха та птица, которая гадит в своем гнезде»^[13].

Подобные упреки доходили до писателя и раньше. Он не считал нужным публично оправдываться, отводя душу в частной переписке. Но после скандала с новеллой *«Кровь Вельзунгов»* Томас решил громко заявить о своих правах писателя, опубликовав в 1906 году «маленький манифест» *«Бильзе и я»* (IX, 7-19). И хотя формально поводом для написания этой работы послужили обиды любекцев на роман *«Будденброки»*, многие аргументы автора выглядят как ответ на упреки по поводу его «тиргартенской новеллы».

Прежде всего, писатель утверждает принципиальное отличие изображения и его прототипа:

«Действительность, которую поэт заставляет служить своим целям, может быть его повседневностью или самым близким и любимым человеком, поэт может сколько угодно сохранять верность внешних деталей порожденных этой действительностью, пытаться жадно и последовательно сохранить в своем произведении любой признак этой детали — и тем не менее для него (а значит, так должно быть и для всего света!) между действительностью и ее изображением пролегла бездонная пропасть: то различие в самой сущности, которое навсегда отделяет мир реального от мира искусства» (IX, 12).

Писатель берет из жизни те или иные детали, внешние признаки, по которым люди сразу узнают: этот — тот или та. Но дальше писатель строит свои образы, отвечающие его задачам художника. И образы могут стать далекими от оригиналов.

«Люди же думают, что на основании этих внешних признаков они вправе и все остальное считать „правдой“, анекдотом о личностях, рыночным товаром, сплетней... Вот и готов скандал» (IX, 14).

Главное, о чем сокрушается автор *«Бильзе и я»*, это потеря художником своей свободы. Манифест заканчивается страстным призывом:

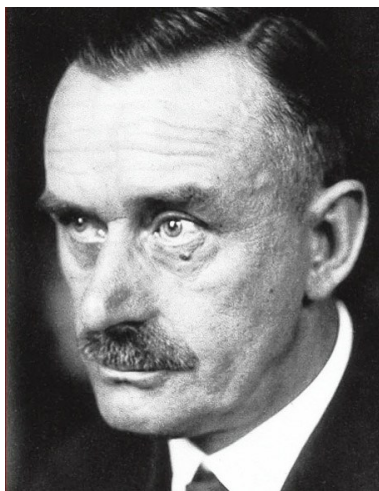
«Не мешайте сплетнями и оскорблениями его свободе, - лишь она одна помогает ему делать то, что вы любите и превозносите, и без нее он был бы никому не нужным рабом» (IX, 19).

Скандал с новеллой *«Кровь Вельзунгов»* показал Томасу Манну его несвободу. Он сам признавался старшему брату в письме от 17 января 1906 года:

«И должен признать, что в человеческо-общественном смысле я уже не свободен» (Манны Г.-Т., 87).

И далее он еще раз возвращается к этой проблеме:

«Правда, с тех пор я никак не могу избавиться от чувства несвободы, которое в эпохонорические часы становится очень гнетущим, и ты, конечно, назовешь меня трусливым буржуем. Но тебе легко говорить. Ты абсолютен. А я соблаговолитл принять конституцию (Манны Г.-Т., 88).



Томас Манн

Раньше свободный от супружеских обязательств начинающий писатель, затем автор шумевшего романа, снимавший скромные квартирки в богемном районе Мюнхена и позволявший себе длительный мужской роман с художником Паулем Эренбергом, был сам себе абсолютный монарх, мог не считаться с общественным осуждением. Теперь же он выбрал кон-

ституционную монархию брака, получив взамен статус добропорядочного отца семейства, но вместе с тем и жесткие рамки допустимого в обществе поведения. Эти рамки не были ему еще точно известны, когда семейная жизнь только начиналась. Зато перспектива стать богатым человеком ему нравилась. В уже цитированном письме Иде Бой-Эд от 3 сентября 1905 года Томас признается:

«Ах, пусть говорят, что угодно, но богатство — хорошая вещь. Я в достаточной степени художник, в достаточной степени продажный человек, чтобы позволить себя такой жизнью очаровать. Между прочим, две противоположные склонности, с одной стороны, к аскезе, с другой — к роскоши, обе свойственны современной душе: вы видите их в свете великого стиля Рихарда Вагнера» (Briefe I, 323).

Конфликты, связанные с «тиргартенской новеллой», на долгие годы испортили отношения между Томасом Манном и его тестем Альфредом Прингсхаймом. В воспоминаниях сына писателя Голо Манна рассказывается о прогулке с отцом к дому бабушки на улице Арси, 12. Это было воскресенье, когда в доме Прингсхаймов устраивали семейный обед, на котором должны были присутствовать и Манны. Томас был в черном цилиндре, который носил редко, но тут торжественность церемонии требовала представительности. Катя лежала в то время в больнице с осложнением от очередного выкидыша. Старшие дети — Эрика и Клаус — были отосланы к родственникам в Берлин. Младшая Моника оставалась дома, на Пошингерштрассе, 1 под присмотром няни. Голо тоже охотно остался бы дома. Но Томас Манн взял его с собой. Поступок отца Голо понял только через много лет. Отцу не хотелось идти на улицу Арси, так как *«тещу и шурина он еще терпел, но тайного советника не переносил»*^[14]. Не последнюю роль в этой неприязни сыграл скандал с новеллой *«Кровь Вельзунгов»*. Томас взял маленького сына с собой, чтобы не чувствовать себя в гостях совсем одиноким.

С «еврейской новеллой» Томаса Манна постоянно что-то происходит. Ей словно на роду было написано находиться в центре скандалов, не только литературных, но и политических.

В 1950 году старшей дочери Томаса и Кати Эрике Манн было отказано в американском гражданстве. В Федеральном бюро расследований ссылались при этом не только на левые взгляды и прокоммунистические симпатии журналистки, но на ее склонности к инцесту со своим братом Клаусом. Доказательством служила новелла их отца *«Кровь Вельзунгов»*. То, что новелла была написана до рождения Эрики, бдительных сотрудников ФБР не смутило.

Показателен и фильм, снятый по новелле *«Кровь Вельзунгов»* в 1964 году режиссером Рольфом Тиле (Rolf Thiele, 1918-1994). Сценарий фильма был написан так, чтобы скрыть все указания на еврейство семьи Аарен-

хольд. При этом даже сама фамилия главных героев была заменена на Арнштатт. Сложные проблемы ассимиляции, за которые взялся Томас Манн в своей «истории на еврейскую тему», были в фильме решены просто: со сцены убрали всех евреев.



Эрика и Клаус Манн

«Добрые буржуа в маленьком городе»

Новелла «*Кровь Вельзунгов*» сыграла важную роль в жизни писателя: после семейных скандалов, с ней связанных, он почувствовал, какую грань нельзя переходить никогда. И хотя от манеры изображать в своих романах живых людей Томас Манн не отказался, но репутацией членов семьи он больше не рисковал.

И еще в одном пункте новелла «*Кровь Вельзунгов*» занимает особое место в творческой судьбе автора. Эта «история на еврейскую тему» стала первым художественным произведением, в котором Томас Манн непосредственно обратился к проблемам еврейской эмансипации и ассимиляции. Хотя он изображал евреев и в своих ранних новеллах, и в романе «*Будденброки*», только войдя в дом Прингсхаймов, Томас впервые в жизни реально столкнулся с «еврейским вопросом», который в то время активно обсуждался в обществе^[15].

Несмотря на сходство домов Прингсхаймов и Ааренхольдов, мысль о том, что Томас Манн нарисовал злую карикатуру на семейство своего тестя, в том числе, и на свою жену, представляется абсолютно неверной. Этому противоречит и желание прочитать новеллу теще и шурину, и просьба о помощи, с которой Томас обратился к Альфреду Прингсхайму. Да и на фон Бекерата, подвергавшегося постоянным насмешкам и уколам со стороны

родственников его невесты, автор «*Будденброков*», сватавшийся к Кате, не похож. Так что на месть автора за год неопределенности и страха получить от невесты отказ новелла «*Кровь Вельзунгов*» явно не похожа.

И, тем не менее, связь между домами Прингсхаймов и Ааренхольдов существует, только она немного сложнее, чем просто злая карикатура на реальную семью. Выдуманное семейство Ааренхольдов есть образ того, чем представлялись Прингсхаймы Томасу Манну в его страхах перед неведомым доселе еврейским домом. Вместо Прингсхаймов писатель должен был бы встретиться с Ааренхольдами, если следовать антиеврейским клише и стереотипам, которыми руководствовался писатель.

К счастью для автора новеллы, его страхи не оправдались, Прингсхаймы оказались нормальными европейцами, «*ничего, кроме культуры*», как выразился Томас в уже цитированном письме брату. Это освобождает свободу, с которой писатель рисует жизнь богатой еврейской семьи, безуспешно стремящейся стать немецкой. Чем злее показаны пороки Ааренхольдов, тем больше славы и почета непохожим на них Прингсхаймам. Так полагал автор, но просчитался.

К Томасу не подходит ярлык банального антисемита. Для аристократа духа, каким считал себя и каким на самом деле являлся Манн, «*антисемитизм — это аристократизм черни*», как чеканно выразился автор «*Иосифа и его братьев*» на встрече с членами сионистского общества «Кадима» в Цюрихе в марте 1937 года. Антисемит, утверждал тогда Манн, руководствуется простой формулой: «*Я ничто, но зато я не еврей*»^[16]. Человеку, который что-то собой представляет, у которого сохранилась хоть капля самоуважения, нет необходимости прибегать к такому сомнительному утешению.

В том же выступлении перед членами «Кадимы» Томас Манн заявил, что антисемитизм ведет к варварству, возврату к тем временам, когда немцы еще не стали культурной нацией Европы, а были доисторическими германскими племенами (стр. 483).

Писатель уверен, что антисемитизм в Германии практически отсутствует. Даже в 1943 году, когда гитлеровский режим полным ходом уничтожал евреев Европы, Томас Манн утверждал:

«Никогда интеллигентный, образованный, европейски ориентированный человек в Германии не может быть антисемитом... Абсолютно неверно приписывать антисемитизм подавляющему большинству немецкого народа, что могло бы выдаваться за народную основу преступлений нацистов против евреев»^[17].

В художественных произведениях Томаса Манна часто встречаются евреи, но практически не показаны антисемиты. Только в конце «*Волшебной горы*» на короткое время возникает комический персонаж антисемита Видемана, которого читатель вряд ли принимает всерьез. Антисемитизм при этом не осуждается, рассматривается как ребячество и занятие нездо-

рового человека. Даже в позднем романе «Доктор Фаустус», вышедшем в свет в 1947 году и показывающем в художественной форме трагический путь Германии к катастрофе нацистского господства, ничего не говорится про преследование евреев. Германия показана без антисемитизма, а евреи — без Холокоста.



Голо Манн

Настороженное отношение писателя к евреям имеет, скорее, эстетическую основу, подкрепляется предрассудками и стереотипами, вынесенными из детства в провинциальном Любеке. Как писал 12 июня 1981 года сын Волшебника Голо Манн литературному критику Марселю Райх-Раницкому:

«...он по рождению провинциал, и от этого никогда полностью не отошел. Моя мать имела обыкновение говорить: „Будденброки — это не господа!“ Не то, что обитатели дома на улице Арси; просто добрые буржуа. Добрые буржуа в маленьком городе. Отсюда происходит и его антисемитизм, от которого он никогда полностью не избавился (его брат тоже нет). Как мог юный патриций маленького городка не быть антисемитом?»^[18].

На жизненном пути Томаса Манна не раз встречались евреи. Это были разные люди. Кого-то он ненавидел, как Теодора Лессинга или Аль-

фреда Керра, кого-то ценил и уважал. О значении евреев в творческой жизни писателя Манн говорит в эссе «*К еврейскому вопросу*», написанном в 1921 году по следам эксклюзивного издания новеллы «*Кровь Вельзунгов*»:

«Евреи меня „открыли“, евреи меня издали и продвигали, евреи поставили мою невозможную театральную пьесу; еврей, бедный С. Люблинский, был первым, кто моим «Будденброкам», встреченным вначале с кислой миной, предсказал в одной леволиберальной газетке: „эта книга будет расти со временем, и будет читаться все новыми и новыми поколениями“»^[19].

Когда Манн пишет «*евреи меня издали*», то подразумевается не только Самуэль Фишер, но и его редактор Оскар Би, который, как вспоминал писатель в «*Очерке моей жизни*», «*проявил интерес к моей работе и предложил мне прислать издательству Фишера все, что только у меня имелось*» (IX, 100). Под «*невозможной театральной пьесой*» имеется в виду единственная пьеса Манна «*Флоренция*», поставленная в 1910 году Максом Рейнгардтом.

Несмотря на все многообразие человеческих типов среди еврейских знакомых Томаса Манна, в его художественных произведениях, как правило, еврейские образы откровенно отталкивающие. Если еврей — чиновник, то карьерист, если торговец, то хитрый мошенник, если художник, то оторванный от жизни упаднический эстет. Создается впечатление, что те евреи, которые «*открыли, издали, продвигали*» писателя, ему не интересны. Они не давали ему материала для социальной сатиры, не вписывались в устоявшуюся систему еврейских клише и стереотипов, в плену которой Томас Манн находился, работая над «*Кровью Вельзунгов*».

Все это говорит о том, что Томас Манн в то время еще не осознал всей остроты и глубины «еврейского вопроса», решить который он взялся сразу после женитьбы на Кате Прингсхайм. С этой точки зрения новелла «*Кровь Вельзунгов*», как и написанное в 1907 году эссе «*Решение еврейского вопроса*»^[20] знаменуют лишь начало долгого пути понимания этой проблемы. Пути, по которому Томас Манн мучительно продвигался всю жизнь, возможно, так и не дойдя до цели.

Примечания

[1] *Harprecht Klaus*. Thomas Mann. Eine Biographie. Rowohlt, Hamburg 1995, S. 269.

[2] *Bode Wilhelm von*. Mein Leben. Reckendorf Verlag, Berlin 1930, S. 193.

[3] Сейчас по этому адресу стоит другое здание, построенное нацистами как «Дом фюрера». Теперь там расположена мюнхенская консерватория («Высшая школа музыки и театра»). Из-за перестроек нумерации домов сейчас и до 1933 года не совпадают.

[4] *Kruft Hanno-Walter*. Alfred Pringsheim, Hans Thoma, Thomas Mann. Eine Münchner Konstellation. Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 1993, S. 7.

[5] В оригинале Томас Манн использует слово «Judengeschichte» «история евреев», см. (Briefe I,333).

[6] В оригинале «seien Sie unserer Dankbarkeit wohl versehen» - дословно «будьте совершенно уверены в нашей благодарности». Это чуть измененная цитата из «Нюрнбергских мейстерзингеров» Рихарда Вагнера: «seid unserer Treue wohl versehen» (действие первое, сцена третья). Здесь слово «благодарность» заменено на слово «преданность».

[7] См., например, *Азадовский Константин*. Переписка из двух углов Империи. «Вопросы литературы», №5 2003.

[8] *Эбанойдзе Игорь*. О новелле «Кровь Вельзунгов». В журнале «Ясная Поляна», №2 1997, с. 284. В этой публикации есть еще пара неточностей. На странице 285 упомянута пара влюбленных из романа «Королевское высочество» Клаус-Генрих и Дитлинда, хотя невесту принца звали Имма Шпёльман, а Дитлинда — это сестра принца. Кроме того, на странице 284 утверждается, что Томас Манн отозвал новеллу «и из журнала, и из сборника рассказов, который выходил в издательстве „С. Фишер“». Это верно в отношении журнала «Нойе Рундшау», а сборника рассказов с новеллой «Кровь Вельзунгов» еще не существовало. Томас Манн лишь планировал сборник из двух новелл с общим названием «Королевское высочество». Но, как мы уже говорили, задуманная вначале как новелла, «Королевское высочество» выросло до романа, вышедшего в свет в 1909 году.

[9] *Roggenkamp Viola*. Erika Mann. Eine jüdische Tochter. Arche Literatur Verlag, Zürich-Hamburg 2005, S. 20.

[10] *Mann Thomas*. Frühe Erzählungen. 1893-1912. Band 2.1. S. Fischer Verlag Frankfurt a. M. 2004, S. 463.

[11] *Raff Thomas*. Ironie und Satire. Thomas Mann und Thomas Theodor Heine. In: *Heißerer Dirk (Hrsg)*. Thomas Mann in München. V. [peniope] — Verlag Anja Urbanek, München 2010, S. 158.

[12] *Heißerer Dirk (Hrsg)*. Thomas Mann in «Villino» am Starnberger See. P. Kirchheim Verlag, München 2001, S. 152.

[13] *Wysling Hans, Schmidlin Yvonne (Hrsg.)* Thomas Mann. Ein Leben in Bildern. Artemis, Zürich 1994, S. 118.

[14] *Mann Golo*. Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M. 1991, S. 20.

[15] Об отношении Томаса Манна к «еврейскому вопросу» см., например, мои статьи «Томас Манн: между двух полюсов». «Студия» 2008, №12; «Томас Манн в свете нашего опыта». «Иностранная литература» 2011, № 9; «Работа над ошибками. Заметки на полях автобиографии Томаса Манна». «Вопросы литературы» 2012, № 1.

[16] *Mann Thomas*. Zum Problem des Antisemitismus. In: *Mann Thomas*. Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Band XIII. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 481.

[17] *Mann Thomas*. The Fall of the European Jews. In: *Mann Thomas*. Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Band XIII. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 496. Статья на английском языке, немецкий оригинал не сохранился.

[18] Mann Golo, Reich-Ranicki Marcel. Enthusiasten der Literatur. Ein Briefwechsel. Aufsätze und Portraits. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2000, S. 76.

[19] *Mann Thomas*. Zur jüdischen Frage. In: *Mann Thomas*. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke — Briefe — Tagebücher. Essays II, 1914- 1926. Band 15.1. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2002, S. 432.

[20] *Mann Thomas*. Die Lösung der Judenfrage. In: *Mann Thomas*. Essays. Band 1. Frühlingsturm. 1893-1918. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1993.



Михаил Натензон

КАК Я ОРГАНИЗОВАЛ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ТОКИО

Возможно, на первый взгляд, несколько легкомысленный заголовок для рассказа про драматические события землетрясения в Японии 11 марта 2011 года выглядит странно. Но удивительные и довольно загадочные совпадения, которые сопровождали мою поездку в Токио, дают право на это название.

9 марта 2011 года я улетел в Токио на важную встречу специалистов по телемедицине с длинным названием «Региональное Азиатско-Тихоокеанское совещание Международного Союза Электросвязи по вопросам электронного здравоохранения», организованное Японским министерством внутренних дел и коммуникаций.

В переводе на общепонятный язык это означало, что специалисты всего мира по телемедицине (дистанционному, т.е. с помощью специального компьютерного оборудования и телекоммуникаций, оказанию квалифицированной медицинской помощи населению), обеспокоенные неготовностью мирового сообщества эффективно оказывать помощь населению при массовых поражениях, собрались, чтобы найти новые решения.

Этому событию предшествовал целый ряд катастрофических землетрясений в Тихоокеанском регионе, в результате которых погибли сотни тысяч людей. Самым известным и страшным было цунами в Индонезии, унесшее по экспертным оценкам более 1250 тысяч жизней. Но разрушительные землетрясения в течение короткого периода времени случились также в Новой Зеландии и Аляске. Несложные размышления позволяли предположить, что тектонические сдвиги такого масштаба могут продолжаться.

Анализ действий различных национальных служб спасения, включая самую организованную и эффективную, российскую, показал, что международное сообщество не обладает инструментом для решения проблем в чрезвычайных ситуациях такого масштаба.

Судьба так распорядилась, что я побывал в мае 2005 года в Индонезии на встрече специалистов Азиатско-Тихоокеанского Экономического совета по организации спасательных операций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций после цунами. Но до сих пор у меня мороз по коже пробегает, когда я вспоминаю увиденные в Индонезии результаты цунами. Представьте себе равнинное побережье, плотно заселенное людьми и застроенное пансионатами для многочисленных туристов этого райского уголка. Равнина через много километров от океана подходит к горам. Так

вот цунами дойдя до гор и вернувшись назад, превратила это рай в белую, заасфальтированную пустыню. Словно гигантский бульдозер сначала все снес, а затем гигантский асфальтовый каток укатал все, превратив в безжизненную пустыню. Такие пейзажи — хороший стимул подумать, что надо делать, чтобы избежать такого ужаса и жертв.

Итак, полный планов и конкретных предложений я прибыл в Токио. Выездное заседание Рабочей группы по телемедицине Международного союза электросвязи довольно часто проходит в Японии. Надо сказать, что на такого рода встречах собираются весьма квалифицированные люди, давно между собой знакомые и общение с которыми весьма конструктивно и приятно.



Прилетел в Токио

Японские коллеги были рады встретить более 50 специалистов по телемедицине, в первую очередь, конечно из Азиатских стран, которым трудно добираться до Женевы, где регулярно заседает Рабочая группа.



Участники заседания в Токио 10-11 марта 2011 года



Организаторы совещания — I. Nakajima (Япония),
H. Escandar, Л. Андриюшко (МСЭ)

В первый вечер по приглашению японских коллег мы отправились поужинать. Конечно, не обошлось без японского саке, выпитого за здоровье и за встречу. Но то, что «русскому» незаметно, то корейцам смерть».

Мы вернулись в гостиницу и расстались до утра. Ночью я сквозь сон почувствовал несколько толчков. В Токио это довольно обычное дело. Ничего особенного. А утром за завтраком мой корейский коллега вежливо и осторожно спросил: «Неужели мы вчера так напились, что нас шатало?». Я успокоил его, сказав, что он вчера был в отличной форме, просто немного трясло. Честь профессора была восстановлена, и мы отправились на совещание. Тогда я еще не знал, что это только первый звоночек в предстоящем спектакле.



Доклад М. Натензона о результатах и перспективах внедрения телемедицинских систем в России и использовании телемедицинских систем в чрезвычайных ситуациях

Конференция проходила в здании Токийского Конгресс центра, построенном в классическом стиле, весьма массивном и солидном на вид. Никаких хайтековских наворотов. Все просто и прямоульно.

Конференция шла по своей, по-японски четко выверенной, программе. Вряд ли детальный рассказ об этих рутинных вещах будет интересен в свете надвигавшегося на Японию землетрясения.

На второй день, именно 11 марта, состоялся один из моих четырех докладов. А тут внимание! Как соруководитель Рабочей группы и представитель России в Рабочей группе по телемедицине, я выступил на заседании с проектом «Партнерство Россия-АТЭС ради Здоровья и Безопасности. Комплексная телемедицинская система для оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях».



Презентация проекта «Партнерство Россия-АТЭС ради Здоровья и Безопасности. Комплексная телемедицинская система для оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях»



Объяснение чего-то очень важного в проекте

Я понимал, что разработка новых подходов к решению этих задач была особенно важна для представителей Пакистана, Индонезии, Индии, Таиланда, Бангладеш, Японии и России, т.е. стран, где постоянная угроза природных катастроф особенно велика и которые имеют трагический опыт катастрофических землетрясений и цунами.



Конец презентации

Я только успел сесть на место и присутствовавшие еще не успели задать ни одного вопроса, как я услышал металлическое дребезжание, словно кто-то в зале неловко задел какие-то металлические предметы. Я машинально взглянул на часы. Было примерно 14-50 по токийскому времени. Это было мое последнее ощущение текущего времени.

А в следующее мгновение все почувствовали мощный толчок, я увидел, как потолок пошел в одну сторону, пол — в другую, а стены заходили ходуном. Это уже были не звоночки, а набат. Кто бросит в меня камень и скажет, что это не я организовал Токийское землетрясение, как учебное занятие для лучшего понимания и усвоения моего проектного предложения по использованию комплексных телемедицинских систем для оказания медицинской и социальной помощи при массовых поражениях населения в чрезвычайных ситуациях. Дурацкие шутки шутками, но я теперь всегда, когда делаю презентацию этой системы, на всякий случай, предупреждаю аудиторию о возможных последствиях. Ведь лучше предупредить, чем ставить людей в неловкое положение.

Японские участники совещания, которых обучали действиям при землетрясениях, еще в детском саду и школе, мгновенно оказались под столами, как их и обучали. Я подумал, что такому крупногабаритному дяде, как я, лезть под японский стол глупо, да и обидно будет, если тебя придавит не только бетонным перекрытием Конгресс центра, но еще и крышкой стола. Профессор И. Накаджима — организатор семинара, сохраняя абсолютное спокойствие, предложил продолжить семинар. Мы с ним оказались одни готовые продолжать обсуждение на своих местах, за столами.

Технический персонал стал открывать двери в зале, чтобы они не оказались заблокированными.

Оказалось, что в такие моменты полностью теряется представление о ходе времени. Могу сказать, что по ощущениям мощные толчки продолжались очень долго, практически, бесконечно. Ведь обычно, при землетрясении бывает один толчок, за ним, секунд через 20, более слабый «послед толчок». И можно спокойно готовиться к следующему землетрясению. Во всяком случае, мой небогатый личный опыт говорит именно о такой схеме. А тут толчок шел за толчком и не было никакого ощущения что толчки ослабевают. Скорее наоборот. Как потом оказалось, толчки продолжались примерно, 4 минуты.

Надо отметить, что накануне, в гостинице, я видел сюжет по токийскому телевидению об испытаниях моделей зданий на устойчивость при землетрясениях. Там подробно объясняли, что устойчивость зданий зависит от амплитуды колебаний и углов отклонений между горизонтальными и вертикальными конструкциями зданий. Я тогда не думал, что это второй звонок к предстоящему спектаклю. Так вот, сидя в зале семинара во время землетрясения мы видели, что реальные углы отклонений конструкций близки к максимально допустимым.

Но главное началось, когда в первые мгновения после начала толчков в конгресс-центре заработала громкая связь и диктор на чистом японском языке стал подробно информировать о событиях и, по-видимому, объяснять находящимся в здании, что они должны делать, если еще хотят остаться в живых. Но это мои сегодняшние догадки, а тогда было ощущение полного идиотизма положения.

Надо отдать должное блестящей организованности японцев и их полной готовности к чрезвычайным ситуациям. Они, наверное, тоже знали, что не все в здании понимают по-японски и через некоторое время появился персонал конгресс-центра и вывел нас всех на улицу. Следующие полчаса мы провели на улице, живо и живыми обсуждая ситуацию.

Мобильная связь перестала работать сразу, не только с Россией, но и в Токио. Поэтому позвонить домой и сообщить, что мы тут живы не было никакой возможности.

В небе начали барражировать вертолеты (думаю, СМИ и власти пытались оценить масштабы бедствия), метро было закрыто, общественный транспорт практически не работал.

Все японцы достали свои мобильники, iPhone и сле-



дили по принимаемым передачам японских телевизионных каналов за тем, что происходило в стране. На мониторах телефонов непрерывно показывали карту Японии с обозначением красным и желтым цветом районов с различной степенью угрозы цунами.

И тут стало ясно, что Токио невероятно повезло. Дело в том, что эпицентр землетрясения находился в океане севернее Токио, а Токийский залив обращен на юг. И цунами прошло по касательной относительно залива. У меня и сейчас перед глазами стоит картинка на iPhone с ярко красным побережьем Японии севернее и южнее Токио. Страшно представить, чтобы случилось в многомиллионном городе, если бы цунами вошло в узкое горло залива и распространилась по многочисленным его разветвлениям. Ну, уж от знаменитого Токийского рыбного рынка точно не осталось бы ничего. О количестве жертв не хочется даже и думать.



Первые минуты после землетрясения. Участников совещания вывели на улицу. Вся информация передается на iPhone-ы



Участники совещания в первые минуты землетрясения на улице перед Конгресс-центром



Главные толчки уже окончились. Ждём, что будет дальше

Общественный транспорт, как я уже написал, перестал работать. Организаторы семинара на своих машинах отвезли нас в гостиницу. Путь, который обычно занимал 30 минут, на этот раз занял в пробках 3 часа. Здания в Токио абсолютно выдержали толчки и никаких разрушений в городе не было видно.



Очередной толчок в Токио

Но весь многомиллионный город, все его жители возвращались домой с работы пешком. И этот вид плотной массы людей, одетых в основном в черные офисные костюмы и в полной тишине, равномерно движу-

щихся в одну сторону, из центра на окраины, и занимавшей все пространство улиц города, производил очень сильное впечатление. Стало довольно жутковато. Известно, что японцы традиционно не высказывают публично своих эмоций ни при каких ситуациях. Машин практически не было, что дополнительно делало ситуацию сверх необычной. При этом толчки продолжались и мне казалось, что заметны колебания небоскребов по обеим сторонам весьма нешироких улиц. Но внешне толпа идущих никак не проявляла никакого волнения и паники в эти моменты. Невероятно. Мы же все видели в телесюжетах из других стран, как ведет себя толпа в чрезвычайных ситуациях.

Вообще в Токио не пострадало ни одно здание. Это поразительно. Японцы решили задачу «безопасного» строительства.



Токио после землетрясения. Общественный транспорт не работает.
Токийцы возвращаются домой пешком



Мониторы в автомобилях показывают карту цунами

Всю следующую ночь в гостинице с интервалом в пару часов ощущались серии толчков. Спать во время серии таких ударов невозможно. Находится на улице в Токио — бессмысленно. Если начнутся разрушения, то из-за плотно стоящих небоскребов, улица будет завалена обломками. Часть постояльцев гостиницы провела ночь в холле гостиницы. Все телевизионные каналы вели репортажи и информировали о развитии ситуации. Говорили они по-японски, и это только нагнетало обстановку. Видимо все-таки надо начать учить японский. Мало ли что. В ходе передач дикторы в студии надели каски и продолжали комментировать уже в касках. Почему-то каски на дикторах придавали особую реальность всему происходящему.

Телевизионные репортажи в прямом эфире из зоны цунами, несмотря на весь ужас происходящего, когда на экране ты видишь, как волна настигает людей, машины и их пассажиров, которые до последнего момента перед гибелью даже не подозревают о надвигающейся волне смерти, уносит дома и суда с людьми в круговорот грязевого потока, а ты никак не можешь помочь, хотя бы подсказать правильный путь к спасению, производили впечатление нереальности, напоминая скорее голливудские блокбастеры, чем реальную жизнь.

На следующее утро я должен был улететь в Москву. Это оказалось непросто. Оба хайвэя в аэропорт Нарита были закрыты, экспресс-поездане ходили, рейсовые автобусы были отменены, а такси все заранее заказаны.

Сотрудники торгпредства, которые помогали мне добраться до аэропорта, еще вечером позвонили и предложили выехать на час пораньше. Мы это сделали, но наша предусмотрительность мало помогла.

Поэтому вместо обычных 1,5 часов, я на машине торгпредства России добирался окольными путями в аэропорт Нарита около 9 часов. Этот путь только условно можно было назвать ездой. Скорее это было стояние в бесконечных пробках, хотя дорога проходила через маленькие городки и деревни. Мы еще с дороги звонили в представительство Аэрофлота с просьбой перезаказать билет на следующий день. Нам сначала остроумно предложили приехать за этим из Нариты в Токио. Несложный подсчет времени тройной поездки по маршруту Нарита-Токио-Нарита показал, что оно составляет 27 часов, что больше суток до следующего рейса.

Понятно, что все пассажиры авиарейса Аэрофлота в Москву 12.03.2011 опоздали и самолет улетел практически пустой. Правда, представители Аэрофлота успокаивали пассажиров, что нас отправят в Москву на следующий день и все-таки зарегистрировали желающих на листе ожидания.

Когда мы, наконец, приехали в Нарита, то гигантский аэропорт был не просто переполнен, а забит застрявшими пассажирами. Все номера в многочисленных транзитных гостиницах были заняты. Попытки улететь другими авиакомпаниями были безуспешны. Либо не было билетов, либо цены взлетели до космических высот (билет по маршруту Токио-Пекин-Москва на глазах взлетел до примерно 5000 долларов и только наличными).



Токийский аэропорт Narita 11 марта 2011 г.



Аэропорт Narita ночью 12 марта 2011 г.

В результате постепенно аэропорт переполнился опоздавшими пассажирами. К моему удивлению оказалось, что крупнейший международный аэропорт Японии ночью не работает, не принимает и не отправляет самолеты. Аэропорт закрыли, пассажиров выгнали на улицу. Хотя в марте было довольно прохладно. Немногочисленным российским пассажирам, все-таки добравшимся до Нариты, здорово повезло. Представители Аэрофлота, отправив пустой рейс, уехали домой. И нас некому было выгонять из терминала, где были стойки Аэрофлота. Поэтому все оставшиеся пассажиры в аэропорту начали искать места для ночевки. Надо отметить, что у администрации аэропорта можно было бесплатно получить спальные мешки, воду и печенье.

Пассажиры потихоньку пристроились, где кто мог, на скамейках, на полу. Несмотря на периодически повторяющиеся серии не столь сильных, как первый, толчков, которые особенно хорошо были видны по колебаниям гигантских металлических конструкций потолка аэропорта, аэропорт затих.

Работали только телевизионные мониторы, на которых можно было наблюдать развитие событий. Главное из них была авария на атомной станции Фукусима, которая находилась несколько севернее аэропорта.

Первые репортажи с вертолетов крупных телекомпаний, барражировавших на приличном расстоянии от аварийной Фукусимы, начались еще днем и производили сюрреалистическое впечатление.

Вертолеты с мощной телевизионной оптикой показывали живую картинку с периодически «парящей» АЭС, а комментаторы наперебой гадали, является ли очередной мощный выброс пара уже взрывом АЭС или еще нет. Всем объяснили, что АЭС, построенная по проекту американского «Вестингауза», находится в зоне мощного землетрясения 1936 года, сопровождавшегося цунами. Вообще АЭС нельзя строить в сейсмоопасной зоне (в России это запрещено), но Япония вся является сейсмоопасной зоной. Сама станция устояла, хотя, когда я сидел в аэропорту, это точно было не известно, но защитная стенка, не выдержала океанской волны и обрудование АЭС Фукусима пострадало.

В телестудиях периодически появлялись то премьер-министр, то владельцы АЭС Фукусима и сильно извинялись за неприятности, которые они доставляют этой аварией. Но спасательные команды, судя по телерепортажам пока ожидали развития событий и ничего не предпринимали, находясь на приличном расстоянии от АЭС.

Полный сюр. Весь мир смотрит и ждет: рванет АЭС или не рванет. Особенно интересно это было наблюдать на мониторах аэропорта Нарита в непосредственной близости от аварийной АЭС. В общем, Голливуд отдыхает. Странно, что им потом не дали Оскара по номинации документального кино. Ведь сценарий писался по мере развития самого сюжета.

Ведь с Чернобылем такого не было. Мир узнал о катастрофе, когда уже все случилось и начались спасательные работы. Не было интриги неопределенности, была необходимость действовать.

Ранним утром возобновилась работа аэропорта, стали подъезжать пассажиры на сегодняшний, вчерашний и последующие рейсы Аэрофлота в Москву.

Около 10 часов началась регистрация пассажиров, сначала тех, кто и должен был улететь сегодня, а затем и остальных. Надо отметить, что все пассажиры поддерживали друг друга. Регистрация и посадка прошли организовано и спокойно, хотя до самого последнего момента не было ясно, будут ли места в самолете для всех.

Самолет взлетел практически вовремя и взял курс на Москву в 13-30. Через двадцать минут после взлета, еще не набрав крейсерскую высоту, мы пересекли Японию и углубились в Японское море. Невероятную по размерам Россию (кстати, в России живет немного больше 140 миллионов человек, а в Японии около 130 миллионов, притом, что примерно 80% территории Японии не пригодно для жизни. Тесновато) мы пересекли без приключений и чрезвычайных ситуаций всего лишь за 10 часов (Просторно).

Все эти события, в которых невероятным образом совпало по времени заседание специалистов разных стран по оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях с помощью современных телемедицинских технологий с крупнейшим в истории Японии землетрясением, повлекшим трагические события и гибель большого числа людей, показали, что необходимо самым срочным образом переходить к комплексному внедрению всех этих телемедицинских систем, технологий и оборудования.

Необходимо создавать глобальную телемедицинскую систему для оказания помощи при массовых поражениях в чрезвычайных ситуациях. Наблюдать по телевидению, как в такой развитой стране, как Япония, в зоне поражения бродят по развалинам отдельные спасатели в поисках пострадавших, дальше невозможно. Больше ждать преступно. Надо действовать.

И в завершение всей этой эпопеи, я оказался первым пассажиром из Токио в Шереметьево, которого поджидали репортеры Первого канала. Тогда еще не было «Вечернего Урганта» и интервью у меня взяли прямо на выходе из зоны прилета.



Михаил Голубовский

ПРИЧУДЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ГЕНЕТИКИ

«Настоящее — мгновенно, будущее
— временно, прошлое — вечно»

В.Я. Александров

2015 год знаменателен двумя юбилеями в генетике. 150 лет назад на двух заседаниях Брюннского общества естествоиспытателей Грегор Мендель сообщил об открытых им законах наследования признаков. Его статья была опубликована в трудах общества, десятки копий разосланы специалистам. Но осознание смысла законов Менделя и их переоткрытие ждало 35 лет. Причины долгого непризнания лежат гораздо глубже обычного консерватизма сообщества или неизвестности монаха Августинского монастыря в научной среде того времени. Они уходят в тайны научного творчества. В 1915 г., ровно 100 лет назад, вышла книга Томаса Морган и трех его учеников о хромосомной теории менделевской наследственности. (“The Mechanism of Mendelian Heredity”). Здесь признание проходило уже быстрее, но также сопровождалось критикой, скепсисом, непринятием со стороны первооснователей генетики Бэтсона и Иогансена, и ряда крупных эмбриологов.

В 1935 г. оригинальная статья Менделя «Опыты над растительными гибридами» вышла на русском языке отдельным изданием в серии «Классики естествознания». Прекрасный биографический очерк о Менделе, перевод всей статьи и примечания сделал профессор Константин Андреевич Фляксбергер (1880-1942), выдающийся знаток пшениц, соратник академика Н.И. Вавилова. Все современное учение о наследственности покоится на открытии Менделя, отметил Вавилов в кратком предисловии. Он назвал статью Менделя «бесспорно, одной из замечательнейших работ, на которых должен учиться каждый биолог». Готовя эти заметки, я вновь перечитал основателя генетики, причащаясь к логике его опытов и выводов. «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» (Пушкин). Но здесь погружение в прошлое невольно сопровождалось щемящей горечью. Н.И. Вавилов и Фляксбергер погибли в сталинских лагерях в период воцарения Лысенко. Да и само юбилейное издание книги Менделя изымалось из библиотек и уничтожалось.

В 1996 г. немецкий генетик Мюллер Хилл, повествуя об истории открытия оперонов у бактерий, посетовал, что для молодых исследователей

история науки как бы не существует. Они плохо представляют длинный извилистый путь к современному знанию. Рецензент книги Сидней Бреннер, патриарх молекулярной генетики, нобелевский лауреат, возразил со свойственным ему саркастическим юмором. Нет-нет, история науки интересует молодых биологов. Но только они делят ее на два периода - последние два года и все остальное. Примерно таковым было школьное изучение истории страны в советское время с ее делением на два периода - прошлые сотни лет и после революции 1917 года.

Дабы воссоздать реальную историю науки, редактор американского журнала «Genetics» Дж. Дрэйк в 1986 г. решил предварять каждый номер заметкой в специальном разделе «Перспективы генетики» с подзаголовком: исторические, критические и анекдотичные комментарии. Более 25 лет данный раздел журнала вдохновенно вел авторитетный популяционный генетик Джеймс Кроу (1916-2012). Чтение тома этих заметок [1] подобно брызгам живой воды на застывшее прошлое и приятный ныне сухой протокольный стиль научных статей: только голые факты, краткое обсуждение, избегая прилагательных и личных эмоций. Интересно в свободном жанре эссе обсудить некоторые критические моменты в развитии генетики, разнообразие подходов, трудности и парадоксы в восприятии нового.

В истории человеческой мысли повторяется любопытный феномен. В каждый период ее развития ученые полагают себя стоящими на строго критической позиции, лишенной догматизма. Но проходит некоторое время, и их идейные дети обвиняют отцов в недалекости и упрощениях. А затем, в свою очередь, подвергаются такому же обвинению со стороны своих идейных детей. Неплохой терапией от этого конфликта научных поколений служит юмор. Томас Морган на вопросы, чем он занимается, обычно отвечал, что проводит три рода опытов: дурацкие, чертовски дурацкие и те, что еще хуже двух первых [2]. В пандан этой шутке и призыв другого классика генетики Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского - не стоит относиться к своим гипотезам со «звериной серьезностью». Этому духу следовали известные школы по молекулярной биологии в Мозжинке. Умная лошадь, стоя на задних лапах, держала плакат: «От ложного знания к истинному незнанию» - афоризм мудреца-цитолога Владимира Яковлевича Александрова.

Биолог и философ Александр Александрович Любищев (1890-1972) в 1925 году впервые провел впечатляющий анализ развития генетики в первый бурный период ее становления [3]. Его подход включал необычные для тех лет познавательные установки. В движении науки регулярно происходит смена концепций. При этом старые комплексы фактов организуются в новую систему. Факты, бывшие центральными, перестают быть таковыми. Им на смену выдвигаются другие, которые доселе оставались в тени или на задворках науки. Устаревают, изменяются или вовсе сходят со сцены понятия и теории. Выбор пути научного поиска в хаосе фактов и «парламенте идей» в сильной степени зависит от мировоззрения и психи-

ческого склада исследователя. Во время работы над книгой об истории идей и понятий в генетике на протяжении XX века [4], подход Любищева помог во многом разобраться и оказался наиболее созвучным моим ощущениям и экспериментальному опыту в разных областях генетики.

Полярные подходы к истории науки: неявный диалог

По удивительному совпадению в 1975 г. были опубликованы размышления «Трактат о лженауке» известного биофизика и молекулярного биолога Михаила Владимировича Волькенштейна и статья Любищева «Уроки истории науки». Позиции двух ученых оказались столь полярными, что образовали как бы эпистолярный диалог. Вот некоторые положения (указаны инициалы авторов).

М. В.: Ценность относительной истины абсолютна. То, что однажды добыто наукой останется навсегда. Познание движется неравномерно, но поступательно.

А. А.: Возможен и другой взгляд на развитие науки, при котором прогресс науки не сводится к накоплению достоверных истин, а рассматривается как смена целых систем научных и философских постулатов.

М. В.: Попытки возрождения уже опровергнутых представлений имеют лженаучный характер.

А. А.: Прошлое науки — не кладбище с могильными плитами, а собрание недостроенных архитектурных ансамблей, многие из которых были незакончены не из-за порочности замысла, а из-за несвоевременного рождения проекта или чрезмерной самоуверенности строителей.

М. В.: Да, бывали случаи в истории науки, когда первоклассные открытия не получали признания крупных ученых. Сейчас такие случаи становятся редкими, ибо научные методы развиты всесторонне и наука делается коллективно.

А. А.: Каждый период смотрит свысока на предыдущий и высказывает против него то, что впоследствии будет сказано о нем самом. Слишком соблазнительно уверовать в правоту сегодняшних научных концепций, в то, что, наконец, здание науки стоит на безупречном фундаменте и нуждается лишь в планомерной достройке.

Для меня очевидно: понятию "лженаука" в трактате Волькенштейна придан слишком расширительный смысл. Туда попадает и то, что «противоречит ранее установленным фактам и закономерностям», и статьи, напи-

санные специалистами в других областях или дилетантами, и даже работы, где есть "попытки возрождения уже опровергнутых представлений". Ныне, полагает известный биофизик, когда "научные методы развиты всесторонне и наука делается коллективно", можно легко отделить подлинные факты от артефактов. Например, по аналогии со вторым началом термодинамики, нет смысла дискутировать о "законе наследования приобретенных признаков".

Действительно, такого закона нет. Однако, в этой области известны давние острые дискуссии, полярные мнения авторитетных биологов. Проблема наследования приобретенных признаков (НПП) — то есть изменений, возникающих массово в ходе онтогенеза (не мутантных), с достаточным основанием могла считаться закрытой в рамках классической генетики. В ее рамках возник строгий водораздел между модификациями, нормой реакции генотипа и мутациями. Но организация и функционирование наследственной системы оказались сложнее. Были обнаружены разнообразнейшие факты неканонического наследования [5]. Ревизия проблемы НПП стала очевидной с переходом на молекулярный уровень и изменениями взглядов на структуру и функции генома. Многие факты неканонического наследования, внешне сходные с НПП, получили истолкование на уровне либо популяционной генетики внутриклеточных элементов и структур, либо в рамках динамической или эпигенетической наследственности.

История генетики опшонирует мнению, что неприятие или задержка в признании крупных открытий остались в прошлом. Пример тому - сходная судьба долгого непризнания открытий Грегора Менделя и Барбары МакКлинток, разделенных почти столетием. Это ведь своего рода естественный эксперимент в истории науки! Грегор Мендель — католический монах, неизвестный дилетант в профессиональной биологии своего времени. Тогда как Барбара МакКлинток (1902-1993) ко времени открытия ею мобильных элементов в начале 1950-х годов была признанным авторитетом в области цитогенетики, членом Американской академии наук, вице-президентом Американского генетического общества. Но ее новая концепция воспринималась с недоверием, скепсисом и раздражением [6].

Вот более близкий нам пример. Московский биолог Алексей Матвеевич Оловников в 1971 г. выдвинул концепцию о неизбежном укорочении концов линейных хромосом (теломер) в каждом цикле деления клеток. Он зримо представил, что фермент ДНК-полимераза, доходя до конца хромосомы, не может реплицировать то место, которое занимает сам. Необходим некий компенсаторный механизм, который в каждом цикле деления distraивал бы концевые участки хромосом до их исходной длины. Иначе неизбежна гибель клеток, а на уровне организма — патология и старение. Предсказания Оловникова были опубликованы в 1971 г. в Докладах Академии наук СССР и в американском журнале по теоретической биологии. Но эти идеи оставались в тени около пятнадцати лет.

Оловников вспоминает, как в начале 1970-х годов он был обескуражен недоверием и непониманием: «Я бегал к молекулярным биологам с просьбами заняться и проверить это. А мне мило так говорили: ну ты же вроде не дурак, что же ты чушь несешь. Ведь всем известно, что геном стабилен, не может он укорачиваться... А я настаивал — ну скажите, где у меня логические проколы, ну попробуйте, все равно это сделают на Западе, давайте же мы вперед попытаемся». (см.: [www. cbio.ru](http://www.cbio.ru)). Действительно, гипотеза подтвердилась американскими исследователями, которые в 2009 г. были удостоены Нобелевской премии, увы, без автора-пророка. Предвидение Оловникова можно сравнить с классической гипотезой Августа Вейсмана (1887) о том, что у всех организмов с половым размножением должен быть особый тип деления клеток (мейоз). В ходе этого деления при образовании гамет число хромосом должно уменьшаться вдвое. Иначе число непрерывно возрастало бы при каждом акте оплодотворения. А оно у каждого вида свое и относительно постоянное.

Концепция личностного знания и биология

История генетики свидетельствует, что долгое непризнание и отнесение на периферию ряда крупных открытий типично в бытовании науки. Я обозначил этот феномен лаг-период [4]. Его причины коренятся в самой сути научного творчества. Новое видение творца-первооткрывателя — это трудно передаваемое другим «личностное знание». Именно так назвал свою книгу [7] крупный физико-химик, социолог и философ науки Майкл Полани (1891-1976). Замечу, двое из его учеников, Е. Вигнер и М. Кельвин, а также сын Джордж стали нобелевскими лауреатами в области физики и химии. Полани основал в Англии Общество за свободу науки, которое оппозировало марксистским увлечениям многих видных английских ученых, склонных видеть идеал в положении науки в СССР и одобрять шарлатанские идеи и методы Лысенко (к примеру, Дж. Бернал, Дж. Холдейн).

Стержень концепции Полани — существование двух типов знания — явного, вербализуемого, выражаемого в словах и знаках, и неявного знания, скрытого, подразумеваемого. Целостные свойства сложной системы не могут быть познаны лишь детальным изучением отдельных элементов. Постигание целого невозможно без интуиции, эмоционального отношения к объекту познания (синдром Пигмалиона). Неявное знание существует в форме персональных символов или образов. Оно порой не осознается даже самим исследователем или крупным экспертом. Как пишет Полани, «I know these matters even though I cannot tell clearly, or hardly at all, what it is that I know» («Я это знаю, хотя не могу ясно или вообще выразить, каким образом я это знаю»). Таково знание систематика о морфологии изучаемых видов и тонких различий между ними, знание хирурга о тончайшей

топографии органов, глубокая оценка позиции шахматным гроссмейстером. Все это относится к подсознательному, трудно вербализуемому, несловесному или неявному знанию. Но именно оно определяет правильный выбор из хаоса фактов и твердое отстаивание своего видения.

Барбара МакКлинток поведала, что «знает в лицо» каждое изучаемое растение, а проводя наблюдения под микроскопом, порой чувствует себя хромосомой, погруженной в клетку [8]. Метафора передает ее ощущение целостных свойств клетки и организма. В.Я. Александров после 60 лет исследований клеточной физиологии, уверял, что «у клетки есть хоть маленькая, но душа». Здесь образно выражено ощущение и понимание клетки как целостной системы, способной к авторегуляции и целенаправленному поведению. Оно состоит в способности к адаптации, поддержанию внутренней стабильности и репарации повреждений. Отсюда познавательная установка Александрова «организмы существуют не столько благодаря внешней среде, сколько вопреки ей» [9].

Личностное знание творца, эксперта трудно выразить словами и передать другим. Библейский пророк у Пушкина в минуты вдохновения постигал и «гад морских подводный ход и дольней лозы прозябанье». Сходным внесловесным личностным знанием обладали и великие селекционеры, Бербанк и Мичурин. По свидетельству очевидцев, осматривая сеянцы яблонь или слив, они щупали листья, почки («лозы прозябанье») и загодя оценивали, какие по вкусу плоды будут у данной взрослой формы и стоит ли оставлять ее для селекции или забраковать.

Многие исследователи описывают удивительное чувство интеллектуальной гармонии, когда вдруг доселе непонятные факты укладываются в единое целое. Оно более всего убеждает первооткрывателя в ценности своей гипотезы или концепции. Недаром Грегор Мендель в первых же строках своей классической статьи пишет о «поразительной закономерности» (выделено мной — М.Г) в наследовании форм, которая всегда повторялась в потомстве гибридов. Красота и строгость числовых соотношений признаков — 3:1 в потомстве моногибридов (формы, отличные по одному признаку) или 9:3:3:1 дигибридов, точное предсказание характера расщепления в следующих поколениях, — все это убеждало Менделя, что найденные на горохе закономерности универсальны и имеют «большое значение при выяснении истории развития органических форм».

Но затем возникает трудная проблема — передать свое личностное знание другим. «Другому как понять тебя / Поймет ли он, чем ты живешь? / Мысль изреченная есть ложь». Ложь в смысле трудности на словах передать озарение, явившуюся вдохновенную истину. Возникает естественная преграда в трансляции сообществу своего личностного знания, адекватной вербализации своих «таинственно-волшебных дум». Отсюда истоки недоверия и неизбежный скепсис. Особенно, если открытие или концепция противостоят сложившемуся знанию.

Консервативность по отношению к новой парадигме (известный ныне термин Томаса Куна, ученика М. Полани), следует считать нормой в поведении научного сообщества. Признание нового требует активного взаимодействия с обеих сторон. Сергей Викторович Мейен, выдающийся палеоботаник и философ науки, выдвинул «принцип сочувствия» как необходимый элемент научной этики. Не отвергать с порога непривычные идеи и построения, а постараться проникнуться видением оппонента. Реальность науки, судя по истории генетики, да и науки вообще, далека от этого идеала.

Можно выделить три ступени научного познания — (1) просто знание о каких-либо конкретных фактах или явлениях, (2) понимание их сути и (3) эмоциональное отношение, когда частное знание ощущается как гармоничный элемент целого.

В этом контексте любопытна переписка двух замечательных генетиков Бориса Львовича Астаурова и Сергея Николаевича Давиденкова. Астауров пишет о своем открытии в конце 1920-х годов феномена автономности в характере проявления мутантных признаков на билатеральных органах, на правой и левой сторонах тела. Открытие ассиметрии в проявлении билатеральных признаков при полной идентичности генотипа и среды — было неожиданным парадоксом. Астауров, по его словам, был, «ошеломлен парадоксальностью наблюдения». Помимо влияния генотипа и среды он постулировал третью причину изменчивости. Эта случайная (или стохастическая) изменчивость. Она связана с многоступенчатым ландшафтом в развитии изучаемого билатерального признака. Здесь важны и пороговые эффекты, ситуации, когда выбор между мутантным или нормальным проявлением признака происходит по принципу «все или ничего».

Наглядный пример — доминантная мутация билатерального признака полидактилии, шестипалости на руках или ногах. Уже в Библии упомянут один филистимлянин с редким полным проявлением мутации - «человек рослый, имевший по шести пальцев на руках и на ногах, всего двадцать четыре» (2 Цар:21-20). Однако, такое полное билатеральное проявление мутации — редкость. Обычно шестипалость проявляется односторонне и неполно. «Был мой отец шестипалым / Как маленький лишний мизинец / Прятать он ловко умел в левой зажатой руке», — сообщает поэт В. Ходасевич. Мутация у его отца проявилась лишь в добавочном мизинце на левой руке. У секс-символа Мэрилин Монро шестипалость проявилась только на правой ноге, а у товарища Сталина — на левой (по описаниям агентов охраны). Интересен и популяционный аспект полидактилии — влияние генотипической среды на частоту возникновения мутации и встречаемости признака. У европеоидов частота его появления среди новорожденных составляет 1:1340, а среди народов Африки и у темнокожих Америки 1:140, в десять раз выше! Подобная странность требует изучения.

Чтобы полностью оценить идею о случайной изменчивости в проявлении и выражении билатеральных признаков, мало было знать о ней, надо было ее "прочувствовать". Именно так пишет Борис Львович в 1949 г. в

письме к Давиденкову: "По опыту я знаю, что изложенные мной соображения далеко "не прочувствованы" даже весьма искушенными генетиками-теоретиками и притом даже теми наиболее проникательными из них, которые не только сделали основной вклад в анализ неполно проявляющихся признаков, но и сумели усмотреть их значение для области невропатологии".

Прочувствовал эту идею известный генетик В.П. Эфроимсон. Он с успехом применил ее для истолкования сильного разброса в проявлении и выражении генетически зависимых патологий поведения. Мозг билатерален, причем две его половины отвечают за разные стороны психики. Эфроимсон пришел к выводу, что большой разброс в проявлении наследуемой шизофрении зависит от того, затронуты ли мутацией только правое или только левое, или же оба полушария вместе.

Концептуальные открытия

Полани аргументировал важность в истории науки концептуальных открытий. Они не менее важны, нежели новые экспериментальные факты. Сюда входят введение новых терминов, понятий, символических способов представления данных, а также собственно концептуальных новаций. Понятия и символы — это удачный способ выразить неявное знание в более доступной для других знаковой форме. Например, в истории химии важной концептуальной новацией было предложение ученика Авогадро итальянского химика Станислао Канницаро (1826-1910). На I-м Международном конгрессе химиков в Карлсруэ в 1860 г. он убедил химиков стать на позиции атомно-молекулярного учения и разграничивать понятия "атом", "молекула" и их весовых эквиваленты. Канницаро изложил свою теорию в брошюре, и роздал всем участникам конгресса.

Среди них были будущие со-основатели Периодической таблицы элементов Д.И. Менделеев и Юлиус Мейер. Последний вспоминал: «Я также получил экземпляр... Я перечитал его не раз... Меня поразила ясность, с которой там говорится о важнейших спорных пунктах. С моих глаз спала пелена, исчезли все сомнения. Взамен появилось чувство спокойной уверенности». Менделеев в конце жизни также вспоминает о большом влиянии на его взгляды конгресса в Карлсруэ.

Возникает интересный вопрос. А не могли ли Грегор Мендель, учившийся в Венском университете в 1851-1853 годах и затем читавший курс физики в реальном училище, знать о новациях Канницаро и задуматься о возможности сходных наследственных элементов у живых организмов? Мендель внес подобную ясность в биологию, постулируя неслиянные пары наследственных факторов и их вероятностные ассоциации в потомстве гибридов.

Концептуальные открытия Менделя

Мендель создал язык генетики, ввел понятия рецессивных и доминантных признаков и буквенную символику для описания результатов скрещиваний. Это дало возможность представить в ясной форме характер наследования признаков в ряду поколений, математически описывать количественные закономерности расщепления и анализировать его сложные случаи. Разработанная Менделем буквенная символика гибридологического анализа (концептуальная новация) оказалась даже более устойчивой и инвариантной, чем сами законы наследования! Последние применимы в строгом смысле лишь для диплоидных организмов с половым размножением. При этом они выполняются лишь при соблюдении ряда условий - равная вероятность гамет разных классов у двух полов, одинаковая жизнеспособность всех классов расщепления и т.д. Тогда как менделевская символика используется и ныне в генетике бактерий, фагов и вирусов.

Самой важной новацией Менделя была концепция о неслиянных у гибридов парах наследственных факторов, которые определяют альтернативные признаки у родителей. Здесь, по существу, предсказана парность хромосом, их независимое расхождение в процессе мейоза (стержень мorganовской хромосомной теории) и, если угодно, двойная спираль ДНК. Поистине, крупные открытия уходят в глубины, о которых не всегда подозревает их первооткрыватель.

Судьба понятия "ген"

Термин ген был предложен в 1909 г. датским физиологом и генетиком растений Вильгельмом Иогансеном (1857-1927) в его замечательной книге «Элементы точного учения о наследственности и изменчивости», вышедшей в 1909 г. (с 3-его издания 1926 года вышел русский перевод в 1933 года [10]). Это произошло три года спустя после введения английским генетиком У. Бэтсоном термина "генетика". Дарвин выдвинул в 1868 г. гипотезу пангенеза, согласно которой все клетки организма отделяют от себя особые частицы или геммулы, которые могут передаваться в ряду поколений. Затем Гуго де Фриз в 1889 г. ввел термин "панген", предполагая наличие в клетках материальных частиц, которые отвечают за наследственные свойства. Геммулы Дарвина представляли ткани и органы, тогда как пангены де Фриза соответствовали наследственным признакам внутри вида.

Вильгельм Иогансен счел удобным пользоваться только второй частью термина де Фриза "ген", и просто заменить этим кратким словом неопределенное понятие "зачатка", "детерминанта" или "наследственного фактора". При этом Иогансен решительно подчеркивал, что термин ген «совершенно не связан ни с какими гипотезами и имеет преимущество

вследствие своей краткости и легкости, с которой его можно комбинировать с другими обозначениями". Термин ген оказался нужен Иогансену как удобная фикция, чтобы создать ключевое производное понятие генотип для обозначения наследственной конституции гамет и зигот, а также термин фенотип для обозначения «фенов» - внешних признаков и свойств организма. Эти понятия были использованы Иогансеном для истолкования своих классических опытов по селекции количественных признаков в чистых (или относительно гомозиготных) линиях растений. Отбор крупных или мелких семян («фенотипы») в пределах данной линии давал в следующем поколении сходные, типичные для «генотипа» данной линии средние величины. Статья Иогансена, опубликованная в 1903 г., «О наследовании в популяциях и чистых линиях» нанесла удар концепции слитного наследования и отбора выдающегося биолога и статистика Френсиса Гальтона, из которой следовало, что всякое отклонение от средней в плюс или минус сторону наследуется. Так, кстати, полагал и Ч. Дарвин.

Термин "ген" получил распространение именно вследствие своих знаковых, символических и семантических преимуществ. Изобретение нового термина или удачное символическое представление (и порой даже удачная метафора!) составляют в науке не менее ценные концептуальные новации, чем экспериментальные факты. Любищев в статье 1925 г. делает тонкое замечание, что позиция Менделя «совершенно безупречна: вся его символика чисто математическая, и он не помышляет о том, чтобы путем признаков исчерпать весь организм». Но этот подход осознали и оценили не сразу даже корифеи биологии.

«У современных последователей менделизма факты часто превращаются в факторы с большой легкостью. Если один фактор не может истолковать факты, изобретается дополнительный, если двух недостаточно, привлекается третий. Иногда искусное жонглерство позволяет удивительным образом сделать результаты превосходно «объяснимыми», поскольку каждый раз объяснение изобретается заново. Я опасуюсь, что мы быстро разовьем нечто вроде Менделевского ритуала, чтобы истолковать необычные факты на основе альтернативного наследования. До тех пор, пока мы ясно осознаем чисто произвольный характер и формальность наших формул, то особого вреда нет. Надо только честно заявить, что исследователи, которые работают на основе правил Менделя, не забывают о гипотетической природе факторов». Не правда-ли, текст семантически напоминает нечто из высказываний незабвенного Трофима Денисовича Лысенко. Но нет. Это слова из приветственной речи Моргана в Сент-Луисе на съезде Американской ассоциации селекционеров в 1909 году [см. 1, 4]. Морган до 1910 года «вполне может быть назван анти-менделистом», вспоминал его ученик и соратник А. Стертевант в публичной лекции в 1967 г.

В 1910 г. Иогансен был приглашен в США на специально организованный в его честь симпозиум «Изучение генотипов в чистых линиях» и

для получения почетной степени. В 1911 г. Иогансен прочел серию лекций в разных университетах США. В это время произошла его важная встреча с Морганом. Морган ранее посетил знаменитого ботаника и генетика Гуго де-Фриза в Амстердаме и «из первых рук» познакомился с теорией мутаций и мутантными формами у растений. Однако, лишь после беседы с Иогансеном эмбриолог Морган отказался от скепсиса к менделизму. Он «поклонился тому, что сжигал» и организовал знаменитую дрозофилиную группу в Колумбийском университете. В нее вошли бывшие еще студентами А. Стертевант, К. Бриджес (потом многолетние сотрудники Моргана) и молодой биолог, будущий нобелевский лауреат Герман Меллер. Уже через пять лет появилась созданная в этой группе хромосомная теория менделевской наследственности. Поразительные извивы истории науки.

Морган материализовал казалось бы фантомные гены Иогансена в определенных локусах хромосом. Однако, теперь уже он, в свою очередь, столкнулся со скепсисом со стороны и самого автора понятия «ген», и со стороны, апостола менделизма и автора термина «генетика» Бэтсона. Иогансен до конца жизни скептически относился к жесткой связи генов как элементарных единиц генотипа с локусами хромосом. Его скепсис оказался в перспективе оправданным. С некоторым смущением в июле 1926 г. Иогансен пишет в предисловии к третьему немецкому изданию своей книги: "мое маленькое словечко "ген" в его отчетливом значении, по-видимому, пользуется теперь всеобщим признанием; и после того, как Т. Морган его вновь ввел в употребление, я его применяю в этих лекциях везде там, где оно уместнее, чем имеющее несколько смыслов слово "фактор" [10].

В декабре 1921 г. патриарх генетики Бэтсон (Вавилов стажировался у него в лаборатории в 1913 г. и почитал своим учителем) совершил поездку по США. Он приехал на неделю в лабораторию Моргана, остановился у него дома, беседовал с молодыми соавторами хромосомной теории Бриджесом и Стертевантом и, склонив свою седую голову над микроскопом, наблюдал хромосомы. Лишь после этого великий генетик-менделист умерил свой скепсис, признаваясь, однако, в письме к жене: «Я высказываю более восторга, чем я чувствую на самом деле... я чувствую его сердечность, но ничто не возвышает его выше среднего уровня» [2]. Несмотря на такую нелестную приватную эпистолярную оценку, Бэтсон, вернувшись в Англию, тут же пригласил в свою лабораторию для исследований по связи хромосом и генов 20-летнего Сирила Дарлингтона, ставшего затем классиком цитологической генетики.

Морган, будучи классическим эмбриологом, сознательно отказался на время от холистического подхода. Он ясно осознавал различие проблем передачи материальной субстанции наследственности и организации на ее основе развития, характерного для особей каждого вида. Вот как корректно он описывает в своей Нобелевской лекции ситуацию на уровне 1934 года: «Среди генетиков нет согласия на природу генов — являются ли они реальностью или абстракцией, потому что на уровне, на котором находятся

современные генетические опыты, не представляет ни малейшей разницы, является ли ген гипотетической или материальной частицей. В обоих случаях эта частица ассоциирована со специфической хромосомой и может быть локализована там путем чисто генетического анализа. В практической генетической работе безразлично, какой точки зрения придерживаться». Эта позиция Моргана удивительным образом гармонирует со сделанным ранее в 1925 году выводом Любищева о желательности сохранения естественного дуализма: «Ген можно определить как абстрактное понятие для приложения законов Менделя... и как ту реальность, которая соответствует этому абстрактному понятию в половых клетках». Двойственность и размытость понятия в данном случае можно считать не слабостью, а силой, поскольку здесь она отражает глубинные, трудно выявляемые аспекты реальности.

Наведение надежных мостов через пропасть «ген-признак» стало налаживаться лишь в начале 1960-х с открытием информационной роли нуклеиновых кислот, различением структурных и регуляторных генов и открытием совершенного нового принципа функционирования генома как трехэтапной информационной системы. Ее принципы в общем достаточно известны, но до полного понимания еще далеко. От гена до наследуемого менделевского признака дорога проходит через три матричных процесса. Репликация ДНК, хранителя информации, затем Транскрипция - перезапись информации с ДНК на матричную или информационную РНК, и Трансляция — перезапись нуклеинового кода ДНК-РНК на уровень полипептидов и белков. Открытие матричных процессов как инвариантов первичной активности генов разрешило многие загадки и трудности.

До этого неявно подразумевали, что гены способны и к самовоспроизведению в нормальном и в разных мутантных вариантах (аллелях), и в то же время могут действовать как некие автокаталитические ферменты. Сами по себе, без всяких посредников. Когда крупный зоолог и генетик Рихард Гольдшмидт предположил, что гены в ходе развития способны менять уровень своей активности, то Морган саркастически замечал, что это не химическая, а «химерическая» активность. Ныне обнаружены самые разные способы регуляции уровня транскрипции и трансляция, то есть первичной функции гена. Для историка науки попытки реконструировать прошлые представления и споры психологически столь же трудны, как уже решив задачу или головоломку, снова стать перед ней в тупик. Мне думается, что в этом непредвиденном матричном принципе действия генов, во внутриклеточной разделенности матричных процессов (ядро и цитоплазма) коренится суть несогласия и споров между Морганом и Гольдшмидтом.

Мы так привыкли к информационной линейной структуре генов и к понятию генетического кодирования, что уже трудно представить, сколь новыми и необычными были эти идеи в момент их зарождения полвека назад. Выдающийся физик Георгий Гамов первый обособил идею кода. Узнав о статье Крика и Уотсона в Nature в 1953 г. о структуре ДНК, он предположил,

что тройки оснований в четыре буквы кодируют 20 аминокислотных слов в полипептидных словах. Как раз в этот год Гамова избрали членом журнала Национальной академии наук США. По этому поводу он решил написать «инаугурационную» статью в официальный журнал академии “Proceedings of the National Academy of Science” Любой текст члена Академии публикуется в журнале без рецензирования. Однако статья Гамова «Возможное математическое соотношение между ДНК и белками». застряла. Она, как полагают историки науки, привлекла в движение какие-то неведомые ему подводные течения. Знакомый биолог сказал Гамову примерно следующее: «Конечно, ты избран в Академию и можешь писать, что хочешь. Но понимаешь, одно дело физика, если бы ты об этом писал, а другое дело биология, и биологи что-то уж очень недовольны... Если тебе во что бы то ни стало нужно ее там опубликовать, то получишь вместо удовольствия кучу неприятностей и наживешь неслабых врагов». Гамов послушался совета и отправил статью в журнал Датской королевской академии, где она уже состояла пять лет. В 1954 г. статья была напечатана, и том же году краткий вариант вышел под тем же названием в “Nature” [11].

Биолог и популяризатор науки М. Ичас (соавтор Гамова) справедливо заключил, что самым трудным в проблеме кода было понять, что код существует. На это потребовалось целое столетие. «Когда это поняли, то для того, чтобы разобраться в деталях, хватило каких-нибудь десять лет». Вот каково значение концептуальных открытий! Сходная трудность восприятия новых концептуальных идей известна в истории химии. Предшественник Менделеева английский химик-аналитик Джон Ньюландс (1837-1898) в 1865 г. впервые классифицировал химические элементы согласно атомным весам, упорядочив их в порядке увеличения весов в 8 групп по 7 элементов в каждой, подобно октавам в музыке. Это дало возможность предсказать наличие еще не открытых элементов (например германия). Однако доклад Ньюландса о возможной периодической системе элементов подвергся насмешкам. Его саркастически спросили, не пробовал ли автор классифицировать элементы по их начальным буквам. Если подобный ученый был в 1953 г. в биологической редакции журнала Академии наук США, его реакция на статью Гамова вполне предсказуема. Тем более, что Гамов славился неистощимостью на выдумки, шутки, розыгрыши.

Помимо трех матричных процессов, цепочка «ген — признак» зависит от степени слаженности и надежности другой триады генетических процессов: Репарация-Рекомбинация-Сегрегация. Данные две триады генетических процессов облигатны для всех живущих видов, от бактерий до высших организмов. Любое возникающее изменение, чтобы сохраниться в наследственной системе клеток или организмов, должно пройти сложный путь через эти две взаимосвязанные триады.

Предчувствие Иогансена об «уничтожающей относительности» выражения типа «ген признака» вполне оправдалось. Хромосома, как и предсказывал Гольдшмидт, оказалась организована в более сложные функцио-

нальные блоки, чем просто генные локусы или единицы транскрипции с прилегающими последовательностями, с которыми еще до 1990-х годов ассоциировалось понятие «ген». Для концепции гена, как некоей линейно неразрывной на уровне ДНК функциональной единицы, возникла новая трудность. Разобщенные участки нити ДНК, могут ассоциироваться друг с другом и влиять на уровне транскрипции в плюс либо в минус сторону. Подобно тому, как активные центры в белках собираются из аминокислот, удаленных друг от друга в полипептидной цепи.

Однако указанные сложности не заставляют отказаться от моргановской линии «материализации генов» и от их надежно обоснованных свойств, которые остаются инвариантными для реальности, обозначаемой термином ген. Ныне ген- понимается как наследственная единица, которая занимает определенный локус на хромосоме или в геноме; данный ген влияет специфическим образом на один или несколько морфофункциональных признаков организма; ген может мутировать к разным вариантам, которые устойчиво передаются через серии поколений; разные гены способны комбинировать друг с другом, порождая наследственное разнообразие. Что может быть более сильным подтверждением правоты Моргана, чем перенос гена, который кодирует человеческий инсулин в бактерию и бактериальный синтез этого столь необходимого пептидного гормона.

Концептуальные новации С.С. Четверикова и его школы

В 1921 г. директор Института экспериментальной биологии Николай Константинович Кольцов пригласил Сергея Сергеевича Четверикова организовать генетическую лабораторию. Четвериков, как и Морган, объединил вокруг себя группу талантливых молодых зоологов, которые образовали знаменитый кружок-семинар «СООР» (Союз орущих). Среди них были Б.Л. Астауров, Е.И. Балкашина, Н.К. Беляев, С.М. Гершензон, П.Ф. Рокицкий, Д.Д. Ромашов, Н.В. Тимофеев-Ресовский. Их исследования, проводимые под эгидой Кольцова и Четверикова, породили московскую школу эволюционной генетики [12]. Статья Четверикова «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» положила начало генетике популяций. Возникли новые понятия и концепции, ставшие классическими.

Прежде всего, отмечу представление о мутационном давлении или о постоянно идущем мутационном процессе, который непрерывно насыщает популяции каждого вида гетерозиготными рецессивными мутациями. Исключительно важным было введение понятия генотипическая среда: гены, оставаясь относительно независимыми друг от друга, действуют в генном ансамбле. Конечный фенотип — это всегда результат взаимодействия множества генов, образующих генотип. Четвериков акцентировал

ровал тезис: один и тот же ген проявляет себя различно в зависимости от комплекса других генов, с которыми он взаимодействует в ходе индивидуального развития и колебаний внешней среды.

Большинство признаков имеют варьирующее проявление и выражение, обычный менделевский анализ затруднен. Для описания фенотипической реализации генов, влияющих на такие признаки, Тимофеев-Ресовский разработал принципы генетического анализа и систему понятий, которые составили основу феногенетики - науки об изучении становления признаков в ходе онтогенеза. Были введены два важных понятия феногенетики - частота проявления данного мутантного признака и степень его выражения (экспрессивность). Тимофеев-Ресовский исследовал далее, как изменение температуры и генотипической среды влияют на проявление и выражение разных мутаций. Было обосновано важное разграничение между двумя критическими периодами в становлении любого признака. Первый период был назван детерминация - время и место в ходе онтогенеза, когда определяется, в какую сторону — нормы или мутации — сдвинется фенотипическое проявление признака. Второй период — дифференциация — определяет характер конечного выражения данного мутантного признака.

Оказалось, что действие повышенной температуры в ходе развития может отличаться по знаку для двух, разделенных по месту и времени процессов развития — детерминации и дифференциации. Далее, Тимофеев-Ресовский ввел понятие наследственная конституция, особенно важное в генетике человека. Под этим понимается следующая триада. Во-первых, генный ансамбль или генотип, который определяет предрасположение к определенной форме фенотипического проявления признака, во-вторых, характер реакции данного генотипического ансамбля на воздействия внешних факторов (температура, инфекционные болезни, яды), и в-третьих, влияние специфических генов-модификаторов. В силу различия в наследственной конституции, один и тот же признак в одной популяции может наследоваться как доминантный, а в другой популяции — как рецессивный.

Эта система понятий определила важную прикладную задачу в медицинской генетике — изучение изменчивости наследственных заболеваний в зависимости от генотипа, географических и этнических факторов. Таким образом, уже в 1920-е годы в работах школы Четверикова был развит целостный подход к взаимодействиям генотип-среда. Здесь генетика популяций сомкнулась с генетикой развития и феногенетикой [12].

Наследственное предрасположение вовсе не означает жесткий детерминизм, что нередко по незнанию или невежеству приписывают классической генетике. Н.К. Кольцов, основатель евгенического движения и генетики человека в России, уже в 1920-е годы ввел понятие эвфеника. Под ним понимается комплекс внешних воздействий, способных либо понизить, либо вовсе погасить нежелательное проявление тех или иных мутаций. Хрестоматийный пример — мутация фенилкетонурии, обычно приво-

дящая к идиотии. Но изменение режима питания (особая диета) с самых первых дней рождения снимает вредное действие мутации.

Стиль и познавательные установки (эвристики)

Стиль в науке столь же закономерен, как и в искусстве, ибо процесс познания неотделим от личности, от ее системы ценностей и психологического профиля. Особенно это относится к биологии, где трудно выстроить замкнутую логическую схему, которую можно однозначно и убедительно сопоставить с опытными данными. Отсюда многообразие познавательных установок или эвристик. Математик, философ и методолог науки Юлий Анатольевич Шрейдер выделил основные пары противоположных эвристик в биологии:

1. Ищи, как свойства целого сводятся к свойствам элементов (частей).
 - 1а. Ищи, как свойства целого определяют свойства и возможность выделения частей.
2. Иди от конкретного к абстрактному (индукция).
 - 2а. Иди от абстрактного к конкретному.
3. Рассматривай все явления исторически, в эволюционном аспекте.
 - 3а. Анализируй свойства явлений, зависящие от внутренних закономерностей.
4. Стремись отделять акт познания от познаваемой вещи.
 - 4а. Учитывай связь между познанием и объектом познания.

Выбор эвристики в конкретной ситуации зависит от личности исследователя, его опыта, интуитивных побуждений, предчувствий. Менделеев интересовали общие закономерности наследования признаков. Он верил, что они есть, и что он их установил, опираясь на гипотезу о неслиянных наследственных факторах. В это же время Чарльз Дарвин проводил опыты по гибридизации разных форм растений. Он, в частности, скрещивал варианты львиного зева с нормальной и пелорической формой цветка и получил типично менделевские соотношения в первом и втором поколениях. Однако, у Дарвина, в отличие от Менделя, не было ни теории, ни ожидания ее следствий. Он увидел здесь лишь капризную игру сил наследственности. «Вопрос о преимущественной передаче чрезвычайно запутан... вовсе не удивительно, что все попытки вывести какое-либо общее правило для преимущественной передачи оказались неудачными» [13].

Морган постулировал связь гена с конкретным локусом хромосомы, которая предстает как нить — вместилище генетических локусов. Напротив, Рихард Гольдшмидт полагал, что хромосома — единое целое, подобно скрипичной струне. Деление ее на независимые друг от друга локусы не-

правильно. Оба подхода отразили разные эвристики и грани генетической реальности.

Различие стилей отличает даже исследователей, работающих бок о бок над одной проблемой. В 1965 г. Франсуа Жакоб вместе с Жаком Моно разделили Нобелевскую премию за открытие механизмов регуляции действия генов. Но как различны были их стили и эвристики! Франсуа Жакоб оставил замечательное описание научного стиля своего соавтора и неизменного оппонента Жака Моно, с его гносеологическим детерминизмом и верой в строгую логичность и объективность научной деятельности. "В одном важном пункте мы расходились с Жаком. Различие в личностях, в нашем отношении к природе. Жак всегда хотел быть логическим, даже пуритански логическим. Меня же он считал существом в основном интуитивным. Это не расстраивало бы меня, если бы он не приправлял свои реплики иронией и даже оттенком презрения. Но ему было недостаточно быть самому логическим. Природа тоже должна быть логической и следовать строгим правилам. Найдя то, что Ж. Моно считал "решением" некоторой "проблемы", он не хотел отклоняться от этого принципа и следовал ему до конца. В каждом случае. В каждой ситуации. Для каждого живого организма. В конечном счете, для Жака естественный отбор выступал как скульптор каждого организма, каждой клетки, каждой молекулы вплоть до ее мельчайших деталей. Вплоть до достижения такого совершенства, которое другие приписывали божественному творению... Отсюда была его склонность к единственным решениям. И в этом отношении Жак был тверд" [14].

Увы, стремление навязывать природе свои законы, свою логику подвело Жака Моно. Ему принадлежит столь популярная в 1970-е годы генетическая максима: "Что верно для бактерии, то верно для слона". Однако, когда молекулярные исследования генома поднялись на новую ступень, оказалось, что верное для бактерии — не всегда верно даже для дрожжей. Свой стиль и познавательное кредо Франсуа Жакоб выразил в изящной, типично французской метафоре: «Я не нахожу природу столь прямолинейной и рациональной. Что меня изумляет — это не ее элегантность и современность, но скорее ее состояние. Она такова, как она есть и никакая другая. Я представляю природу в виде хорошенькой девушки. Благородной, но не совсем опрятной. Немного взбалмошной, немного бестолковой в работе. Делаящей то, что она может, тем, что находится у нее под рукой. Отсюда исходит моя готовность к самым непредсказуемым ситуациям» [14].

Противоположение первой пары эвристик — целое и его элементы — или целостный (холистический) и элементаристский (редукционный) подходы элементаристский — самое драматическое в истории всей биологии, и генетики. Оно коренится в сложности живых систем, начиная с клетки, и в их принципиальном отличии от косных неживых систем. Поразительно, но Иогансен, автор термина ген как элементарной единицы наследственности, никогда не забывал, что «живой организм нужно понимать как целую систему не только во взрослом состоянии, но и в течение

всего его развития. Было бы неправильно предполагать бесконечную расчленяемость фенотипа живого организма на отдельные явления, т.е. простые «фень» [11]. Генотип зиготы, пояснял Иогансен, обуславливает все возможности развития особи и определяет норму реакции данного организма. Важность холистического подхода Иогансена недавно вновь была акцентирована известным историком генетики [15].

Генотип соответствует свойству клеток и организмов обеспечивать структурную и функциональную преемственность между поколениями и специфический характер индивидуального развития в определенных условиях внешней среды. Это определение, приведенное проф. М.Е. Лобашевым в 1963 г. в его первом после погрома генетики в 1948 г. отечественном учебнике "Генетика", представляется мне одним из лучших. Указано на передачу не только структурной, но и функциональной (динамической) преемственности, а также на связь результата развития (фенотипа) с внешней средой.

Обсуждая целостный и элементаристский подходы к анализу развития, эмбриолог и генетик П.Г. Светлов (друг и коллега Любищева) выделил одно уникальное свойство живых организмов: каждая часть обладает своими дискретными признаками и в то же время является элементом целого, подчиняется «биологическим полям» более высокого уровня и требованиям целого. Наследственная система клетки включает не только облигатные, но и множество факультативных генетических элементов. Здесь действует принцип, характерный и для организации живых систем любого уровня: единство целого при свободе частей [16]. Для эмбрионального развития характерно появление относительно автономных участков, не выпадающих из системы целого организма и не мешающих друг другу. «О таких полях ничего не знают ни математика, ни физика», заключал Светлов [17].

Идея морфогенетических полей была развита в первые десятилетия XX века А.Г. Гурвичем, учителем Любищева. В рамках холистических идей своего учителя Любищев выдвинул в статье 1925 г. понятие «потенциальная форма». В физике понятие «потенциальная энергия» было выдвинуто лишь в 1850-е годы и не сразу вошло в научный обиход. Возможно, сходное понятие еще будет актуализировано в будущей теории онтогенеза. Однако, выдающийся генетик развития Л.И. Корочкин придерживался другой эвристики, негативно относясь ко всем вариантам концепции биологического поля: «Развитие формы напрямую связано с функцией генов и со специфичностью их продуктов, из взаимодействия которых и складывается путь от специфики молекул к специфике форм» [18].

Холистический подход был в полной мере свойственен и Ю.А. Филипченко, основателю первой в России кафедры генетики в Петербургском университете. Он исходил из философского принципа, что эволюция мира живых организмов как всякой системы, происходит по общим канонам, управляющим развитием всякого целого, каково бы оно ни было. Развитие любого целого, "будет ли такой системой зародыш, весь мир организмов,

Земля как небесное тело, вся солнечная система" определяют три рода факторов: (а) самостоятельные, заключенные в самой системе (как, например, развитие яйцеклетки); (б) зависимые частично от системы, частично от среды; и (в) внешние причины, лежащие вне системы. «Кому же придет в голову, — вопрошал Филипченко, — искать основные причины развития хотя бы солнечной системы вне ее самой, хотя при этом были, вероятно, известные индифферентные причины второго порядка, лежащие извне».

Холистический подход привел Филипченко [19] к убеждению о различии факторов и механизмов микро- и макроэволюции (его термины). Общие, родовые признаки закладываются в онтогенезе раньше видовых, они меньше подвержены изменчивости, их генетический контроль должен быть отличным от дискретных генов. На основе собственных исследований по генетике количественных признаков и структуре колоса у пшениц, Филипченко полагал, что "родовые" признаки определяются не дискретными генами, а "плазмой" — "общей структурой белков протоплазмы, взятых в целом". Плазмон не разложим на отдельные элементы.

Рихард Гольдшмидт [20] развил идеи Филипченко в своей известной книге "Материальные основы эволюции" (1940). Для объяснения видообразования (макроэволюция) он ввел представление о системных мутациях и макромутациях. Первые связывались в основном с хромосомными перестройками, вроде тех, что вызывают эффект положения. Гольдшмидт оппонировал сложившемуся положению о дискретности хромосомы, состоящей из отдельных генов. Он считал, что хромосома — это целостная упорядоченная система, определенные нарушения ее "полей" приводят к резким изменениям эмбрионального развития. Эволюция состоит в переходе одной достаточно стабильной органической системы в другую стабильную систему. «Зародышевая плазма держит под контролем тип данного вида, регулируя процесс развития индивида... в соответствии с некой постоянной программой... Эволюция, следовательно, означает создание измененного процесса развития, регулируемого измененной цитоплазмой". Однако, интеллектуальный климат 1940-1960-х годов не способствовал системному подходу Гольдшмидта и его воззрения третировались и высмеивались, как нелепость или чудачество [4].

Ситуация резко изменилась спустя 20 лет после ключевой статьи Жакоба и Моно (1961) о механизме регуляции генной активности. Подразделение генов на структурные и регуляторные, их организация в опероны, открытие ДНК-связывающих белков, регулирующих степень генной активности, трансформировало представление о механизмах наследственности и изменчивости. Жакоб и Моно впервые обосновали положение о необходимости включать в сферу наследственности не только структурную, но и динамическую память или «координированную программу синтеза белков и способы, которыми этот синтез регулируется» [21]. Было показано, каким образом клетка под действием среднего сигнала может целенаправленно переключаться с одной наследственной программы функциониро

ния на другую. Концептуальный смысл своих открытий Жакоб и Моно суммировали в последнем разделе статьи, красноречиво названной «Телеономические механизмы клеточного метаболизма, роста и дифференцировки». Фейерверк содержащихся там идей на десятилетия определил пути исследований в области регуляции генной активности и взаимодействий генотип-среда, а также исследований в области эпигенетической изменчивости.

Другая пара эвристик противопоставляет эволюционный (исторический) и номотетический (от греческого — закон и основание) подходы к изучению живых организмов. Суть первого подхода выражена в максиме известного эволюциониста и генетика Ф.Г. Добжанского (он был учеником Филипченко, получил Рокфеллеровскую стипендию, работал в лаборатории Моргана и остался в США): «Ничто в биологии не имеет смысла, как в свете эволюции» (*Nothing in biology make sense except in the light of evolution*). Звучит красиво. Но вот, скажем менделевское изучение законов наследования или анализ связи между хромосомами и генами важны сами по себе. Менделя мало интересовала эволюция. Будучи знаком с книгой Дарвина, он холодно отнесся к ней. Эту линию продолжил Морган, материализовав менделевские гены в хромосомах клеточного ядра. Поэтому альтернативный подход звучит так: «В эволюции все имеет смысл только в свете клеточной биологии» или *Nothing in evolution makes sense except in the light of cell biology* [22]. Иными словами, решающее значение для хода эволюции имеют изменения в организации и функции клеточных структур.

Точность и правильность. Соблазны детерминизма

В области математической статистики известна апигтеза: увеличивая точность, мы теряем в полноте картины и правильности, излишняя точность может быть нежелательной. Это можно сравнить с наблюдениями цитолога при малом и большом увеличении или при световой и электронной микроскопии. В истории генетики поучительным примером обратного соотношения между правильностью и точностью может служить полемика Иогансена с основателями биометрии Ф. Гальтоном и У. Пирсоном.

Сопоставляя распределение роста родителей и детей, Гальтон оценивал, в какой степени наследуются отклонения от средних величин — в плюс и минус сторону. Проведя статистический анализ, он нашел, что отклонения от средней величины частично передавались потомству. Сходное частичное наследование отклонений было показано и для душистого горошка. Гальтон сделал вывод, что каждое индивидуальное отклонение от средней величины передается потомству, но в меньшей степени (закон регрессии), и что путем отбора всегда можно сдвигать средние величины в нужном направлении. Но этот вывод выдающегося ученого оказался лож-

ным. Гальтон имел дело с популяцией, со смесью особей разного генотипа, то есть, с неоднородным материалом, смесью генотипов.

Йогансен решил провести подобный анализ на генетически однородном материале — в потомстве отдельных самоопыленных растений. Он назвал их «чистые линии». В классической статье 1903 года «О наследовании в популяциях и чистых линиях» было убедительно показано: в чистой линии потомство от самых крупных или от самых мелких семян имеет типичные для данной линии средние величины. Этот вывод был затем проверен многими исследователями на разных объектах. Уже в 1926 г. Филипченко обоснованно заключал, что вывод Йогансена «не может возбуждать никаких сомнений».

Чтение книги Йогансена доставляет интеллектуальное удовольствие. Вот одно из принципиально важных положений: «В каждом отдельном случае статистической обработке должен предшествовать биологический анализ, иначе общий результат окажется биологическим не ценным, т.е. статистической ложью. Математика должна оказывать помощь, а не служить в качестве руководящей идеи» [10]. Подход Йогансена несколько не устарел. Р.Б. Хесин, счастливо сочетавший глубокое знание классической и молекулярной генетики таким образом определил свое кредо: «формальная генетика» ставит новые вопросы: ведь молекулярная биология сама не выдвигает общебиологических проблем, а лишь отвечает на требование других разделов науки» [5].

Дилемма правильность-точность прослеживается и в случае понятия «мутация». Это ключевое понятие ввел в 1900 г. Гуго де Фриз для обозначения внезапного, относительно резкого наследственного изменения. Он не связывал мутацию с каким-либо материальным субстратом. В хромосомной теории Моргана гены были материализованы и жестко связаны с определенными локусами хромосом. Соответственно были материализованы и мутации, как изменения генов, их числа и топографии в хромосомах (с тех пор мутации разделяют на генные, хромосомные и геномные). Хромосомная теория Моргана привела к выдающимся открытиям. Она дала возможность изучать мутационный процесс на точной количественной основе. Колоссальное впечатление произвела пионерская работа г. Меллера 1927 года. Он сконструировал (хромосомная инженерия возникла раньше генной) особую линию дрозофил для количественной оценки числа объективно регистрируемых вновь возникших летальных мутаций и установил, что их число удваивается при удвоении дозы облучения. Последовал целый шквал подобных исследований и родилась радиационная генетика. В известных работах Тимофеева-Ресовского удалось оценить примерный размер гена как мишени, радиационное попадание в которую приводит к мутациям.

Достигнутые успехи и точность привели к соблазну связывать решительно все наследственные вариации с изменениями хромосомных генов. На периферию были вытеснены факты цитоплазматического наследо-

вания. Оставались в тени и эпигенетические обратимые наследственные изменения, явно не связанные с изменением структуры генов. В этом контексте понятны истоки недоверия и скепсиса к выводам Барбары МакКлинток о том, что мутационные переходы данного гена могут быть вовсе не связаны с изменениями его структуры, а быть результатом действия неких посторонних мобильных элементов. Причем, точное число этих блуждающих элементов и их «прописка» в хромосомах неизвестны.

Выводы доклада МакКлинток о мобильных элементах в 1951 г. на авторитетном симпозиуме в Колд Спринг Харбор (США) генетики воспринимали примерно также, как если бы в период сталинизма и жесткой системы городской прописки, жители Советского Союза вдруг узнали бы, что никакая прописка не действует и можно свободно переезжать из одного города в другой и за пределы «железного занавеса».

Когнитивная толерантность

Феномен отторжения, неприятия новой парадигмы можно назвать когнитивной защитой. Любопытно как происходила эта психологическая защита при описании разных фактов в области изучения мобильных элементов. Никто не сомневался в авторитетности, мастерстве цитогенетика МакКлинток и чистоте ее исследований. Но почти никто и не верил в ее концепцию! А ведь по существу, все основные свойства мобильных генетических элементов, обнаруженные у разных организмов спустя 25 лет на уровне ДНК, были, в принципе, установлены МакКлинток в ее опытах. Когнитивная толерантность состояла примерно в следующем рассуждении. Конечно, МакКлинток работает исключительно чисто, и вполне возможно, что она столкнулась с чем-то необычным. Однако, биологические объекты столь разнообразны, что в некоторых линиях кукурузы могут происходить некоторые странные вещи — таково было отношение большинства генетиков. В известной книге Стертеванта по истории генетики 1965 года — ни слова о концепции МакКлинток.

В конце 1960-х годов известный американский генетик Мелвин Грин, изучавший необычные свойства нестабильных вариантов (аллелей) гена «белые глаза» (white) у дрозофилы обнаружил, что часть этого гена способна перемещаться в другие хромосомы. Он ожидал большого интереса к своему наблюдению, так как гены считались жестко «привязаны» к своим локусам. Однако, никаких откликов и запросов на статью не было. Грин был обескуражен. Ведь его открытие транспозиции генов делало понятным и перемещения гомологичных генов, обычных при видообразовании. Здесь действовала та же когнитивная защита — вытеснение непривычного факта до уровня курьеза, случающегося в некоторых мутантных линиях или у некоторых генов и не меняющего стройной общей картины.

Грин посетил МакКлинток и посетовал ей на невнимание «Она мягко успокоила меня таким замечанием: «Не волнуйтесь. Нет ничего необычного в вашей статье о транспозиции. Люди просто к этому не привыкли. Я прекратила публиковать мои результаты в генетических журналах в 1964 году, поскольку никто не читал, что я писала» [23].

Приведу пример из собственного опыта, как воспринималась моя гипотеза о связи вспышек мутаций в природе с активацией мобильных элементов и геной нестабильностью. В многолетних исследованиях генетика Раисы Львовны Берг было установлено, что в природных популяциях дрозофил время от времени возникают вспышки мутаций определенных генов и повышение встречаемости их мутантов. Причем поразительно, вспышки мутирования одних и тех же генов происходят относительно синхронно в географически удаленных популяциях. Эта загадка до сих пор остается нерешенной. Очередная вспышка была зафиксирована в 1973 г. и привела к появлению высоко-нестабильных вариантов сцепленного с полом гена «опаленные щетинки, (singed)». Некоторые мутантные геновые варианты из природы мутировали в сторону нормы и обратно с совершенно фантастической частотой в 5-20 %, то есть, в тысячи раз выше обычной! В это трудно было поверить, пока сам воочию не столкнешься с подобным «медицинским фактом».

Я провел детальный генетический анализ поведения нестабильных мутаций в ряду поколений. Стало очевидно, что их свойства поразительно сходны с поведением нестабильных генов у кукурузы в опытах МакКлинток. Для этого сопоставления пришлось детально «вгрызаться» в тексты статей МакКлинток и проникнуться ее логикой. Это было нелегко. Согласно ее гипотезе, некий мобильный элемент «Активатор» (Ac) кочует по геному, вызывая разрывы хромосом и мутации. Однако вдруг его свойство мобильности исчезает и он превращается в неподвижный фактор разрыва хромосом (Ds). Но если в геноме появится активный Ac, то на время затившийся Ds вновь начинает передвигаться. Казалось, это какие-то сплошные гипотетические причуды, прихоти и капризы. Но сейчас все стало просто и ясно. Элемент Ac — это полноразмерный мобильный элемент, который кодирует фермент, вызывающий скачки элемента по разным хромосомам. А фактор Ds — это дефектный или усеченный по размеру вариант исходного элемента, который сидит смирно, но активируется, если в геноме появляется одна или несколько полных копий мобильного элемента.

Нестабильные мутации дрозофилы, выделенные из разных популяций, в принципе, вели себя сходно мутациям кукурузы. И, стало быть, причина нестабильности в обоих случаях может быть сходная - вставки подвижного элемента в район расположения гена. Мобильный элемент способен регулировать характер активности гена-хозяина, обратимо встраиваясь и вырезаясь из него. Был найден и детально изучен первый в генетике случай природной генетической инженерии, когда два разных гена (один затрагивает форму щетинок, другой форму крыла) стали совместно

проявляться и мутировать. Я предположил, что эти гены попали под контроль одного мобильного элемента. Данная гипотеза позднее полностью подтвердилась на молекулярно-цитогенетическом уровне [16].

Обнаружение в природных популяциях множества нестабильных мутаций, связанных со вставками подвижных элементов сразу снимало возражения скептиков, что мобильные элементы, открытые МакКлинток, свойственны лишь некоторым линиям кукурузы. Мелвин Грин попросил прислать ему нестабильные из природы мутации и решил сам проверить их поведение. Все подтвердилось. Наша совместная статья была опубликована в 1977 г. в трудах Американской Академии наук. В 1978 г. в Москве проходил XIV Международный конгресс генетиков. В своем докладе я аргументировал вывод, что активация подвижных элементов важный источник возникновения мутаций и резких всплеск наследственных изменений в природе. Однако на тот момент не было прямых молекулярных данных о мобильных элементах дрозофил, встроенных в район нестабильных генов. Такие данные появились лишь спустя три года. Поэтому выводы об инсерционной природе нестабильных природных мутаций вызывали естественный скепсис.

Помню курьезный случай. В 1980 г. по приглашению Р.Б. Хесина я делал доклад на школе по молекулярной биологии в Мозжинке. После доклада сидевший в первом ряду Михаил Владимирович Волькенштейн спросил, какова молекулярная природа мобильных элементов. «Пока неизвестно», - ответил я, и добавил, что поведение нестабильных мутаций из природы совпадает со сходными данными МакКлинток на кукурузе. «Поэтому гипотеза о подвижных элементах кажется мне наиболее обоснованной». Услышав этот ответ, известный биофизик демонстративно развернул газету «Известия» и стал читать. Я был предуготован к подобному скепсису замечанием Любищева о любопытном различии между материализмом и идеализмом в науке. Если материалист не видит ясной материальной основы загадочного явления, он склонен отрицать само его существование. А идеалист стремится к ясному и точному описанию и не боится ввести любое понятие-фикцию, если только оно способствует подобному описанию. Как это случилось с понятием гена.

Другая забавная «живая история» произошла в процессе прохождения моей докторской диссертации на тему «Мутационный процесс и нестабильность генов в природных популяциях». Работа была подготовлена в 1980 г., но в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения АН, где проводились исследования, я поначалу не нашел понимания, получив упреки, что автор «заиклился» на концепции мобильных элементов. Тогда я попытался найти понимание в своей альма-матер на кафедре генетики в тогдашнем Ленинградском университете. Но забыл, что нет пророков в своем отечестве. При обсуждении доклада по материалам диссертации один видный специалист по биометрии заметил, что статистические данные недостаточны, и автор заморожен неизвестными мобильными элемен-

тами как Пигмалион Галатеей. Не все определяется статистикой — был мой ответ на первое замечание. “Представьте, вы вышли на улицу и встретили человека о двух головах. Неужто вы пропустите этот уникальный феномен и будете ждать появления еще одного подобного существа, чтобы «набрать статистику»”.

Однако, метафора Пигмалион — Галатея меня смутила. Тогда я не был хорошо знаком с концепцией личностного знания. Оказывается, в книге Полани есть отдельный параграф, в котором настоящий исследователь как раз сравнивается с Пигмалионом! Ибо когда мы создаем концепцию или вводим новое понятие, пишет Полани, Пигмалион, живущий в нас, всегда готов пойти вслед за своим творением и отнестись к нему, как к физической реальности. Спустя два-три года была опубликована серия прямых молекулярных данных о связи нестабильных мутаций с инсерциями подвижных элементов у дрозофилы [5, 16].

Феномен когнитивной защиты, или когнитивной толерантности научного сообщества по отношению к необычным фактам или гипотезам, выходящим из общепринятой колеи, заслуживает отдельного изучения. Полани, например, полагал нормальным и неизбежным компромиссом, когда в каждый период времени существует общепринятая точка зрения на природу вещей, в рамках которой члены научного сообщества ведут свои исследования. «Должна существовать сильная презумпция того, что всякие противоречащие этой точке зрения данные неверны. Такими данными приходится пренебрегать, даже если это нельзя обосновать, в расчете того, что они по истечении некоторого времени окажутся ложными». Правоту этого тезиса признал молекулярный генетик Г. Стент [24], который ввел в историю науки новое понятие «преждевременные открытия». Предсказание полезно для науки, если оно сделано не слишком рано, заметил В.Я. Александров. Так именно и поступал великий Менделеев. Узнав в конце жизни о радиоактивном распаде и превращении химических элементов, он остался верным идее их постоянства.

Открытие в 1953 г. двойной спирали ДНК и затем генетического кода вбили «золотой гвоздь» в линию Менделя-Моргана. Поэтому в те годы концепция МакКлинток о подвижных элементах и связанных с ними наследственных изменениях, казалась причудой, курьезом или невероятной гипотезой. Даже исследователям, которые близко подошли к этой идее, было трудно переступить за классический порог. Парадоксально, но Раиса Львовна Берг, всю жизнь изучала вспышки мутаций и ярко и страстно аргументировала важность этого феномена для человека, была холодна к идее мобильных элементов, как причине сверхвысокой генной нестабильности. Она полагала, что вспышки мутаций связаны с появлением неких генов-мутаторов. Конечно, такие гены существуют, к примеру, гены, контролирующие ферменты репарации ДНК или гомологичной рекомбинации. Но здесь ситуация оказалась совсем иной.

Другой интересный пример. Для некоторых наследственных нейропатий и нейромышечных заболеваний, внимательные врачи давно заметили одну удивительную особенность. В ряду поколений болезнь начинает проявляться в более раннем возрасте и степень ее выражения возрастает. Этот феномен и был назван упреждением (anticipation). Особенно много наблюдений было сделано в случае сцепленной с полом умственной отсталости, поражающей в основном мужчин - так называемый синдром ломкой X-хромосомы или синдром Мартина-Белл. У мужчин мутация встречается с частотой 1:1500 (!) и в более легкой форме поражает и женщин. Примерно в 20 % семей — у мужчин-носителей мутации мутантный ген не проявляется. Однако X-хромосома с этой мутацией, пройдя одно поколение через дочерей-гетерозигот, с высокой частотой поражает внуков. Иными словами, происходит как бы автогенетическое предсказуемое усиление действия мутаций в ряду поколений. Своего рода «молекулярная жирафа» Ламарка с удлинением шеи.

Такой странный парадокс “не лез ни в какие ворота”. Но полностью отрицать странные медицинские факты было нельзя. Воспоследовала когнитивная защита. Генетики уповали на статистические погрешности. Мол, просто в семьях с этой болезнью врачи начинают более внимательно следить за развитием болезни у мальчиков и ранее, нежели во всей популяции, замечают признаки ее появления. В прекрасном учебнике медицинской генетики Курта Штерна (учебник был переведен на русский и вышел вскоре после падения Лысенко в 1965 г) есть глава, посвященная феномену упреждения. Статистически хорошо аргументировано, как неявный подбор может создать невольное впечатление о феномене упреждения.

Однако, настала эра молекулярной генетики и клонирование данного гена убедительно показало, что правы оказались врачи, а генетики впали в статистический соблазн, дабы совместить эти странности с привычными менделевскими принципами наследования. Болезни с упреждением оказались не фантомом, а реальностью. Таковых сейчас насчитывается около 20. Они получили название «болезни экспансии повторов». Выяснилось, что в определенных генах, есть блоки тринуклеотидных повторов, которые обладают свойством наращивать свою длину в ряду поколений. В случае синдрома ломкой X-хромосомы мужчины с числом повторов в данного гена от 6 до 46 нормальны. Когда же число повторов достигает 53-100, происходит частичная утрата активности данного гена, а на уровне фенотипа определенное снижение умственной активности. При числе повторов 200-250, активность гена полностью блокируется и возникает ясно выраженная умственная отсталость. Мораль: избыток энтузиазма и доверия к статистике может привести к «статистической лжи», как писал классик генетики Иогансен.

Всегда возникает соблазн, что общепринятая концепция, которая привела ранее к большим успехам, есть единственно возможная. Остается строго следовать научному методу и особо ценить странные или парадок-

сальные факты, помня давний завет Пастера. Любителям же давать рецепты или задним числом укорять исследователей за ошибки или заблуждения, известный физик академик Мигдал [25] напоминал одесскую шутку: "Я хотел бы быть таким умным, как моя жена потом».

Литература

1. Perspectives in Genetics. (Ed.: J.F. Crow, W.F. Dove). Univ. Wisconsin Press, 2000.
2. Музрукова Е.Б. Т.Х Морган и генетика. Научная программа школы Т.Х. Моргана в контексте развития биологии XX столетия. М.: Грааль, 2002.
3. Любищев А.А. О природе наследственных факторов (Критическое исследование). Ульяновск. Изд-во УлГПУ, 2004 (факсимиле оригинальной статьи: Любищев А.А. Известия Биол.Научно-Исследов. института при Пермском Госуд. Университете.Т.4. Пермь, 1925).
4. Голубовский М.Д. Век генетики: эволюция идей и понятий. СПб.: Борей Арт, 2000.
5. Хесин Р.Б. Непостоянство генома. М.: Наука, 1984.
6. The Dynamic Genome. Barbara McClintock's Ideas in the Century of Genetics. Cold Spring Harbor :Lab.Press, 1992.
7. Polanyi M. Personal knowledge. Univ. Chicago Press. 1958. (Перев. на русском Полани М. Личностное знание. М.: Прогресс, 1985).
8. Keller E.Y. Feeling for the organism. The life and work of Barbara McClintock. Freeman and Company: N.Y.,1983.
9. Александров В.Я. Реактивность клетки и белки. Л.: Наука.1985.
10. Иогансен В. Элементы точного учения об изменчивости и наследственности. М.: Сельхозгиз. 1933. (книга стала библиографической редкостью. Она изымалась из библиотек и уничтожалась еще и потому, что перевод выполнила сотрудница Вавилова, цитолог и генетик Елена Карловна Эмме. Она была арестована в октябре 1941 г. и покончила с собой в застенках, не выдержав изнурительных допросов и идиотских обвинений. Среди обвинений были и такие — дискредитация научных достижений Лысенко, ведение вредительской работы вместе с академиком Вавиловым).
11. Френкель В.Я., Чернин А.Д. Гамов в Новом свете. Российская научная эмиграция. Двадцать портретов. М. 2001. (Френсис Крик писал, что именно идея Гамова помогла ему найти скорректированную форму кода, которая оказалась правильной (gamow.wikipedia))
12. Бабков В.В. Московская школа эволюционной генетики. М.: Наука. 1985.
13. Дарвин, Ч. Прирученные животные и возделанные растения. СПб, 1900.
14. Jacob F. The stature within. An autobiography. N.Y.: Basic books Inc., 1991.
15. Roll-Hansen N. The holistic tradition in twentieth century genetics. Wilhelm Johannsen's genotype concept. I. Phys.2014; 592(11):2431-3438.

16. Golubovsky M.D. The unity of the whole and freedom of parts: facultativeness principle in the hereditary system. Вавиловский ж- генет. селекции. 2012; 15(2):423-431.
17. Светлов П.Г. О целостном и элементаристском методах в эмбриологии. Архив. анатомии, гистологии, эмбриологии, 1964; 46(4):3-26.
18. Корочкин Л.И. Введение в генетику развития. М.: Наука 1999.
19. Филипченко Ю.А. Эволюционная идея в биологии (Третье издание). М.: Наука.1977.
20. Goldschmidt R.B. The material basis of evolution. N.Y. 1940 (Reprinted edition with introduction of St.Gould). Yale Univ.Press, 1982.
21. Jacob F., Monod J. Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins. J.Mol. Biol. 1961; 3:318-356.
22. Gerhardt J., Kirshner M. Cells, Embryos and Evolution. Mass.:Blackwell Science Inc., 1997.
23. Green M.M. Annals of mobile DNA elements in Drosophila. In: The dynamic genome Barbara McClintock's ideas in the century of genetics. Cold Spr Harb .Lab. Press. 1991.
24. Стент Г. Об открытиях преждевременных и неповторимых. В кн.: Краткий миг торжества. М.: Наука, 1989.
25. Мигдал. А. Отличима ли истина от лжи. Наука и жизнь. 1982; 1:60-67.



Эдуард Бормашенко

ЛИШЬ ТОЛЬКО ЗАПИСАВ РЕЗУЛЬТАТЫ...

בס"ד

Я расскажу об удивительном научном наблюдении, настолько странном, противоречащем интуиции и здравому смыслу, что хочется объявить его в лучшем случае курьезом, а в худшем, досужим вымыслом околонучных ротореев, любящих порассуждать о неопознанных летающих половниках и целительных свойствах живой воды, заряженной Аланом Чумаком. А между тем, это наблюдение приводит к очень глубоким и далеко идущим результатам, как научным, так и гносеологическим. Речь пойдет о Законе Бенфорда.

История эта давняя. Саймон Ньюком, работая с таблицами логарифмов (нынешнее студенты, слава Б-гу, незнакомы с этим литературным памятником; его похоронил карманный калькулятор), заметил в 1881 году, что страницы таблиц, содержащие логарифмы чисел, начинающихся с единицы, куда более засалены и истрепаны, нежели иные страницы таблиц. И далее по нисходящей. А страницы, на которых разместились логарифмы, стартующие с «девятки» и вообще чистеньки, как новенькие. Другой прошел бы мимо этого странного наблюдения, не задержав дыхания; другой, но не Саймон Ньюком. Саймон Ньюком, был личностью, более чем замечательной. Автодидакт, он оставил заметный след в астрономии, экономике, статистике, измерил скорость света с непостижимой для его времени точностью, писал фантастические романы.

И мимо своего странного закона истрепанности таблиц логарифмов Саймон Ньюком без внимания не прошел. Тысячу раз прав Александр Воронель, когда говорит, что ремесло ученого требует наблюдательности и изобретательности. Так вот, я полагаю, что наблюдательность даже и важнее. Ньюком формулирует следующее утверждение: в списке случайных статистических данных, вероятность того, что первой цифрой окажется единица составляет приблизительно 30 %, а не ожидаемые 11 % (ноль не в счет, без нуля цифр в десятичной системе — девять, так что, если вероятности попадания цифр на первую позицию равны — то они составляют примерно 11%) [1].

От этого заявления на версту тянет безумием. Ну, чем единица лучше двойки или семерки? А ничем. Посему следует ожидать равной вероятности появления цифр десятичной системы на первой позиции.

Как и многие другие хорошие вещи, наблюдение Ньюкома было забыто на полста лет, и переоткрыто в 1938 г. американским физиком и статисти-

стиком Фрэнком Бенфордом, исследовавшим со старомодной научной скрупулезностью полоумный набор статистических данных, включавших высоты американских небоскребов, площади озер, физические константы и биржевые сводки. Бенфорд показал, что наблюдение Ньюкома выполняется с неожиданной точностью: единица упорно лезет на первое место, вытесняя другие цифры десятичной нотации [2]. С тех пор, этот закон именуется законом Бенфорда, что вообще говоря, несправедливо. В военные годы было не до Бенфорда, потом все гонялись за бомбами и спутниками, но вот совсем уж недавно, интерес к закону Бенфорда, неожиданно возродился.

А дело было так: один дошлый аудитор проверял бесконечные налоговые отчеты громадной американской компании, и учуял в них нюхом бухгалтерской ищейки неладное, фальсификации. Аудитор славно учился в Университете, и, зная о существовании закона Бенфорда, проверил представленные ему таблицы данных, и установил, что первые цифры в колонках распределены равномерно. С этого момента аудитор не сомневался — отчет фальсифицирован. Жулики, по невежеству своему, разумно предположили, что распределение первых цифр должно быть равномерным.

Скандал был большой. Фирма требовала привлечь аудитора к ответственности, ведь закон Бенфорда — эмпирическое наблюдение, не более того, никем не обоснованное и недоказанное. Аудиторская фирма резонно отвечала, фальсификации никак не связаны со справедливостью закона Бенфорда, он лишь помог их выявить.

С тех пор закон Бенфорда был успешно применен для выявления подделок на выборах в Иране, в отчетах Греции Евросоюзу, изрядно усложнив жизнь жуликам и прохиндеям. А, между тем, строго математически закон Бенфорда остается недоказанным, хотя многие большие математики серьезно брались за дело [3]. Экспериментаторы тоже засучили рукава и обнаружили, что закон Бенфорда выполняется в статистических данных о популяционной динамике народонаселения, данных о закупках через eBay, мощности пульсаров, генетической информации [4-10].

Мы с супругой недавно не поленились показать, что закон работает в инфракрасных спектрах полимеров [11]. Заметим, что, разумеется, закон Бенфорда работает не всегда. В телефонном справочнике вы его не обнаружите.

Как же обосновать это странное наблюдение? Где его корни? Разные гипотезы выдвигались математиками и физиками. Но вот недавно мой коллега профессор Геннадий Вайман показал прелюбопытную вещь — закон Бенфорда отражает свойства *десятичной позиционной системы счисления* (в позиционной системе значение цифры напрямую зависит от ее положения в числе) [12]. Я не буду забивать мозги читателей тонкостями и деталями доказательства. Для меня важнее философский урок, следующий из работы Ваймана.

Допустим, я записываю на листик текущие биржевые сводки. Предположим, эти данные совершенно хаотичны, неупорядочены. Но записывая их, я, не задумываясь, прибегаю к заученной с детства десятичной системе счисления. И записанные мною данные, уже не вполне хаотичны. В них бу-

дет выполняться закон Бенфорда, навязанный позиционной системой; единица с вероятностью в 30 %, расталкивая остальные цифры, ползет на первое место. Из хаоса данных рождается порядок. Упорядочение возникает от самого факта применения позиционной нотации. Записанные в ней биржевые котировки уже не вполне хаотичны, в записи наличествует порядок, продиктованный системой счисления (она может быть и не десятичной).

Квантовая механика уже приучила нас к тому, что сам факт измерения меняет поведение физической системы. Закон Бенфорда учит, вдобавок, вот чему: лишь только записав результаты измерений в позиционной системе исчисления, мы уже их упорядочиваем. Перед нами не курьез, а небанальное наблюдение, осмысление которого ведет довольно далеко.

Напрашивается вопрос: а почему из всех систем исчисления выжили только позиционные, вроде бы, изобретенные вавилонянами; ведь были в истории и иные системы — непозиционные, например, хорошо нам известная — римская? Быть может, потому что позиционные системы обеспечивают минимальное усилие необходимое для осмысления численных данных, они, попросту, наиболее удобны. Но это, разумеется, — чистая спекуляция.

Источники

- [1] S. Newcomb, Note on the frequency of use of different digits in natural numbers, *Am. J. Math.* 4 (1881) 39-40.
- [2] F. Benford, The law of anomalous numbers, *Proc. Am. Phil. Soc.* 78 (1938) 551-572.
- [3] A. Berger, T.P. Hill, Benford's law strikes back: no simple explanation in sight for mathematical gem, *The Math. Intelligencer* 33 (2011) 85-91.
- [4] J-C. Pain, Benford's law and complex atomic spectra, *Phys. Rev. E* 77 (2008) 012102.
- [5] T.A. Mir, The law of the leading digits and the world religions, *Physica A* 391 (2012) 792-798.
- [6] M. Sambridge, Benford's law in the natural sciences, *Geo. Phys. Res. Lett.* A 37 (2010) L22301.
- [7] J.L. Friar, T. Goldman, J. Pérez-Mercader, Genome sizes and the Benford distribution, *Plosone* 7 (2012) e36624.
- [8] J.L. Hernandez Caceres, First digit distribution in some biological data sets. Possible explanations for departures from Benford's Law, *El. J. Biomed.* 1(2008) 27-35.
- [9] L. Shao, B.Q. Ma, Empirical mantissa distributions of pulsars, *Astrop. Phys.* 33 (2010) 255-262.
- [10] D. E. Giles, Benford's law and naturally occurring prices in certain ebaY auctions, *Applied Economics Lett.* 14 (2007) 157-161.
- [11] Ed. Bormashenko, Ye. Bormashenko, *et al.*, Benford's Law, its applicability and breakdown in the IR spectra of polymers, *Physica A*, 444 (2016) 524-529.
- [12] G. Whyman, E. Shulzinger, E. Bormashenko, Intuitive considerations clarifying the origin and applicability of the Benford law, 2015, ArXiv: 1510.07220.



Анатолий Вершик

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ ОБ АРНОЛЬДЕ*

1.

Если слово "лидер" имеет какой-нибудь смысл в науке, то им надо назвать В.И. Арнольда. Огромный природный талант, потрясающая убедительность, разностороннее видение предмета и, может быть, главное для лидера — умение увлечь своими задачами сильное окружение — все это в избытке было у него. Из поколения математиков, родившихся в 30-40-х годах ему, наверно, в наибольшей мере удалось сыграть трудную роль — стать не просто первоклассным ученым, но идеологом большей части международного математического сообщества. Влияние его идей было исключительно сильным. Теория особенностей, которую он привез из Франции в середине 60-х гг. в его трудах и в его руках стала сильнейшим принципом во всем математическом анализе, понимаемом самым широким образом. Теорию динамических систем — от малых знаменателей и гамильтоновых систем — до эргодической теории и гидродинамики, ему удалось вывести на новый уровень, что бы сейчас ни говорили о пунктуальности его рассуждений. Цикл задач вещественной алгебраической геометрии появился на свет благодаря его пионерским наблюдениям над работами классиков и их последователей, новизна этих наблюдений, возможно, была наиболее весомой после постановки 16-й проблемы Гильбертом. Можно продолжать этот список и дальше. Очень важна концептуальность его подхода к математике. В этом, как мне кажется, он следовал не столько своему основному учителю А.Н. Колмогорову, сколько В.А. Рохлину (и моему учителю), с которым он долгое время дружил. В чем-то он был сдержан, например, он чуть ли не нарочито отодвигал алгебру как философию математики; он любил говорить, что он занимается Анализом. При этом очевидно, что его знания алгебры были очень серьезными. Он вообще обладал потрясающей способностью быстро учиться новому, и выучил массу новых для себя вещей уже в зрелом возрасте. Поразительной была скорость, с которой он адаптировал новые сообщения и укладывал их в какой-то один из своих контекстов.

Но все же взаимоотношения с алгебраическим циклом были им построены, особенно во второй половине жизни, неправильно. Может быть, именно это, а не методические причины, сделали его столь жестким противником Н. Бурбаки. И та страстность, иногда преувеличенная, с которой он это делал, отодвинула от него многих математиков, которые до этого

были безусловно заинтересованными слушателями его концепций. Конечно, роль Бурбаки и его воздействие на обучение математике во Франции и в мире, он, как мне кажется, сильно преувеличивал. И я не вижу противоречия со всей остальной его философией, если бы алгебра заняла в его универсуме надлежащее место.

Он не без основания говорил, что он (как и его учитель) не "чистый математик", а экспериментатор или естествоиспытатель и сравнивал свои списки особенностей с гербариями и коллекциями бабочек. В этих словах была не просто поза, но подчеркиваемое им и позже желание видеть математику ближе к ряду экспериментальных наук (с чем я не согласен. А.В.).

Так или иначе, результаты его научной и общественной деятельности, созданная им научная школа, калибр его личности ставит его в ряд самых крупных ученых нашего времени.

2.

Некоторые концепции его были действительно яркими. Помню его программу начала 70-х гг. "Локальные задачи анализа", которая начиналась с неоспоримых, но в общем-то новых или, во всяком случае непрокламиранных до того, принципов.

А именно, он блистательно разгромил огромный массив из "наверное 1000 работ" в которых хаотически (т.е. без понятия общности положения, без учета коразмерностей и т.д.) изучались разрозненные случаи под названиями вроде "Об одном свойстве одного частного случая одного уравнения." (Один мой друг в качестве протеста против такой "глобализации" именно так и назвал свою работу. А.В.) Это наступление имело, хотя и безусловный, но вполне понятный успех. В этой программе был, на мой взгляд, обязательный для большой математики принцип: увидеть общий подход к мозаике конкретных задач из некоторого широкого класса. Теория особенности осуществляет такой принцип.

На меня и, по-моему, на многих, произвела сильное впечатление высказанная им в 60-х годах идея, которую совсем кратко можно выразить так: уравнение Эйлера для волчка и уравнение Эйлера движения идеальной несжимаемой жидкости — это одно и то же. Помню, что мы с ним (конец 60-х) тогда обсуждали вопрос — насколько мог это понимать сам Эйлер. Этого мы никогда не узнаем, но формулировка динамики на самой общей группе Ли с квадратичным гамильтонианом принадлежит Арнольду, и сюда включается также поставленная им совсем классическая задача о движении волчков в старших размерностях.

Он подхватил около того же времени и развил классическую идею топологической интерпретации глубоких фактов о группах как о фундаментальных группах и цикл его работ и его последователей о группах кос — прекрасная глава математики 60-х гг.

Помню, как в 1970 году или чуть раньше В.А. Рохлин сказал мне и где-то написал, что "Арнольд заразил меня своим энтузиазмом". Это относилось к другой концепции Арнольда — к вещественной (с точки зрения комплексной) алгебраической геометрии, в которой после этого произошло столь много замечательных событий.

Я не буду продолжать этот список, он очень длинен. Близкая мне динамика и эргодическая теория, конечно же, в этом списке. Ниже я скажу специально про комбинаторику — пожалуй, о последнем его интересе.

Не является загадкой авторство огромного количества его работ, но в большей степени загадка в том огромном количестве опубликованных им задач, которые он любил регулярно формулировать. В самом стиле этих задач есть отклик олимпиадных традиций, которые он любил и этого не скрывал. Почти все его задачи просты по постановке и глубоки по содержанию, почти не было пустых задач. Его любовь к конкретности и к выбору "самого простого из нетривиального" по данной теме, в противоположность выбору "самого общего по данной теме" соперничала, хотя и не противоречила упомянутому выше стремлению к универсальности. Было бы интересно с этой точки зрения посмотреть хотя бы часть его задач из задачника. Поражал запас конкретных примеров и ситуаций, которые он мог предъявить по каждой из обсуждаемых тем. Я всего только несколько раз был на его семинаре, и, думаю, что постоянные члены семинара должны бы написать об этом и сделать неформальный анализ этого потока.

3.

В.И. Арнольд (далее Дима) всегда занимал значительное место в моих размышлениях о математике и ее людях.

Мы виделись не так часто, и разговоры были не очень длинными, но кроме личных встреч я наблюдал его на докладах, конференциях, а главное, читал его работы (быть может, почти все, но, конечно, многие — бегло). **

Нас познакомил В.А. Рохлин, по-моему, во время или после ленинградского математического съезда (1961 г.). Мне запомнился его тогдашний почти юношеский облик, он делал доклад на съезде о малых знаменателях. В Ленинград сначала В.А. Рохлин, а потом долгие годы я, приглашали его для докладов на Обществе или на семинарах наверно чаще, чем всех других приезжих. Несколько раз (например, на рохлинские юбилеи в '69 и '79 гг. и другие конференции) он приезжал на несколько дней. Доклады его собирали огромную аудиторию, и ожидания публики никогда не были напрасными. Он был один из лучших математических докладчиков, каких я знаю. Свобода владения материалом, быстрый и живой язык, а главное, глубокое содержание, и никакой "воды" — вот его внешние качества как докладчика.

Все в целом за долгие годы складывалось в некоторую картину, образ. Важно, что все основано на впечатлениях разных лет, по разным поводам, и они всегда непосредственны: я не пишу о том, что знаю по рассказам.

Разница в наших возрастах небольшая — мы принадлежим с ним к одному поколению, поэтому я должен начать рассказ о нем — выдающемся представителе этого поколения — с двух слов о самом поколении. По очень точному выражению И. Бродского (он чуть моложе нас, но это несущественно), "... мы пришли на вытоптанную площадку". Хотя он имел в основном в виду литературно-поэтическую "площадку", но это выражение относится и к науке, и к тогдашней жизни вообще, если иметь в виду преемственность поколений. В математике преемственность также была нарушена, хотя и не так сильно, как в других науках. Причина — колоссальные потери талантов во время войны и в различных формах советских чисток (в математике меньше, чем в среднем по стране). Разрыв в возрасте между нашим поколением (рождения в 30-х гг.) и поколением, родившимся в 1900-1910 заполнен очень слабо. Но дело не только в этом.

Во второй половине 50-х гг. — времени, когда наше поколение созревало и начинало, обнаружилась пропасть, внезапно открывшаяся перед нами. Лживость советской жизни, запреты на живую мысль и на интерес к открытому миру стали очевидными для нас. Мы поняли, что мир совсем не таков, каким он представлялся и каким нам его представляли в нашем детстве и юношестве. Мы поняли, что лучшие представители предыдущего поколения (сохранившиеся после войн и чисток и пережившие времена тотального страха) запуганы, что их личности в значительной мере деформированы, они осторожны и не говорят, о чем нельзя говорить, а говорят не всегда то, что думают. Может быть, именно поэтому их преданность науке и своему делу, которую они передавали и нам, была особенно сильна и искренна, она заменяла им те интеллектуальные интересы, которые в советское время были исключены. Поколению 50-х годов предстояло выбирать свою парадигму в науке и в жизни. Разумеется, этот выбор был личный и очень разный. Я часто цитирую фразу, которую, по словам Димы, произнес его учитель А.Н. в середине 50-х: "Появилась надежда" — в ответ на димин вопрос, почему А.Н. только тогда занялся такими классическими задачами ("Малые знаменатели" и др.). Роль этого признания трудно переоценить. Нам было проще и надежд был уже больше. Поэтому мы должны и понимать больше.

Я думаю, что на Диму, как и на меня, большое влияние оказала дружба (в основном в 60-е годы) с замечательным математиком В.А. Рохлиным — моим и, отчасти, диминим учителем, который был нетипичным представителем предыдущего поколения. Ссылная семья, расстрелянный во времена террора отец, блестящеехождение обучения в МГУ, ополчение, немецкий плен, советский проверочный лагерь, освобождение после письма в МГБ А.М. Колмогорова и Л.С. Понгрягина, недолгая работа в МИАН, изгнание оттуда во времена борьбы с "космополитизмом", про-

винциальные университеты, и, наконец, относительно регулярная научная жизнь в Ленинграде до инфаркта 74 года, и преждевременной отставки.

Воспоминания Арнольда о Рохлине — замечательный, ярко написанный очерк — см. сборник В.А. Рохлин. "Избранные работы", под ред. А. Вершика, второе издание, 2009 г. МНЦМО. (К сожалению, воспоминания из этого сборника не переведены на английский язык, а надо бы). В очерке отчетливо видны симпатии Димы к В.А. и роль последнего в формировании диминых взглядов на математику и жизнь.***

Мы редко вели с Димой разговоры на общественно-политические темы, в основном потому, что и так было ясно, что оценки одинаковы. Помню, как в ИНЕС мы мирно беседовали о математике, время от времени утихомиривая Элю и Ригу, споривших в другой комнате о политике. Принцип главенства науки у него выдерживался полностью, и он не хотел участвовать в том, что могло бы помешать следованию этому принципу. История с подписанием письма в защиту Есенина-Вольпина (67 год) показала, что времена "страха" в стране далеко не завершились. Подписав его, а потом, уступив просьбам очень уважаемого им и много сделавшего для него И.Г. Петровского, забрав подпись, Дима, на мой взгляд, повел себя естественно. Все равно факт подписания письма украшает подписавших, провизивших пусть на время гражданскую смелость.

4.

В его поведении и облике часто проявлялась какая-то юношеская наивность и страстность. Это не ушло, хотя и смягчилось, с годами. С одной стороны он не хотел мириться с обманом, и с тем, что ему казалось аморальным.

Дима помогал и помог очень многим людям, включая своих учеников, обиженным или незаслуженно забытым. В этом он был неукротим. Он демонстративно вышел из состава Ученого Совета мехмата в конце 90-х после постыдного провала защиты кандидатской диссертации одного из диминых аспирантов, устроенного известной частью этого Совета. Но часто он не видел (или не хотел видеть) не предполагавшихся последствий своих действий или разоблачений, подчас противоположных его намерениям. Иногда слишком наступательная защита незаслуженно обиженных может помешать им еще больше, а особенно острая атака на сильных мира сего, наоборот, помогает им набирать очки в их карьере. Его реакции и действия вполне объяснимы, если бы они происходили в нормальном общественном климате, но они не всегда уместны, если этот климат деформирован. Может быть, некоторая его агрессивность в следовании своим принципам как раз и объясняется честностью. Однако когда я как-то заметил ему, что рассматриваю его стремление, обязательно высказывать свое

мнение, этой честностью, выражающейся в словах: "Если я что-то думаю об этом человеке, деле и т.д., то я должен это высказать открыто", то он возразил: "Я твое фрейдистское объяснение не принимаю". С другой стороны, иногда его реакции выглядели наоборот слишком лояльными.

5.

Знал и читал он невероятно много, и память у него была исключительная. Он обдумывал историю науки и составлял свои концепции истории. Он может и должен рассматриваться как оригинальный (хотя и непрофессиональный) историк науки (сейчас по сходному пути идет М. Громов). Статьи Арнольда о И. Ньютоне, А. Пуанкаре, А.Н. Колмогорове и др. читаются как материал о самых свежих событиях. Помню, я его пригласил в Петергоф в только что открытый новый матмех, прочесть лекцию. И попросил угадать, каких математиков разместили на фронтоне здания матмеха. Он угадал всех кроме двоих или троих и тут же раскритиковал большую часть выбора. Вообще у него были свои любимые герои в истории математики, и они почти не менялись со временем. Позже у него возникали не раз aberrации по этому поводу. Из-за этого возникало много споров. Но, если возможны разные мнения о событиях давних лет, то иное дело, когда речь идет о недавнем. Вот маленький, но характерный пример: Дима неоднократно писал и говорил, что о моих работах про диаграммы Юнга он узнал от Линника; но Линник не мог рассказывать Диме про диаграммы, так как умер до того, как я занялся этим, Линник рассказывал ему про мои работы о статистике подстановок, которые он представлял в "Докладах". Но убедить Диму в этом мне так и не удалось, и свидетельством этого была его статья, посвященная мне в сборнике AMS 2006 г., написанная, правда, в несколько шуточной манере. Ответную мою шуточную статью в "Функц. анализе" он уже не мог прочесть. Он умел шутить и быть едким, но и принимал шутки над собой. Как-то я после нашей долгой беседы у него в Париже, и последующего чтения одной его платформ ("Математика есть дешевая часть физики"), я написал пародию на его текст. Он не только принял пародию, но даже упомянул ее в следующей статье в УФН. Помню, что писал пародию я в самолете, а когда прилетел в Россию, узнал о страшной велосипедной катастрофе, происшедшей с ним. Почему-то я не сомневался, что он выйдет из нее благополучно. Но тем ужаснее было узнать о его совершенно неожиданной (для меня) смерти через 10 лет.

Поскольку мы с Ригой часто и подолгу бывали в Париже в 90-е годы, мы бывали у Димы с Элей. Удивительно, как он знал и любил Францию. Ни у кого из моих знакомых французов я этого не видел. Он тщательно изучал ее историю, а Париж знал так, что гулять с ним по Парижу было просто утомительно - так много он мог сказать о каждом месте в латинском

квартале и других местах. Я забыл, у кого из французских математиков он сидел дома и изучал историю Парижа, кажется у Серфа.

История с эпиграфом к "Евгению Онегину" сейчас хорошо известна, это ведь тоже история про Францию. Он опубликовал заметку в "Известиях АН СССР, серия филологическая" про цитату из Шодерло де Лакло (из широко известного романа "Опасные связи"), которая и была источником пушкинского эпиграфа, чего не заметили самые дотошные пушкинисты. Он просил меня узнать в Ленинграде в Пушкинском Доме, что известно на эту тему. Я узнал только, что ничего не известно. Потом уже известная пушкинистка, ученица Ю.М. Лотмана из Тарту (б. чемпионка СССР по шахматам Л. Вольперт) написала ему, что его фраза в заметке (это был его тонкий ход), что он "как математик, более верит здравому смыслу, чем доказательствам, и поэтому думает, что Пушкин использовал именно эту фразу из Шодерло де Лакло, хотя прямых доказательств у него нет", слишком скромная, и, на самом деле, он дал полное доказательство этого, и поэтому может заслуженно считаться автором решения старой проблемы в пушкинистике.

6.

Мне казалось, что Дима интересуется моими результатами. В начале это было, по-видимому, благодаря рассказам В.А. Рохлина (а позже Ю.В. Линника и м.б. И.М. Гельфанда — точно этого я не знаю, и спросить уже не у кого.) Позже мы по несколько раз в году встречались и долго разговаривали. И каждый наш разговор обязательно наводил меня на новые связи и ассоциации. Такие плодотворные беседы по существу мало с кем мне доводилось вести. При этом мои темы часто были далеки от него. Я бы мог привести совсем конкретные примеры, но вряд ли это имеет смысл делать здесь. Многие свои работы я писал, мысленно представляя себе кого-то в качестве "главного" будущего читателя, и очень часто в качестве такого читателя автоматически выбирался Арнольд. Наши вкусы далеко не во всем совпадали, и я знал, какие вещи не вызовут у него энтузиазма. Но было много задач, которые нравились нам обоим. И, в частности, это относилось к комбинаторным и асимптотическим задачам. Среди них задачи, называемые "limit shape problem", которые я усиленно пропагандировал начиная с 70-х гг., встречая его разнообразную поддержку. Про одну хочу рассказать.

Дима прочел в "Notices AMS" одну заметку и, увидев в ней вопросы, о которых я ему рассказывал задолго до этого, написал мне, что авторы почему-то не цитируют меня, и, если я не возражаю, он напишет об этом письмо редактору. Он писал, что это не единственный случай, когда работы наших авторов не цитируются, а иногда хуже того, игнорируются

принципиально. Я знал об одном случае с его бывшим учеником, работы которого он очень ценил, и ответил ему, что если он будет писать об этом случае, и если заодно он упомянет о "моей" статье, я не возражаю, хотя, на мой взгляд, это совсем не обязательно, так как я знаю этих авторов и ничего зловредного в их нецитировании нет. Через некоторое время я получаю письмо от редактора "Notices AMS" с просьбой ознакомиться с письмом В.И. Арнольда в редакцию. В нем нет ничего о других случаях нецитирования, только о моем, и статья называлась "Вершика надо цитировать" и было невероятно резким. Пришлось мне написать свое письмо в редакцию, в котором я старался сдерживать его праведный гнев и объяснить все совершенно безобидными причинами. Это и есть пример того, о чем я писал выше - его категоричность в вопросах научной этики вела к слишком жестким оценкам и в тех случаях, когда в этом не было необходимости.

Я хочу сказать о целой серии последних работ Арнольда теоретико-числового и комбинаторного характера.

Кардинальная смена научных тем ("смена кода", как говорят лингвисты) не очень типична для математиков солидного возраста, люди уже не хотят ничего менять и меняться. Но мы знаем много примеров такой смены среди как раз очень крупных математиков. Пожалуй, именно им проще других это сделать, так как их кругозор широк, опыт и техника накоплены, и идеи еще не исчерпаны. У Димы, по-моему, это случилось самом конце прошлого (20) или в начале этого века. Он явно сделал выбор в пользу дискретной математики, и в частности классической теории чисел, комбинаторики, геометрии. Разумеется, его традиционные темы оставались с ним. Я насчитал около 20 работ на новые темы. Мы никогда не обсуждали причин этой смены, но она увеличила число наших общих интересов. С присущей ему свежестью взгляда и умению видеть "открытые места" он исключительно удачно находит новые постановки в казалось бы исхоженных темах. Например, в арифметике квадратичных форм, в вариациях на тему малой теоремы Ферма-Эйлера, статистических вопросах, связанных с полями Галуа, подстановками и др. Можно найти ответы на некоторые из его вопросов в старой литературе, но главная направленность вопросов — нова и нет сомнений, что тематика будет подхвачена. Он обегал эту новизну. Вот один штрих, вполне показательный для него. Я сказал ему об одной не очень известной работе на тему о функции Эйлера, он тут же сказал, что не будет ее читать, поскольку не хочет "сбиваться" со своей линии. Он считал множество примеров. Я с трудом представляю, как это он делал (как будто бы без компьютера). Я уверен, что, если бы ему было отпущено больше времени, то из его работ последних лет, полных действительно богатейшего экспериментального материала и различных догадок, выросла бы новая теория. Но это все равно произойдет.

В последний раз мы с ним долго общались в школе Дубне в 2008 г. Он много рассказывал о своих предках, мы говорили тогда о подстановках (см. выше). А запомнилось мне странное, с оттенком черного юмора, и аб-

солотно немотивированное обстановкой выступление на заключительном собрании участников школы: о рассказе местного жителя, о том, что сомов в Волге стало мало, потому что мало утопленников, и что с этим надо что-то делать.

К слову сказать, о том, как сам он плавал, ходят легенды, а история о том, как он перешел залив около "Golden Gate Bridge" в Сан-Франциско подтверждена многими. Судьба вообще способствовала ему во многих трудных предприятиях.

После этого мы столкнулись в МИАНе на несколько минут в конце 2009 г., и он стал рассказывать о своей новой работе, которая, наверно будет мне интересной.

Эта наивность и страстность была особенно заметна в истории с журналом "Функциональный анализ" (2004 г.), о которой я не хочу здесь говорить подробно, ограничившись лишь главным. Его, понятным образом, возмущало поведение некоторых важных лиц в Академии Наук по отношению к возглавляемому им прекрасному математическому журналу, основанному И.М. Гельфандом. Арнольд был блистательным редактором, и ему нравилась эта работа. Двусмысленное поведение академии, не позволявшее журналу нормально существовать и покровительствовавшее обиранию журнала определенными людьми, возмущало многих в редколлегии журнала и меня в частности. Мы активно выступали за независимость журнала от действий мафиози. Однако, тот способ противостояния атакам на журнал, который избрал Дима (или который был подсказан ему) был абсолютно нереализуем и не разделялся многими его единомышленниками и мною; настаивать на нем было бесполезно. Наоборот, стало ясно, что он приведет к прямо противоположным результатам. Последствия были печальны, и я до сих пор считаю, что эта история сильно повлияла на настроение Димы и еще более ухудшило положение журнала. Думаю, что новый журнал, который он затем организовал, вряд ли мог быть жизнеспособным. При всей остроте полемики, — я откровенно писал ему о своем мнении, эти события никак не повлияли, даже временно, на наши с ним отношения — они остались теми же дружескими.

Приложение

Нижеследующую шутивную пародию на энергичные димины тексты о математике, о ее связи с физикой и экспериментальными науками я написал в 1999 году. Он даже процитировал эту пародию в своей статье в "Успехах физ. наук". Вообще, добавлю, что он был вполне критичен к самому себе, и что было у него в достатке — это чувство юмора.

ПОЛОМАТЕМА

"Математика делится на три части..."

В.И. Арнольд, Полиматематика.

Математика делится на мужскую, женскую и детскую. Имеется еще небольшое направление, не заслуживающее внимания, которое следует назвать гермафродитной математикой (бурбакисты и их последователи).

Большинство мужчин-математиков занимаются женской и детской математикой, а женщины-математики в основном развивают детскую математику, и только немногие ученые обоего пола способны сделать прогресс в мужской математике.

Имелись и другие попытки классификации математики. Например, недавно В.И. Арнольд разделил ее на шифровально-алгебраическую (КГБ-ЦРУ), военно-контактную (ВМФ) и военно-симплектическую (ВВФ и ракетные войска). Такое подразделение не выдерживает критики, так как, во-первых все финансирование всегда идет из одних и тех же органов, а кроме того, непонятно куда отнести топологию внутренних дел и геометрию государственной безопасности.

Другая, давно провалившаяся классификация (Германия 30-х гг., у нас — И.М. Виноградов и др.), подразделяла математику на классический анализ и национальный анализ. Но переплетение национальных судеб с одной стороны, и убогая аргументация авторов, — с другой, — свели на нет эту небезынтересную идею.

Но вернемся к нашей фундаментальной классификации по обобщенно-половому, а не (ма)тематическому признаку.

К мужской математике относятся все результаты, которые невозможно украсть без членовредительства. До последнего времени они в основном производились в России — классификация особенностей, КАМ-теория и еще несколько других. Мужской математике не страшны угрозы со стороны западных математико-мафиозных структур, которых я не называю из опасений за собственную жизнь.

Женская математика состоит по большей части из красивых, но бесполезных результатов (инварианты узлов и кос, теория овалов, проблема Ферма, априорные оценки). Как правило, такие результаты рождаются одновременно во многих местах и различить близнецов — невозможно.

Детскую математику в XXI веке будут развивать дети, но до тех пор пока математическое образование находится в руках у гермафродитов-бурбакистов, дети не смогут серьезно заниматься наукой и детскую математику (перекладывание отрезков, различные кван-

тования, случайные связи и т.п.) оккупировали взрослые математики 2-го и 3-го уровня.

Я хочу впервые отметить новый феномен перетекания мужской математики в женскую и обратно, который в зачатке существовал давно, а теперь после распада СССР и восточного блока, стал особенно интенсивным. Эти процессы можно сравнить с овеществлением и комплексификацией: в первом случае (овеществление) мужские результаты становятся женскими, но в других единицах, а во втором, более мучительном случае (комплексификация) — женские, за неимением мужских, — мужскими. В некоторых случаях, обычно это бывает с российскими математиками на Западе, эти процессы приводят, к порабощению мужской математики женской, когда мужские результаты приписываются женской математике, а их авторы получают жалование в несколько раз меньше, чем их западные коллеги.

Но совершенно не изучен еще один процесс, подобный квантернизации, (более полное название — квантосеннизацией) и связанный с переходом к двуполой математике. Как объяснял мне Пуанкаре (это же, кстати, утверждал и Харди), вмешательство компьютеров в математику может привести к переходу от гомосексуальной математики к гетеросексуальной, т.е. попросту говоря, один и тот же математик, может одновременно (используя компьютер) заниматься и мужской, и женской математикой, и даже детской. Этот процесс уже начался (ср. модную теорию квантовых компьютеров).

Остается лишь надеяться, что, после того, как наступит новая сексуальная революция, сбудется предсказание Гильберта, которое он и сам не понял, как следует, пока я не объяснил ему, — о том, что математика едина, и разделение математики и самих математиков по половому признаку станет анахронизмом.

*А. Вершик
Париж-Москва
27.3.1999*

* "Мысли об Арнольде" на английском опубликованы в книге Arnold: Swimming Against the Tide by Boris A. Khesin (Author, Editor), Serge L. Tabachnikov (Editor) в издательстве American Math. Society в 2014 году. По-русски не публиковались.

** В статье к его 70-летию я написал следующее посвящение, позднее, в Дубне в 2008 г., он процитировал его, как мне показалось с явным удовольствием:

ПОСВЯЩЕНИЕ. На 70-летию А.И. Райкина один актер, обращаясь к юбиляру сказал приблизительно так: "Некоторые и нас время от времени ходят на некоторые спектакли некоторых из своих друзей-актеров. Но ВСЕ мы, без исключения, смотрели ВСЕ Ваши программы."

Перевожу это высказывание на математический лад: "Некоторые из нас (математиков) иногда читают некоторые работы некоторых из своих коллег, но ВСЕ мы, без исключения, читаем ВСЕ работы Арнольда!"

*** Кстати, Дима, был одним из инициатором первого издания этой книги – 1999 г. Именно В.А. фактически способствовал нашему первому с Димой знакомству в 1961 г. До этого я видел его бегло на математическом съезде 1956 г. в Москве. А оценку из уст А.Н. Колмогорова услышал в 1957 г., когда А.Н. приехал для прочтения нескольких лекций в Ленинград. "Наиболее сильный математик в этом поколении" – сказал А.Н. рассказывая о цикле работ про суперпозиции.



Сергей Носов

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ КАК «ФОРМУЛА ЛИТЕРАТУРЫ»

Мы не собирались создавать строго научное или особо наукообразное сочинение, обращаясь к заявленной в заглавии проблематике. Однако, поскольку тема данного эссе с виду способна и озадачить, и даже показаться эдакой клеветой на нашу славную литературу, то начнем мы это эссе — для разъяснения темы — все же с цитаты из медицинской статьи справочного характера: «Очень многие люди склонны думать, что галлюцинации могут возникать только у людей с нездоровой психикой, белой горячкой, или под действием наркотического угара. Но это далеко не так. Возникновение галлюцинаций достаточно сложный процесс, обусловленный самыми разнообразными причинами, и их наличие совсем не означает, что человек чем-то болен... Галлюцинации, возникающие у здоровых людей, чаще всего называют иллюзиями».

В свете выше приведенной цитаты, думается, вполне понятно, что как особая форма грез и иллюзий видения, наваждения и «генетически» весьма близкие к ним галлюцинации легко могут становиться своего рода властным энергетическим потоком, питающим художественную литературу.

Эти галлюцинации, видения и наваждения в сравнении с обыкновенным вымыслом, обладают как бы особой духовной плотностью и особой реальностью, реальностью «тонкой материи» духа, которой буквально пропитаны все психофизические процессы, не сводимые к грубо к явлениям грубо материального мира и простой физиологии.

Вспомним концовку «Приглашения на казнь» Владимира Набокова: «Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба. Все расплзлось.»

Это — исполненная впечатляющего натурализма картина исчезновения, «расползания» в никуда именно наваждения, галлюцинации, которой, собственно, и был весь мир фантастической тюрьмы, описанный Набоковым в «Приглашении на казнь» во всех подробностях и с утонченным мастерством.

Где как ни в «бесовском» наваждении или «в объятиях» властной галлюцинации можно увидеть такую, например, сцену — вальс обречен-

ного на казнь героя со своим тюремщиком: «...тюремщик Родион вошел и ему предложил тур вальса. Цинциннат согласился. Они закружились...» А, ведь, этой, невольно запоминающейся «картинкой», набоковское «Приглашение на казнь» едва ли не начинается — услышав свой приговор, его герой, Цинциннат, едва вернувшись в свою камеру, упоенно вальсирует со своим стражником и лишь жалеет, что «так кратко было дружеское пожатие обморочка», пережитое в фантастическом этом вальсе.

Причем, наваждение, галлюцинация в набоковском художественном исполнении — отнюдь не фарс и не литературная игра, а затягивающая в себя мучительная реальность, только с виду красочная, а на самом же деле безнадежно мрачная как и любой кошмар и отчетливо напоминающая кое вопиющее бесовское колдовство, неумолимо «обволакивающее» героя-жертву.

Собственно, любое колдовство тоже есть своего рода галлюцинация, которая в итоге волшебной магии является на смену грубо и плоско материальному миру вместе с характерным для этого мира трезвым «рассудочным» сознанием.

Это мы отчетливо видим, например, в «Петербургских повестях» Гоголя и, в частности, в «Невском проспекте». Околдованный неизъяснимой дьявольской красотой распутной красавицы гоголевский герой, художник Пискарев, «носивший в себе искру таланта», трагически покончил с собой: «Бросились к дверям, начала звать его, но никакого не было ответа; наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом.»

Таково колдовство красоты. И можно твердо сказать, что галлюцинацию, вызываемую чарами сладостной и мучительной красоты, Гоголь изобразил не только ярко, но и очень реалистично.

Между прочим, далеко не случайно, что именно Гоголь, ослепительной женской красоты действительно, на наш взгляд, суеверно боявшийся, на редкость ярко высказал эту фантастическую, можно сказать, галлюцинаторную в самой своей навязчивости мистическую «идею-ощущение» — женская красота губительна и распутна.

Характерно даже и то, что в преддверии самоубийства гоголевский Пискарев находится во властных и мучительных объятиях именно наваждения, галлюцинации: «...сновидения сделались его жизнью, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне.»

Отметим и следующее: как у Гоголя, так и у Набокова видение, наваждение и галлюцинация есть своего рода апофеоз заполняющих всю жизнь без остатка «извращений души».

Так, в «Приглашении на казнь» Набоков рисует явно извращенный и извращенческий мир — рисует с затаенным упоением.

Например, об извращенно-патологической «идиллии» Цинцинната с его тюремщиком, Родионом, мечтательно и изощренно сказано: «У Ро-

диона были васильковые глаза и, как всегда, чудная рыжая бородача... Родион, обняв его как младенца, бережно снял, — после чего со скрипичным звуком отодвинул стол на прежнее место..., а Цинциннат ковырял шнурок халата, потупясь. Стараясь не плакать.»

От этих витиевато-ласкательных строк становится отчетливо мерзко на душе — галлюцинация воплотившейся в «плоть и кровь» жизни вопиющей мерзости настолько явственна и ощутительна, что ее, кажется, можно даже потрогать...

Гоголь в сравнении с Набоковым в своей художественной трактовке наваждений-галлюцинаций целомудреннее, пожалуй, даже возвышеннее.

В «Невском проспекте» Гоголя среди наваждений-галлюцинаций есть все же отблески какого-то света — как бы отзвуки неведомого чуда, несказанной гармонии, возвышенной и светлой тайны, хотя реально свидетельствуют они вовсе не о прекрасном, а таят в себе лишь одно единственное — обман и пошлость.

Но пошлость — все же паскудство, а у Набокова в «Приглашении на казнь» мы видим как раз торжествующее, упоенное собой паскудство, принявшее облик колдовского наваждения-галлюцинации, которой, несомненно, и является вся описанная Набоковым в «Приглашении на казнь» история пресловутой неудавшейся «казни» Цинцинната.

Показательно, что течением исторического времени галлюцинации-наваждения, отраженные в художественной литературе, как бы духовно деградируют — жутко-извращенного в них становится все больше и больше.

Исторические горизонты в XX веке становились все мрачнее и мрачнее, — и литература послушно и зеркально отражала это.

У Андрея Платонова в «Котловане» злым наваждением становится буквально все им изображаемое. Собственно, никакой «яви жизни» в «Котловане» уже и нет: явью становится откровенная галлюцинация — люди роют и роют котлован-могилу сами себе.

Уже и саму здоровую, осмысленную и полноценную жизнь можно назвать в контексте «Котлована» лишь галлюцинацией, а отображенная Платоновым так называемая реальность — просто запредельна, недоступна для постижения здравым умом, как естественным образом запредельны «художественные детали» подлинного ада, где грешники «поджаривают» сами себя на огне всепожирающей страсти, веря при этом в счастье, расцветавшее из пепла их загубленных жизней.

Известно, что «пограничные» состояния сознания — между сном и бодрствованием, полуобморочным трансом и уравновешенным «резвоумием», даже между психической и сумасшествием — очень часто обнаруживают в человеке «сверхспособности»: повышенную восприимчивость к телепатии, обостренную интуицию, элементы ясновидения и пр. Эти состояния используют врачи-психотерапевты и профессиональные маги, стремясь вызвать у своих клиентов-пациентов галлюцинации своего

(или их) уже, якобы, реализованного намерения в целях последующей действительной материализации этого намерения в физической жизни...

В известном смысле подобную материализацию наваждений-галлюцинаций мы нередко наблюдаем и в художественной литературе.

И мы всерьез можем назвать истинного писателя-творца магом или волшебником, каковыми, кстати сказать, некоторые выдающиеся писатели (тот же Набоков, например) себя втайне и считали.

Только всегда ли являются писатели такими, уж, добрыми волшебниками, милыми чудесниками, славно «насылающими» на читателя светлые колдовские чары своих добрых и милых чудес? — Едва ли. Ведь, взял, да, и создал уже в зрелые годы Набоков свою знаменитую теперь на весь мир «Лолиту» — выпустил в мир свою двенадцатилетнюю «фею любви», обворожительно греховную до умопомрачения... И все теперь, вопреки уголовным законодательствам разных стран мира и всеобщей праведной борьбе с педофилией, в это наваждение, как зачарованные, верят и верят — фильмы про «Это» или о том «Как Это было» снимают, сами себя Лолитами называют и играют в то, что их, таких нежных, хрупких и маленьких, соблазняют здоровенные дяди с большими усами (и не только усами)...

И зачем все это было «измыслено» таким, несомненно, ярким и необычайно умным писателем как Набоков? Да, и не просто «измыслено», а выпущено в мир как гипнотически действующая галлюцинация, вскоре ставшая вполне массовой в силу свойственной ей необычайной «духовной плотности», почти материальности.

Ну, что ж, приходится теперь жить и с тем, что множатся у нас уже и Лолиты... Делать нам с этим уже нечего — искусство есть искусство, магия есть магия, а колдовство есть колдовство. И сила «оних» огромна.

Мы подозреваем, между прочим, то многие художники слова так или иначе (сознательно или бессознательно) пользуются своей неординарной, иногда просто необычайной духовной энергетикой в творчестве, внедряя ее в создаваемые ими образы, как бы пронизывая ею свои произведения. И это не всегда замечательно, а порой — небезопасно для читателя в духовном плане, может «заразить» или околдовать как «флюидами» красоты и добра, так и «испарениями» уродства и зла.

И художественное творчество тогда становится откровенной разновидностью магии.

Вспомним хотя бы роман Достоевского «Бесы».

Откуда взял Достоевский, что революционеры намеренно творят одно лишь зло и злонамеренно утверждают «царство зла» под прикрытием идеалов добра, являясь в действительности самими настоящими, самыми реальными бесами? Из знаменитого тогда нечаевского дела с убийством студента Иванова в «эпицентре»? Вряд ли. Это был, конечно, живописный и крайне мрачный эпизод русской революционной истории, но не более того. Героизма, благородства, идеализма и самопожертвования «ради

блага народного» многих и многих сотен русских революционеров этот эпизод не отменяет.

Дело же в действительности состоит в том, что Достоевский (как и Гоголь, как и Эдгар По, Кафка и многие другие писатели-творцы) был, прежде всего, визионером и отчасти магом — был способен как художник слова видеть иную реальность, чем обычные люди, реальность духовных сущностей, духовных субстанций, окружающих материальную жизнь и отчасти растворенных в ней, а затем умел гениально воплощать эту невидимую реальность в художественной литературе.

Подобную «иную реальность», невидимую для обычного человека, Достоевский, несомненно, любил (отчасти бессознательно) и потому чаще всего и отображал. Причем, не только в «Бесах», но в той или иной мере во всем своем творчестве.

Или вспомним Блока.

Конечно, в его революционной поэме «Двенадцать» есть «бесовщина», о чем уже в революционные годы писал отец Павел Флоренский.

Чувствуется, отчетливо чувствуется в «Двенадцати», что это — апофеоз настоящей бесовской вакханалии, апофеоз ее колдовского темного угара, напоминающий «пляски смерти». Ничего духовно светлого, никакой действительно очищающей революционной грозы, никакого духовного преображения в поэме нет и в помине — только разгул диких страстей, дикой воли, причем, воли именно бесовской.

Александр Блок тоже был визионером. И он, как Достоевский, как Гоголь, отчетливо видел несветлые «миры иные». Только Блок имел несчастье в финале жизни этим своим визионерством поэтически вдохновляться — слушать «голос революции» и т. д. И финал жизни Блока оказался потому особо трагичен — как возмездие за духовное слияние с миром нечисти и зла Блок «потерял дар речи», потерял способность творить, а в конце концов и жить.

Но ведь глубоко несчастлив был в конце жизни и Гоголь. Героев его «Мертвых душ» Николай Бердяев не случайно назвал «духами русской революции» в своей знаменитой одноименной брошюре революционных лет — это действительно на самом-то деле настоящие мерзкие бесовские хари, все эти Ноздревы, Собакевичи, Плюшкины, Коробочки. Они — вневремены, они есть — бесы, всегда так или иначе орудующие в жизни и в благоприятных для духовной нечисти условиях непременно становящиеся «движущими силами нашей революции».

И сам Гоголь прекрасно понимал, что он создал, кого и зачем выпустил «на Свет Божий»... Это и мучило Гоголя, неопишимо терзало его в финале жизни.

К тому же трагедия Гоголя еще и в том, что своим духовным взором он видел только зло и уродство. Ведь, невыносимо больно быть, например, ясновидящим, как бы прикованным «свыше» только лишь к созерцанию ада крошечного... А вопреки всему детскому веселью и юмору «Вечеров

на хуторе близ Диканьки» Гоголь таковым и был — страдальцем, вечно созерцавшим «сцены из жизни Ада».

Блок, как и его духовный учитель Вл. Соловьев, визионером быть сознательно стремился.

Со стремления к визионерству Блок и начинал свой творческий и духовный путь. Только видел ли действительно Александр Блок неземной свет небесной женственной красоты вслед за Вл. Соловьевым или просто подражал своему кумиру и учителю? — Нам кажется, что ближе к истине второе: только подражал, погружался в пучину юношеского вымысла, а «света небесного» так и не увидел и в творчестве своем не запечатлел. Действительно увидел духовным взором и запечатлел в своей поэзии Блок одно единственное — «страшный мир», не лишенный прекрасного, но жестокий и трагический, наполненный мятущимся, не знающим умиротворения демонизмом.

А вот от личного облика и творчества Вл. Соловьева действительно веет неземной гармонией и мистическим неземным Светом, воистину «светом небесным». Это абсолютно очевидно.

Дело даже не в собственно философском или нравственном содержании конкретных и особенно больших сочинений Вл. Соловьева, — таких как «Оправдание добра». Дело в том, что все эти соловьевские произведения могли быть написаны только в особом состоянии сознания — состоянии надмирного духовного «парения», когда зримы и близки светлые и прекрасные «миры иные», а бесконечно мала и далека вся проза земной жизни, вся ее сутолока, духовная ущербность.

Именно этим творчество Вл. Соловьева и притягивает к себе самых разных людей разных поколений и мировоззрений, для которых сами философские построения Вл. Соловьева подчас «темны», далеки и непонятны, притягивает — воистину как мистический духовный магнит, как сгусток пронзительно светлого духовного излучения.

Так что духовный свет — это тоже реальность художественной литературы.

Только все же так, уж, исторически сложилось, что более рельефно, выпукло и зримо отображены художественной литературой духовные явления и силы мрачного, демонического, а порой и действительно бесовского свойства. Без Мефистофелей и Воландов разного калибра, без видений, наваждений, галлюцинаций и несветлых «чудес» с ними связанных, художественная литература почти никогда не обходилась.

С позиций неукоснительного жизненного реализма и даже просто по-человечески это, может быть, и вполне понятно, но все-таки жаль...



Анна Урысон
НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНИЦА ЖИЗНИ
АРХИМАНДРИТА АЛИПИЯ
(ВОРОНОВА)

Рассказ духовной дочери о. Алипия Марии
(Майи Петровны Бессарабской)

Архимандрит Алипий — в миру Иван Михайлович Воронов — родился в 1914 г. в подмосковной деревне Тарчиха (тогда это был Михневский район). В 1926 г. после окончания сельской школы переехал в Москву. Здесь окончил девятилетку.



В 1932-1938 гг. Иван Михайлович работал проходчиком на строительстве метрополитена, затем работал по эксплуатации метро, проходил срочную службу в Красной Армии. Одновременно получил высшее художественное образование в Изостудии ВЦСПС на отделении живописи и рисунка. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе Четвертой гвардейской танковой армии. Войну прошел с эюдником. «Война была настолько страшной, что я дал слово Богу, что если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь».

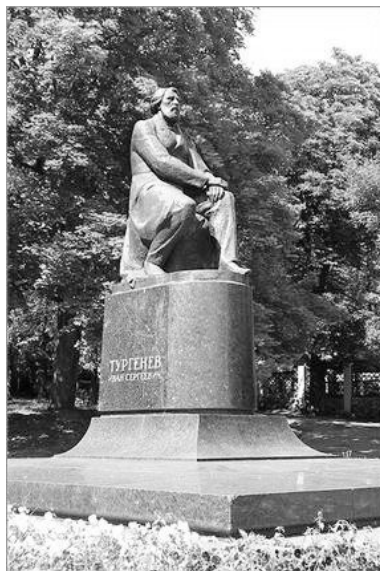
После войны Иван Михайлович несколько лет работал в Выставочном фонде СССР.

12 марта 1950 г. он поступил послушником в Троице-Сергиеву лавру, а 28 августа был пострижен в монашество с именем Алипий. Работал художником по восстановлению храмов.

В 1959 г. назначен заместителем настоятеля Псково-Печерского монастыря.

Майя Петровна Бессарабская — вдова известного советского скульптора Геннадия Петровича Бессарабского. Геннадий Петрович — член Со-

юза художников СССР, автор памятника Тургеневу в Орле — был болен рассеянным склерозом. Они поженились в 1959 году, когда тридцатитрехлетний Геннадий Петрович уже с трудом передвигался. Двадцативосьмилетняя Майя Петровна выходила замуж, чтобы всегда быть рядом с любимым человеком, во всем ему помогать и вместе с ним противостоять болезни. Ее самоотверженная любовь действительно помогала преодолевать тяжелую неизлечимую болезнь и нести тяготы советского быта.



Памятник Тургеневу в Орле. Открыт в 1968 г.
Скульптор Г.П. Бессарабский.

Геннадия Петровича очень поддерживали занятия скульптурой, и Майя Петровна сумела создавать ему условия для полноценной ежедневной творческой работы. Майя Петровна с мужем всегда жили в его скульптурной мастерской, чтобы Геннадию Петровичу не надо было тратить силы на дорогу из дома в мастерскую и обратно. Первая мастерская, которой располагал Геннадий Петрович, размещалась в бывшей трансформаторной бетонной будке, и была непригодна ни для работы, ни для жилья. В это время Геннадий Петрович уже был тяжело болен. После женитьбы Геннадия Петровича одному из его родственников удалось оформить в качестве скульптурной мастерской документы на деревянный сарай в одном из дворов в центре Москвы, в Спасо-Глинищевском переулке. Майя Петровна своими руками разбирала этот сарай, рыла траншеи под фундамент, возводила стены из кирпича, бесконечно звонила по телефону, чтобы узнать, где продается кровельное железо и другие строитель-

алы, отпрашивалась с работы и ездила их покупать. Она выстроила для Геннадия Петровича мастерскую со всеми необходимыми коммуникациями, в которой был и угол для жилья.

Геннадий Петрович скончался шестидесяти четырех лет, в 1991 году. Работал как скульптор до последнего месяца своей жизни.

Приводимую ниже историю Майя Петровна рассказала в декабре 2008 года, через сорок лет после того, как они с мужем стали участниками описанных событий. Сначала рассказывать было опасно, а потом — некому.

Мы познакомились с Майей Петровной случайно — меня попросили передать ей маленькую посылку из Иерусалима. Когда мы встретились дома у Майи Петровны, оказалось, что у нас масса общих знакомых. Тогда Майя Петровна и рассказала эту историю.

История с монахинями

Мы с мужем познакомились с о. Алипием в 1963 году, когда первый раз попали в Печоры, и с тех пор ездили к нему каждый год во второй половине августа на Успение (*Успение — престольный праздник Псково-Печерского монастыря, празднуется 28 августа н. ст.*).

В августе 1968 года мы, как обычно, были в Печорах. Как и в каждый приезд, мы стояли на ступенях лестницы в доме наместника, и ждали приема у о. Алипия. К нему всегда собиралось много людей. На этот раз впереди нас на ступенях стояла монахиня. По-видимому, она была здесь в первый раз. В ожидании приема мы переговаривались шепотом, рассказывали друг другу кто по какому делу приехал к о. Алипию. Монахиня тоже вкратце рассказала свою историю, которую я и излагаю ниже. Она очень волновалась, не знала, как примет ее о. Алипий, что ей скажет. «Не волнуйтесь, о. Алипий всех принимает и помогает, и Вас обязательно выслушает и сделает все, что нужно», — успокаивала ее стоявшая рядом женщина, тоже ждавшая своей очереди. Вскоре монахиню позвали к о. Алипию. Монахиню звали м. Агрипина. Через несколько дней мы ехали вместе в Псков, и в дороге м. Агрипина рассказала нам эту историю со всеми подробностями.

Я из Ивановского женского монастыря Псковской епархии. Летом 1929 года в монастырь приехали чекисты, затолкали нас в машины и увезли в Псков, в ЧК. Арестовали с нами и нашего духовника о. Александра. О. Александр в обители не жил, а приезжал к нам время от времени, и проводил в монастыре неделю. И так получилось, что в момент ареста он был в монастыре.

В Пскове нас пытали, заставляли отречься от веры. (М. Агриппина показывала спину, всю в рубцах, и искалеченные пальцы, в ЧК под ногти загоняли иголки). Ни один человек не отречься.

Нас приговорили к заключению. Было нас примерно двести сестер. Мы прошли много этапов и лагерей, работали на лесоповалах, строили дорогу Абакан-Тайшет, и никогда нас по Божьей милостине разлучали, и жили мы всегда вместе, в одном лагере. С нами был и наш духовник о. Александр. Заключенные относились к о. Александру очень уважительно. Когда работали на лесоповале, бригадир оставлял его у костра: «Посиди, последи за костром, а мы за тебя твою норму выполним». Но по разнарядкам о. Александр попадал и на другие работы: чистил нужники, стирал в прачечной грязное женское исподнее, в крови — так охрана над ним издевалась. Сестры очень переживали, а о. Александр выполнял любую работу без единого слова, как если это было монастырское послушание, и всегда молился.

Однажды, было это в 1957 (возможно, 1958) году, нам объявили, что наутро нас переведут в другое место. Лагерь наш был в Красноярском крае. Вечером выдали нам нашу одежду, отобранную при аресте. Выдавали в обмен на лагерную, и хотя была глубокая осень, мы, не задумываясь, отдали и ватники, и бушлаты, чтобы быть пусть в легкой одежде, но своей (Арестовывали-то нас летом.) Вернули все, что забрали, до единой вещи. Какая это была радость — одеться в монашеское! Утром под конвоем пошли мы из лагеря. Только мы понимали, что это не обычный этап. Потому что всегда в любое место конвой идет с собаками, а тут были без собак. И никогда нам на этапы не возвращали одежду. А когда мы шли, нас никто не подгонял и не понукал.

Шли мы два (?) дня, и остановился конвой в лесу, на высоком обрыве над рекой.

— Ну что, верите в Бога?

И как едиными устами прозвучало в ответ:

— Веруем!

— Пусть Он вам и помогает.

И конвой ушел.

Стоял ноябрь, уже начиналась зима. Земля промерзла, падали снежинки. Как здесь жить? Вдруг по реке звук моторной лодки. Через некоторое время поднимаются к нам по обрыву два рыбака. «Смотрим, что за диво дивное — до жилья двести километров, а тут толпа, и все в черном». Мы им рассказали про себя. Рыбаки дали нам топор, спички (без них же в лесу нельзя!), веревку, а самое главное, сказали:

— Здесь не оставайтесь. Пройдите по берегу, здесь недалеко, пять километров, стоят три брошенных дома. Там раньше летом покосы были, косари жили. Правда, крыш почти нет, но хоть стены. Все-таки лучше, чем на одном воздухе и совсем без стен. Больше мы сейчас ничего дать не можем. А теперь нам ехать надо, план сдавать, мы же в колхозе. Еще раз приедем, муки привезем.

Слава Богу, у нас были топор и спички. Пришли мы к этим домам и как-то устроились на ночлег.

Стали мы там жить. О. Александр чинил у домов стены, латал крыши и рубил часовню. Часть сестер помогали, а остальные с утра до ночи бродили по тайге, собирали траву, плоды, корни, запасали на зиму все, что можно было употребить в пищу. О. Александр поправил дома, срубил часовню и в ней молился.

Кругом лес, глушь, дорог нет, до ближайшей деревни почти триста километров по реке. До нас добраться из этой деревни летом можно по воде, зимой, когда станет лед, санным путем. Да и деревня глухая — из нее по реке или на вертолете добирались до железнодорожной станции на дороге в Красноярск. *(Поселение находилось на р. Чуна, в верховьях — Уда. Ближайший населенный пункт — село Кондратьево, ближайшише города — Канск, Тайшет. Чуна замерзает в ноябре, вскрывается в апреле.)*

Первая зима была очень трудной. Есть было нечего. Рыбаки обещание свое сдержали, муку привезли. Но было ее мало. Много сестер погибло от цинги. Кладбище наше было рядом, над рекой. И все прибавлялись на нем кресты.

Потом стало легче. Узнали в округе, что есть священник, летом приплывали отовсюду на моторках, заказывали требы, привозили крестить детей. Бывали и венчания. В качестве платы привозили продукты, семена, зерно.

Привезли нам первый раз десять килограммов зерна. О. Александр сказал: «Есть не будем, посеем. Для нас это все равно малость, а вырастет сторицей». И мы все это зерно покидали в землю. Урожай собрали очень хороший, хватило до следующей весны.

Сделали мы огород, сажали овощи. Урожай у нас были небывалые для тех мест, местные нашим урожаям удивлялись. Перед тем, как сажать или сеять, о. Александр служил молебн, а потом мы ходили и сажали, и всегда-то с молитовкой, все-то с молитовкой. Потому были у нас такие урожаи, несмотря на очень суровый климат.

Летом сестры ходили по лесу, собирали ягоды, грибы, солили, маминовали, заготавливали на зиму. Со временем у нас уже и куры появились, так что когда приезжали к нам с требами, привозили не продукты, а соль и керосин.

Всему учил сестер и во всем помогал о. Александр. Сестры находили в тайге ватники, брошенные геологами. О. Александр научил доставать из них вату. Ею он утеплял нашу летнюю монастырскую одежду, а из каких-то ватников делал теплую одежду для сестер. О. Александр научил сестер делать подушки из одуванчиков. Сестры подбирали в лесу старые звериные шкурки *(видимо, брошенные когда-то охотниками из-заневысокого качества)*, находили забытые капканы с пойманными зверьками. Из звериных шкурок о. Александр шил сестрам обувь.

Под берегом он нашел глину и обжигал из нее кирпичи. Из них сложил в домах печки, можно было зимой топить, и на них мы пекли хлеб.

А раньше на костре варили жидкое месиво из муки. Всю вторую зиму у нас был хлеб.

По соседству с нами жил медведь. О. Александр давал ему хлеб. Бывало, спускаются сестры на реку, за водой, или посуду мыть, а там мишка, воду пьет. Сестры тихонько постоят, подождут, чтобы его не смущать, а когда тот уйдет, пойдут к воде.

О. Александр срубил баню. Медведь любил там лежать на полке. Пойдут сестры в баню постирать или помыться, а там медведь. Они — к о. Александру. О. Александр подойдет к бане: «Миша, ну пойди, матушкам в баню нужно». Медведь через некоторое время вставал и уходил.

О. Александр каждый день записывал все, что происходило, и этих записей скопилось у него несколько тетрадей. Так прожили мы десять лет.

Однажды летом по реке звук моторки. Поднимаются к нам на обрыв геологи.

— Смотрим, что такое? Места безлюдные, а над рекой кресты стоят.

А это кладбище наше все росло и росло, и кресты уже приблизились к берегу и стали видны с воды.

Рубашки у геологов до пояса расстегнуты, и у всех горят на солнце кресты! Как?! Мы кресты столько лет таили, за крестное знамение — пуля в лоб, а тут открыто носят!

— А вы что, ничего не знаете? Гонения давно кончились, люди из лагерей вернулись. Храмы работают, детей крестят. Коммунисты за своими только следят, чтобы не ходили, карьеру делать не дают, а простой народ ходит.

Тогда почему же мы здесь?! А уехать мы никуда не могли, потому что при «освобождении» нам дали не паспорта, а справки, что живем мы на поселении без права проживания в других местах.

Вечером решили, что надо ехать, узнавать, в чем дело. Решили послать меня, как самую молодую. Мне было семьдесят три (*семьдесят четыре?*) года, игуменье Иринее (*Ирине?*) 102 года, а о. Александру 104 года.

Приехала я в Псков и пошла к следователю (*в отделение КГБ*). Он слушал меня внимательно, и вдруг кричит:

— Идите, послушайте, это чудо — как они в лесу выжили!

Весь отдел собрал, слушали часа полтора. Когда кончила и все разошлись, ему уже принесли папку, мое личное дело. И я издала увидела крупными красными буквами надпись через всю обложку **ПОЖИЗНЕННО**, и все поняла.

— В этой ситуации я ничем не могу Вам помочь. Возвращайтесь. И живите там, раз приспособились.

Вышла я из этого здания и стою. Что делать, куда идти? Уже начало темнеть.

Слышу, раздается колокольный звон. Это в Троицком соборе звонили к вечерней службе. Я пошла туда. Вижу, к калитке храма подходит женская фигурка. Одета очень скромно, в темное, и вижу, что это мо-

нахиня. Не по одежде вижу, что монахиня. Решила с ней поговорить. Подошла к ней, тронула за рукав. Она обернулась. И со слезами бросилась мне на шею:

— Агриппина!

Это оказалась единственная сестра нашего монастыря, которая избежала ареста. Она меня узнала. У нее скончалась мать, и игуменья отпустила ее на три дня на похороны в деревню. Она вернулась на следующий день после нашего ареста, и оказалась у закрытых ворот. Сестра была звонарем в Троицком соборе. Она повела меня к себе в каморку при храме, и мы всю ночь проговорили. Она рассказала, как пришла к запертому монастырю, как жила, скитаясь в миру, все эти годы, ничего не зная о судьбе сестер. Ее приютил настоятель собора, определил ее звонарем и дал ей эту каморку. Я рассказала о нашей лагерной жизни, что мы никогда не разлучались, теперь живем в лесу, и как я была у следователя.

— А теперь не к кому идти, никто нам не поможет.

— Как это не поможет! А о. Алипий! Он все может. Поезжай к нему.

Сестра рассказала мне про Псково-Печерский монастырь, и на следующий день я приехала к вам, закончила рассказ м. Агриппина.

О. Алипий сразу ответил:

— Их надо вывозить, и когда вышел, обратился ко мне:

— Поедешь?

Было ясно, что поездка займет дней пятнадцать.

— Батюшка, у меня муж болен, если я его оставлю, он не сможет работать.

— Вы поедете, сказал о. Алипий стоявшим рядом мужчине и женщине, — санным ли путем, по воде, как получится, но вывозите немедленно. О. Алипий быстро ушел и, вернувшись, передал м. Агриппине крупную сумму денег.

— А вы отвезите ее в Псков и посадите на самолет, пусть назад обязательно летит самолетом, обратился о. Алипий к нам с мужем и м. Агриппине. (А ехать ей надо было до Красноярска, потом пересадка на вертолет до ближайшей к ним деревни, и оттуда уже на моторке к себе.)

Мы поехали на аэродром в Псков. (Мы всюду ездили на легковой машине «Москвич-402», так как Геннадий Петрович ходил настолько плохо, что не мог ездить на поезде.) На аэродроме выяснилось, что билетов на Москву нет, следующий рейс только завтра, и будут ли билеты, неизвестно. Стоял сентябрь, и ночи были очень холодные. Мы сидим в машине и начинаем замерзать. (В поездках мы с мужем никогда не ночевали в гос-

тиницах, только в машине, потому что Геннадий Петрович, тяжелобольной, с трудом ходил.) Ждать так сутки, с больным человеком, было очень трудно. И тогда решили, что чем сидеть эти сутки здесь, поедem сразу на аэродром в Москву. Все равно в Москве придется делать пересадку. Из Москвы и улeтeть, может быть, будет легче.

Но когда мы приехали в Москву, оказалось, что у м. Агрипины поднялась температура, и мы поехали не на аэродром, а к нам в мастерскую.

У м. Агрипины оказалось воспаление легких. Мне удалось вызвать районного врача из поликлиники и как-то уговорить ее (врача) написать на мое имя необходимые рецепты. Через неделю температура упала. Пока м. Агрипина, больная, лежала в мастерской, я собирала теплые вещи для сестер, набралось три тюка. Для о. Александра отдал свой теплый свитер Геннадий Петрович.

М. Агрипина только-только поправилась, была еще слаба, и упрасивала нас не отправлять ее самолетом, а посадить на поезд до Красноярска, так как надеялась, что отлежится, пока будет ехать. И мы посадили ее на поезд, взяв обещание, что она напишет нам, как только сойдет с поезда на станции.

Прошел ноябрь, декабрь, январь, февраль, письма не было. Мы очень беспокоились, ведь мы не выполнили поручения, не посадили м. Агрипину на самолет. Она везла много денег, и в длинной дороге мало ли что могло произойти. В марте мы поехали к о. Алипию повиниться и узнать, что случилось. Дорога из Пскова в Печоры тогда еще не везде была заасфальтирована, там, где не было асфальта, образовались наледи, и вести машину было очень трудно.

Оказалось, что в дороге м. Агрипина опять заболела, ее сняли с поезда и положили в больницу. Там она пролежала довольно долго, но деньги не пропали, видимо, она везла их на себе. Вещи тоже были в целости. К тому моменту, когда мы приехали к о. Алипию, монахини и о. Александр уже были в Печорах. Вывозили их поочередно двумя группами. Сначала добирались до Красноярска, около пятисот километров на санях глухими местами, минуя населенные пункты, для этого нанимали проводника. В Красноярске сажались на поезд. Когда первая группа прибыла в Печоры, вывезли вторую. Деньги на дорогу дал о. Алипий. Вывозил обе группы один человек.

Сестер к этому времени было уже мало. Двух или трех монахинь о. Алипий переправил в Духов монастырь в Вильнюс, еще нескольких в Леонидову пустынь под Вильнюсом. Для игумении Иринеи о. Алипий купил

домик в Печорах, около нижних ворот монастыря. Там она жила с несколькими сестрами. Остальных разобрали и спрятали по домам его печорские духовные чада. О. Александра поселили в монастыре (в корпусе, где жили старцы). Так что остаток дней они провели в покое и тепле. Все тетради с ежедневными записями о жизни в лесу о. Александр передал о. Алипию.

Почти сразу после этого о. Алипия начали вызывать на допросы в Псков. Видимо, какая-то информация до КГБ дошла. Вызывали каждый день. Его даже не хотели отпускать ночевать в монастырь, но все-таки каждый раз отпускали. Допросы были очень тяжелые, длились по четыре-пять часов. О. Алипий отвечал одно и то же, что не знает никаких монахинь.

Однажды, когда о. Алипий вернулся, он похлопал себя рукой по груди там, где сердце, и сказал:

— У меня здесь кровь заpekлась, — и после этого допроса часто говорил: «Сорвали сердце». Это было в 1970 году. После этого вызовы в Псков стали реже. Ежедневные допросы были временами, между ними возникли перемены. Но сердце уже было сорвано.



В 1975 году больное сердце не выдержало, и о. Алипия не стало.



Азарий Мессерер

КНИГИ НА ВОЙНЕ И СТЭНЛИ ПЛЕЗЕНТ

«Великим» американцы называют поколение времен Второй мировой войны. Оно проявило поразительное мужество, стойкость и волю к победе. Но мало кто знает, что, помимо всех прочих достоинств, это поколение отличалось особой любовью к литературе. В передышках между боями, в траншеях и блиндажах, в госпиталях и эшелонах, американские солдаты и офицеры читали книги. Читали не только развлекательную и юмористическую литературу, но и произведения английских, русских, французских классиков, а также молодых американских авторов, ставших классиками уже после войны.

Этому беспрецедентному интересу к литературе великого поколения посвящено исследование Молли Мэннинг. Его идея зародилась у автора во время работы в архивах Принстонского университета, где она обнаружила многочисленные письма с фронта, присланные в США более 70-ти лет назад. Вот перевод отрывка из одного из писем:

«Сердце у меня ожесточилось после того, как я стал свидетелем гибели моего лучшего друга. Я думал, что никогда уже не смогу испытать подлинную радость. За два года я, можно сказать, ни разу не улыбнулся. Заболев малярией, я попал в госпиталь, где одна медсестра дала мне почитать книжку в бумажном переплете под названием «Растет в Бруклине дерево» (“A Tree grows in Brooklyn”). В этом романе Бетти Смит так живо и с таким тонким юмором описала переживания юной героини, которая с невероятным упорством преодолевает нищету и лишения в начале 20 века. Закончив книгу, я решил, что не усну, пока не выражу в письме к вам (издательству — А.М.) мою сердечную благодарность автору, пробудившему во мне теплые чувства».

Появление массового читателя в Америке стало возможным благодаря незначительному, на первый взгляд, технологическому открытию. Незадолго до войны стали продаваться книги в бумажном переплете, которые легко можно было положить в карман куртки или вещевого мешка. Кто-то предложил для их издания использовать прессы, на которых печатались популярные журналы, продававшиеся повсюду в газетных киосках. Действительно, стоило положить две книжные страницы на одну страницу журнального формата, затем, отпечатав ее на прессе, разрезать пополам и

проделать эту нехитрую операцию по нужному числу раз, как получалась книжка в двух экземплярах. Ее можно было продавать не за доллары, а за 50 или 75 центов по курсу того времени.

На основе этого изобретения появилось несколько издательств, например, всем нам знакомое Penguin books, но на первых порах они не имели ожидаемого финансового успеха. Вскоре после нападения японцев на Перл Харбор и начала войны с фашистской Германией известный общественный деятель В. Нортон (W.W. Norton) выступил на собрании Совета издателей с неожиданным предложением — посылать на фронт книги бесплатно. Сначала эта идея была встречена с недоверием — как это бесплатно, то есть в убыток нашим предприятиям? Но Нортон утверждал, что, помимо патриотического характера, такое начинание имело бы благоприятные экономические последствия для издательств в будущем: миллионы солдат, полюбивших чтение книг, будут их покупать и после войны. Более того, Америка выступила бы в этом случае как антипод своего ярого врага — гитлеровской Германии, где нацисты еще в 30-х годах начали сжигать книги неугодных их режиму авторов.

Такие аргументы возымели действие, и до окончания Второй мировой войны на различные фронты — в Европу, Африку, на острова Тихого океана было послано около 123 миллионов книг — бесплатно. Какой контраст с Отечественной войной: представьте себе на минуту, что получали в это время по почте советские солдаты, воевавшие на фронтах Великой отечественной. Может быть, вязаные носки или валенки, но, вряд ли, книги. Правда, известно, что поэты-фронтовики, такие как Давид Самойлов, Булат Окуджава, на войне носили при себе маленькие томики стихов. Англичане же на фронте завидовали американцам, иногда делившимся с ними как с союзниками своими книгами. Они восхищались идеей доставки на фронт бесплатных книг, называя ее на слэнге «super-doorer».

Американские солдаты в письмах домой, наряду с описаниями боев, стали делиться своими впечатлениями от той или иной книги, советуя невестам и родственникам приобрести ее. Более того, они, что называется, утерли нос литературным критикам, опровергнув их мнения о некоторых новых произведениях молодых писателей. Так например роман Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» был холодно встречен прессой, но издатель рискнул послать на фронт 150 тысяч экземпляров, и воинам он очень понравился. Сейчас-то мы знаем, что этот роман считается одним из самых популярных в истории американской литературы и что по нему было поставлено несколько фильмов, один из которых вышел на экраны недавно, с Ди Каприо в главной роли.

Несомненно, что такой огромный спрос на книги во время Второй мировой войны способствовал подлинному Ренессансу в американской литературе. Именно тогда появились прекрасные романы целой когорты новых талантов, среди которых стоит особо отметить пятерых будущих лау-

реатов Нобелевской премии: Уильяма Фолкнера, Эрнеста Хемингуэя, Джона Стейнбека, Сола Беллоу и Исаака Башевица Зингера.



Стэнли Плезент в 1945-м году.

Первое что бросилось мне в глаза, когда я впервые посетил дом моего американского родственника Стэнли Плезента в Ларчмонте, была кипа недавно изданных книг на столе в гостиной. Я понял, что попал в семью страстных любителей литературы. В ноябре этого года Стэнли отмечал свое девяностолетие. По его словам, до войны, то есть в тридцатые годы, он почти не интересовался литературой — все свободное время отдавал американскому футболу, выступая на первенствах школьных команд в качестве полузащитника.

Интерес к спорту он унаследовал от отца, эмигрировавшего в Америку из России незадолго до Первой мировой войны. В свидетельстве о рождении, выданном его родителям в Гомеле, он был записан как Израиль Плисецкий. Однако получая американское гражданство без очереди — за участие в войне, он решил изменить фамилию: вспомнил, с каким трудом его однополчане произносили «Пли-сец-кий». Им надоело путаться и они стали называть его «Плезентом», видимо, за добродушный и веселый нрав. Так он и был записан в американском паспорте. Его старший сын Стэнли Плезент, так же, как и отец, добровольцем записался в армию, причем в возрасте 18-ти лет. Только тогда, понятно, шла Вторая мировая война. Стэнли воевал во Франции. Воевал доблестно, о чем свидетельствуют его

ордена и медали, включая третий по значению орден Silver star (Серебряная звезда). В приказе о награждении говорилось, что орден присужден лейтенанту Стэнли Плезенту за то, что он проявил исключительную храбрость в бою близ города Уиссенбург (на границе Франции с Германией) в феврале 1945-го года. Даже будучи раненым, он продолжал командовать ротой, подавившей сопротивление врага. Именно ротой, хотя был только командиром взвода, потому что старший офицер был ранее тяжело ранен.

Стэнли попал в госпиталь, где, по его словам, спасался от боли, читая «Трех мушкетеров», опять же в бумажном переплете, а также учебники французского языка. Французский ему помогала изучать медсестра по имени Доменик Пиффер, а Стэнли в свою очередь помогал ей освоить английский язык. Когда через 6 недель он вышел из больницы, Доменик познакомила его со своими родителями, и у Стэнли завязалась с ними дружба, продолжавшаяся много лет. Каждый раз, приезжая во Францию, он навещает эту семью, и хотя родители уже давно умерли, его радушно принимают их дети и внуки.

Аналогичная дружба американского солдата с французской семьей описана в классическом американском романе Уиллы Кэсер «Один из нас» («One of ours»). По мнению Стэнли, никто так верно не описал состояние солдат, находящихся в траншеях под шквальным артиллерийским обстрелом, как Кэсер. Я прочитал этот роман и был поражен тем, как ярко и реалистично о войне написала женщина, не бывавшая на фронте. Правда, она использовала в своем повествовании многочисленные письма от брата, погибшего в последнем бою Первой мировой войны. Роман Кэсер, получивший Пулицеровскую премию в 1923-м году, стал особенно популярным среди солдат во время Второй мировой войны.

После войны Стэнли Плезент служил больше года в Германии. Он видел, как американцам не хватало хороших специалистов, способных помочь восстановлению экономики Западной Европы по Плану Маршалла, и решил, что его будущая специальность будет связана с международными отношениями. Стэнли закончил государственный университет благодаря закону (G.I. Bill), обеспечившему бесплатное образование более чем двум миллионам ветеранов войны. А потом он учился в аспирантуре престижного Колумбийского университета. Со временем Стэнли Плезент становится выдающимся юристом. В администрации Кеннеди он был главным юристом USIA (Информационного агентства США), отвечая за его связь с Конгрессом и Белым домом. Для русского уха USIA звучит почти как CIA (ЦРУ), и его двоюродные сестра и братья Плисецкие — Майя, Азарий и Александр, впервые встретившие Стэнли в 1962 году во время гастролей Большого театра, приняли эту новость настороженно. Стэнли пришлось им объяснять, что к ЦРУ и разведке он не имеет отношения и что его агентство, в частности, организует за рубежом гастролы известных артистов, чтобы познакомить мир с достижениями американской культуры.

В прошлом году в Вест-Пойнте, знаменитой военной академии США, состоялась торжественная церемония: в связи с семидесятилетней годовщиной освобождения Франции от нацистов французский генеральный консул в Нью-Йорке вручал орден Почетного легиона нескольким американским ветеранам, в том числе и Стэнли Плезенту. Об этом много писали СМИ, и ниже вы видите его на фотографии, сделанной во время этой церемонии.

Мы со Стэнли не раз беседовали о литературе. Он прекрасно знаком с русской и французской классикой, не говоря уже об американских писателях. Но самый его любимый автор — англичанин Энтони Троллоп. Стэнли прочитал все 47 романов этого выдающегося писателя 19-го века (1815-1882). Он побывал в Англии и Ирландии, в местах, описанных в романах Троллопа, с группой членов международного клуба почитателей Троллопа, и участвовал во многих дискуссиях, посвященных его творчеству.

У Стэнли, как и у его жены Глории, которая всего лишь несколькими годами младше мужа — они вместе прожили 67 лет, воспитав четырех детей и шестерых внуков — сохранилась прекрасная память. По всей вероятности, это объясняется тем, что они оба помногу читают книги. И это не удивительно, ведь они — представители великого поколения американцев.



Ольга Генкина

ПРИБЛИЖЕНИЕ К БЕСКОНЕЧНОМУ

Авторы предлагаемых фортепианных и скрипичных произведений — немецкие композиторы XIX-XX веков — публикуются в России впервые. Сердечно благодарю сотрудников Бременского университета, коллег из Берлина — всех, кто помог в завершении нотного издания произведений этих композиторов. Если открытие неизвестных нам композиторов пробудит живой интерес к изучению их творчества — сочту свою задачу выполненной.

Фердинанд Генрих Тириот (1838-1919)



Тириот был после Брамса одним из известнейших композиторов, родившихся в Гамбурге. В его музыке можно услышать стилистические веяния, идущие от Мендельсона, Шумана, Брамса. Композиторскую школу он проходил в Альтоне у Эдуардо Марсино (там же учился Брамс), а затем в Дрездене, и Мюнхене. Известен как виолончелист. В квартете впервые исполнил произведения И. Брамса. Долгое время был арт-директором музыкального общества маркграфства Штире в Граце. С 1870 по 1877 годы преподавал гармонию в консерватории. Эта работа отнимала у него много времени и сил при обучавшихся 267 студентах, среди которых были такие известные впослед-

ствии музыканты, как Рeger и Дема. Был уважаемым членом общества имени И.С. Баха. В 1902 году он окончательно вернулся в Гамбург, где многочисленные исполнения его произведений под руководством Юлиуса Гуненгеля получили большой резонанс. Сочинения: оперы «Рената» (1898), «Амур и Диура» (1869), кантата «Майская королева» (древне-французский весенний хоровод), 21 произведение для оркестра, 16 произведений для соло и оркестра, 5 произведений для струнного оркестра, 17 произведений для фортепиано в сопровождении камерного оркестра, 25 опусов для камерного оркестра, 32 произведения для фортепиано, 18 фортепианных произведений

в 4 руки, 8 произведений для органа, 26 произведений для хора в сопровождении фортепиано и органа, 41 произведение “a capella”.



Тирод Вильгельм Кензл (1857-1941)

Родился в Северной Австрии 17 января 1857 года в местечке Вайцеркирхен. Умер в 1941 году в Вене. Композитор, опытный капельмейстер,

Ausfahrt.

W. Kienzl Op. 3, No. 9.

Ziemlich schnell.
Mit freudiger Erregung.

„Wie schicklich ist das
Mit dieser Fahrt.
Die immer und immer
Wir uns selber können
In Fahrt zu sein!“
(Liedwörter des Komponisten)

PIANO

This score is for piano and organ. It consists of four systems of music. The first system includes the title, tempo, and composer. The score is written in 3/4 time and features a variety of musical notations including treble and bass clefs, notes, rests, and dynamic markings such as 'p' and 'pp'. The organ part is indicated by a 'C' in a circle.

либреттист и писатель. С 1886 года дирижер музыкального общества в Гране. Известен своими народными операми: «Евангелист» (1895), «Хоро-

вод коров» (1911). С 1917 года живет в Вене. Написал музыку гимна Австрийской республики. Среди произведений: камерная музыка, хоровые произведения, песни, оперы. Литературное наследие: «Из искусства и жизни» (1904), «В концерте» (1908), «Наблюдения и воспоминания» (биография Вагнера 1909), «Моя жизнь и приключения» (1926).

Роберт Швальм (1845-1912)

Родился 6 декабря 1845 года в Эрфурте. Умер 6 марта 1912 года в Кенигсберге. Дирижер хора и композитор. Обучался в Лейпцигской консерватории. С 1870 по 1873 годы работал в Элблинге, затем жил в Кенигсберге, где работал дирижером хора. В 1897 году получил звание профессора Пруссии. Написал «Серенаду» для оркестра, струнный квартет, оперу «Женская похвала», ораторию для мужского хора и оркестра, большое количество мужских хоров, 11 армейских маршей для клавира, фортепианные произведения.

Карл Венх (1860-1938)

Немецко-американский композитор, дирижер, скрипач, педагог и музыковед. Являлся одной из ведущих фигур классической музыки в Техасе в первой половине XX века. Один из первых директоров Далласского симфонического оркестра с 1912 года. Родился в Кологнне, начал обучение на скрипке у своего отца в возрасте 9 лет. Обучался в гимназии «Фридрих Вильгельм». Затем продолжил обучение в Кельнской консерватории по классу скрипки. Далее — годы учебы в Брюссельской консерватории у Генриха Венявского, которую закончил в 1877 году. В 1878 году работал концертмейстером в симфоническом оркестре Утрехта и в оперном оркестре в Брюсселе, после чего последовало концертное турне по Голландии. В 1879 и 1880 гг. — по США. В 1880 он переехал в США, где концертировал 4 года как скрипач-солист перед тем, как стал работать в оркестре Метрополитен опера в Нью-Йорке. Он жил в этом городе до 1908 года. За это время создал колледж музыки в Бруклине в 1889 году. Создал и руководил Бруклинским симфоническим оркестром в 1890 году. Основал и руководил струнным квартетом «Вента». Работал дирижером оркестра музыкального общества «Евтерпа» в Техасе. В 1911 году возродил Далласский симфонический оркестр, заняв пост музыкального директора как и в Форт-Уэрском симфоническом оркестре. В 1931 году переехал в Сан-Антонио, где стал деканом факультета искусств в Вестмореландском колледже. Будучи президентом ассоциации учителей музыки, одновременно преподавал гармонию и теорию музыки, а также вел занятия по классу скрипки. Во

время своей музыкальной карьеры он был очень активен как композитор. Им написаны оперы: «Монах из Иона», «Пан», «Прекрасная Бати», 4 кантаты, 2 скрипичных концерта, 2 струнных квартета, фортепианное трио, большое количество песен, а также большое количество произведений для фортепиано, симфонического оркестра, струнных инструментов. Его произведения издавались такими крупными издательствами как Брейткопф и Гертель. О его опере «Пан» писали, что эта первая американская опера, получившая международное признание. Умер в Сан-Антонио 30 января 1938 года в возрасте 77 лет.

Koboldreigen.
(Goblin's dance.)

Carl Vogl, Op. 63, No. 2.

Allegretto scherzando.

PIANO.

Copyright 1892 by F. W. Howland, Jr.

Адольф Эйзен (1837-1879)

Родился в 1837 в Кенигсберге. Умер в возрасте 42 лет в 1879 году в Баден-Бадене. Композитор, капельмейстер, пианист, педагог фортепиано. Брал уроки композиции у Ф. Листа. С 1856 года работал учителем музыки в России. В 1858-1860 гг. жил и работал в Копенгагене. В 1860-1868 гг. — композитор и учитель музыки в Кенигсберге. С 1866-1868 гг. работал в Берлине, с 1868-1870 гг. в Дрездене, с 1870 — в Граце. Сочинения: «Внутренние голоса», опус 2 для фортепиано, Романтические этюды — опус 8, Картинки путешествий — опус 17, Соната — опус 18, Этюды — опус 32, Немецкая сюита — опус 36, Идиллия — опус 43, Эротикон — опус 44, Свадебная музыка для фортепиано в 4 руки — опус 45, Фантастические пьесы, Танцы, Романсы, Ноктюрны. Опера «Турандот», Два хора в сопровождении двух труб и арфы, Оратория для солиста хора и оркестра, 6 песен «Долоросса» — опус 30, «Испанская книга песен» (7 песен) — опус 4, Баллады — опус 41.

Ханс Эрхард (1909-1979)

Немецкий комик, музыкант, поэт, актер. Родился в семье немецкого капельмейстера Густава Эрхарда 20 февраля в Риге. Вырос у бабушки и бабушки в Риге, где его дед Паул Неддер руководил музыкальным магазином. В 1919 по 1924 годы жил в Ганновере, где посещал школу. Благодаря своему деду занялся игрой на фортепиано, но его мечта детства стать пианистом не воспринималась всерьез со стороны бабушки. В 1935 году Ханс женился на дочери итальянского консула в Санкт-Петербурге — Джильде Занетти. От брака родились четыре ребенка. Во время Второй мировой войны Эрхард был призван в армию. Получил несколько ранений. По окончании войны он поселился вместе с семьей в Гамбурге и работал редактором на радио, которое включило его оперу «10 пфеннигов» в свою программу. Ханс Эрхард продолжает писать стихи, а в свои фильмы он включает моменты, где он играет на рояле, танцует. Надо отметить, что он очень боялся сцены и сделал себе специальные очки, стекла



которые позволяли ему не видеть публику, поэтому на сцене он был практически слеп. 11 декабря 1971 года его постиг удар, из-за которого мозг был так поражен, что Ханс мог только читать, но не мог писать и говорить. В 1978-1979 годах Ханс работает со своим сыном Джеро, режиссером и оператором над телевизионным вариантом своей комической оперы «Еще одна опера», которую он написал еще в 30-е годы. И уже в год своей смерти в 1979 году на экранах появился телевизионный вариант оперы. В момент телепередачи этой оперы его голос из ранних телевизионных передач сопровождал эту оперу. В его наследии находится ряд произведений для фортепиано, которые он написал в период между 1925-1931 годами. 23 произведения записаны на компакт-дисках. На площади в Гамбурге, названной в его честь — Ханс-Эрхард-плац ему в 2003 году поставлен памятник.

Феликс Вейнгартнер (1863-1942)

Австрийский композитор, писатель, дирижер. Учился в Граце, Лейпциге, в Веймаре — у Ф. Листа. Основной профессией считал дирижерскую деятельность и руководство администрацией театра.



В 1908 году заменил Густава Малера на посту директора Венской придворной оперы, имея опыт работы на этом посту в Мангейме и Берлине. Впоследствии работал в Гамбурге и Мюнхене. Вейнгартнеру принадлежит также книга «О дирижировании» (1895), изданная в том числе и в России, и статья «Дирижёр» (1912). Работал под руководством Рихарда Вагнера сначала в качестве ассистента, а затем и дирижера. Написал «Советы для исполнения симфоний Бетховена» (3 тома 1906-1923), позже Шуберта, Шумана, Моцарта, «Воспоминания о жизни» (2 тома 1923-1929). Как дирижера его отличала четкая и элегантная манера исполнения. Прославился интерпретацией произведений Р. Вагнера, А. Бородина, П. Чайковского. Музыкальные произведения: «Фауст», «Каин и Авель» — опера в 1 акте, «Дама Кобольд» — опера в 3-х актах, «Мастер Андеа» — опера в 2-х актах. Автор 12 опер и 7 симфоний. Написал много песен. Входил после Вагнера в пятерку лучших дирижеров. В 1895 году написал книгу «О дирижировании». А в 1912 издал в России статью «Дирижер».

Фридрих Холлендер (1896-1976)

Родился 18 октября 1896 в Лондоне в еврейской музыкальной семье. Дед будущего композитора очень любил музыку и поощрял влечение к ней трех своих сыновей. Отец Фридриха — Виктор Холлендер — известный сочинитель оперетт, мать — певица в цирковом реву. Оба дяди Фридриха занимали значимые должности в берлинской музыкальной жизни: Феликс, как драматург у Макса Рейнхарта, а Густав как руководитель консерватории Берлина.



В конце столетия семья Холлендеров переехала в Берлин, откуда и брала свои корни. Фридрих уже ребенком импровизировал и занимался композицией. В молодости часто играл на фортепиано в немом кино. Импровизация к фильмам помогли в его становлении как музыканта. В 1914-1915 годах Холлендер побывал в Нью-Йорке и в Праге. Именно в это время он решил посвятить свою карьеру серьезной музыке. В 20-е годы Холлендер становится значимой фигурой в Берлинской культурной жизни, он работает в различных театрах-кабаре, сочиняет музыку, пишет текст песен, аккомпанирует певцам на фортепиано... В Шарлоттенбурге открывает свой кафешантан-театр, продолжает озвучивать фильмы. Мелодия «С головы до пят» до сих пор пользуется огромной популярностью. В 1933 году Холлендер из-за своего еврейского происхождения вынужден был покинуть Германию. В Париже он со своей второй женой Хеди Шооргод, общаясь, в основном, со своими соотечественниками в большом немецком эмигрантском обществе... В 1934 году Холлендер переезжает в Америку, в Голливуд. Здесь он открывает вариант своего кафешантан-театра. Испытывая большие финансовые трудности, он снова обращается к кинематографу, где работает режиссером, а затем — аккомпаниатором. В 1941 году появляется его первая книга «Оторванный от Родины».

© 1941 GUSTAV HOLLANDER

Kleine Episode.
(Petite Episode.)

Allegretto grazioso. Gustav Hollander, Op. 55, No. 2.

VIOLIN

PIANO

Copyright 1941 by Fritz Schenkelski, Inc.

Albumblatt.

Andante. Gustav Hollander, Op. 55, No. 1.

VIOLIN

PIANO

Copyright 1941 by Fritz Schenkelski, Inc.

Семейством Холлендеров 1936 году была открыта еврейская музыкальная школа, и старейшие преподаватели консерватории Берлина перешли сюда на работу. Школа имела 24 преподавателя и 150 учеников. Педагоги Курт Холлендер и его жена Герта погибли в гетто 1941 году. Сюзанна Холлендер была убита в концлагере Аушвиц. Трагически погибли и другие преподаватели этой школы. В Германию Фридрих Холлендер вернулся лишь в 1955 году. В Мюнхене он снова открывает кабаре, однако время больших спектаклей ушло, он терпит неудачу. В 1965 году выходит его автобиография «С головы до пят». Последующие его книги также мгновенно разошлись: «Человеческое достояние» (предисловие Томаса Манна!), «Моя жизнь с текстом и музыкой». 18 января 1976 года Холлендер умер в Мюнхене. Сочинения: Мюзиклы: «Высокая зеленая дорога», «Я танцую вокруг света с тобой», «Скерцо», «Он, она, оно», «Добродушная Елена». Музыка к фильмам: «Голубой ангел», «Преступление», «Другой», «Конфликт», «Заграничная афера», «Мы не ангель». Песни: «Я должен туда лететь», «Песня грош», «Песня преданности», «Вундеркинд», «Историческая поза», «Евреи виноваты во всем», «Стопкран», «Я влюбился с головы до ног» и другие... Книги: «Человеческое достояние» (предисловие Томаса Манна), «С головы до ног» (автобиография), «Моя жизнь с текстом и музыкой».

Санкт-Петербург

2014



Леонид Гиршович

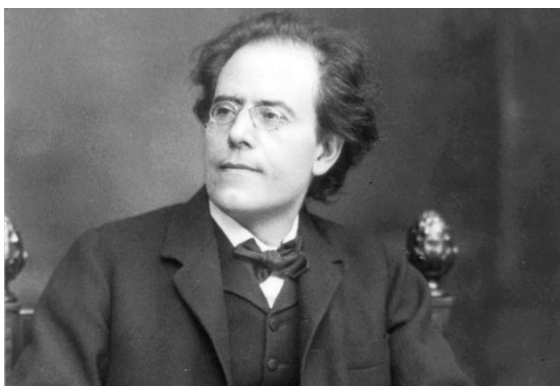
МАЛЕРОВСКАЯ ГОДОВЩИНА

Субъективные заметки

Как можно скрасить монотонное многочасовое сидение за рулем? Спрашиваешь: «Включить музыку?» «Да», — говорит жена, которая в нашей семье за шофера. Но если передают Малера, то всегда категорическое: «Нет, выключи». За рулем промилле Малера в организме должно равняться нулю.

Иконографически Малер — это высоколобый медальный профиль, нисходящий крутыми уступами. Волевой подбородок, тонкие сжатые губы. Лицо словно запрокинуто навстречу ветру: черный факел волос задувает. Прекрасная иллюстрация деятельно-возбужденного маршевого начала, типичного для его симфоний.

Орлиный профиль Малера как Зевесово знамение. Но возможны метаморфозы. В Тоблахе (Тирольские Альпы) в его рабочую комнатку влетел орел, однако стоило Малеру в ужасе отшатнуться, как из-под оттоманки вылетела ворона. То вдруг юный Бруно Вальтер, идя с Малером по ночному Будапешту, ощущает себя гофмановским студентом Ансельмом, на глазах у которого архивариус Лангхорст превращается в коршуна. Характерно, что в Малере неизменно присутствует что-то по-мандельштамовски пичье.



Густав Малер

Его называют «Достоевским музыки». Сомнительная параллель. Хотя от слушания Малера горло перехватывает, как и при чтении Достоевского, причина сближения все же в ином: в «детской слезинке», к кото-

рой оба питают пристрастие. Но у Достоевского дети — это жертвы его педофильского воображения и отчасти общее место христианской культуры. Тогда как «высокая детская смертность» в малеровских произведениях пропорциональна детской смертности в его родной Моравии. Сам он вырос в семье, где из двенадцати детей пятеро умерло. Альма, «чужих мужей вернейшая подруга и многих безутешная вдова», суеверно умоляла его не писать «Песни об умерших детях». Он действительно накаркал смерть дочери.

Не имеющая аналогов — даже не исключая Шуберта — малеровская пронзительность или, лучше сказать, наша пронзаемость его музыкой объясняется ее координатами. Малер — в точке пересечения «мировой скорби» (*Weltschmerz*) и местечкового мессианства, исполненного такой экзальтации, что можно было накликать беду не то что на собственную дочь — на весь двадцатый век, в котором той предстояло жить (читай, умереть — как умерла в Освенциме племянница Малера, дочь его сестры). На этом роковом скрещении путей именно хасидская Австро-Венгрия, конвертированная в немецкий романтизм и одновременно уже занесшая ногу над бездной, могла говорить с Богом. Оттого звездный дождь именован. Спустя два десятилетия он накроет Европу концлагерным пеплом.

Куда обращен малеровский профиль? Двуликий Янус — божество, рождающееся на стыке эпох. Но в малеровских пророчествах нет «миллионов, убитых задешево», нет Апокалипсиса отраженных ужасов Тридцатилетней войны. Его барабанщики, его «прекрасные трубы» над зеленым могильным холмом — все это заемные образы. Бесконечные модификации дюреровской «Меланхолии», висевшей у него на стене, — знак культурно-исторического соучастия, обусловленного культурной потребностью в таком европеизированного *неарийца*. В противном случае наличие генетической памяти, как, впрочем, и ее отсутствие, не более чем миф — что все равно не исключает сказанного.

Малер — визионер в плане того, что совершенно адекватен нашей ностальгии по предреволюционному китчу, садовой музыке и «военным астрам». Быть певцом будущей ностальгии по твоему настоящему, оплакивать себя слезами будущих поколений означает довести банальность до температуры трагедии, поместить ее «в следующее по классу измерение». Отсюда иллюзия: Малер провидел наше настоящее. Причем каждый волен для себя решать, чья ностальгия имеется в виду, кого оплакивает он горячими шубертовскими слезами («*Mit meinen heißen Tränen*»). Выбор на самом деле гораздо больший, чем между «концлагом» и «гулагом», но с нас довольно и этого.

Для современников Малер зарифмовывался с капельмейстером Крейслером. Это лежало на поверхности. Одно из известнейших своих сочинений он первоначально назвал «Фантазией в стиле Калло» (т.е. использовал подзаголовок гофмановской «Крейслерианы»). Одержимый романтическим горением, Крейслер обитает в звуковой стихии, как саламандры обитают в стихии огня. Крейслер — ироничный желчный человек. (Все

физиологические характеристики Малера.) Но самое важное, Крейслер — неистовый капельмейстер.

Широкая публика в Малере видела крохотного дервиша, неистово пляшущего на дирижерском помосте и своей магической пляской исторгающего из оркестра музыку. «Композиции М. гораздо меньше известны, хотя некоторые из них обладают крупными достоинствами», — со ссылкой на «Музыкальный словарь» Римана пишет «Еврейская энциклопедия» Брокгауза и Ефрона.

Представляться живым соавтором великих мертвецов куда почетней, чем быть на ампуа живого композитора, даже такого как Рихард Штраус, чьи претензии на гениальность отнюдь не отменяются с порога. В глазах культурной черни знаменитый исполнитель — соавтор величайших из великих, их величие сообщается ему едва ли не в полной мере. Кому как не ему публика обязана непосредственным звучанием? Кому как не ему адресует она свои восторги? А дирижер — это полководец исполнительей. Одушевленные его железной волей (кажется, так отозвался Чайковский о Малере-дирижере), сто человек оркестрантов поднимаются в атаку и, размахивая смычками, несутся во весь опор к заветной цели — яростному шквалу аплодисментов.

Малер, под началом которого Венская опера «стала одной из лучших в Европе» («Еврейская энциклопедия»), не был обделен ни прижизненной славой в музыкальном мире, ни чином, ни признанием в высших сферах. Будучи директором императорской оперы, он мог напрямую обращаться к императору с разными «вздорными» требованиями, как то: не впускать опоздавших в зал, не взирая на лица, и т.п.

В седле директора Венской оперы Малер продержался целых десять лет. Рихарда Штрауса, его счастливого соперника по композиторскому успеху у публики, эта норовистая кобылка сбросила уже через пять.

Малер не опускался до открытой ревности к автору «Саломеи», которого Толстой (большой дока по части музыки) в статье «Что такое искусство?» почтил высочайшим пинком. Что касается тайного соперничества, то вопреки ему Малер столь же честно, сколь и тщетно добивался разрешения на постановку скандальной «Саломеи» на сцене императорского театра. Как композитор он не раз выражал свое презрение к публике, чьи овации принимал в качестве дирижера. Убежденный в своей посмертном композиторском триумфе, в том, что будет горячее любим двадцатым веком, нежели Бетховен, Малер отлично знал цену Рихарду Штраусу в сравнении с собою. Равно как знал он и то, что напыщенный старец Ганс фон Бюлов, дирижировавший бетховенским Траурным маршем в черных перчатках, был не в состоянии оценить его «Тризну» (первая часть Второй симфонии Малера, которую тот сыграл Бюлову на рояле — причем последний в продолжение игры неоднократно затыкал себе уши). «Мой милый, если это музыка, то я ничего не понимаю в музыке», — по-дружески сказал главный дирижер девятнадцатого века молодому коллеге.

Все знал, все понимал, что с того? Понять — это еще не значить не страдать. Вознесенный на вершину музыкального Олимпа своей дирижерской палочкой, он должен был пребывать в глубоком разладе со своим *героем* — «чисто по-человечески». Директор Венской оперы, т.е. диктатор по должности и в силу характера, не обязательно даже что сволочь (хоть и желательно), — и вдохновенный, человечнейший художник, пишущий кровью сердца, восстающий против вторичности, против казенщины, — эти двое должны были в нем находиться по разные стороны баррикад. Когда много лет спустя Бруно Вальтер, уже знаменитый на весь мир, делает «вдовствующей» Альме предложение, она ответит отказом: ей, которая была замужем за творцом, не пристало быть женою интерпретатора. (К ней стояла очередь из знаменитостей: жена Малера, Гроппиуса, Верфеля — бежавшая с ним «с двумя чемоданами по простреливающемуся шоссе к испанской границе» — любовница Кокошки, муза Климта.)

Малера-композитора открывали несколько раз. «Начало композиторской славы Малера датируется версальской катастрофой», писал Иван Иванович Соллертинский, один из русских первомалярианцев.

Многое из того, что было рождено на немецкой почве, пришлось ко двору в советские двадцатые годы, и наоборот: вожди русской революции ожидали, что ее пламя в ближайшей перспективе перекинется на Германию. Но с ослаблением всемирно-революционного зуда этикетка «Изготовлено в Германии» утрачивает в их глазах свою привлекательность. Фрейдизм, поначалу облаканный в Советском Союзе, предан анафеме. Баухауз не прижился.

Имя Малера значилось на визитной карточке «немецких музыкантов-антифашистов», как тогда называли немецких дирижеров—евреев, из которых многие свою эмигрантскую судьбу связали с СССР. «На рубеже десятых и двадцатых годов нашего века наблюдался процесс музыкальной миграции: вырождающийся венский симфонизм оказывается разносчиком соцреализма... Если все, что в музыке тяготело к Рихарду Штраусу, обретает вторую родину за океаном — отчасти еще и благодаря вагнеровской системе лейтмотивов, по своему существу глубоко кинематографической, — то малеровская линия, малеровский стиль модерн, замешанный на „мировой скорби“ — старом добром *Weltschmerz*, — находит себе продолжателей в Советском Союзе, и не только на уровне Шостаковича — соединением марша с фрейлахсом композиторы-песенники надолго покоряют сердца широкой публики».

Ничего не переменилось даже когда Малер был объявлен «экспрессионистом, отошедшим от классического наследия». Вообще-то это не смертный приговор — скорее что-то вроде административной ссылки. Тем более, что в музыкальной таблице элементов имеется молекула «Малер-Шостакович».

Малер оставался «правофланговым» советской музыки до середины тридцатых годов, пока Шостаковича не постигла кара богов. Советская эс-

тетика уже напрашивалась на нелестные для себя сравнения. «Когда в „стабилизирующей“ Германии, — пишет Соллертинский, — начинает восстанавливаться капиталистическая промышленность, культ Малера естественно начинает идти на убыль. Его играют... но большого общественного резонанса нет (кроме слоев мелкобуржуазной интеллигенции). Фашистской Германии с Малером не по пути, она возрождает националистический культ Вагнера. Не последнюю роль в недооценке Малера играет и антисемитизм, за последние годы распространяющийся среди буржуазных кругов с фатальной быстротой».

Нацистская идеология расправлялась с Малером по привычной схеме. Еврейский китч, «еврейская на-все-похожесть», еврейская слезливость. Постоянно имея дело с чужими партитурами, в собственных сделавшись эклектиком. Типично еврейское паразитирование на чужом творчестве, на чужом национальном гении.

Популизм от эстетики, как и всякий популизм: «вроде бы тут что-то есть», вроде бы человек режет правду-матку, бесчисленные геббельсы всех цветов и всех калибров вроде бы бьют не в бровь, а в глаз, но — «вроде бы». Черная дыра этих «вроде бы» — характерная черта популистской полуправды.

Да, у Малера можно найти все, от музыки высохших слез, какой-нибудь неаполитанской песни, до Брукнера, «Шуберта, закованного в броню», — в крупновскую броню, добавлю я от себя. Но в пресловутой еврейской «всеотзывчивости», которой всегда корили и попрекали Малера, его грандиозность. Если угодно, его имперскость. Именно поэтому «внутреннее знание» малеровской музыки дается легко, стоит только начать — «она вспыхивает, как сухая газета... этим объясняется истерический роман с Малером очень многих...»

В своих симфониях — а число их священо: по числу муз (не будем горевать, что этих симфоний роковым образом девять, как у Бетховена и Брукнера) — так вот, в своих симфониях Малер счастливо избежал соблазна традиционного сонатного аллегро с его неизбежной разработкой — что погубило Шумана-симфониста, наперекор своему дару по-школярски следовавшего бетховенской схеме. Шуман хотел, чтобы его симфонии были «не хуже, чем у других», подразумевался Бетховен, которым измерялась глубина. Малер хотел, чтоб у него было «лучше, чем у других», — опять же подразумевался Бетховен, им пользовались все, как лотом. «Разработку писал уже Моцарт. Он брал свои темы и мастерски перемешивал их друг с другом. Зато у Бетховена вы не найдете ничего подобного. Тот всегда имел в виду нечто определенное. То, что Мендельсон и Шуман снова стали писать разработку — их дело. Конечно, они впали в ошибку» (Малер в разговоре с Фёрстером).

Симфонист Малер «вкусил высший миг», отказавшись от сонатной формы — другими словами, обрекая на смерть европейский симфонизм. Совершенно фаустовская коллизия. (Так вагнеровское «остановись, мгно-

вень!» убило тональность: пыточный «тристан-аккорд» ни во что не разрешался, символизируя половую муку героя.)

Я помню, как в Советском Союзе заново открывали Малера — с первыми лучами послегулаговского солнышка, через «всхлип оптимистической трагедии», может быть, даже через концептуалистскую ностальгию по Дунаевскому — «Шостаковичу для бедных». У покойного Вайля читаем: «...Но откуда первомайские марши, по-особому трогающие душу человека с нашим опытом? Их пафос беспредельного оптимизма — порождение идеологии, но не той, о которой думаешь сразу, а имперской. Дело и в характере музыки, и в цепочке преемственности: Малер повлиял на Шостаковича, Шостакович породил сотни эпигонов, заполнивших радио и кино, особенно когда ледоход и нравственное обновление».

Воскрешение Малера в Германии, боюсь, тоже происходило у меня на глазах. Совсем по Соллертинскому: «Его играют, его уже причислили к великим классикам, он вошел в историю музыки, о нем написаны многочисленные монографии, но большого общественного резонанса нет». Слушательская масса, которую я еще застал — к ней я отнесу и оркестрантов — впервые услышала Малера в зрелом возрасте. Их немецкая музыкальность, хватающаяся за оголенный провод и в то же время филистерская, стояла насмерть перед попытками дирижеров ввести Малера в пантеон — а надо сказать, берущийся за Малера, особенно какой-нибудь «махала» в провинции, ощущает себя членом малеровского клуба, наряду с Бруно Вальтером, Отто Клемперером. Но для публики, как и для оркестрантов того поколения, «гениальность Малера — выдумка амбициозных дирижеров, послевоенных политиков и заморских „музыкальных мафиози“ типа Леонарда Бернштейна».

Кстати, недавно из статьи «Последний Композитор Европы» («Europa's letzte Komponist»), помещенной на сайте одного крупного немецкого журнала, я узнал, что первый успех пришел к Бернштейну в 1943 году, когда вместо заболевшего Бруно Вальтера он без релетиции продирижировал рихардштраусовским «Дон-Кихотом», — точно также сорока годами раньше Бруно Вальтер заменил за дирижерским пультом Малера. «Тем самым перебрасывается мост в Новый Свет, — пишет автор, — Малер, Бруно Вальтер, Бернштейн». (Так — да не так: как бывает мост пешеходный, это мост сугубо исполнительский, дирижерский. На американскую музыку Малер не повлиял, там все ушло в фольклор, в создание новой национальной идентичности).

Однако не успела эта статья, приуроченная к малеровскому юбилею, появиться, как тут же получила отповедь: последним европейским композитором следует считать Рихарда Штрауса, возмущается читатель — докторская степеня, двойная фамилия, сельская местность. Старые раны болят.

Когда Игорь Стравинский — ненавистник Рихарда Вагнера, антипод всей и всяческой «германщины», в том числе и Малера — все же выразил удовлетворение его исторической победой над «Рихардом Вторым»,

то он поторопился. Это ведь то же, что сказать: «Мосфильм» взял верх над «Голливудом».

Десятилетия Фабрика Грез работала на отходах Рихарда Штрауса — в лице Корнгольда (два «оскара»: за музыку к фильмам «Волшебник Изумрудного Города» и «Королевские пираты»), в лице множества других композиторов, в большей или меньшей степени демонстрировавших свою зависимость от томных восторгов югендштиля рихардштраусовского толка. Это и Миклош Рожа, недавно скончавшийся у себя на родине в Венгрии («Частная жизнь Шерлока Холмса», «Бен Гур»), и венец Макс Штейнер, родоначальник голливудской музыки («Кинг Конг», «Унесенные ветром», «Касабланка»), и уроженец Нью-Йорка Бернард Германн (весь Хичкок пятидесятых годов, но в первую очередь «Головокружение») — я, к сожалению, не помню, кто написал музыку к фильму «Скарамуш» (*музыку к фильму "Скарамуш" 1952 года написал известный композитор Виктор Янг – прим. ред.*).

Музыка — душа Голливуда, а Голливуд владеет миром. Первая известная мне попытка сделать из Малера фильмового композитора принадлежит Иштвану Сабо. В фильме «Отец» (1966 г.) музыкальный рефрен — это слегка видоизмененная малеровская «Фантазия в стиле Калло»: еврейский траурный марш, звери хоронят охотника. Через десять лет Висконти снимет свой глянцево-«ретро», рассчитанный на многомиллионную аудиторию: «Смерть в Венеции». Кислородной подушкой послужит *adagietto* из Пятой симфонии.

В очередной раз культурное человечество откроет для себя Малера. Как компакт-диски с до-мажорным концертом Моцарта называются теперь «Эльвира Мадиган», так же и компакт-диски с Пятой Малера могли бы носить подзаголовок «Смерть в Венеции». Еще один культовый мотивчик. Вызывающих его мобильных телефонов я, правда, не встречал — в бодром темпе, но, услышав, не удивился бы.

Малер говорил: «Мое время еще придет». Оно наступило, одержана историческая победа над Рихардом Штраусом. Правда, у нее очень горькое название: пиррова. Когда популярность музыкального сочинения определяется по мобильнику, кто победил — это уже неважно.

Густав Малер родился 7 июля 1860 года в Калиште, близ Иглау, на границе Чехии и Моравии. Шаляпин, работавший с ним в «Метрополитен Опера», произносит его имя не иначе как *Malheur* — Несчастье. Из Нью-Йорка Малер вернулся в Вену, чтобы там умереть — 18 мая 1911 года. Разбитое сердце — удел пишущих кровью сердца. Два малеровских юбилея, стоятидесятипятителетие со дня рождения и стоятилетие со дня смерти расположены так близко, что легче легкого перепутать именины с трезной. Очень по-малеровски. Пирого с праздника доедаются за поминальным столом. «Застольная песнь о бедствиях земли» — ею начинается кантата «Песнь о земле», его предсмертный шедевр.

То, что он крестился... В какой мере это было «вступлением в партию» (в смысле, что Вена стоила мессы), в какой мере это было «платой за вход в европейскую культуру» (Генрих Гейне), а в какой — все остальное: т.е. признание Иисуса из Назарета Мессией и Сыном Божиим, признание первого догмата, установленного церковью, — о Святой Троице и т.д.? Знаменитые слова Малера, которые вспоминают по любому поводу, к месту и не к месту, эмоционально родственны его симфониям:

— Я трижды лишен родины: как чех в Австрии, как немец в Америке и как еврей во всем мире.



Сергей Колмановский

ПОКА Я ПОМНЮ...

Моим родителям посвящается

Предисловие

Я написал эту книгу потому, что мне посчастливилось общаться и даже сотрудничать с деятелями искусства, известными широкому кругу читателей. Хочется думать, что уже поэтому мои воспоминания будут для вас небезынтересны. В книге пять разделов. В первом собраны материалы, наиболее тесно касающиеся моего отца, композитора Эдуарда Колмановского. Второй посвящён его и моему окружению. В третьем разделе помещены короткие заметки о знаменитостях, на каждого из которых у меня не хватило воспоминаний на целый очерк. Здесь же вы найдёте небольшие истории, не всегда имеющие отношение к музыке, а также кажущиеся мне занятными изречения, подслушанные мной по жизни. Имеют некоторое, очень небольшое место и собственные размышления. Я позволяю себе этот разный потому, что вряд ли когда-нибудь напишу вторую книгу. Четвёртый раздел — юмористический. До эмиграции я много выступал с авторскими концертами, на которых мною всегда «заполняли перерыв». То есть между выступлениями певцов я должен был развлекать публику, шутить с ней. А попробуй напасись шуток без политики, секса, мата и сортира! Вот во мне и развилась патологическая жадность к хохмам и приколам. Я впитывал их, как губка, и сейчас возникла потребность поделиться с вами этими запасами. Да и последний, пятый, «детский» раздел сплошь начинён юмором...

Уже пятнадцать лет я даю концерты-лекции о советской песне и её творцах. Отзывы слушателей, их вопросы существенно помогли мне отобрать из закромов памяти то, на что аудитория реагирует наиболее живо и заинтересованно. Чаще всего меня спрашивают: «Кто написал стихи этой песни?». Дело вот в чём. Поскольку я не певец и не артист, то на концертах, посвящённых творчеству какого-нибудь композитора, прежде чем спеть с залом его известную песню, я рассказываю о ней и таким образом «везжаю» в это совместное пение, зачастую не объявляя при этом автора стихов, а иногда и название песни. Ведь объявление означало бы исполнение, а я на это претендовать не могу, я только напоминаю песню. Чтобы хоть как-то загладить вину перед всем литературным корпусом, я буквально наводнил эту книгу эпитафиями главным образом из поэтов, работавших с отцом, со мной или с композитором — героем соответ-

ствующего очерка. Не удивляйтесь: А.С. Пушкин — не исключение, у Э. Колмановского есть романсы на его стихи....

Больше всего (и не только в первом разделе) я, конечно же, пишу о папе. Не только потому, что вижу в этом сыновний долг. И не потому, что знаю о нём больше, чем о ком бы то ни было. Но ещё и потому, что после его смерти стало ясно: с какими бы яркими, одарёнными людьми ни сводила меня жизнь, всё-таки самым интересным для меня среди них был он, мой отец, композитор Эдуард Колмановский...

*И про отца родного своего
Мы, зная всё, не знаем ничего*
Евг. Евтушенко

Он любил тебя, жизнь...

... и не напрасно надеялся, что это взаимно. «Злая, ветреная и колючая»¹ судьба всё же дала ему полностью выразить себя в музыке, прежде всего в песне.

«Я привыкаю к несовпадению»

Начнём с того, что Эдуард Колмановский успешно закончил московскую консерваторию у профессора В.Я. Шебалина. Это был видный композитор и выдающийся педагог. Но он совершенно не признавал «лёгкого» жанра, пренебрежительно отзываясь даже о Дунаевском. Это было одной из причин, по которой путь Колмановского (а также других учеников Шебалина, впоследствии обратившихся к более демократичному музыкальному направлению — Т. Хренникова, А. Пахмутовой, О. Фельцмана) к песне был очень непрост. Самым значительным из папиных консерваторских сочинений мне представляется цикл романсов на стихи Р. Бернса. Недаром некоторые из них взял в репертуар знаменитый тогда певец А. Доливо (папа долго находился под обаянием его творческой и человеческой индивидуальности). От этой музыки — простой, правдивой и пронзительной, пусть ещё и не вполне самостоятельной, буквально рукой подать до знаменитой песни Шута из мхатовской «Двенадцатой ночи». Это если говорить о творчестве. Но боже мой, какой же долгий и трудный отрезок жизни пролёг между двумя этими работами!.. Когда отец был музыкальным редактором на радио, в полной мере проявилось роковое для его судьбы несовпадение наивных устремлений интеллигента к справедливости с реалиями сурового времени (это был рубеж 40-х и 50-х годов). Однажды композитор С. Баласаян, под началом которого работал Колмановский, глядя в пол, сообщил ему, что руковод-

ство недовольно отцом за слишком интенсивную пропаганду композиторов-евреев. «Мне неловко об этом говорить. Поймите, Эдуард Савельевич, этот разговор — не моя инициатива. Мне навязали эту миссию, потому, что я сам не русский». «Позвольте» — возразил отец. «Речь идёт о музыке или о национальности композитора? Ведь армянская музыка постоянно передаётся по радио, еврейская — никогда! И вообще справедливая национальная политика в музыке — это когда национальности композитора не придаётся никакого значения». Какую надо было иметь веру в справедливость, чтобы сказать такое в 50-м году, находясь на передовой линии идеологического фронта! И как отца должны были ценить, чтобы такое заявление осталось без последствий! И до конца жизни папа категорически отказывался выть по волчьей живя с волками. Тут имело место ещё и несовпадение в самом характере Эдуарда Колмановского. Он был борцом. Умел сосредоточиться на какой-то житейской проблеме, вникнуть в неё и сражаться до последнего за её решение. И в тоже время как-то сознательно отдалял себя от реальность. Понимая всю абсурдность советской действительности, он пытался не дать ей подавить себя как личность, как мыслящую единицу. В разгар дурацкой трескотни вокруг выдуманной Брежневым новой конституции отец негодовал: «Кто и когда выражал хотя бы малейшее недовольство уже существующим сводом законов?» Позже папа возмущался тем, что сестру М. Ростроповича, работавшую в оркестре филармонии, сделали невыездной сразу после эмиграции Мстислава Леопольдовича: «Её надо в первую очередь пустить на Запад, ведь у неё там брат!» Конечно же, папа понимал логику властей, но мне бы, например, такие мысли и в голову бы не пришли. Ему трудно было найти единомышленника. Окружающие могли лишь посочувствовать папиной высокой, я бы сказал, недостижимой наивности. Он всё время слышал: «Не будь наивным человеком» — и от домашних, и от коллег, которым иногда приходилось этой фразой прерывать папины неосторожные публичные высказывания. А он хотел верить в человека, «в него и больше ни в кого!» — как поётся в одной из его песен. «Только куда они подевались, ЛЮДИ?!» — восклицал отец с горечью...

«Я работаю волшебником»

Итак, путь Эдуарда Колмановского к песне пролёг через классику. В это рассуждение вписывается одна деталь, которая раньше казалась мне лишь занятной. Отец — прямой потомок Феликса Мендельсона-Бартольди Папина бабушка Этта — внучатая племянница великого композитора.

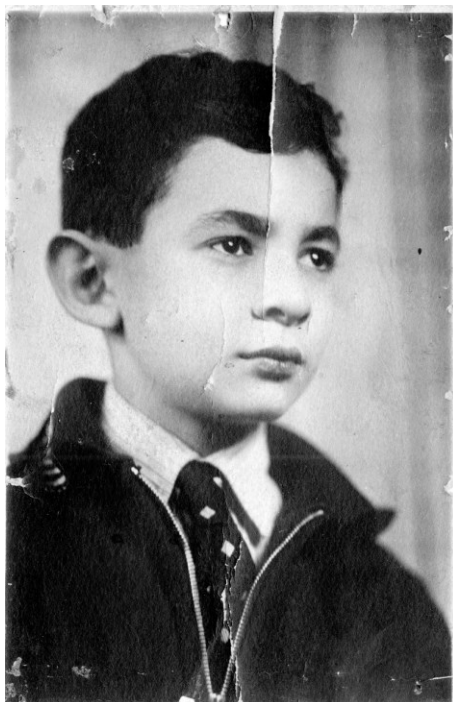
По еврейским представлениям очень даже близкое родство. Но сейчас, подавив ироническую ухмылку, я не могу сопротивляться мысли о некоем поручении, полученном отцом очень издалека.



Савелий Маркович Колмановский — отец композитора



Савелий Маркович с новорожденным Эдуардом



Эдуард Колмановский в возрасте 13 лет

Классическое образование, а потом и редакторская работа дали творчеству Колмановского высокую точку отсчёта. В советской песне были фигуры и покрупнее, но я не знаю, кто ещё так неистово боролся за поддержание в этом жанре планки на уровне требований высокого искусства. В том, видно, и состояло его поручение. Отец был не чужд честолюбия, но ни разу не поступился творческими идеалами ради попадания в десятку, что было единственной целью кое-кого из его коллег по жанру, один из которых так прямо и заявил в снятом о нём несколько лет назад телевизионном фильме. При этом папа был очень восприимчив к знакам времени, как социальным, так и музыкальным. Но его музыка всегда была над модой, и даже в песне, написанной в ритме ча-ча-ча слышался благородный аромат иных времён. В этом парадоксальном сплаве и заключался секрет Эдуарда Колмановского, его «простое волшебство». Что дало крылья песне его судьбы «Я люблю тебя, жизнь!» и сделало её эмблемой нового времени, когда выяснилось, что все мы не только винтики машины построения будущего, но ещё и люди? Всё та же настырная колмановская щеминка, сделавшая героя песни живым, думающим, пережившим в жизни всякое, то есть одним из нас. Ведь из всего живого под луной только человеку дано радоваться и грустить одновременно. Занимая совершенно осо-

бое место в «звонкой летописи» своего времени, песни Э. Колмановского остаются всё же советскими. Тут у меня много оппонентов, первым из которых был сам отец. Да, конечно, он не воспевал Советскую власть, не возвеличивал партию и её вождей, и я не понимаю, как могла одна журналистка недавно утверждать, что песня «Алёша» исполнялась в правительственных концертах. Сколько голов полетело бы, если бы эта песня, такая горькая и грустная, действительно проникла бы в какое-нибудь, скажем, послесъездовское представление! Однако в песнях отца — пусть даже против его намерения — часто прослушивается социальный заказ: «Хотят ли русские войны», «Песня о заводском гудке», тот же «Алёша» и даже вполне лирическая «Бирюсинка», перекликающаяся с комсомольско-рюкзачными песнями того времени. Но в том и загадочная сила настоящего искусства, что оно всегда перерастает социальный заказ, иначе как бы мне, отпетому атеисту, наслаждаться «Всенощной» Рахманинова, или, будучи далёким от монархизма, восхищаться торжественной мелодией старого русского гимна «Боже, царя храни!»! Это, конечно, счастье, что нынче люди живут не искусственно поставленными кем-то идеологическими задачами, а своими, реальными. Но платой за это и является измельчание, девальвация песни. Исчез социальный заказ, а с ним и сама идея сплотить в песне огромное народное большинство каким бы то ни было литературно-музыкальным тезисом. Вот что, очевидно, имеет в виду Евг. Евтушенко, когда пишет: «И как ушёл из жизни смысл, ушла мелодия из песен». Песни с социальным заказом своей значимостью поднимали уровень и соседствующих с ними лирических и даже танцевальных песен. Всё это было только в советской песне. Но как нет худа без добра, так, видно, нет и добра без худа. Слава Богу, что нет коммунистической империи, но как жалко, что с ней ушли и благородные традиции советской песни! Впрочем, может быть, какой-нибудь волшебник попытается объединить слушательскую массу в едином и страстном порыве песней, например о том, как хорошо заработать миллион баксов, купить дом в Ницце, найти не дорогую и надёжную крышу от рэкетиров?...

«И сердцу по-прежнему горько»

Это строка из песни «Алёша», к которой я отношусь особенно трепетно. Она была написана на пике отцовского взлёта, когда он был в зените творческих сил и всенародной популярности. Но известность отца как-то не уговорила его судьбу стать хоть немного помягче. От её самого страшного удара отец не оправился до конца жизни. 15 января 1968-го года в автомобильной катастрофе погибла его первая жена Тамара Майзель, наша с братом мама. Она чуть-чуть не дожила до их серебряной свадьбы, а дружить они начали со второго класса школы. Папа тяжело и неизлечимо за-

болел. Его возвращение к жизни зависело от возвращения к творчеству, и поэтому было очень тревожно, когда на мой вопрос: «Ты работаешь или как?» — отец отвечал: «Главным образом — или как». Но однажды прохрипел: «Царапаю кое-что». С тех пор и в новой своей мрачной полужизни, из которой он однажды даже пытался уйти, Эдуард Колмановский продолжал выполнять своё поручение. Через несколько лет в жизнь отца вошла женщина по имени Светлана, ставшая его второй женой. Её заботе и терпению мы в значительной степени обязаны творческим удачам позднего Колмановского... По мере того, как отец становился классиком, к нему всё больше приценивалось руководство союза композиторов. Начальству очень хотелось видеть такого интеллигентного и авторитетного музыканта во главе песенной комиссии. Но его побаивались, стеснялись предложить ему вступить в партию, чтобы сбалансировать его природный анкетный недостаток. Однако пришёл момент, когда этот изъян перевесила известность отца. Ему предложили руководящий пост и папа, воля которого к тому времени была надорвана болезнью и лекарствами, не смог отбиться и оказался в совершенно чуждой ему атмосфере склок и интриг. А тут ещё его заболевание! Начались жалобы на его неуравновешенность, заносчивость, даже на равнодушие. Отец в это время дошёл до такого состояния, что на него жаловались и родные. Я бы и сам на него пожаловался, если бы знал, кому. Как же мы все позволили злему чувству игнорировать его горе и недуг?! Сейчас, рассказываясь в этом, я всё чаще мысленно обращаюсь к стихотворению, которое написал тогда про папу К. Я. Ваншенкин - «Его огуллила беда». Там удивительно точно определяется, в каком горьком тумане плавал тогда отец: «От радостей, но и от бед он заслонён своим страданьем». ...В ещё большей мере хочется оградить имя отца от совсем уж нелепых домыслов...

«Я слухам нелепым не верю»

В книге Ф. Раскатова «Досье на звёзд» (издательство «Пресс», 1999) утверждается, что певец Д. Маликов — внук Эдуарда Колмановского. Якобы у Ю. Маликова был роман с дочерью композитора, родился мальчик, которого Юрий забрал, когда любовники расстались, и воспитал вместе с новой женой. Это не просто беспардонная ложь (начать с того, что у папы никогда не было дочери), очерк не лишён криминала. Ф. Раскатов пишет, например, что Э. Колмановский «откосил» любимого внука от армии. А когда юноше не хватило баллов для поступления в московскую консерваторию, дедушка уладил и это. Я плохо ориентируюсь в лабиринтах российской юстиции, и мне не удалось привлечь лгуна к уголовной ответственности, но может быть теперь сам Ф. Раскатов, как порядочный человек, подаст на меня в суд — я ведь достаточно ясно тут его охарактеризо-

вал. Там, надеюсь, и разберёмся. А как всеильные Маликовы терпят нелепую байку про какого-то нагулянного ребёнка? ... 14 марта 1996 года в «Калейдоскопе» — еженедельном приложении к израильской газете «Время» — появились воспоминания о Э. Колмановском некоего М. Шульмана, в которых просто нет ни одного слова правды. Но редактор издания г-н Дачнович отказался напечатать наше семейное опровержение. Какое разительное несовпадение лжи, интриг и суеты с именем отца! Как это всё было ему чуждо! Он старался жить

«Высоко, высоко, широко, неоглядно!»

Его кредо была старая еврейская пригласительная: «Ребе, мы читали все данные вами молитвы, которые помогли соседскому сыну избежать службы в армии, а нашего Моню всё-таки забрали!» Ребе отвечает: «Позвольте, а грыжа у него была?»... И когда я спрашивал: «Почему ты не отнесёшь песню ещё и в эту редакцию, не покажешь тому певцу?», папа говорит: «Отстань и сам никогда не суетись. Надо иметь грыжу!» В этой позиции его поддерживал Марк Бернес: «Правильно, Эдик, не мельтеши, была бы хорошая песня — ты её за хвост не удержишь!» Впрочем, в исключительных случаях отец понимал, что грыжи не достаточно, нужны ещё и молитвы. Он умел постоять за себя в любой инстанции — от ЦК КПСС до редакции издательства, вольнившего с выпуском его песен. Звонил и говорил: «Хотелось бы, знаете ли, при жизни автора...»

«Я улыбаюсь тебе»

Юмор, гротеск, пародия свойственны, в основном, театральной музыке Э. Колмановского, к сожалению, знакомой только старым московским театралам. Но если моему восхищению по поводу его музыкального юмора вы можете только верить, то его шуткам «в миру» мы сегодня можем улыбнуться вместе. В детстве я шумно сопел при музицировании, и папа называл меня «композитор Сопен»... С отъездом на летний отдых его иногда задерживали в Москве дела, и провожая нас с мамой, он перефразировал свою песню: «Мы служите, вы нас подождет». Наиболее интенсивному поруганию подвергалась песня «Хотят ли русские войны». Э. Колмановского обвиняли в опошлении строгих и мужественных стихов Евтушенко тангообразными интонациями. Поэтому, желая активизировать Евгения Александровича по песенной части, папа говорил: «Женя, ну дай же опошлить стихи». Его ирония заражала и окружающих. Л. Ошанин называл отца «крупным САЦИологом», потому что он много и плодотворно сотрудничал с Н. Сац. Поскольку отец до конца жизни очень нравился женщинам (в силу его характера и понятий — как бы издали), Евге-

ний Евтушенко каламбурил: «Эту в рай, а эту в ад отправляет Эдуард». Как ни странно, много смешного связано и с песнями отца, в том числе и самыми грустными. Песня «За окошком свету мало» вызвала массу подражаний. Вот что написал, например, некий графоман по аналогии с «гвоздевыми» строчками Ваншенкина (помните? — «Хоть давно я не катаюсь, только саночки вожу»): «Шуми, шуми над нами, груша; я понимать недавно стал, что раньше я не сливы кушал, а только косточки глотал». Строфа из песни «Мужчины» (стихи В. Солоухина):

А женщина женщиной будет,
И мать, и сестра и жена.
Уложит она и разбудит,
И даст на дорогу вина.

вызвала протест у одного слушателя, который написал отцу: «Почему женщина должна спаивать мужчину, да ещё на дорогу? Лучше бы дала два яблока — и для рифмы было бы лучше». Но вернёмся к юмору самого Эдуарда Колмановского. Когда моему брату Саше было 14 лет, он написал из Сочи, где они с отцом отдыхали, длинное письмо в стихах оставшейся в Москве родне. Папина приписка к этому письму, надеюсь, вызовет у вас улыбку, а мне поможет избежать слишком строгого читательского суда, если считать, что слова отца относятся не только к стихам брата, но и к этой книге: «Дорогие! Читая сочинение моего сына, примите во внимание, что в остальном он неплохой мальчик»...

Кто вы такой, Эдя?

И рано или поздно мой час пробьёт...
П. Антокольский

Этой музыкой было наполнено моё детство. В душе навсегда осталось предощущение чуда, которого вся семья стала ждать с тех пор, когда наконец, пробил звёздный час отца и он начал работу над музыкой к пьесе В. Шекспира «Двенадцатая ночь или как вам угодно» в постановке МХАТа. И чудо свершилось — эта музыка до неузнаваемости изменила жизнь отца, его творческую судьбу, повисла гигантской аркой над всем его нелёгким путём — в конце жизни он написал для детского музыкального театра, ныне носящего имя Н.И. Сац, оперу «Двенадцатая ночь», где звучат и песни из мхатовского спектакля. Вообще театральная музыка занимает в творчестве Эдуарда Колмановского никак не меньшее место, чем песня. Он с детства обожал театр. Окна квартиры, где он жил, выходили прямо на театр имени Евг. Вахтангова, где одной из ведущих актрис была жена его дяди Давида Колмановского — знаменитая тогда Валентина Вагрина. Так что у мальчика была возможность часто туда ходить. Тем не менее, каждый такой

выход был для него событием, праздником, вызывал волнение за несколько дней до спектакля. Благодаря необычайной восприимчивости отца к высокому искусству, эти впечатления зарядили его на всю жизнь любовью к театру, породнили с ним. Показательно, что в критический для отцовской творческой судьбы час, тоненькая цепочка его родственных и дружеских **театральных** связей спасла его, вывела к истокам будущей славы...²

Но по порядку. Отец был сторонником оптимальных решений. В детстве и юности он занимался только своим музыкальным формированием. И так увлёкся музыкой, что когда в Москве проходил всесоюзный конкурс дирижёров, папа просто бросил общеобразовательную школу, чтобы не только ходить на концерты конкурса, но и не пропустить ни одной репетиции. Когда это преступление было раскрыто, в семье разразился скандал, о котором потом рассказывали десятилетиями, а папин дедушка, известный в Могилёве фельдшер Павловицкий с горечью констатировал: «Пропал парень!». Сейчас легко говорить, что папину тягу к музыке надо было, наоборот, всячески поощрять, а тогда-то кто знал, что «парню» суждено стать композитором Эдуардом Колмановским? Честь и хвала далёкой от музыки семье за то, что сумела вообще придать значение папиным музыкальным способностям. Тут решающую роль сыграл его отчим Александр Маркович, в тяжёлых семейных баталиях отстаивший право юноши посвятить себя любимому делу, каким бы ненадёжным и неприбыльным оно ни казалось, сколько бы дедушка ни стонал: «И как он будет зарабатывать на хлеб?». Э. Колмановский получил прекрасное (лучше не бывает!) музыкальное образование. В гнесинской музыкальной школе он учился по классу фортепиано, но уже тогда стал сочинять. Совсем маленьким мальчиком он написал некий вальс, который, как и полагается детскому опусу, был на всё на свете похож, поэтому Александр Маркович прозвал это произведение «Вальс-плагиат». Маленькому папе это слово, значения которого он не понимал, нравилось чисто фонетически. И когда приходили гости и просили его что-нибудь сыграть, он без тени смущения так и объявлял своё выступление: вальс-плагиат³

Таким образом, он был папе и отчимом, и дядей, а его дочь — родной сестрой папы по матери и одновременно двоюродной по линии отца.) ...В гнесинском училище отец уже учился по классу композиции. Затем была московская консерватория, класс В.Я. Шебалина, затем эвакуация, свердловская консерватория, снова московская... Во время эвакуации папина судьба впервые показала свой непростой характер. Его маленькая сестрёнка, которой было поручено нести портфель со всеми отцовскими сочинениями, потеряла эту драгоценную ношу, так что продолжать композиторское образование Э. Колмановскому было нелегко... Из рассказов о жизни в Свердловске я запомнил только, что отцу приходилось спать на сундуке, про который его отчим говорил: прохвостово ложе... Знаю также, что за время отсутствия семьёйкомната с видом на вахтанговский театр оказалось занятой, как это часто тогда бывало, и по возвращении в Москву

папе пришлось воевать за неё... Он вообще был борцом по натуре, но вот как обходиться со своими сочинениями в «открытом мире» он не знал, потому, что был сосредоточен на учёбе. По существу он добился больших успехов. Достаточно сказать, что Э. Колмановский был принят в союз композиторов ещё до окончания консерватории. Но что делать дальше? Это вопрос вопросов для каждого композитора. Не надо каждую неделю ходить к профессору, не надо сдавать экзамены и зачёты, твоей музыки никто не ждёт. Отец больше всего хотел бы работать с каким-нибудь театром. Но как получить желанное приглашение? В. Шебалин, ценивший музыку отца, сразу сказал, что растерял все свои театральные связи. Конечно, молодой Колмановский не перестал сочинять, но ведь надо было на что-то жить, тем более, что к тому времени он уже женился и на свет появился автор этих строк. Мамин дядя Абрам (один из самых близких людей и маме, и отцу, и нам с братом) сказал отцу: «Эдя, как вы можете так жить? Подумайте: каково ваше положение? Кто вы такой?»... У папы были талоны на обед в ресторане «Нева», который днём превращался в столовую. С отчаяния он обратился к руководителю ресторанного ансамбля, репетировавшего вечернюю программу, с просьбой принять его в коллектив, если он специально для этого выучится играть на аккордеоне. Но узнав, какое у папы образование, тот решительно отговорил отца от этого безумия... Наконец, с помощью того же В.Я. Шебалина, папа устроился музыкальным редактором на всесоюзное радио. В этом не было бы ничего губительного для творчества. Огромное большинство композиторов поначалу где-нибудь работают, пока не зарекомендуют себя настолько, чтобы можно было жить на вольных творческих хлебах. Но оказалось, что Э. Колмановский — редактор от Бога. До конца его жизни папины коллеги любили показывать отцу свою музыку, причём, самых разных жанров, и высоко ценили его замечания... Папа буквально упивался этой работой, уверенно поднимался по служебной лестнице, несмотря на разгул борьбы с «космополитизмом», но за несколько лет почти ничего не написал, тем более что у него был ненормированный рабочий день. Денег всё равно не хватало — один раз на отца даже пришёл исполнительный лист. Казалось, можно начать прощаться с композиторством. Но судьба пошатнула прочное служебное положение Э. Колмановского на радио... Здание на улице Качалова, где размещалась музыкальная редакция, выходила торцом на особняк Л. Берии. Соответствующие окна никогда не открывались, были запломбированы, из-за чего некоторые помещения проветривались только через форточку в туалете. Поскольку в редакционной комнате было, как правило, многолюдно и шумно, отец для серьёзного разговора выходил с собеседником в коридор. Во время одной из таких бесед ударила гроза, да с такой силой, что окно, около которого стоял отец с коллегой-редактором, оказалось распахнутым. Тут коллега и спрашивает: «Эдуард Савельевич, что у вас в руках? Это же государственная пломба!» «Надо же» — рассеянно ответил отец, выбросил пломбу в мусорную корзину и они продол-

жили профессиональный разговор. На следующий день к Колмановскому подошёл человек в рабочем комбинезоне, показал удостоверение, попросил рассказать о происшедшем и был полностью удовлетворён папиными объяснениями. Для пущей ясности отец спросил: «А где была пломба?», — и услышав, что она была прикреплена аж под потолком именно для того, чтобы не сорвали, папа заметил: «Вы же понимаете, что я туда не лазил. Да и не долез бы. Очевидно, после удара ветра пломба упала на подоконник, и я машинально взял её и стал крутить»... Папу вместе с его непосредственным руководителем С.А. Баласаняном вызвало на ковер высокое начальство. Главной темой разноса была политическая незрелость отца. С. Баласян пытался смягчить формулировку: «Эдуард Савельевич, вы поступили неосмотрительно!» Но куда там! Начальство только ещё больше распалилось: «Это беззубая формулировка! Любой пионер на вашем месте забил бы тревогу! А вы, работник идеологического фронта, спокойно выбрасываете *Государственную* пломбу!» Колмановский растерянно спросил: «А что я должен был с ней делать?». — «Немедленно отдать!» «Кому?». — «Чапыгину!» (Чапыгин был главным музыкальным редактором всесоюзного радио, и как он по мнению начальства мог бы поступить с пломбой, остаётся загадкой.) Позже отец узнал, что его хотели перевести на телевидение — как будто там политическая незрелость — не порок. Но вскоре умер Сталин, и начальству стало не до папы... Примерно в это время стало известно, что МХАТ готовит «Двенадцатую ночь» силами преимущественно молодых артистов, для многих из которых роль в этом спектакле должна была стать дебютной. И Колмановский решил предложить себя в качестве композитора-дебютанта. Но как добратся до постановщика спектакля П. Массальского?.. Вспомнили, что моя бабушка (то есть папина тётца) в молодости была дружна с женой А. Грибова и не переставала поддерживать с ней отношения.

Цепочка сработала, и отец получил пробное задание. Он уехал на несколько дней в «Рузу», где и были сочинены первые эскизы работы, решившей его творческую судьбу. Возьму на себя смелость сказать: ни в одной другой работе отцу больше не удалось выложиться с такой полнотой, с такой молодой силой. Несколько лет молчавший и теперь сделавший последнюю ставку на этот сумасшедший шанс, папа начал свою деятельность те-



Эсфир Моисеевна Лясс —
бабушка автора с материнской
стороны

атрального композитора сразу с кульминации. После выхода спектакля его стали наперебой приглашать практически все московские театры. Эта работа сблизила его с песней — до этого Э. Колмановский был преимущественно академистом. Знакомство с В. Трошиным, исполнявшем роль Шута, тоже дало впоследствии всем известные художественные результаты. Наконец, одна из песен Шута стала исполняться и вне спектакля — в концертах, по радио, приучая общественность к словосочетанию «Эдуард Колмановский». Этой такой грустной песней заканчивалась искромётная «Двенадцатая ночь», хотя П. Массальский долго сомневался, боялся, что после апофеоза песня не прозвучит. Но она ещё как прозвучала! Такая уж была в ней сила. И потом, на банкете, артисты пели исключительно её: «Дайте бедному шуту звёздочку вон ту!». А Трошин пел: «Дайте бедному шуту пять звёздочек-вон ту!»... Впоследствии на радио была записана сюита из музыки к «Двенадцатой ночи», а спустя некоторое время — совсем уж неслыханный случай! — отец получил письмо из музыкального издательства с предложением издать эту сюиту. Только через много лет, узнав, сколько композиторов безрезультатно обивают пороги музыкального издательства (тогда — единственного) с просьбой напечатать хотя бы одну песню, я понял, какого успеха достиг отец. Но вернёмся к «началу пути»... Итак, Э. Колмановский был утверждён, хотя пока и без договора, композитором спектакля. Но тогда во МХАТе ставили по нескольку лет, и «Двенадцатая ночь» не была исключением. Вполне одобрив папины эскизы, П. Массальский уделял ему не так уж много внимания, поскольку сама постановка поначалу не заладилась. А в какой-то момент он заявил: «Эдуард Савельевич, давайте говорить серьёзно: Вы очень мало сделали!». Но Э. Колмановский отбилсЯ: «А вы же мне никаких заданий не даёте!» Как бы в помощь Массальскому сопостановщиком спектакля был назначен В. Станицын, и дело пошло куда веселее, но до договора всё не доходило. А ведь отец пошёл ва-банк, и под этот заказ уволился с работы, благо мама, преподававшая английский язык в институте физкультуры, к этому времени защитила кандидатскую диссертацию и стала чуть больше получать... И папа решился на совершенно ложный шаг, в котором потом долго раскаивался. Он попросил Т. Хренникова, с которым дружил, поддержать его, позвонить директору театра А. Тарасовой, которой отца к тому времени ещё не представили. Тихон Николаевич, в ту пору уже очень известный композитор, особенно в театральных кругах, прослушав отцовскую музыку, охотно выполнил эту просьбу. Узнав об этом, постановщики спектакля рассердились: они сами хотели «открыть» отца руководству и одновременно быть его благодетелями, а он — что же? — не доверяет их поддержке? СтрахуетсЯ?... Э. Колмановскому стоило много сил погасить этот конфликт. ...Наконец, было решено, что написано достаточно музыки, чтобы представить её Тарасовой. Этот показ прошёл триумфально, отец стал мхатовским фаворитом, с ним заключили договор. Я помню папин рассказ об этом событии. Его особенно поразило вальяжное поведение ве-

ликой актрисы. Когда ей было сказано, что диван, на котором она уютно устроилась, стоял слишком далеко от рояля, она ответила: «Так придвиньте рояль!», что и было сделано... Папа ходил на все репетиции, и немудрено: каким это было для него счастьем — стать членом такой команды! К тому же стихи писал сам Павел Антокольский! Из актёров, занятых в спектакле, отец был знаком только с Николаем Озеровым, жившим на одной лестничной клетке с нами. Насколько я помню, это был его последний спектакль, потом он окончательно ушёл в спорт. Постепенно Колмановский подружился с молодыми актёрами, ближе всего — с Владимиром Трошиным. Правда, папа был самым бедным из них и часто попадал в неловкое положение. Помню его невесёлый рассказ о том, как в его присутствии одна актриса попросила у другой ничтожную сумму на буфет, и у той не оказалось, а Колмановский, мужчина, композитор, всё это видел, слышал и молчал — денег у него было только на проезд до дома. Но самое неприятное ещё поджидало молодого композитора. Здесь опять необходимо отступление. Когда отец работал на радио, он включил в одну из передач запись скетча Мироновой и Менакера, в своё время срежиссированного знаменитым мхатовским актёром Борисом Петкером. Наперекор тогдашнему порядку, изменить который было никак не в силах отца, Петкер вдруг потребовал гонорар за эту передачу. Колмановский выразил несколько возмущённое недоумение — ведь это была концертная запись сценки, за режиссуру которой Петкеру должен был заплатить москонцерт, где работали Миронова и Менакер, либо они сами (кстати сказать, и сейчас, даже передавая запись целого спектакля, ни радио, ни телевидение не платит его постановщикам). Всё это было Б. Петкеру прекрасно известно, но он почему-то продолжал давить: «Вы же объявляете мою фамилию!» Отец вынужден был осадить его: «Если хотите, обойдёмся без вашей фамилии! Это рвачество!» Петкер пожаловался начальству, которое пожурilo папу за то, что он резкостью тона и выражений «ссорит радио с мастерами театра», но по существу взяло его под защиту. Прежде чем хлопнуть дверью, Петкер пообещал отцу: «Вы меня ещё попомните! Не понимаете, видимо, с кем тягаетесь! Я всегда буду звучать, а ваш удел — организационное обслуживание и сомнительные делишки, которыми вы ворочаете не очень чистыми руками!». До конца жизни Э. Колмановский, спускавший с лестницы лишь за намёк о взятке, не мог забыть этого оскорбления... Когда «Двенадцатая ночь» была уже на выпуске, состоялся худсовет театра. И вот тут Петкер решил свести счёты с отцом. А к его мнению могли прислушаться не только потому, что он занимал в театре видное положение, но в данном случае ещё и потому, что он немного играл на гитаре и имел поэтому среди коллег музыкальный авторитет. К счастью, Петкер перебрал. Во-первых, окрылённый возможностью отомстить, он говорил только о музыке, что уже было странно и подозрительно. Во-вторых, было непонятно, почему он, буквально топтал ногами музыку, от которой все остальные, в том числе и выступавшие наряду с ним члены

худсовета, были в восторге. Поэтому когда отец рассказал своим покровителям, в чём тут дело, ему легко поверили. Но мне не забыть, каким бледным и даже шатающимся папа тогда вернулся домой... На премьеру были, конечно же, приглашены все родственники. И надо же, чтобы дядя Абрам оказался сидящим рядом с А. Тарасовой. И когда упал занавес и зал взорвался аплодисментами, она со свойственной ей непосредственностью повернулась к соседу: «Правда, чудный спектакль?» И дядя Абрам, теперь уже понявший, кто Эдя собственно такой, не растерялся: «Да-да! И музыка — просто замечательная!»...

Театральный роман

*И шаманство моё, и морока
У притихшей толпы на виду.
От шутов, циркачей, скоморохов
Родословную честно веду...*

З. Вальшонок

Свою работу над музыкой к «Двенадцатой ночи» Э. Колмановский начал с песни шута. Тогда ещё не было этих стихов — «Поздно ночью мы вдвоём...». Их П. Антокольский написал позже на готовую музыку, спонтанно возникшую у отца, взволнованного надеждой и упоённого атмосферой пьесы В. Шекспира. То есть эта мелодия — начало его счастливой творческой судьбы. Счастливой, но совсем не простой. Следующим приглашением МХАТа была лирическая комедия В. Раздольского «Дорога через Сокольники» с популярнейшим тогда Леонидом Харитоновым в главной роли. Тут нужна была музыка ближе к песне, поскольку действие происходило в советское время. Спектакль ставил молодой режиссёр В. Мюнюков, и в какой-то момент на репетиции появился В. Станицын. Очевидно, ему было поручено «присмотреть» за новичком. Знавший отца по «Двенадцатой ночи» в совершенно ином качестве, Станицын разгромил его музыку к «Сокольникам» — видно, вообще не очень разобрался в песне. Но его слово не имело силы приказа. К тому же за отца вступился Харитонов, которому очень нравилась музыка, и он заявил, что может существовать на сцене только с этими песнями. Как раз в это время была издана партитура сюиты из «Двенадцатой ночи». Несмотря на осложнения в отношениях, отец счёл себя обязанным послать дарственный экземпляр В. Станицыну с благодарственной надписью. Станицын повёл себя не менее достойно: пригласил отца по этому случаю в гости и они выпили по бокалу вина. Папа вспоминал об этом всю жизнь — он очень тосковал по интеллигентному обращению, по людям с настоящим воспитанием...



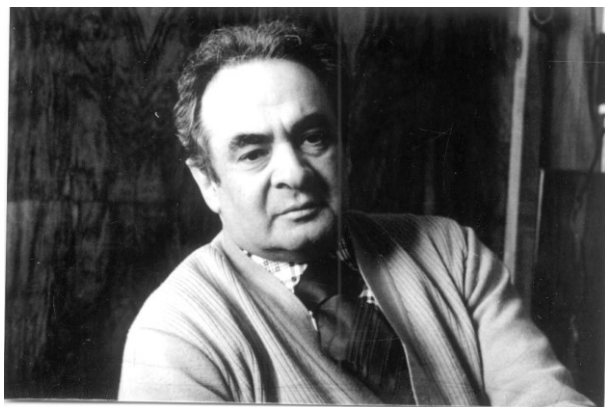
«Сокольники» имели шумный успех. Интереснейший, полный неожиданностей драматургический материал идеально совпал с актёрской индивидуальностью Харитоновова и других мхатовских актёров, среди которых снова был и В. Трошин. К тому же Харитонов был очень музыкален и обаятелен в пении, и по следам спектакля отец написал специально для него песню «Веснушки» на стихи Евг. Долматовского. Песня приобрела относительную популярность, да и номера из «Сокольников» исполнялись в концертах, по радио и телевидению, но дальнейшего творческого сотрудничества с Харитоновым не получилось, хотя они потом ещё долго дружили. Уж очень часто и успешно этот актёр тогда снимался в кино. Однако в целом можно смело сказать, что Э. Колмановский с честью выдержал так называемое испытание второй работой (для того, чтобы на композитора обратили внимание, его дебют должен быть взрывом. И следующая работа, уже в какой-то степени «на сытый желудок», очень часто не дотягивает до первой и потому разочаровывает). «Сокольники» закрепили папино положение не только во МХАТе. Его стали наперебой приглашать лучшие московские и ленинградские театры. Когда я вспоминаю об этих первых, но таких стремительных папиных шагах, то только сейчас понимаю, какой он был тогда счастливый. Он был завален интереснейшей работой, сотрудничал и дружил с лучшими режиссёрами, актёрами и поэтами того времени, у нас дома собирался цвет России, наша семья была на редкость гармоничной. Но это абсолютное счастье длилось недолго. Вскоре начались гонения и проработки, о которых я пишу в очерке «Царская охота». Однако театральная цензура была не такой жёсткой, как радиальная или телевизионная, поэтому интенсивность работы отца в этой области несколько не ослабла. Наиболее тесно Э. Колмановский сотрудничал тогда с театром-студией «Современник». Несколькими годами он там был единственным композитором. Почти каждый вечер после спектакля к нам приходили тогда ещё совсем молодые О. Ефремов, Г. Волчек, О. Табаков, М. Казаков, Евг. Евстигнеев, В. Сергачёв, О. Станицына, А. Покровская, Н. Дорошина. Ничего радостнее, остроумнее и содержательнее, чем эти застолья, я в жизни не видел,

думаю, что и отец тоже. Он вообще был совершенно не богемный человек, но и посидеть за столом в хорошей компании, повеселиться, выпить-закусить очень любил. Они могли зайти всем театром и посередине дня — так было, когда отец написал песню «Бежит река» к спектаклю «Чудотворная». Прослушав эту песню, О. Ефремов был настолько заворожён её, что на следующий день привёл к нам всю труппу и попросил папу спеть песню ещё раз. Особую известность завоевал современниковский «Голоый король» Е. Шварца с Евг. Евстигнеевым в главной роли. Дарование Э. Колмановского раскрылось здесь по новому — в музыке господствовали гротеск, сатира, пародийность. По-моему, это был любимый спектакль Ефремова. Они тогда дружили с папой — не разлей вода, и когда стало известно, что в Риге поставили «Голого короля» с папиной музыкой, они оба поехали в Ригу, чтобы его посмотреть. Один раз Ефремов пришёл даже за компанию с папой на моё выступление — я ещё учился в музыкальном училище... «Современник» очень часто оказывался на грани закрытия, и можно только поражаться не только таланту, но и бойцовским качествам Ефремова — не понимаю, как он спасал такой нестандартный, такой живой и смелый театр. Помню момент, когда уже на завтра должен был быть подписан приказ о роспуске театра, и Олег Николаевич плакал у нас на кухне и просил отца пойти к Хренникову, чтобы тот пошёл к Фурцевой и замолвил за театр словечко. Такое можно было придумать лишь с отчаяния, но каким образом театр и на этот раз выжил, я уже не помню... В «Современнике» был радист-пьяница, но чем-то он, видимо, был Ефремову симпатичен и потому Олег Николаевич не выгонял его. Между тем, деятельность радиста была очень важной. В театре не было оркестра, музыка подавалась в записи, и когда радист промахивался и не во время нажимал кнопку, это, естественно, вызывало большие проблемы на сцене. И вот Ефремов договорился с радистом: промахнёшься — с тебя сто грамм. На премьере «Голого короля» я сидел, понятно, где-то сзади, а Ефремов впереди. Начался спектакль, и радист примерно в середине 1-го действия таки промахнулся. Олег Николаевич повернулся к радиорубке и сделал радисту выразительный жест вытянутыми большим пальцем и мизинцем — мол, с тебя шкалик. И вот таким — молодым, озорным мне и запомнилось его лицо... Впоследствии директор театра всё-таки вызвал радиста и сказал: «Нам придётся расстаться», на что тот сочувственно спросил: «А что, Вы уходите?»... В сущности, «Современник» создавался О. Ефремовым и его соратниками в какой-то степени в противовес дряхлеющему «МХАТу», который, очевидно, счёл Колмановского перебежчиком. Спектакль «Третья сестра» был для отца последним во МХАТе того времени. Следующий раз его пригласили туда спустя десятилетия, когда по настоятельной просьбе старейшин театра на трон МХАТа взойшёл Олег Ефремов, которого раньше те же старейшины предавали анафеме. Э. Колмановский написал музыку к спектаклю «Сталеварь». «Песня о заводском гудке» оттуда, как и песня шута из «Двенадцатой ночи», перешагнула рампу и снискала популярность

и вне спектакля. Надо сказать, с песнями из спектаклей, в отличие от кино, это происходит очень редко. Таким образом получается, что наибольшего успеха Э. Колмановский добился в двух мхатовских спектаклях, из которых один был первым в его жизни, а второй — последним в этом театре. Вот как достойно был подведён итог сотрудничеству композитора со МХАТом... Папины произведения для музыкальных театров сначала шли, как правило, в драматических, а затем, уже с более развитым музыкальным рядом, распространялись по театрам оперетты, а то и дорастали до оперы. Первая его музыкальная комедия «Женский монастырь» (пьеса Вл. Дыховичного и М. Слободского) была поставлена в Ленинградском театре им. Ленсовета (режиссёр И. Владимиров). Отец находил А. Фрейдлих в главной роли несравненной, но в целом больше ценил постановку этой комедии в московском театре сатиры (режиссёр В. Плучек). В этом спектакле А. Миронов получил одну из своих первых ролей, а в качестве позывных, заменяющих звонки к началу спектакля, в театре сатиры и сегодня звучит папина мелодия из «Женского монастыря». Впоследствии авторы несколько преобразовали материал, делая его пригодным для музыкальных театров. В этом качестве «Монастырь» прошёл в сотне самых разных театров, а кое-где идёт и сейчас. В некоторых городах шёл мюзикл, созданный на основе песен к «Дороге через Сокольники». Но дольше и успешнее всего идёт музыкальная комедия Э. Колмановского «Белоснежка и семь гномов». Сначала это была музыка к спектаклю в «Современнике». Ставил эту сказку Олег Табаков, а главную роль исполняла очаровательная Л. Крылова, его тогдашняя жена, как будто созданная для этой роли. Ко всему она небольшого роста и очень изящная, поэтому в театре её прозвали «Цыплёнок Табака». Затем в расчёте на детский музыкальный театр под руководством Н. Сац, который тогда только ещё должен был открыться, роль музыкальной драматургии и просто количество музыки увеличилось, и нет города, где бы эта вещь в разное время, вплоть до сегодняшнего, не шла...

Гибель мамы в январе 1968-го года, и наступившая в этой связи тяжелейшая болезнь отца надолго лишили его возможности сочинять. Через несколько лет он вернулся к творчеству, но вынужденный перерыв оказался роковым прежде всего для его театральной деятельности. Никакой театр не может остановить на годы выпуск новых спектаклей. Свято место пусто не бывает, а папины контакты с актёрами и режиссёрами слабели. И я никого из них, за редким исключением, не обвиняю — мол, бросили отца в отчаянной беде. Папа был практически невменяемый, и общаться с ним было невыносимо. Часто и мне казалось, что моё присутствие ему только в тягость. Конечно, его работа в театре не прекратилась в один день. Но если он до катастрофы сотрудничал (кроме уже перечисленных) с театром им. Станиславского, им. Пушкина, с театром на Малой Бронной, на Таганке, Советской Армии, с театром юного зрителя, то в новой жизни настойчивая Галина Волчек однажды уговорила его написать музыку к детскому спектаклю в «Современнике», да О. Ефремов привлёк его к ра-

боте над уже упоминавшимися «Сталеварами». Правда, было ещё три спектакля в театре им. Евг. Вахтангова и один в театре им. Ермоловой...



Ослабление театральной деятельности Э. Колмановского сыграло самую пагубную роль не только в его творчестве, но и главным образом в его жизни. Театр был с детства его средой, и общение с его ведущими представителями всегда поддерживало в нём интерес к жизни вообще. Этому нельзя сказать о создателях песен. Это особый жанр, где в сущности всё решает природное дарование, поэтому в песне очень часто работали не только малообразованные музыканты, но и просто — Бог мне простит! - малоинтеллигентные люди, общение с которыми за редкими исключениями не обогащало отца... Так что театр и песня дополняли друг друга не только в творчестве, но и в жизни Эдуарда Колмановского. Но эти две дамы сердца иногда вели себя как в романе с любовным треугольником. В театре им. Пушкина был поставлен спектакль «Романьола» с огромным количеством музыки отца. Действие происходило в Италии во второй половине 30-х годов. Итальянский колорит пьесы вдохновил отца на создание множества распевных, полных лиризма и страсти мелодий. Одна из них не давала покоя композитору — очень хотелось сделать из неё песню, тем более, что в спектакле этому напеву была отведена весьма скромная роль — вальс на танцплощадке. Евг. Евтушенко мастерски подтекстовал эту мелодию, и появилась песня «Вальс о вальсе». Это вызвало возмущение постановщика «Романьоль» Бориса Равенских. Получалось, что в тридцатых годах, да ещё в Италии на танцплощадке звучит популярная советская песня, написанная в 1964-м году. Действительно, позиция отца была тут не безупречна, но он всё время повторял: «Да, но получился «Вальс о вальсе»! Что же, мне не надо было создавать такую песню?!». Равенских пошёл на компромисс: «Ладно, исполняйте, но объявляйте, что это из нашего спектакля!» Но, во-первых, это не спасло бы зрителей от упомянутого выше недоумения, во-вторых, как мог бы отец уследить за тем, как объявляют

песню перед каждым исполнением по всей стране?.. В конце жизни по заказу детского музыкального театра под руководством Н.И. Сац отец создал оперу «Двенадцатая ночь» на либретто выдающегося русского поэта Давида Самойлова, куда вошли и песни из мхатовского спектакля, первого в жизни отца. Эта гигантская арка выстраивает некую завершенность, совершенность счастливой творческой судьбы отца. Вопреки злой воле, искалечившей папину жизнь, он сумел написать всё, что ему было поручено — в этом я убеждён. И опорой его на этом пути, его первым союзником был, конечно же, его величество Театр.

(продолжение следует)

Примечания:

1. Из стихотворения К.М. Симонова
2. В 1937 году Давида-убеждённого большевика с большим стажем, крупного советского руководителя арестовали и вскоре расстреляли, а его жену на долгие годы сослали. Это было страшным ударом для мальчика-Давид любил его, как сына-своих детей у него не было, а папин отец – брат Давида – Савелий умер от скарлатины, когда папе было 2 года. И папа был очень привязан к дяде. Кроме всего, Давид часто бывал за границей, что в тридцатые годы являлось просто чудом – он занимал весьма ответственный пост во внешторге, и часто привозил мальчику экзотические игрушки на зависть сверстникам. Можно себе представить, как папа его боготворил. Вернувшись из ссылки и выйдя замуж второй раз за известного художника Николая Осенева, Валентина Вагрина восстановила с нашей семьёй самые тесные родственные отношения.
3. Как и Давид, Александр Маркович был братом папиного отца Савелия и женился на его вдове.



Яков Фрейдин

СУДЬБА МУЗЫКАНТА

Он ловко забросил свой нехитрый багаж на верхнюю полку, оставив внизу лишь кожаную походную сумку. Легкий стук и, не дожидаясь ответа, дверь купе с рокотом соскользнула вбок. В проёме стоял хмурый проводник, исподлобья разглядывая единственного пассажира.

— Билетик предъявите...

Подумал: «Как они всё называют уменьшительно: билетик, тарелочка, кушечка. Эдакая сервильность...» Пошарил в кармане дублёнки, вынул бумагу. Отдал.

— Чайку не желаете? — спросил проводник.

— Да, конечно, будьте любезны, — сказал Лев и протянул проводнику доллар.

Проводник удивлённо взглянул на странного интеллигента, но радостно схватил и упрятал драгоценную бумажку — в том 1993 году давали за неё аж 500 рублей!

— Да я мигом, вы пока устраивайтесь, — сказал он уже приветливее, — никого к вам не подсажу, один поедете! Только вы вот что, дверь держите на запоре. Вот тут. А то сами знаете, времена нынче лихие, банды всякие гуляют. Наш поезд, бывает, грабят...

Красная Стрела отплыла от причала московского перрона и покатилась на север, к Питеру, увозя гостя из Америки. Был он далеко не молод, перевалило за 75, но бодр, активен и непоседлив. Не был в России более 10 лет и приехал повидать родню и друзей. Он запер дверь, положил в чай шесть кусков сахара, размешал. С молодости пристрастился к сладости. Длинные тонкие пальцы музыканта обняли ажурные бока тёплого подстаканника, отогреваясь после московского мороза. Вынул из сумки чистый лист бумаги, карандаш. Задумался... Колёса весело отстукивали ритм, совсем как тогда, давным-давно, в той далёкой стране, где он родился, где прошло детство и из которой навсегда уехал он пятьдесят семь лет назад.

* * *

В начале прошлого века, когда кровавыми волнами покатались по всей России еврейские погромы, многодетную семью Тышковых подняло с мест, понесло по свету, закружило и разбросало по разным странам. Два брата Арон и Борух ушли в Америку, за ними последовал их племянник Соломон с двумя сёстрами Софьей и Генриеттой. Генриетта в Америке вскоре вышла замуж за Джо Сутина, племянника позже знаменитого художника Хаима Сутина. Третий брат Иосиф остался в России и стал из-

вестным актёром, взяв себе псевдоним «Посадов». Его вместе с женой и малолетними детьми в 1943 г. убили немцы. А четвёртый брат Самуил, уехал на Дальний Восток, в Харбин, небольшой тогда городок на севере Китая. Там он женился и 14 января 1917 г. у них родился сын Лев.



Самуил Тышков

Старая Россия в годы гражданской войны и красного террора напоминала буйно помешанного самоубийцу. Побушевала в конвульсиях и померла. Однако её крохотный аппендикс, отделившийся от большого тела ещё до катастрофы, сохранился, даже расцвёл, и зажил своей изолированной жизнью. Жизнью иной, особенной, но всё же так похожей на старое доброе время! Этот аппендикс существовал в Китае, а точнее в Шанхае и Харбине, куда хлынули, спасаясь от красных и белых, толпы разного люда: служащие КВЖД (Китайско-Восточной Железной Дороги), аристократы, ремесленники, врачи, музыканты — в массе народ образованный и предприимчивый. Впрочем, прибыли также уголовники и прохиндеи всех мастей. В Харбине эта криминальная публика селилась в районе под соответствующим названием «Нахаловка». Советская Россия открыла в Харбине генеральное консульство и торговое представительство, начиненные чекистами и шпионами, тесно кооперирующими с населением Нахаловки.

Город процветал. Работали магазины, фабрики, школы, был свой симфонический оркестр, опера, театр оперетты, музыкальная школа, выходили газеты. Китайский Харбин превратился в истинно русский город, каких в самой России к началу двадцатых не осталось вовсе. Китайцы жили на окраинах и приходили в центр только на работу. Русские не говорили по-китайски, а китайцы по-русски, однако все друг друга отлично пони-

мали и жили в мире и согласии. Росла и еврейская община, которой руководил доктор Кауфман, построивший на свои деньги синагогу и больницу.

* * *

В конце 1923 года, на Лёвиного отца напала блажь. Как алкоголика к бутылке, его безумно потянуло назад на родину. Впрочем, было тому и рациональное объяснение — хотел повидать оставшихся там сестёр, братьев, мать. Не понимал — страны, жившей лишь в его памяти, больше нет, и такая поездка может стоить жизни. Он взял отпуск в аптеке, где работал провизором, и семья двинулась на запад. Ехали по КВЖД долго, опасно и голодно. Где-то под Красноярском таёжные банды разобрали рельсы и поезд пошёл под откос. Погибло много людей, но Тышковых спасло то, что их вагон был последним. В январе добрались до Москвы. Стоял лютый мороз. Семилетнего Лёву удивило странное красно-чёрное оформление столицы и грустная медленная музыка, звучащая на каждом углу. Он не понимал, почему смерть какого-то начальника по имени Ленин так повсеместно отмечается. Впрочем, поvidaв родню и кое в чём всё же разобравшись, решили возвращаться домой. Опять долгий и опасный путь, на этот раз на восток, и концу февраля счастливицы вернулись в родной Харбин.



Лёва в Харбине, 1928 г.

Самуил был страстным любителем музыки и решил учить сына Лёву игре на скрипке. Отдали его местному педагогу, не слишком высокого уровня, не надеясь, впрочем, на большой прогресс. Но неожиданно мальчик стал делать удивительные успехи. Уже через год занятий он выступил в концерте, исполняя сложные произведения «взрослого» репертуара. В 1927 году родители показали вундеркинда Лёву скрипачу Н.А. Шиферблату, ученику великого Ауэра, прекрасному музыканту и педагогу. Прослушав, тот согласился взять талантливого мальчика в ученики. Через короткое время Лёва уже играл сложный концерт Бруха и виртуозную пьесу Венявского.

Однако через два года Шиферблат покинул Харбин — он получил приглашение стать главным дирижёром Токийского симфонического оркестра. Пригласил его виконт Хидемаро Канозэ, младший брат премьер-министра Японии и сам великолепный музыкант и композитор. Прибыв в Токио, Шиферблат рассказал Канозэ про

необычно талантливого парнишку, и тот организовал официальное приглашение правительства на постоянный переезд Лёвы в Японию для учёбы.

В конце мая 1932 года, отец усадил сына в роскошное одноместное купе поезда Восточный Экспресс, шедшего на Мукден, а сотрудник японского консульства, пришедший проводить «важного» пассажира, вручил необходимые документы за подписью премьер-министра. И вот застучали колёса, увозя 15-летнего Льва Тышкова всё дальше на восток, к морю, к стране восходящего солнца, где ему предстояло четыре года жить и учиться в доме маэстро Шиферблата. Все эти далёкие события, он вспоминал сидя у столика в купе Красной Стрелы, летевшей к Питеру, и всё, что помнил, записывал для своей будущей книги.



Николай Шиферблат. Харбин 1929 г.

Было уже совсем поздно, и сон прикрыв его своим заботливым одеялом. Он задремал под гипнотический стук колёс, положив голову на свои записи. Разбудила его внезапная и резкая остановка поезда. Выглянул в окно. Тьма. За дверью послышались крики, беготня по коридору. Он заметил, что ручка дверного запора медленно поворачивается. Кто-то осторожно отпирал снаружи. Лев быстро погасил свет, притаился. Дверь открылась, в проёме полыхнуло лезвие яркого света, протянулась чья-то рука и стала нащупывать выключатель. И вот тут проснулся в нём защитный инстинкт старого эка. Своими музыкальными пальцами Лев схватил бутылку нарзана, ударом о край столика отбил горлышко и со всех сил вонзил осколок в руку, шарившую по стене. Раздался вопль, рука отдернулась. Опять крики, беготня по вагону. Потом всё стихло, поезд тронулся и уж без приключений докатил до Питера. Утром пришёл проводник и сказал: "А нас ведь этой ночью опять хотели грабануть, но что-то их спугнуло..."

* * *

Лёве отвели просторную комнату в роскошном особняке Шиферблата на окраине Токио. Прислуживал и виртуозно колдовал на кухне китаец Чен-сан, владеющий французским, японским и английским языками. В строго определённые часы — колокольчик на завтрак, обед и ужин. А между ними — непрерывные изнурительные занятия. Как коршун, учитель прислушивался через стены к звукам Лёвиной скрипки, и если чем-то был недоволен, громко ругался, а то и приходил в ярость. Однажды так разбуше-

вался, что спустил Лёву с лестницы, разломав на куски скрипку. Заставлял играть и разучивать на память самые сложные произведения скрипичного репертуара. Это была тяжёлая, но и увлекательная учёба. На отдых времени оставалось мало, но всё же учитель иногда давал деньги на карманные расходы и услужливый Чен-сан возил его на машине по всему городу.



Лев перед концертом в Токио, 1935 г.

Лев делал большие успехи и уже через полгода стал солировать со всеми симфоническими оркестрами Японии и приезжавшими на гастроли оркестрами из Европы и Америки, часто играл в самых больших токийских залах. В газетах печатали хвалебные рецензии. На сольных концертах ему часто аккомпанировала миниатюрная и глянцева, как фарфоровый божок, пианистка Мива Кай, ученица великого пианиста Лео Сироты. В те годы в Японии гастролеровали многие знаменитые музыканты и артисты. Лёва бывал на концертах Вергинского, Шаляпина, Крейцера. Выдающийся скрипач Ефрем Цимбалист, услышав лёвину игру, сказал, что ему надо ехать в Америку и продолжить там образование в филладельфийском институте Кёртиса. Вызвался всё организовать и помочь. Лев был в восторге, но его ревнивый учитель пришёл в ярость и сказал, что ни за что в Америку не отпустит. Лев всё же написал отцу в Харбин с просьбой позволить ему уехать с Цимбалистом.

В то время японцы захватили Манчжурию и оккупировали Харбин. Они, как безумный хирург, полоснули ножом по крохотному русскому аппендиксу. Жизнь в городе стала приходить в упадок. Бизнесы разорялись. Культурная жизнь затихла. Процветала лишь Нахаловка, превратившись в сплошной публичный дом. Народ уезжал — кто перебирался в Шанхай, а

у кого были деньги и связи, в Америку. Кое-кто даже подумывал о возврате в Советский Союз. Слухи из СССР были тревожными, но никто толком не знал и не понимал, что там происходит. Лёвина подруга детства Рая Бочлен, чьи родители были родом из Одессы, написала Льву в Токио, что она с родителями и братом решила ехать в СССР. Лёвин отец к тому времени владел аптекой и дела его под японской оккупацией шли к разорению. Он тоже подумывал об отъезде из Харбина. Идея переезда Лёвы в Филадельфию ему не нравилась совсем. Самуила опять тянуло на родину, и он боялся, что никогда больше не увидит сына, если тот уедет в Америку. Он ответил Лёве отказом.

* * *

Весной 1936 года советский посол в Японии Юренев пригласил Лёву на первомайский банкет в посольстве. Шиферблат был категорически против любых контактов с советскими, но строптивый Лёва приглашение принял. На банкете посол поднял тост за его здоровье и сказал, что, по мнению советского правительства (подразумевая Сталина), такой талант, как Лев Тышков должен продолжить своё образование в Московской консерватории, и посольство готово в этом оказать всяческое содействие.

Лев написал об этом отцу и тот воспринял идею возвращения в Россию с большим энтузиазмом. Учитель был возмущён, называл это самоубийством и предрекал всяческие ужасы и беды, но всё же дал рекомендательные письма к профессорам Московской консерватории. Лёва вернулся из Японии в Харбин и советской консул выдал ему и всей семье бесплатные билеты на проезд до Москвы.

Как и 12 лет назад, они опять двинулись на запад с куда большим комфортом, радужными надеждами, но и с какой-то неясной тревогой в душе... Вместе со Львом в Москву ехал его двоюродный брат и друг детства Ананий (Нана) Шварцбург, талантливый пианист, большой весельчак и гуляка.



Двоюродные братья Нана и Лев перед отъездом в СССР
У одного впереди Колыма, у другого Северный Урал

Московская консерватория в те годы переживала расцвет. Лёву сразу приняли в класс профессора Абрама Ильича Ямпольского, выдающегося скрипичного педагога, а Нану в класс профессора Игумнова. Нана однако, в отличие от своего двоюродного брата, больше интересовался поэзией, новыми друзьями, девочками. А вот Лёва полностью погрузился в занятия на скрипке и готовился к сольному концерту в Большом Зале. И всё же это была весёлая студенческая жизнь. Им было по 20 и молодые люди, выросшие в другой стране в атмосфере свободы, не видели и не понимали окружающей их зловещей обстановки, были беззаботны, самоуверенны и наивны. Раню или поздно это должно было себя проявить. И проявилось.

Однажды, было это летом 1937 года, Льву принесли телеграмму от Мивы Кай, которая планировала остановиться в Москве на пару дней, проездом из Варшавы в Японию. Она хотела повидаться с Лёвой и просила о встрече. Тёплым вечером, в назначенный час он ждал её у входа в консерваторию. Подкапала шикарная машина с фляжками на которых было изображено оранжевое лучистое солнце. Оттуда вышли несколько японских дипломатов во фраках и крохотная белолицая Мива в традиционном кимоно — не слабое зрелище для Москвы тех лет. Молодые люди бросились друг к другу и обнялись под ошарашенными взорами прохожих. Японцы направлялись на концерт Гилельса и пригласили Льва в свою дипломатическую ложу. Потом, после концерта, он проводил Миву до посольской машины и просил передать письмо своему учителю в Токию. Никто не обратил внимания, что их фотографируют.

Его взяли 1-го декабря, среди бела дня, прямо в консерватории. Два чекиста с цинковыми физиономиями быстро обыскали и повели Льва вниз к выходу, под испуганными взглядами студентов. Привезли на Лубянку и впихнули в камеру до предела набитую арестантами, отловленными по Москве за день. На другой день ему дали лист бумаги, ручку и велели написать автобиографию. Показали фото с Мивой у посольской машины, а затем увезли в тюрьму на Таганке, откуда и начались все его круги ада.

* * *

Чтоб сломать эмоционально, сначала его бросили в одиночку, где на кандалах висел прикованный к стене окровавленный человек с безумными глазами, ещё живой. Стоял невыносимый смрад. На другой день перевели в общую камеру, в которой людей было, как сельдей в бочке. Ещё повезло — арестанты были сплошь политические, а уголовник только один. Место новичка было у параша. Шёл нескончаемый человеческий круговорот. Одних уводили, других добавляли. Ежовская мельница перемалывала людей 24 часа в сутки. Он ждал вызова на допрос несколько дней. Но дни эти оказались бесценной школой, спасшей ему жизнь. Опытные сокамерники учили: будут бить — защищай почки, уклоняйся чтоб не изуродовали, а главное — подписывай всё. Не подпишешь — той же ночью получишь пулю в затылок. Такие вот правила игры.

Первый допрос. Тёмный кабинет. На столе зелёная лампа, в углу занавеска у которой на стуле сидит полуголый угрожающего вида детина. Льва усаживают перед столом. Одноглазый, с черной пиратской повязкой следователь поднимается, медленно снимает ремень и наотмашь бьёт Льва пряжкой по лицу: — Японская сволочь!

Детина у занавески поднимается со стула.

— Ничего, — говорит ему следователь, — я с этим сосунком сам управлюсь. — Будешь признаваться, что шпионил в пользу Японии или мне с тобой по другому поговорить?

Памятуя камерные уроки, Лев, утирая кровь с лица, вяло отвечает: — Пишите, что хотите...

— Вот так-то лучше, — довольно говорит следователь и после очередной порции мата сочиняет «признание», что Лев был завербован в Японии врагом советской власти Шиферблатом и передавал ему секретные сведения через связную Мива Кай. Лев всё подписывает, его уводят в камеру, а на следующий день объявляют приговор — 10 лет. Везунчик.

В те дни по приказу Ежова брали многих харбинцев. Молодежная Рая Бочлен, её брат и отец себя шпионами не признали и после зверских истязаний были отвезены на Бутовский полигон и там расстреляны. Та же участь постигла тысячи других возвращенцев.

А потом был долгий изнурительный этап на восток. На Свердловской пересылке его ждал сюрприз — в камеру ввели партию новых эзков и среди них он узнал своего двоюродного брата Нану. Встреча друзей была недолгой — Нану отправили на Колыму, а Льва в Ивдельлаг, что на севере Свердловской области. Снова им довелось увидеться, лишь когда Лев уже стал доцентом Свердловской консерватории, а Нана художественным руководителем Красноярской филармонии. Но до этого надо было ещё выжить и прожить 20 лет.

В лагере был он отправлен на общие работы, так что вместо смычка и скрипки держал в руках кирку и тачку. Сил физических не хватало, норму часто выполнить не мог, а потому получал заниженную пайку. В лютые морозы трижды был брошен в ледяной карцер, откуда его с обмороженными ногами и без сознания выволакивали эки, отпаивали кипятком. Кличка ему была «скрипач-придурак», ибо чтоб не сойти с ума занимался самогипнозом и постоянно проигрывал то в уме, то веткой на полене скрипичные партии. В те самые дни, когда уж совсем доходил он от обморожений и голода, получил от отца посылку с весьма «нужными» в лагере вещами: выходной костюм, белоснежные рубашки, лаковые концертные туфли и шелковые платки. Своллок он эти ценности в лагерную швейную мастерскую, за что схлопотал ещё 20 дней карцера. И не выжить бы ему там, но повезло — начальник КВЧ (культурно-воспитательной части) приглянулся красавчик-интеллигент. Она договорилась с начальством чтоб снизили ему карцер до 10 дней, сняли с общих работ и направили работать «по специальности» на престижную должность — чистить картошку, дрова колоть, воду для кухни носить. Синекура! 35 лет спустя

автор этих строк поражён был, как его тесть виртуозно колол дрова для шашлычного огня. Колол, как на скрипке играл.

Между тем, Самуил отчаянно боролся за сына — писал письма, прошения, взятки давал, стоял в бесконечных тюремных очередях. И ведь совпало удачно — его бесчисленные прошения плюс кампания нового главы НКВД Берии по исправлению «ошибок» расстрелянного Ежова. Репрессии снизились, многих освободили из лагерей. В декабре 1940 г. Льву сократили срок с 10 до 5 лет, а через два года он вышел на «свободу». Вышел-то он вышел, но оставалось ещё 4 года ссылки и уехать из Ивдельлага ему не позволили. Стал он там вольнонаёмным руководителем художественной самодеятельности. Лишь после войны, в 1946 году, то есть через 9 лет после ареста, получил он разрешение съездить по делам в посёлок Тавда на Урале, проездом через Свердловск.

* * *

В лагерной телогрейке, со следами от споротого номера на спине, с судимостью в паспорте по 58-й статье, до Тавды он не доехал, а в нарушение всех правил сошел с поезда в Свердловске. Прямоком с вокзала, пряча по подворотням, направился в филармонию, к её главному дирижёру Марку Израилевичу Паверману. Тот дал Льву скрипку и попросил что-нибудь сыграть. И ведь не пропали даром занятия на полене — услышав его игру, Паверман и директор филармонии Л.Р. Листовский немедленно зачислили Льва солистом оркестра в группе первых скрипок, а директор велел в своём кабинете поставить для него раскладушку. Люди эти с риском для себя покрывали «врага народа» — потом ещё лет пять ежемесячно получали они грозные предписания чтоб Тышков в течении 24 часов покинул Свердловск. Кто знает, как удавалось им это всё улаживать?

А дальше жизнь стала потихоньку устраиваться. В Свердловск перебрались родители, Лев закончил консерваторию, получил диплом и впоследствии стал доцентом в той же консерватории. Женился, родились дети: дочь Ира и сын Миша. В 1955 г. он получил бумаги о полной реабилитации. Вместе с друзьями-музыкантами Мирчиным, Цомьком и Терей Лев Тышков основал струнный квартет им. Мясковского и объездил с ним на гастролях всю страну — от Прибалтики до Колымы. Ну и разумеется, много преподавал в консерватории.



Первый год на свободе.
Свердловск, 1947 г.

Ученики нежно любили его. Их умиляла его деликатность, артистизм и при каждом случае — поклоны по-японски. Свердловский босс Борис Ельцын вручил ему диплом заслуженного артиста.



Перед концертом
Свердловск



Квартет им. Мясковского
Лев второй слева

Одна из учениц Льва вышла замуж за большого начальника, что-то вроде партийного секретаря Киргизского крайкома. Однажды, был это уже год 1975, он получил от неё письмо: «Лев Самойлович, дорогой, приезжайте в гости. У нас в горах Тяньшаня своя дача. Горные пастбища. Приезжайте, попьёте кумыс, подышите горным воздухом. Окрепните. Что Вам всё время работать?»

— А и в самом деле, почему бы не поехать? — подумал Лев и отправился покупать билет на самолёт в город Фрунзе.

Но билета ему не продали, сказали, что это считается приграничная зона (с Китаем), а потому сначала надо взять разрешение в управлении милиции. Пошёл он в милицию, подал заявление. Вежливо там объяснили, что в течение месяца он получит ответ. В милиции люди точные и действительно, ровно через месяц он получил от них открытку: «Отказать». Ошарашенный Лев бросился на приём к начальнику. Сказали: ждать. Ждал, но не принял его начальник. Снова записался на приём. И опять не принял. На четвёртый или пятый раз милицейская секретарша сказала:

— Ну что вы всё ходите! Не разрешат же вам. Какие вы все наивные, ну прям, как дети! Не понимаете что ли сами: вы же репрессированный, как же вас можно к границе подпускать?

Лев оторопел: — Но ведь в 55-м меня полностью реабилитировали!

— Ну да, — сказала девица, — в 37-м всех репрессировали, в 55-м всех реабилитировали. Верить вам всё равно нельзя.

На том и кончилось.

* * *

В 1977 г. мне невероятно повезло — я с женой Ирой, дочкой Льва Тышкова, тоже скрипачкой, и малолетним сыном Ромой, смог уехать из СССР. Через пару лет, поселились мы в Американском штате Коннектикут, знаменитым усадьбой Марка Твена и Йельским Университетом. Много сил мы приложили, чтоб вытащить Льва Самойловича с женой и сыном к нам. Не стоит тут об этом писать — другая тема. Сами они прекрасно понимали, что из Свердловска их не выпустят. После аварии с сибирской язвой в секретной лаборатории и афганской авантюры, этот уральский город вообще закрыли и для выезда и для въезда. Пришлось Тышковым переехать в глухой, Богом забытый городок Мга, что недалеко от Питера. Культуры меньше, зато шансов на выпуск больше. Там и заявление в ОВИР подали. Сработало. В 1982 г. им разрешили выехать по Израильской визе. Когда ехали через границу, на таможне отобрали всё, что хоть какую-то ценность имело — скрипку, ноты... Мстить надо неблагодарным, что покидали чудную страну, давшую им такую счастливую жизнь!

После приезда в Америку, Лев, хотя было ему уже 65 лет, без скрипки жить не мог. Ирина отдала ему свою запасную и Лев стал играть в двух коннектикутских оркестрах — как бы снова жить начал. Англий-

ский язык вернулся к нему, хоть не говорил он на нём без малого полвека. Много ездил по стране, в Европу, Израиль, после развала СССР даже в России побывал, о чём мы уже говорили. Всё мечтал поехать в Японию, но не случилось.

Году в 1988, кто-то сказал ему, что в Нью-Йоркской библиотеке, что на 5-й Авеню, работает волонтером старая японская пианистка Мива Кай. Лев страшно разволновался, жена Люба наутюжила его лучший костюм, надел он галстук-бабочку, сел на поезд и поехал в Нью-Йорк. Там от станции до библиотеки пешком минут 10. Пришёл. Расспросил, где можно найти Мисс Кай? Указали на маленькую японку, похожую на постаревшего Будду.

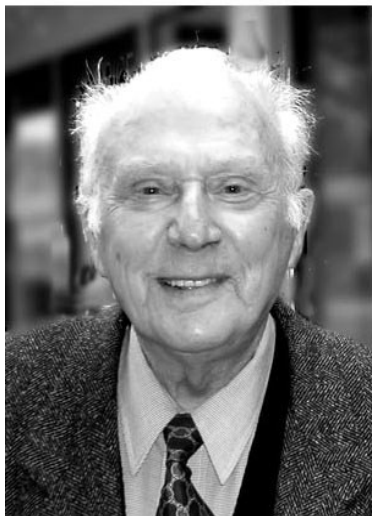
— Мива, сказал Лев, — ты меня помнишь?

Подняла голову, взгляделась. Не узнала. Смотрела, смотрела, но так и не вспомнила. Всё помнила — как концерты в Японии давала, как на конкурс в Варшаву ездила, даже как в Москве остановку делала. А его не вспомнила...

Вернулся Лев домой потрясённый, заперся один в спальне, долго об этом говорить не мог...

А когда подошла к концу его непростая жизнь, в мае 2003 года он тяжело умирал в госпитале Йельского университета. В его воспалённом мозгу смешались страны, времена, языки. Он кидался к запертому окну, чтоб вырваться на свободу и кричал на милых американских медсестёр, что пытались его удержать: — Прочь, вертухай!

Вот такая жизнь...



Лев в США, 2002 г.



Инна Шейхатович

ГЕТТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

По городу Тель-Авиву, шумному и пестрому, как восточный платок, бежит писатель Михаил Юдсон. Автор романа «Лестница на шкаф». Жарко. Море плюется солью и серебром. Люди гомонят на всех мировых языках. Собаки хозяйничают на улицах. Еще немного — и возьмут власть. Нет, шучу...

Здесь писатель Михаил Юдсон живет, здесь пишет и думает. Дома у него нет. Я написала эти слова и почти испугалась: ведь неправда... Нет дома в узком, мещанском смысле. Того, где холодильник и коврики, хлебница и шведская стенка. Михаил Юдсон живет в литературе, как в доме. Играет метафорами, переключается с коллегами через спины и головы владык и диктаторов. Он свободен, Юдсон, свободен и всегда готов взлететь. Василий Аксенов в свое время выделил его из хора израильских и прочих писателей. О нем спорят. «Лестница» — образ сакральный. Символ. Место ангелов. Лестница Иакова — всеобщий литературный перекресток. А еще лестница — прообраз Иисуса Христа. Миша Юдсон вспоминает, как Лев Толстой в своей крестьянской школе лучшего ученика сажал на шкаф — это и есть образ романа. Роман-лабиринт Юдсона-минотавра странен и многогранен. Его надо читать, над ним следует думать. Я поговорила с автором. Писателем из неумолкающего ни днем, ни ночью города Тель-Авива.

— *Ваша книга кажется уникальным коллажем, великой игрой ума — и стоит совершенно отдельно в ряду книг современников. Она не израильская и не очень русская. Как это получилось?*

— Спасибо, конечно, за ласковые слова о книжке. На самом деле ее прочитало считанное количество мыслящего человечества, но это как раз оказались люди мной заочно любимые и весьма почитаемые — сам порой удивляюсь и урчу: «Вот свезло!..» А что получилась «Лестница» именно такой — ну, значит, так тексту захотелось, при письме ведь антропоцентризм и не пахнет, давно замечено, что это собаки нас выгуливают, а мусор нас выносит (с трудом)...

— *Чем вы вдохновлялись? Кто и что вас вело по этой трудной дороге?*

— Вдохновение, как известно, это долетанье звуков из непознаваемого, этакая, слышь, диктовка — часто невнятная, картавая да шепелявая, плюс еще линейкой по пальцам тебе норвят захватить — вот и улавливай! Подпрыгивай, корчи рожи, изображай чувства — подчиняясь дерганью Верхних Нитей или движениям Нижней Руки. Нанесение знаков на пустой лист в определенном порядке — вообще дело нудное, безрадостное, для меня схожее с физиологическим отправлением: как бы тянет в отхожее... По старинке смять бумажку... И так всю дорогу трудную!.. Мое писарское занятие, главным образом, заключалось в надзоре — надобно следить, чтобы проза стала пронизана зимой, снежком окутана, и текст скатывался с горки, лепился, как снеговик. Некоторые добрые люди объяснили потом, что слишком плотно вышло, засахарилось множественное подражание, замутилось отражение незабвенной затоваренной, продираешься через слова, как сквозь густой валежник, какие-то саргассы в тазике, туман на дому — да ладно, уж простите, люди добрые, больше так не буду, в смысле, дальше — больше...

— *Если взглянуть на этот роман пристально, он может показаться манифестом русофобии. Так ли это? Как вы сами на это смотрите?*

— Да не русофобия это, Шафаревич побери и шофар протруби, а чистосердечное признание в любви! Манифест прозревшего! Колосья и раскаиваюсь, к милосердным коленам припав... Просто любовь в моей книжке чаадаевская, когда возлюбленные чаада бревнышко в глазу в телескоп рассматривают. А так это нежный семейный роман — о романе еврея и Руси. Еще Бердяев, помнится, писал про женскую сущность России: еще бы, водка и та она, беленькая, с морозилки, а душевно теплая, в рот — всегда пожалуйста, род домашней шапки с ушами, пушкинской выделки... В общем, люблю Россию я.

— *Какая из коллизий, описанных в книге, вам самому кажется наиболее острой и актуальной сегодня?*

— У меня в «Лестнице» коллизии все острые: то на кол посадят, то дреколем норвят огреть, а всё из-за того, что чужак, инородец. И сегодня, мне кажется, самое важное — выживание вместе. Изба-то, блинами крытая — общая, одна на всех, с кухонными битвами. Поэтому могут в запальчивости и вякнуть матерно, и сковородкой стгоряча садануть (славно славянство Калкой и скалкой!) — каждая семья нещадна по-своему! И я, существо «русской еврейской нации», по довлатовскому определению, тоже брожу коммунальными коридорами с их нравами и сварами. Эх, дивный запах женщин и шей — тамошний женьшень! Корневая раса и избранный малый народец... Симбиоз на морозе! Да-с, смею надеяться, что и я вхожу, пошатываясь, в крепкую семью народов — и это главное.

— В книге описаны три периода жизни героя: Россия, Германия, Израиль. В основу легли ваши личные наблюдения и переживания? Чему вас научила эмиграция? Какова суть миграции людей в этом мире? В чем ее метафизический смысл?

— Конечно, в книжке описаны мои передвижения и переживания, пережеванные должным образом, снабженные дождями и снежными заносами — и выложенные сюжетной дорожкой, точнее, бездорожьем, действия-то особого нет, просто вечножидовствующее брожение с брюзжанием, вижельные пути «русского мыслителя с чемоданом». Я родился в Сталинграде и жил долго и счастливо в Волгограде, поучительствовал по веселому северу России, потом на беду очутился в Германии (быстренько хватил скучного лиха «еврейского беженца» неподалеку от милого городка Дахау), а сейчас обитаю в Израиле. Миграции рыб и людей схожи: ищут, где глубже, и не обязательно в примитивно-кормовом смысле, тут и карма свои пять чакр вставляет. Судьба послушных ведет, а непокорных гонит — старая, забродившая уже, истина.

— Трудно ли писателю прокормить себя и свою семью в Израиле? В том случае, если писатель пишет по-русски...

— Дело в том, что вся семья на сегодня — это я. Вряд ли нынче Маргаритам интересны маргиналы... А дочка моя взрослая благополучно живет в России и не собирается никуда уезжать, увы. А может, и ура — потому что вполне нормально себя чувствует в родимом намоленном месте, поблизости от кургана с огромной каменной скифской бабой с мечом, охраняющей покой. На кой куда-то тащиться по небу, в те еще теплые края...

А в Израиле пишуший по-русски и пытающийся, вроде меня, этим прокормиться — естественно, влачит нищенствование. Правда, Мандельштам учил, что дырка важнее бублика: что ж, вздохнем и оближемся. Перелет, ёлы-палы, с елки на пальму, вживание в эмиграционное убожество — это, в принципе, обыкновенная скучная история и тут негоже горевать, я к передрягам был готов. Такой уж сыр выпал!

— Вы работаете помощником главного редактора журнала «22». Нет ли угрозы смерти журналов?

— Работа в русскоязычном журнале, да и сам он, старый добрый «22» (уже почти сорок лет регулярно выходит) — дело безденежное, но знаете, не безнадежное. Вокруг сформировался круг израильских друзей — как на подбор, людей талантливых, пишущих нетривиальную прозу и интересные стихи, да и авторы со всего мира стучатся в теремок, хотят напечататься. Так что инда ишшо побредем худо-бедно — может быть, все еще кончится ничего себе.

— *Расскажите о своей библиотеке. Как вы ее формируете? Что вам необходимо иметь под рукой, когда вы пишете? Что из книг вас радует? Что придает силы и творческую энергию?*

— Поскольку живу я в съемном чулане размером с домик кума Тыквы, то библиотека моя формируется и находится под столом. Что очень удобно: всегда под рукой, точнее, под ногой. Сажу, пишу и ощущаю. Рядом и кемарю, или рассматриваю в окошко сытых кошек с близлежащей кошерной помойки под чахлой пальмой. Читаю же я много и разное. Окромя одаренных современников, радуют меня неизменно доктора Чехов, Булгаков, Аксенов, врачуют душу волшебники Стругацкие, порой Джойса перевернушу в переводе Хоружего. И хотя сколько там Джеймса, а сколько самого Сергея Сергеевича понять не дано, языкам не учен, а силу «Улисса» один блум видно, роскошный моллярный вес... А из современной классики, выходящей в суперобложечных томах БВЛ («Библиотеки всемирной литературы»), предпочитаю Губермана с Рубиной — единственных израильтян, воистину знаменитых в России.

— *Что вы больше всего любите в жизни? Что вам кажется наиболее ценным? Против чего вы боретесь?*

— В жизни я люблю, уж простите, точно по Стендалю: жить, писать, любить. Ценным мне кажется ближнее окружение: мои друзья и любимые люди, дай Бог им всем здоровья и благополучия. Борюсь я не против чего, а за — за свое мирное существование.

— *Современный Израиль — место не очень спокойное. Не самое рафинированное. Совсе не комфортное. Что вас в этой стране привлекает? Чем она уникальна? Чем она на вас воздействует?*

— Израиль — это часть суши, со всех сторон окруженная арабами, чудом еще горящая точка, семисвечник шестиконечный, клочок землицы обетованной, изнанка изгнания, держащаяся на соплях Яхве. Это тихая Моська моисеевой веры, желающая одного — чтобы все эти исламские слоны вокруг перестали буйно топтаться и злобно жужжать. Шма, Исраэль — в смысле, ша, шоб было уже тихо! М-да, только не выходит и не выйдет, глядь, никогда, печаль и горечь... Израиль изранен, минареты мстительно грозят своими костлявыми пальцами, как в страшных гоголевских фантазмах. Не мир они несут нам, но меч...еть! Что же остается — повсеместно колючей проволокой себя окружить, вышек наставить и татуировку на лбу наколоть: «Раб арабов»?!

Вдобавок, всякие бесполезные идиоты полезли на нас из разных европейских щелей, взалб издавая стенания и плачи, дрожа при этом перед собственным понаехавшим мусульманством: с крокодилами жить — покрокодилить слезы лить... Если стадо столкнется со стаей, то понятно, чей статус выше, у кого когти козыри!

Но вообще, конечно, со временем в Израиле наступит тишь и благодать, все душевно и кидушно устаканится, успокоится и уляжется: на Масличной горе в Иерусалиме, на горемычном «Ярконе» в Тель-Авиве и в других тихих местах, среди роз и олив...

— *Кто оказал на вас литературное влияние? С кем вы себя соотносите? В каком стиле, ключе вы творите?*

— Великий русский писатель Ремизов оказал на меня несказанное свое влияние, типайший Алексей Михайлович, советующий «подбрасывать и перевертывать слова». Именно Ремизов своим ключом открыл мне стиль. Очень он мною чтимый и часто начисто перечитываемый, вплоть до «Дневников» времен взвихренья Руси, когда вся эта лисья хрень его, русака (и вовсе не беляка!), из избенки выгнала. Третью века, последнюю часть своей жизни, он — русский из русских душой и слогом — пробедовал в Париже, полуслепой и полунищий, рисуя замысловатые тексты — глядишь, разберу, прочтут «и здесь, в зарубежном несчастье, и там, на родине, в России...» Мне в своей книжке хотелось ощутить, передать это безднущее чувство — невозможность возвращения, вообще никуда, вселенскую волчье-человечью тоску, скулеж по Китежу, и весь в черемухе овраг...

— *Что для вас счастье?*

— Счастье, оно же щастье, даже возвышеннее, горнее — щастие для меня — это возможность говорить, читать и, может быть, как пик — писать по-русски. Кириллица с мефодишной — две славянские феи — кружат над страницей, выводят свои кружки и стрелы — и наблюдать за этим, за рождением мира (пусть мирка) из ничего — истинное, истовое наслаждение... А ежели просто про житие-бытие, про дальнее, не поперек Единого, то счастье — это любимые люди, близкие друзья, неуловимые покой и воля...

— *Вы по образованию педагог. Что эта профессия вам дала в прошлом? Чем вы ей обязаны по жизни?*

— Встретились мы как-то с пединститутским однокашником и пошли радостно выпили за то, что никогда больше не придется входить в класс и втемняшивать недорослям, что числитель в позиции сверху. Набоков называл школу «мешок ужаса». Моя книжка полуношно выползла из школы — слышите шипение и все тот же кол?.. Своей профессии я по гроб жизни обязан, что она от меня отвязалась.

— *Как творческие союзы на вас влияют? Нужны ли они вообще?*

— Мне кажется, что раздраженные былины о «террариумах единомышленников», саги о редакционно-союзных серпентариях и прочие сказания о грызне за творческие кости — несколько сильное преувеличение, оптический обман! Я, конечно, существо безобидное, кофий пью без вся-

кого удовольствия, но и окрест не наблюдается каких-то титанических иосифов флавиев, иудейских войн. Хотя, наверное, этому есть объяснение: в русскоязычном Израиле делить нечего. В местном Союзе писателей стола нет (на коленке пишут?), абсолютно все русские книги издаются за счет авторов. Да и книжки-то на здешней, разжигающей мозги жаре, перебегающей дождями, порождаются в массе малешко низкохудожественные (то-то Тора тут устная возникла!). Как поэтичный желчный художник Михаил Гробманутверждал: «Уверен, что многотиражка пингвинов и белых медведей была бы более высокого качества». А насчет нужности союзов — поскольку каждый человек остров, то он заодно себе и союз нерушимый, смиряющий свои амбиции, гасящий порывы и сидящий в чулане.

— *Какая книга в последнее время вас поразила и захватила?*

— Из свежего поглощенного порадовала, вернее, потрясла книга Марка Розовского «Папа, мама, я и Сталин». Знаменитый режиссер оказался и замечательным писателем. Оруэлл в «Скотском хуторе» не зря превращает Сталина с присными в свиней — да точно, Повелитель Мух, усатый тотем тоталитаризма! И Марк Розовский так талантливо соткал текст, что диву даешься. Кафкианство обычной советской жизни — трагической и героической. Вообще, Розовского я читал в ранней юности в старой «Юности», а потом как-то прозевал — а какая проза поразительная! Заодно прихватил другую его книгу «Дело о конокрадстве» — история спектакля «История лошади» (как диктатор Товстоногов схолстомерил у Розовского его пьесу). Там вдобавок тянется тончайшее исследование толстовского текста — и, начитавшись на ночь, чудится мне теперь картина, холст, омерсноп кровавой жатвы — «Драчи прилетели». Да, дорогие гуинггмы, дней мерин пег, рано или поздно придет драч, достанет из голенища нож и станет точить о брусок — обрусеем же враз! Процесс превращения! Короче, читайте Розовского. А также, очень в тему и мысль, в историю и философию — Михаила Сидорова «Антисемитизм истоков» и Эдуарда Бормашенко «Сухой остаток», всем рекомендую.

— *Какие еще искусства вас привлекают и чем?*

— Ну, скажем, быстро вгоняет меня в гармонию живопись Ирины Маулер (ее картина «Музыканты на дереве» украшает обложку моей книжки); радуют ее же песни и стихи — послушайте диски, найдите поэтический сборник «Ближневосточное время»: там жар-пыль хамсина, ветра пустыни, сливается со снежной пшицей-сирин московской метели, а левантийские пальмы лениво плывут к осенним липам на Ленинском, где «запах сожженной листвы проникает под кожу». Метафоренье, фонарики в строфах, высокая температура радости... Еще из искусств важнейшим для меня является театр. Я туда не хожу — уж какой в Израиле русский театр, блуждающий балаганчик или «любители на даче». Читаю напролет

и напрокол пьесы Гоголя, Булгакова, Шоу — прекрасная проза! Вот чеховское пятипьешие при чтении почему-то превращается в пародию на себя (вроде как «Драма», «Водевиль» и т.д.). Но как раз Розовский в своей прозе мне это разъяснил, просветил — Чехова обязательно надо настраивать и надстраивать, играть, нанизывая бисер...

— *Что такое быть евреем — соблюдать заповеди, молиться, нести тайну и печаль? Вы еврей в своем творчестве?*

— Об этом, в общем-то, моя «Лестница» и написана. «А писать и молиться — одно и то же» (Ремизов). Восхищательные знаки вопроса бродят у меня по болотцу страниц — я знаю?.. Конечно, разные читательские группы хрупают крупу текста по-своему, но, по-моему, книженция моя не несет никакой тайны и печали, там ясно и доступно сказано: Россия — родина слон... тьфу-тьфу-тьфу, евреев, слонимов! Владимир Евгеньевич Жаботинский, да святится имя его, в честь которого названы проспекты и бульвары в каждом израильском местечке, еще сто лет назад предупредил: «Многие, слишком многие из нас бездумно и унижительно влюблены в русскую культуру, а через нее и весь русский мир». Безусловно, я еврей в своих писаниях, исходя из плена сладких заснеженных воспоминаний на палочке с пирамидами сугробов. «Что толку охать и тужить — Россию надо заслужить», — жарко поучал Северянин, уже в эмиграции. А у меня стучит в сердце и желудочках строчка из древнего хорошего писателя Слепцова: «Всякому, брат, своя сошья солона, жид его дер!».

— *Что бы вы написали о Михаиле Юдсоне, если бы были автором книги о его творчестве?*

— Вообще, раздвоение личности — это замечательно: можно не пить в одиночестве! Сказывают, что когда Глеб Иванович Успенский маялся шизофренией, он распался на пару тварений — Глеб (хороший, добрый) и Иванович (злой). А у меня, выходит, Михаил — ласковый, тварюга, все как есть понимает, и Юдсон — от этого лучше подальше... По поводу своей книжки, пожалуй, не заржу — мол, лажа, но ухмыльнусь — забавная! Нельзя же всерьез относиться к нанизыванию букв, плетению словес, игре в бисеро-буро-малиновый пазл. Да возьмите сами почитайте вечером — надеюсь, вам понравится, а я надеюсь вам понравиться: Юдсон с гарантией не грузит, а сразу погружает в сон. Жанр — литературное упражнение на бревне, этаким бревнышке Эшера. Растекание мыслью (белкой по-славянски, опосля мед-пива) по дереву, кружение листов и страниц в бездревесности. Как мишки в сосняке у Ивана Шишкина — это скрытая цитата (косопалых не он рисовал), так и у меня в тексте много неразгрызенного напихано, песнопений в колесе. Эх, докатиться бы до подножья высот, к отрогам «Поминок по Финнегану» — да куды!..

В заслугу себе я бы поставил (и наградил орденом Сутулова), что горбатился в своем чулане ни за грош — искус ради искусства! — и в итоге получил шиш с пролитым маслом. Раскатываешь губу на «Записки из подполья», а издаешь писк из-под пола — да и тот в трубу, архангелу под хвост! Это давным-давно в Поднебесной империи, где все жители китаецы и сам император кигаец — существовало заветное место, запретный пригород, так называемый Лес Карандашей, куда сгоняли всех кистеперых: художников, поэтов, писателей — этакая первошарашка! — и там, в затворе и тиши, они творили. Как спел бы тогдашний бард: «Гетто — это маленькая жизнь». Я создал себе книжку-раскраску, сказку-открытку, бумажную Русь, но главное — не раздвоил язык, не нажил жала, не утонул в оконном библейском наречии, не погряз в галдящей туземной жизни, которой, надо признаться, до моего микроорганизма тоже нет никакого дела. Ведь всё, помимо языка — лишь гарнир, горошек, мелочь, зато велико-могучая прекрасность, заливная даль, живая великорусскость — это и есть истинное бытие, широченное пространство страниц, Мир Реки-речи (два рукава пара — придуманная Набоковым ностальгическая река Ладора и реальный приток белгородского Оскола — речка Убля), страна моя родная...

Вот и весь наш разговор. Они вышел совершенно в стиле романа «Лестница на шкаф». Полный аллюзий и восторга перед русской культурой. Такой он, этот странный русский писатель, живущий в Израиле, — Михаил Юдсон.



Дмитрий Бобышев
Я ЗДЕСЬ (ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ)

Трилогия.
Книга вторая
АВТОПОРТРЕТ В ЛИЦАХ

Вступление

Эта книга является продолжением литературных воспоминаний „Я здесь” (с подзаголовком „человекотекст”), ранее напечатанных в сокращённом виде в журнале „Октябрь” и вышедших в более полном виде в издательстве „Вагриус” в 2003 году.



Похороны Анны Ахматовой

Если в первой книге, вызвавшей интерес читателей и весьма неравнодушные отзывы критиков, главное действие происходит в 60-е годы и посвящено дебютам молодых ленинградских поэтов круга Анны Ахматовой (И. Бродский, А. Найман, Е. Рейн), их дружбе и соперничеству, то время действия второй — это 70-е годы в Ленинграде, отчасти в Москве и других местах. Автор и главный герой, по-прежнему неофициальный поэт, стремится к признанию, не желая при этом поступиться внутренней свободой. Речь, как и в первой книге, идёт от первого лица, и поэтому — я, совсем не безличный персонаж, убеждаясь, насколько это трудно в эпоху,

когда часы истории остановились, а жизнь проходит вхолостую, всё же пытаюсь выработать свою литературную стратегию. Над подобными задачами бьются мои друзья и современники, встречи с которыми составляют главное содержание книги: поэты андеграунда, художники-нонконформисты, телевизионная богема, христианские подвижники, политические диссиденты, известные красавицы того времени. Упомянутые в книге имена, порой весьма громкие, а иные и незаслуженно забываемые, ныне отходят в прошлое, и я пытаюсь сохранить для читателя живые образы, представив их в узнаваемом виде — в запомнившихся мне жестах, позах, диалогах, портретных набросках, письмах и драматических сценках.

Десятилетия, прошедшие с той поры, позволяют увидеть судьбы тех людей в дальнейшем развитии, а некоторые из них — в свершении. Многие по—своему нашли свой путь в жизни, включая и меня, автора воспоминаний, который намерен продолжить повествование дальше.

Третья программа

— А что Вы делаете на этом блядском телевидении, Дмитрий Васильевич? — спросила меня Надежда Яковлевна Мандельштам.

Ударением на последнем слоге она придала и без того яркому эпигаму саркастический шик. Ну, разумеется, я не стал отвечать ей на вопрос — вопросом о том, что делал на Воронежском радио Осип Эмильевич да, кажется, в подмогу ему и она сама, — зачем, какие тут могут быть параллели? Сказал лишь, что у большущего пропагандного кондора есть в гнезде щели, где могут безопасно ютиться разные пташки, вроде меня (между прочим, таков был сюжет одной из познавательных телепрограмм)... Но суть состояла совсем не в этом.

По-первоначалу телевидение мне просто нравилось, даже во внешних его атрибутах. И в самом деле, когда приходишь на студию, и в вестибюле тебя вдруг встречают два живых, лежащих на мраморе бенгальских тигра в надёжных, конечно, ошейниках, то на целый день заряжаешься каким-то шампанским настроением. Также и в буфете не по-конторски занятно было встать в очередь за каким-нибудь д'Артаньяном в костюме, гриме и „в образе“, как выражались актёры, а то и за верглявой Снегурочкой, которая нет-нет, да и скользнёт по тебе радарно-рентгеновским взглядом. И — отвернётся... Или, стоя у кассы сразу за массивной спиной, закупорившей собою амбразуру окошка, слышать на сдержаннейше-тишайшем регистре голос, который, несмотря на такую сурдинку, заполняет объём всего тамбурного зальца бархатными рокотами и раскатами:

— Толубеев... Юрий Владимирович... Тыща девятьсот шестой... Пажаласта...

А — дикторши? Вот уж воистину эфирные существа! Эти эльфы с магнетическими глазами и пиявочно извивающимися губами, конечно, мололи

заверенную (даже не в инстанциях, а тут же, в редакции программ) чушь... Впрочем, посылаю тамошним редактриссам мой чмок, — среди них тоже были хорошенькие! Но дикторши являли собой смазливое и доверительное лицо телестудии, смягчали, разглаживали мерцающим с экрана светом задубелые морщины пенсионеров и пенсионерш, заядлых потребителей ТВ.

— Дорогие наши телезрителители! — так Нелли Широких утешала всеобщий слух, ну, не хуже, чем гроздь с виноградным листом и спиральною завитушкой ублажала бы горло. И своим бемольным обликом — зреньё... На толпу её соперниц я натолкнулся однажды в коридоре у одного из репетиционных залов. Там шёл конкурс на соискание этой эмблематической должности. Красавиц с искажёнными личиками было так много, что хоть намазывай их на хлеб, а нужна-то была только одна...

Редакция учебных программ, куда я поступил работать, была любимым детищем Бориса Максимовича Фирсова, личности незаурядной. Самая его выдающаяся черта была не-чиновность. Он ещё со школы играл на тромбоне с джазовыми профессионалами, окончил ЛЭТИ и, пойдя, как наш Зеликсон, по комсомольской линии, одно время весьма преуспел. Парижа он, правда, не взял, но стал директором телестудии, а вместо лица основал нашу редакцию. Телевизионная антенна, „Эйфелева башня Ленинграда“ высилась в замкнутой перспективе улицы Чапыгина, частично подтверждая мою параллель.

„В пейзажах, от младенчества знакомых, / я наблюдал её, прозрачной, рост. / В ней, как кишечный тракт у насекомых, / просматривался столб-краснополос.“ — любил повторять Галик Шейнин строки неизвестного версификатора. Обывательская молва гласила, что, вознесясь по этому столбу на лифте, можно было оказаться в стеклянном ресторане. Я как любитель высоких точек попытался найти этот путь наверх, да куда там! Высотный объект принадлежал не только Министерству связи, но ещё двум хозяевам: Вооружённым Силам и КГБ, и я махнул на свою затею рукой.

Думал ли я, что окажусь утешен впоследствии, побывав на вершушках самых высоких строений мира? Свой первый в Америке день рождения я отметил в баре на макушке одной из двух башен-близнецов Торгового центра в Нью-Йорке. Выпукло блестела чёрная гавань, в которую вливались ночные воды Гудзона, глубоко внизу ползали фантомные светлячки автомобилей, освещённая статуя Свободы казалась с такой высоты просто кукольной. Запанибрата с мерцающим мегаполисом, я высосал через соломинку свой койтейль, а вкусную вишню выкатил из бокала и съел. Косточку я долго держал за щекой, пока не выплюнул её на бульваре в Кью-Гарденс у порога квартирного дома, где началась моя новая жизнь. А в первый год следующего тысячелетия эти Близнецы вдруг трагически зазиляли своим отсутствием в нью-йоркском небе...

На подлинную Эйфелеву башню я решил взобраться только в третий из моих приездов в Париж, да и то лишь оказавшись поблизости. У меня образовались полтора часа между двумя интервью — Кублановскому на

„Свободе” и Кире Сапгир на „Иси Пари” — и я, находясь рядом, уже не мог дольше снобировать этот туристский объект. И, конечно же, в результате не пожалел. Помимо заранее представимого макетного города на Сене я увидел там совсем простую, но неожиданную деталь: на смотровой панораме были указаны расстояния оттуда до мировых столиц с точностью до километра. Ленинград был отмечен в стороне Монмартрского холма, как раз за белым собором Святого Сердца, и я мысленно пролетел 2168 километров, причём последние 8 из них резали мне душу своей почти ошутимой конкретностью. „Хоть пешком!” — сказал я себе сквозь внезапные слёзы. Я был убеждён, что мне уже не суждено увидеть золочёный купол Исаакия, но я тогда ошибался, а место для ностальгии всё-таки выбрал сладчайшее.

В июле 98-го года, когда хоронили последних царей в Романовской усыпальнице Петропавловского собора, я там присутствовал в толпе репортёров и через них познакомился с двумя верхолазами — отцом и сыном. Сговорились, и вот я уже выбираюсь из люка на самой верхотуре золочёного черепа Исаакия. Ясный день, сильный ветер, безумная эйфория: я чувствую себя вдруг помолодевшим Фаустом, парящим над прошлым. Мои верхолазы щёлкают пустыми затворами камер, — это всего лишь комплименты заезжему гостю. Крыши, группирующиеся вдоль коленчатых прорезей каналов; вдалеке — Смольный собор, Большой дом, изгиб Невы к Петропавловке и Стрелке, острова, залив... В возбуждении высотой и ветром я вспоминаю о другой, наивысшей точке, которую я за год перед этим достиг и, уже уходя с Исаакия, вкручиваясь в спиральную лестницу, ведущую вниз, приостанавливаюсь, чтобы о том молвить. Вдруг крышка люка срывается под напором ветра и падает на моё темя, — непростительная оплошность проводников! Секунда смерти. Убийство и гробовой мрак. Но крышка открывается, и я — жив. А вспоминал я телебашню в Торонто, куда мы поднялись вместе с Галей Руби во время съезда североамериканских славистов. Это

было, действительно, самое высокое строение в мире и там, наверху, действительно, находился ресторан: светлое канадское пиво и вполне сносная пицца непреложно доказали нам, что мечты сбываются, пусть даже на заледенелом берегу гневного озера Эри



Галочка Руби 1956 г.

(Ири по-здешнему). Нет, я ошибся: Торонто стоит дальше к северу, на Онтарио. Только я не об этом, а о том, что на стеклянный участок пола с воздушной бездной под ним ни Галя, ни я ступить не решились.

Первая программа была центральной, вторая — местной, а третья — последней, учебной, никакой. Передавали по ней уроки английского, окормляемые смуглым сангвиником, назовём его Карэном Каракозовым, да математику для заочников, что возглавлялось отдельно, словно в пику и в пару ему, капризно-обидчивым Сергеем Серобабиним, и, как брюнетке с блондинкой неизбежно сопутствует рыженькая, так и тут — для равновесия их дружбы-соперничества возникла наша группа научно-технической информации, куда взяли и меня редактором. Дали мне „как мужчине” самые заскорузлые производственные передачи: „Трибуна новатора”. И окружили меня, словно в своё время моего отчима Василий-Константиныча, морщинистые изобретатели с глазами очарованных странников. Были, конечно, и редакционные дамы, честно путавшие аллергию с аллегорией, а лавры — с фиговыми листками, но это лишь забавляло бродячего безлошадного поэта... Как выражался в своей абстрактной прозе Олег Григорьев, „человек жил в условиях падения тяжестей”, и вдруг он нашёл себе безопасную нишу.

И не только я: об одной из птюшек, ютившихся в гнезде пропагандного кондора, передавалась шепотком незаурядная история. Валерия, или, как с подмигом называл её наш главный режиссёр „Кавалерия”, была синеглазой и, следовательно, натуральной блондинкой, то суетливой, то впадавшей в задумчивость. Она служила у нас помрежем, то есть ставила на попюптр заставки (и всегда не вовремя), выполняла другие побегушки, а ниже этой должности считались только кабельмейстеры. В остальное, кроме эфира, время она густо сандалила ресницы, восстанавливая следы былой красоты, и любила шокировать учёных дам, которых я иногда приглашал на свои передачи, тем, что поверх своих, предположительно говоря, естественных блонд она надевала ещё и черноволосый паричок, заламывая его лихо, как матрос бескозырку, набекрень. Вид получался, действительно, сногшибательный, как и её былая краса, приведшая когда-то 17-летнюю старлетку без экзаменов в Щукинское училище, а оттуда, с середины первого курса, на кремлёвскую ёлку в роли Снегурочки, где Лаврентий Палыч и положил на неё глаз.

Редакционный художник, рисовавший те самые заставки, которые рассеянно перебирала в эфире Валерия-Кавалерия, подружился с ней, как он уверял, на чисто алкогольной почве и порой в мужской компании пересказывал её откровения. Правда, про своего патрона она молчала мёртво, говоря лишь, что ей он был „как отец”, и что „как человек он был хороший”. Те же фразы я слышал и в пересказе Довлатова, который, оказываётся, пересекался с Валерией уж наверное не на одной только алкогольной почве, и теми же словами: „как отец” и „как человек он был хороший.”

И в самом деле, когда наша Снегурочка своему Деду Морозу надоела, он не приготовил из неё сациви и даже не улёк в Гулаг, а, наоборот, устроил её на сцену в БДТ и выдал замуж за самого красивого лейтенанта Балтийского флота. За невестой шли в приданое квартира и королевский

дог, а жениху укрупнили наличествующие у него звёзды на погонах и назначили в Штаб. Идеальная семья просуществовала ровно до того момента, когда Берия был арестован и второпях (говорили даже, что прямо в лифте) был расстрелян. Валерию тут же выставили из театра за непригодность, а красавец-моряк взял сына, оставил ей дога, да и был таков. Тогда-то бедняжка и нашла свою нишу в нашей редакции. Разводный суд лишил её материнских прав, но разрешил свидания с сыном, и я как-то видел, выходя после нашей очередной передачи, как Валерию у Чапыгина б поджидал высокий и неправдоподобно моложавый капитан первого ранга, а с ним смущённого вида подросток. Все трое сели в чёрную „Волгу” и тронулись с места.

На следующий день Валерия не явилась на обговор, а придя, путала заставки в эфире, и попрекнуть её было невозможно: не знаю уж, какую кость она не поделила со своим огромным псом, но руки её были в немислимых буграх и сняхках с глубокими вмятинами от клыков. Пожёвана она была жестоко, но заметим — не до крови, что особо отмечало нрав собаки, ну, а её нрав — то, что она была одета в платье с короткими рукавами, всей этой красотой наружу...

Удивляла она иной раз и неожиданной пародией, чисто актёрской шуткой. Однажды стрельнула синева туда-сюда из-под начернённых ресниц, нет ли вокруг начальства, да и — скок с соседнего стула на мой письменный стол, и с канканной ужимкой изобразила:

Я футболистка, в футбол играю.
В свои ворота (ух! ах!) гол забиваю!

Ну, как на такую сердиться? Заведомо прощена...

В своё время актёрствовали почти все наши режиссёры и ассистентки, и их сценические маски оставались на них неснимаемо: главный, например, даже входил-то в редакцию вальяжно, как „благородный отец” на сцену, „комический любовник” бок-о-бок с „женщиной вамп” выстраивали видеоряд лекций по математике, а всякие „бобчинские-добчинские” были брошены на „Технический прогресс” и, перемигиваясь между собою, готовили передачи для чуждых им, как инопланетяне, заводчан и производственников.

Эта братия, конечно, подхалтуривала в массовках по другим редакциям, заявляясь порой на рабочее место в причудливом гриме и „образе”, а то и под парами, да и вела себя соответственно своим персонажам, и это вносило немалую карнавальность в нашу рутину. Начальство, вылепленное из другого теста, терпеть не могло такую вольницу, но переломить её было трудно. Наоборот, сдавшись, сам ушёл от нас молодой бюрократ Альберт Петрович, поставленный руководить „артистами” на первых порах, и его место захватила „хунта чёрных полковников”, как назвал наш историограф Вилли Петрицкий двух отставников: генерала противозадушной обороны и особиста-подполковника.

То, что особист был не блефующий, а настоящий, отчасти подтверждалось его сравнительно молодым для отставного вояки возрастом, и тем, как энергично он пустился интриговать, выведывать чужие пристрастия, манипулировать отношениями, а также не давать проходу нашей курино-безропотной машинистке Ирочке.

А генерал? Вот кто, казалось бы, должен уметь и любить командовать, наводить дисциплину, ставить боевые задачи и отдавать приказы. Ничего подобного. Он, оказывается, выучен был подчиняться, исполнять приказания начальства, которое даже ел по-строевому глазами. И ещё одно умел он прекрасно: хранить то, что когда-то было государственной или военной тайной. Он участвовал в Корейской войне, но, как Валерия — о своём, мёртво молчал о том, кто в той войне напал первым: северные или южные корейцы, и много ли самолётов он сбил.

Так что либерализм неизгонимо процветал, если не в художественном и гражданском, то хотя бы в алкогольно-гуляльном проявлении, вполне в духе уже всю наступившей брежневской эпохи. К Телецентру примыкала молодёжная гостиница „Дружба“, в ресторане которой, если не было массовых кормлений автобусных интуристов, обслуживали и публику со стороны. Студийная мелкая сошка особенно облюбовала буфет при этом ресторане, куда забегали не только после эфира, но даже и до.

— Не выпить ли нам по соточке коньяку за знакомство? — предложил мне режиссёр, с которым я прежде не работал.

Идея на мой взгляд была весьма хороша, и мы заглянули в тот дружественный уголок. Лишь два студийных осветителя да инженер с телецентра переминались перед нами у стойки.

— Пропустите, ребята, у меня через минуту тракт... — отодвинул короткую очередь заскочивший с улицы телеоператор.

— Вам как всегда? — спросил буфетчик, наливая ему стакан водки чуть ли не „с горкой“, с мениском. Опрокинув его без закуски, работник культуры бодро рванул в сторону работы, — наверное, и в самом деле на тракторную репетицию, которая обычно предшествовала выпуску в эфир. Хорош же он стал, должно быть, под перекальными лампами в студии! „Как всегда...“

Телеоператоры вообще составляли особое племя на студии, — высокомерное до наплевательства, и даже обобщались в единый тип оскорблённого гения, вынужденного заниматься презренной дребеденью. Естественно, учебная программа вызывала у них ломоту в скулах, и их можно было понять: видеоряд в некоторых наших передачах состоял из начальной заставки, лектора у доски и конечной заставки. Тогда наблюдалась такая картина: в студию входил, предположим, Жора Прусов и, щёлкнув пальцами, приказывал осветителю:

— Две перекалки на задник!

Затем он садился у своей видео-пушки на стул и, повесив на неё наушники, принимался за переводной детективный роман. Профессор Струве (потомок „тех самых“ профессоров) распинался у доски; помреж,

тоже без наушников, так как они мешали её причёске, наобум ставила заставки, звукооператор своим „журавлём” ловил слова лектора, который, вопреки всем обговорам и репетициям, то и дело отворачивался от зрителя к доске, а в отсеке толстая режиссёрша, „комическая героиня”, всуе и втуне орала по внутренней связи, пытаясь заставить Жору крупно наехать на мыслящее лицо математика. Наконец, услышав жужжание в наушниках, Жора плавно двинул вперёд массивную камеру, за которой потянулся толстый кабель, поддерживаемый, словно пажем в торжественном шествии, кабельмейстером — обычно крашеной ципой со взбитой причёской, в туфлях на шпильках и в брезентовых, чтоб не испачкаться, рукавицах. Кабельмейстеры больше двух месяцев на такой работе не задерживались: выскакивали замуж, либо спирально взмывали на круги короткой девичьей карьеры.

А Жора, присмотревшись ко мне, вдруг спросил:

— Вы тот самый Бобышев?

Сразу же поняв, что значит „тот самый”, и не переспрашивая, я подтвердил.

— И что Вы делаете в этой богадельне? — резанул он меня правдой-маткой.

— То же, что и Вы.

— Ну я, бывает, снимаю олимпийских чемпионов, народных артистов, космонавтов...

— Да, которые мелят ещё большую белиберду, чем этот! А тут всё-таки формулы, факты, наука.

— Ладно, не будем спорить. Я бы Вам тоже хотел показать что-нибудь своё.

„Тоже” значит, что он меня уже читал в самиздате, где же ещё? Ну, разве что в „Молодом Ленинграде” или „Дне поэзии”. А ещё, может быть, обкорнанно, — в „Юности”. Жаль, что так задерживается большая подборка в „Авроре”! То была очередная пора моих литературных иллюзий и ожиданий...

Очередная, каких я видел немало, клетушка в коммуналке, задвинутый в угол стол с бумажными наслоениями, очередной гений бросает полермонтовски в равнодушное лицо человечества свою гордую и горькую обиду... Отзовись, Россия, Русь, ответь хоть как-то на моё презренье к тебе, на мой в бессильном отчаянии брошенный вызов, ну хоть ударь! Ударь же! Ударь! Ну?

А как скажет она „не ударю”, так что? Она ведь и Гоголю не ответила.

— Чувства живые, а язык литературен, вторичен.

— Да как Вы не понимаете? Сейчас так и надо писать — языком Микельанжело, — горячится Прусов и читает с напором одну из прославленных стихотворных надписей.

— Его язык — это камень, краски, а не переводные сонеты, Жора.

— Гений гениален во всём. Что художник нахаркает, то уже искусство.

— Ну, положим... И всё-таки язык переводов для собственных стихов негод, это — уже дважды выдохнутый воздух.

— Почитайте тогда мою прозу. Здесь — повесть и пьеса.

В обоих сочинениях место действия оказалось — дурдом, герои — пациенты, а в основе явно лежал авторский опыт. Погружаться мне в него не захотелось, и я без обсуждения вернул рукописи их владельцу. Дело было в том, что я к тому времени наблюдал и более яркие воплощения в одном лице этих двух свойств — гениальности и безумия — причём, там же, на студии.

Сумасшедший автобус

В бесконечном „П”-образном коридоре мне нередко встречался широкий приземистый мужчина, чуть переваливший за средний возраст. Лысоватый, седоватый и при этом всклоченный, он передвигался вдоль стенки и, склонив голову набок, частенько разговаривал сам с собой. То был легендарный режиссёр Алексей Александрович Рессер, имевший свой класс в Театральном институте и когда-то ставивший большие литературные передачи, а затем спущенный в Детскую редакцию, так как стал уже нескрываемо „ку-ку”. Но при этом иногда демонстрировал, что называется, своеобразный гений. Проявлялась его исключительность, конечно, не в телевизионных постановках, ибо гений и телевидение — две вещи несовместные, даже не столько по вине цензуры, сколько из-за внутренне присутствующих свойств „голубого экрана”: его подглядывания за жизнью через камеру, а также его мерцающей призрачности. Нет, гений Рессера принимал неожиданную форму причудливо-своевольных и затяжных, изнурительных, многочасовых экскурсий по городу.

Услыхав о них, я дико возжелал от этого неведомого плода отведать, другие загорелись тоже, и моя со-редакторша Галя Елисеева стала готовить экскурсию — причём, очень загодя: надо было уломать мастера, заказать под фиктивную съёмку автобус, скинуться всем на шофёра (а мастер выступал для коллег бесплатно), назначить день, и всё — втайне от администрации, потому что, как ни крути, это был коллективный прогул.

В одно прекрасное, хотя и довольно хмурое утро мы со студийцами заинтригованно погрузились в автобус, следом зашёл наш путеводитель, дал знак шофёру чуть отехать от здания студии, тут же остановил его и, ударив по струнам своего запредельного вдохновения, превратился в Орфея.

Заговорил-запел он об Аптекаарском острове, на котором мы находились, о первоначальном огороде, то есть о грядках лекарственных растений, разбитых здесь „гением основателя города”. И, хотя следом он стал истолковывать Ботанический сад как разросшееся продолжение петровского огорода, главная тема его дальнейших внушений уже была обозна-

чена: связь гениальности и болезни. Дальше Рессер легко пересел на любимого конька: им оказался Чезаре Ламброзо и его (ныне, я думаю, отвергнутый наукой) труд „Гениальность и помешательство”, откуда он цитировал в особенности мысли о том, как одно проистекает из другого. Для иллюстрации по-актёрски драматически и даже со страстью исполнил апухтинского „Сумасшедшего”. В уголках его рта запеклась тонко взбитая пена. Прошёл уже час, даже полтора, а автобус всё ещё стоял на Чапыгина. "Видеоряд" этой экскурсии напоминал наши передачи, но слушатели были гипнотически захвачены речевым потоком, который нагружал их сведениями, парадоксами, смелыми параллелями, неожиданными выводами, прежде неслыханными фактами, цитатами и сопоставлениями.

Автобус тронулся, проехал по Чапыгина ещё 2-3 дома и вновь остановился на углу Кировского (Каменноостровского) проспекта. Здесь надо было рассказать о горестном безумце Батюшкове, который передал Пушкину если не умственный свих, то, во всяком случае, свой дар сладкозвучия. Дом, где затмилось его сознание, находился среди деревьев вон в том саду, через проспект отсюда.

Двинулись. Тут же завернули за угол и остановились. Ну, здесь свои имена, сенсации, неслыханности. Заворожённые экскурсанты начали понемногу отключаться от переполненности, от непривычно насыщенной работы мозга. Автобус, наконец, рванул по проспекту на Чёрную речку, в пушкинские времена, к месту дуэли.

Детали поединка и обстоятельства, ему предшествовавшие, известны на Руси не то, что любому школьнику, а и телевизионному кабельмейстеру, да и каждый шаг, приведший поэта к этому месту, был измерен и вычислен поколениями пушкинистов до пяди, поэтому Рессер, поведя рукой, произнёс лишь:

— Вот здесь он пал на снег.

И — дал всем проникнуться острой жалостью. Альковная, стыдная история в этом снегу очистилась и из фарса стала трагедией, легендой, даже мифом — в чём и состоял простой и страшный смысл дуэли. Но лакуны меж эпизодами оставались зиять, словно страницы, выдранные из тетради рукой в полицейской перчатке, и оттого произошедшее здесь объяснялось то самой подробной, то вовсе никакой логикой, что вполне равнялось безумию. Царь или нет, и куда глядел сыск, и если изменяла, то с кем, и если пасквиль послан был не тем, а другим, то при чём тут иной, — так или эдак вылазил один только сюр. Остающаяся тайна никак не заменялась предположениями, и каждая версия вытесняла другую: их линии не сходились в перспективе, в то время как точка схода была — вот она, перед глазами. Выстрел, смерть, обелиск.

Поехали назад через два острова к Летнему саду по пути, который я проделывал сотни раз. Но теперь, загипнотизированный Рессером, я видел здания и перекрёстки, башни, балконы и лепнину фасадов совсем иными, чем прежде. Так же бывает с этим городом, когда крепкий мороз вдруг от-

пустит, и все черноты, от рогулек ветвей до решёточных завитков вдруг выбелит иней. Он тот, и не тот: свой же ослепительный негатив. Город бело-крахмальных, неправдоподобно сахарных решёток: не только садовых, а и балконных, карнизных, подвальных, да ещё и палисадных оград, ворот и калиток, — всех этих выгибов, наконечников, ритмов, которых прежде почти не замечал.

Героем и тут, как во всякой питерской истории, становится сам город, задвигающий своих персонажей подальше, вглубь сцены. Конечно же, гениальный, но и в не меньшей степени буйно-помешанный. Взять те же наводнения:

Нева металась, как больной
В своей постели беспокойной.

Чувствуете связь? Она видна даже в ироническом пассаже из того же „Медного всадника“:

Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Кстати, каковы же на самом деле эти „бессмертные стихи“? Сейчас приведу, поясню лишь некоторые несуразицы текста. „Борей“ — северный ветер, это знают все, кроме автора стихов. „Стогны“ — „площади“. „Крав“ — родительный падеж от множественного „кравы“, то есть „коровы“. И „вздрав“ — деепричастие совершенного вида от глагола „воздирать“ или „воздрать“. А вот сам текст, цитируемый Рессером:

Свирепствовал Борей,
И сколько в этот день погибло лошадей.
По стогнам города валялось много крав,
Лежали кои, ноги кверху вздрав.

Как аплодисменты Рессеру брызнул смех, облегчающий, освобождающий мозги экскурсантов от тяжелодумного напряжения. Последовало ещё несколько не то чтобы элегантных, но вполне литературных анекдотов. Прошествовал по Летнему саду объевшийся блинами великий баснописец. Приспичило, а навстречу — Хвостов.

— Давай, давай, твоё сиятельство, стихов, и скорей, и побольше!

Хвать пук бумаги, и — за кусток. И, присев, забронзовел там навеки, стал нашим дедушкой. Мамаши и няньки любили потом к тому месту младенцев в колясках катать, отыскивать и узнавать в бронзовой куче её обитателей. Вон там ворона. А это — лисица. Из Лафонтена, Эзопа, из того же графа Хвостова, ведь и ему в баснописцах случалось ходить. Конкурент!

А рядом, через Лебяжью канавку оттуда, в доме австрийского посла с фасадом на набережную, развивался куда более захватывающий сюжет: водевиль с адюльтером, опера для ночной тишины с шёлкотом, запахами духов и свечами, в общем — „Пиковая дама” навыворот. Крадучись, выход из спальни, вонзая ногти в ладонь обмирающей дамы... Что это — тяжёловесная выдумка, сплетня, компрометирующая всю труппу участников? Или же — чистая правда, сдобренная двухсотрублёвой взяткой дворецкому? Так или эдак, сюжет всё равно заступал за пределы ума.

— Вот в эту боковую дверь он вышел на площадь.

Кромка двери уже располагалась ниже уровня пешеходной панели, улица с тех времён поднялась, и это больше всего убеждало, что, да, выходил. И — именно за пределы...

Он и родился-то в конце предыдущего самому себе века, сразу шагнув в новый. Сподобились и мы, уже на выходе из тысячелетия, справить его двухсотый юбилей. Увы, увы, став придворным, он сразу сделался собственностью каждой из последующих пропаганд, которые манипулировали его золочёным ореолом и оправдывали им любой поворот своих прерогатив: у этих урвать и побольше ухватить, а иных отхлестать, заточить и при этом вызвать у оставшегося населения благодарственные слёзы и аплодисменты. Он ведь восславил не только свободу, но и власть. А вот закон не восславил, даже романтически отрицал его:

Гордись, таков и ты поэт,
И для тебя закона нет!

Потому что закон полагал пределы: ты поступай либо так, либо эдак. Сам же он мог и так, и эдак, как угодно, — сидела в нём некая гегельянская косточка.

Отрицание отрицания

Жизнь его и творчество изучены до полной исчерпанности, — рассмотрено каждое слово, исчислен каждый шаг. Но это изучение чаще всего не было ни критическим, ни достаточно объективным — обходились и замалчивались те слова или шаги, которые противоречили представлениям исследователей о человеческом совершенстве. В результате Пушкин предстал в их работах обладателем солнечного гения, гармонически прекрасной личностью, таким, как он виделся Гоголю: „...Это русский человек в его развитии, каким он, может быть, явится через двести лет”.

Вот назначенные времена и наступили. Но, во-первых, за 200 лет мы сами едва ли настолько усовершенствовались, чтобы с великанами равняться. Во-вторых, так многократно и резко менялись представления, свергались авторитеты и рушились кумиры, что и Пушкину не миновать бы по-

добной участи, будь он только воплощением совершенств — демократических, либеральных, консервативных или просто художественных. Нет, именно противоречия, даже самоотрицание высвечивали его фигуру по-разному при поворотах времен, совпадая с очередной эпохой то чёрным своим профилем, то белым, то чёрным, то белым... Пусть некоторые примеры покажутся теперь изжёванными, — я помню их первый шокирующий вкус.

Тем же гекзаметром, которым Николай Гнедич перевёл „Илиаду” (а мы его перевод читаем и посейчас), Пушкин написал два двустишия, посвящённые этому крупному культурному событию в жизни России. Одно из них написано в комплиментарном тоне и передаёт величие литературного подвига Гнедича. Тон второго насмешлив до грубости. Это уже эпиграмма, высмеивающая не только несовершенства перевода, но и физические недостатки переводчика, а заодно и автора бессмертной „Илиады”.

Ещё пушице этические головоломки задаёт он, заставляя нас следить за перипетиями своих любовных походов. Это не Вересаев в книге „Пушкин в жизни” и не Рессер в автобусной экскурсии, а он сам сначала в возвышенных и несколько слащавых ямбах поёт о „гении чистой красоты” (между прочим, это — обескавыченная цитата из Жуковского), а затем в письме приятелю цинично отчитывается, как он ту же даму „на днях с помощью Божией”... умноготочил. Вот именно: обескавычил и умноготочил, а между этими знаками препинания заключены льстивая мольба, долгое ухаживание за хорошенькой генеральшей и, наконец, артистическая бравада, похвальба вчерашнего лицеиста. Не пародирует ли он концовку романа Евгения и Татьяны, так восхитившую Достоевского? Не пародия ли и сам Александр Сергеевич на себя же в качестве золотого кумира пушкиноведения?

И Рессер пустился сводить под острым углом несводимые параллели жизни и литературы, возвратясь к той сцене в доме австрийского посла, что пересказал Нащокин со слов, будто бы, самого Пушкина. По уговору любовник незаметно от слуг проник в дом в отсутствие хозяев и, укромно прячась, дождался их приезда, затем переждал, пока всё успокоится, и явился в спальню хозяйки, — эпизод, требующий декораций из „Пиковой дамы”. В самом деле, с нею совпадает не только хитроумная тактика любовников-заговорщиков, но даже тексты — здесь и там повторяется в подобных же обстоятельствах фраза „В доме засуетились”, прошедшая сквозь двойной пересказ. Более того, и этот эпизод, и повесть имеют одинаковое сюжетное осложнение — любовник, рискуя разоблачением, должен выйти через другую спальню.

В итоге Пушкин сводит своего Германна с ума, а наш вдохновенный импровизатор ещё раз пользуется случаем поминуть Чезаре Ламброзо. Есть от чего и нам свихнуться. Но современники поэта пытались его этически противоречия объяснить африканским темпераментом, да он и сам на него откровенно ссылался: мол, „потомок негров безобразный”... Разумеется, литературные недоброжелатели по-своему разыгрывали его экзо-

тическую генеалогию, и не один лишь Фаддей Булгарин. Пушкин не удержался от полемики и опрометчиво пересказал его ядовитые домыслы:

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что чёрный дед мой Ганнибал
Был кушлен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.

Добавил и Грибоедов, пушкинский двойной тёзка и болгаринский приятель, вставив „арапку-девку да собачку” в свою бессмертную комедию. Сейчас бы сказали: „расизм”... Надеюсь, Иван Пушин выпустил эту, да ещё и другую страницу из текста, ту, что про гения, „который скор, блестящ и скоро опротивит”, когда читал „Горе от ума” своему ссыльному другу в Михайловском. Да и „чорт в девичьей” — этот образ мог относиться к нему же. Однако, чёрно-белая сущность, очевидная для самого Пушкина и для многих его современников, порой использовалась им очень хорошо. Ближайший ему Сергей Соболевский настаивал: „Пушкин столь же умён, сколь практичен, он практик, большой практик, и даже всегда писал то, что от него просило время и обстоятельства”. А противоречия, добавим мы, либо сами себя пародировали, либо взаимно исключались. Так, с Пушкиным-либералом спорит не только Пушкин-консерватор, но и крепостник; „вольнлюбивым мотивам” противостоят „ласитесь, мирные народы”, а бронзовому величию „Памятника” отнюдь не соответствует брюзжание Теофилакта Косичкина, который был одной из его журнальных масок.

Конфликты серьёзного и легкомысленного, величественного и шутовского случались у него и в поведении, и в одежде, и, конечно, в поэзии, — подчас в рамках короткого стихотворения, как, например, в следующем восьмистишье:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...

В этой первой половине, вобравшей в себя как тёмную, так и светлую сторону Санкт-Петербурга, заключён, по существу, весь „Медный всадник” с его имперским прославлением и укором. И следом — легкомысленнейшее окончание:

Всё же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьётся локон золотой.

К первой строфе полностью применима характеристика, данная Пушкину философом Георгием Федотовым - „лелец империи и свободы”.

В статье под таким названием он проследил, как изменяются у Пушкина эти две доминанты, и как, тем не менее, тот сохраняет им верность на протяжении своего творческого пути. Всё правильно, точно... Только во второй строфе он, увы, не просто изменяет им, но и доводит федотовское определение до пародии: *певец имперш, свободы и ... женских ножек*.

Здесь я катапультируюсь из экскурсионного автобуса и оказываюсь в собственном будущем, на праздновании двухсотлетнего юбилея Пушкина. Таврический дворец, думский зал. Выступает мокрогубый губернатор Яковлев. Сойдя с отрогов Олимпа, приобщаясь к относительным высотам Парнаса, он заодно путает Государственную Думу с Учредительным собранием, открывает чтения и исчезает в складках занавеса. Объявлен Кушнер. Вот бы ему прочитать, как на нашем общем первоначальном выступлении в Политехническом почти столетия назад:

Поэтов любыми путями
Сживали с недоброй земли...

Я бы, наверное, спятил от такого перепада времён и вообразил бы себя на худой случай Рессером, а то и Ламброзо, но нет. Конечно же, Кушнер читает что-то другое, новое, а затем объявляют меня. По условиям надо прочитать лишь одно стихотворение: либо Пушкина, либо своё. Я нахожу выход: одно, но в двух частях, причём, одна часть его, другая моя, а публика, мол, разберётся сама, что чьё. И читаю вот это самое, вышеприведённое, про ножку, а затем как его хореическое продолжение:

Этот город, ныне старьей,
над не новою Невой,
стал какой-то лишней тарой,
слишком пышной для него.
Крест и крепость без победы
и дворец, где нет царя,
всадник злой, Евгений бедный,
броневик — всё было зря...

Ну, и дальше до конца этой части, как в моих „Петербургских небожителях”, к тому времени уже напечатанных „Октябрём” с посвящением Анатолию Генриховичу Найману.

Следом была Светлана Кекова из Саратова, и я насторожился, обрадовался её интравертной созерцательности, уже подумал, что наша, но нет, оказалось — совсем бахытова. Сам же Кенжей находился в Канаде, обнимая другую прекрасную даму, как я ранее точно-таки угадал: Эмиграцию. Догадку мою держит он с тех пор как обиду.

Но зато вышел экстравертный до вывернутости Дмитрий А. Пригов, отдал сначала научно-стебной реверанс герою праздника, да и зычно взревел по низам первую строфу из „Онегина” на мотив буддийского „О-

О-О... М-М-М-М” и выше, выше, с переливом к истамбульскому муэдзину, закончив её (не о себе ли самом?) пророческим чёртом. Зал оказался „в отпаде”, а вот журналистов он не потряс. Из отчёта в отчёт заскакало: „Пригов кричал кикиморой”. А — голос? А — цирк!

И, главное, — яркая маска, запоминающаяся, как пушкинские бакенбарды. Вот у Ксеновой никакой маски нет. И у меня на физиономии порой бывает написано больше, чем хотелось бы миру явить. А Горбовский выходит на середину красно-бархатного зала в знакомом, до мелочей наработанном образе: человек из народа, на мизерной пенсии, но неизменно под мухой. Вот, мол, до чего довели нас, простых работяг, все эти демократии, олигархи, братки с беспределом. В руке — авоська для сдачи стеклотары, только в ней не бутылки, а бумажки: сколько жих он исписал и накопал! Вынимает одну — кукиш зажавшейся, обнаглевшей Америке. Из второй преподносится примерно то же для Англии. Из третьей выходит, что крест остаётся нести только России. Сочувственные аплодисменты зала...

Для второго дня торжеств Арьев предложил мне на выбор либо выступить со стихами в Капелле (вкупе с остальными собратями по перу), либо с докладом на конференции в Малом зале Филармонии. И то, и другое звучало как музыка. Я выбрал Филармонию и доклад, потому что под него университет выдал прогонные, и надо было их оправдать. Малый зал был набит, как когда-то на концертах Рихтера, но на этот раз звездой был Ефим Эткинд, и он действительно блистал профессорским красноречием, двигая словами ещё один памятник не мировому и не национальному, а европейскому Пушкину. Ну и, конечно, из всех европейских поэтов тот выходил у него наиболее европейским. Ефим Григорьевич и сам выглядел великолепно, как будто трёх эмигрантских десятилетий и не бывало, как будто не суждено было ему всего-то через два месяца внезапно окончить свои дни. Он улыбался, окончив доклад, ему долго рукоплескали, а потом зал вдруг наполовину опустел, сразу же дав понять, кто здесь есть кто.

Что ж, мне хватило и оставшейся половины, чтобы начать свой доклад, который я назвал так же, как эту главу. „Звучит весьма гегельянски”, — заметил с усмешкой Александр Долинин, сменивший председательствующего Арьева. Но ведь в этом и суть. Именно такого Пушкина показал нам Абрам Терц, вытащив его, как из не знаю чего, — из своих драных мордовских „Прогулок”... Что за буря возмущения поднялась тогда как в советской, так и в эмигрантской печати — причём, единодушная! Самым необычным в эссе был его тон, ироничный, непочтительный, совсем непохожий на тот молитвенный с экстатическими придыханиями, которым стало привычным говорить о классике. С первой же страницы ревнители позолоченного Пушкина оказывались в шоке. А когда доходили до криминальной фразы „На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвёл переполох”, то книга, вероятно, захлопывалась, далее не читалась, и они принимались писать негодующие рецензии.

В начале 1980-го года я посетил в Нью-Йорке Романа Гуля, тогдашнего редактора „Нового журнала”, известного своими мемуарами „Я унёс Россию”, своим бранчливым характером и авторством статьи „Прогулки хама с Пушкиным”. Он принял меня в темноватой, заваленной бумагами и книгами квартире где-то на верхнем Манхэттене. Ему было уже хорошо за 80, облезлый череп покрывали пигментные пятна, но карие глаза глядели живо. Видя во мне возможного сотрудника, если не преемника (а я тогда сам мечтал о журнальной работе), Гуть расспрашивал о моих литературных предпочтениях. Спросил и о Терце-Синявском. Я ответил, что тон для эссе Синявский, действительно, взял рискованный, но надо учесть, что он писал эту книгу на лагерных нарах, находясь там как политзаключённый, как жертва пропагандно-карательной системы. Та же система использовала Пушкина в своих целях, так что он стал её невольным пособником. Им оправдывали царевубийство, он приветствовал чуть ли не комсомол как „племя младое, незнакомое”... Синявский подверг Пушкина эзковской „проверке на вшивость”. Ну, назовите это литературной провокацией, попыткой переоценки. Да, такое обращение с классиком кажется бесцеремонным, но время от времени это нужно делать, и Терц был вправе так писать. Был вправе. А самое главное — это то, что в конце книги (если, конечно, дочитать её до конца) Пушкин выходит из проверки слегка потрепаным, но живым и весёлым.

Гуть подумал минуту и сказал:

— Нет, всё-таки это — прогулки хама с Пушкиным.

Близкого сотрудничества у нас, разумеется, так и не состоялось.

Пушкиноведение, особенно расцветшее к 100-летней годовщине со дня смерти Пушкина, создало культовое поклонение ему. В 37-ом вся страна обсуждала перипетии пушкинской трагической мелодрамы, как обсуждают сегодня мыльные оперы, а под шумок шли кровавые чистки. Бедный Александр Сергеевич, должно быть, переворачивался в гробу, а к нему ещё приделывали приводные ремни для вращения государственных колёс. Полубуйтесь-ка типичным пассажем из работы одного лауреата-сталиниста тире пушкиниста, это любопытно даже стилистически: „Пушкин — союзник советских людей, борющихся за мир, за свободу и за счастье человечества, занятых героическим созидательным трудом во славу социалистической отчизны. Жизнеутверждающая поэзия Пушкина звучит для нас сегодня как призыв к завоеванию новых побед в борьбе за процветание и могущество нашей великой Родины”. А писалось это вслед за приснопатным докладом Жданова...

„Не сотвори себе кумира”, — сказано во Второзаконии. Но именно этим и занималось пушкиноведение. Сама эпоха, в которой он жил, стала называться „пушкинской”, поэты-современники существовали уже не сами по себе, но наподобие кордебалета образовывали „пушкинскую плеяду”. Правда, не всегда так было. Писарев критиковал Пушкина, Достоев-

ский свидетельствовал, что молодёжь провозглашала Некрасова „выше Пушкина”. Футуристы сбрасывали Пушкина со своего заржавленного парохода. Марксистские критики объявляли его выразителем мелкопоместного дворянства. Наконец, непросвещённый народ, которого Пушкин попросту именовал чернью, отплатил ему серией непристойных анекдотов. Но и на хулу, и на хвалу у Пушкина всегда было, что противопоставить, даже если при этом он отрицал самого себя. И отрицая, он утверждался.

Поэтому его именем манипулировали и, кажется, будут продолжать это делать, даже если пушкиноведение самозакроется, исчерпав себя, а бывшие кумиротворцы займутся, наконец, историей литературы. Конечно, ещё взойдут и закатыются новые „солнца русской поэзии”, но новыми Пушкинными им не стать, хотя бы по той простой причине, что „Евгений Онегин” уже написан. Наследие Пушкина всё ещё очень богато, но приходится признать, что за 200 лет многое уже отработало своё и представляет интерес лишь как материал для стилизации или пародии. Четырёхстопный ямба, например, надоел уже самому Пушкину, а глагольные и однокоренные рифмы стали сейчас отличительным признаком неумелых стихослагателей.

Не так уж блестяще сложилась судьба языковой реформы Карамзина и Жуковского, которая стала называться в дальнейшем „пушкинской реформой русского литературного языка”. Да, ещё лицеистами Пушкин и Дельвиг поклялись „не писать семо и овамо”, и эту клятву в общем-то соблюдали. Принято считать, что то было обязательством в пользу художественной точности, но слова имеют и другой смысл — поэты отказались от архаизмов, от церковно-славянского языка, стали широко вводить галлицизмы и другие иноязычные формы. Язык Пушкина — почти всегда светский, таков же он и в стихах его последователей. От ломоносовской „бездны звезд”, от державинской оды „Бог” русло поэзии пролегло в другую сторону. Десятилетия официального безбожия (и культа Пушкина среди многих других культов) ещё более отдалили современный язык от его истоков. Церковно-славянский стал представляться языком мёртвым, чем-то вроде школьного скелета в кабинете анатомии.

Между тем — это язык литургии, молитвы и откровения, язык, в котором наше русское слово становится отзвуком Божественного Логоса. Так что если это и костяк, то костяк живой, наполненный нервами и мозгом, дающий языку мышечную силу и стойкость. Отделённый от корневой опоры, современный русский язык потерял сопротивляемость перед хлынувшим в него потоком англицизмов или, лучше сказать, американизмов, связанных с компьютерной техникой, индустрией развлечений и финансовым миром. Он заболел иммунодефицитом.

Значит, не такими уж ретроградами, не такими „губителями”, как насмешливо говорил Пушкин, были и адмирал Шишков, и другие любители русского слова, входившие в „Беседу”, — и Державин, чьё наследие оказалось в наши дни неожиданно свежим и плодотворным, и Крылов, и молодой Грибоедов... Да и сам Пушкин, в нарушение своего юношеского

обета, когда нужно, пользовался архаизмами, как, например, в „Пророке”, где ему удалось издать высочайшие звуки своей поэзии.

Вообще чистота тона, естественность и музыкальность стиха остаются непревзойдёнными качествами пушкинского наследия. Здесь состязаться с ним невозможно, но эта непревзойдённость и увлекает поэтов. Константин Бальмонт достигал исключительной напевности, но пушкинской чистоты звука у него не получалось, а в некоторых стихотворениях Фёдора Сологуба соотношение напевности и чистоты бывало обратным. Лишь Мандельштам достигал такого же уровня гармонической полноты, на котором творил Пушкин.

Но если заимствовать у музыки её гармонические приёмы, то можно умудриться и сыграть фугу в четыре руки с самим Александром Сергеевичем. Покидая экскурсионный автобус, завезший меня столь далеко, я выбрал одну из моих излюбленных пушкинских тем и разработал к ней вариации. Получилось двухголосое стихотворение.

Его же словами

Пускай не схожи глиняник и гранит,
но с холодом сошлись пути тепла.
на склонах Грузии лежит
адмиралтейская игла,

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
и невская накатывает аква
на глиняные камни под стеною,
прозрачная. И мутно-далеко
шумит Арагва.

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко,
и нету ни изгнанья, ни печали,
а только выси, глуби, дали
и тонкая издалека игла,
которая прикальвает наспех
чужое сердце на чужих пространствах,
как мотылька, на грань его стола.
Но боль моя, печаль моя светла...

Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
и время милосердное с любовью
пространству стягивает боль,
цветут объёмы перед ним,
цветут одним –

*Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит,
только воздух гложет
глаза до слёз на сквозняке времён,
и жизнь мою прохватывает он
до радости, но горя
не тревожит, И сердце вновь горит
и в красной дрожи
сгорает, хоть
и любит – оттого,
что, не спалив, не воскресить его,
Что не любить оно
тебя, тебя –
не может.*

Голубые зайцы

В какое же время мне теперь вернуться из того сумасшедшего автобуса? Если оно — гераклитова река, то в него уже и не вступить, а если это советское болото брежневской формации, то сколько угодно: чавкай по нему в резиновых сапогах, чтобы особенно не замараться. Сам в эфир не стремись, оберегай имя и лицо для каких-нибудь будущих ослепительных и галограммных обложек, а выступающие твои, передовики производства, знают и без твоей подсказки, что им позволено болботать. И сами болбочут.

Богемность Третьей программы отлично перешлась с конторской рутинной, а из всех советских богов среди наших „работников культуры” и технарей пуше всего почитался Бахус. Поэтому, когда под „ноябрьские” праздники Главным редактором Главной редакции учебных программ назначили (согласно тому же историографу) Василия Тёмного, то бишь Кулаковского, решено было устроить алкогольное братанье всех её отделений. Увильнуть не удалось, а что такое учрежденческие попойки, многим ещё мучительно памятно: водка из чайных чашек, закусьваемая пирожным, а потом в лучшем случае какой-нибудь Айгешат или Кокур с икотой и головной болью. Но ещё до первого тоста я успел спросить:

— Василий Яковлевич, а, случайно, не Вы были редактором многотиражки „Технолог” — где-то примерно во второй половине 50-ых?

— Да, я. Главным редактором.

— Так, значит, это Вы печатали Лернера и громили нашу газету „Культура”?

И тут я увидел, что дважды-Главный заметно струхнул.

— Что Вы, что Вы, я назначен был позже, я застал только слухи об этом.

Как бы то ни было, но о нём я доподлинно (вплоть до газетных вырезок) узнал, что и позже он напускал, и немало, идеологической мути на тех, кто последовал дальше за нами. После разгона „Культуры” та самая комната с белокафельной печью, где мы вольничали, глаголя об искусствах, пустовала недолго. Там стал собираться дискуссионный клуб, и обсуждались в нём скорей вопросы общественного устройства, и вообще, куда это всё катится. В комнате, как оказалось, на антресолях была кладовая, которую мало кто и замечал. Но вот Кулаковский заметил и тайно стал залазить туда на время дискуссий. Однажды он был случайно заперт, просидел там всю ночь, а утром с поворотом ключа его освободили со всеми подслушивающими причиндалами.

Тогда, уже не скрываясь, он напечатал в „Технологе” фельетон под названием „Рыцари белого камина”, где цитировал многие крамольные высказывания наших правдолюбцев. Администрация, понятное дело, приняла свои меры: репрессии на местном уровне. С той стороны глядя, Кулаковский идеологически их разгадал: молодые искатели истины и в самом деле отправились в поход за марксистским Граалем. Это, по логике того времени, привело их к изданию подпольного журнала „Колокол”, а затем в исправительно-трудовой лагерь в Мордовии.

С „колокольчиками”, как она их любовно называла, меня познакомил Наталья Горбаневская уже после их отсидки, и я надолго подружился с Вениамином Иофе (одно „ф”!), а с Борисом Зеликсоном мы были и так знакомы с незапамятных времён. Это к его делу следователь в Большом доме подшил толстенную папку всё ещё незакрытого „Дела об издании и распространении газеты „Культура””, тем самым закрыв его.

Впрочем, от автора „Рыцарей белого камина” ни больших, ни малых неудовольствий для меня не последовало. Правил он редакцией вяло, придирки были случайны, а для защиты своих находок и задумок наши либералы обводили его с помощью так называемого „голубого зайца”. В чём этот приём состоит? Он очень прост: в сценарий закладывается какая-нибудь заведомая нелепость. Она тот самый „голубой заяц” и есть. Проверьщик, натурально, сразу на него глаз и кладёт: а при чем тут заяц? Ах, извините, мы его вычёркиваем. Начальство успокаивается, и остальной материал проходит. Добавлю сейчас, что этот заяц существует и в английском, только он называется в обратном переводе „красной селёдкой”! Это может вызвать философский вздох: не всё ли в мире устроено одинаково? Нет, не всё. Краски. Краски — разные.

Вскоре я оказался ещё на одном перекрёстке настоящего с прошлым. В один из вторников в эфир пошла передача литературной редакции, так без затей и озаглавленная: „Литературный вторник”. Дома я, естественно, телевизор почти не смотрел, накушавшись им на работе, и передачи не видел. А придя туда на следующий день, я уже и не мог её посмотреть даже в записи: она была объявлена крамольной. Да записи и не существовало, передача шла „вживую”. Видеомагнитофоны тогда были в но-

винку, и дорогую французскую плёнку истово берегли. Это обстоятельство особенно подчёркивало прозрачность телевидения: прошла передача, и всё. Но тот мыльный пузырь лопнул в прямом эфире, и с треском, — „на глазах у изумлённых зрителей” вещание было внезапно прервано, и через некоторое время на экранах появилась кривая заставка с заснеженной решёткой Летнего сада.

Что ж там произошло? Студийный народ затаился, на мои распросы ответы были: не видел, не слышал, ничего не знаю... С большим трудом удалось разузнать детали. Это была одна из серийно-накатанных передач. Приглашались писатели (конечно, члены Союза) и учёные авторитеты и обсуждали какую-нибудь близ-литературную тему, на сей раз — топонимию. От писателей выступали Владимир Солоухин и Лев Успенский, от учёных — академик Лихачёв, а Борис Вахтин — как бы от тех и от других. Беседа потекла легко, мысли полетели, как голубиная стая над родной околицей: почему, мол, именуют у нас места в угоду политике? Многие потом приходится разменовывать — улицы, да и города. А ведь исторические наименования вошли уже в песни, в предания. Например, „Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской”, — а где она теперь? Или же Самара, какое хорошее название! Нет, теперь Куйбышев. Мы понимаем, революционный деятель крупного масштаба, надо воздвигнуть должный почёт, памятник — хоть до неба, но зачем же из фольклора Самару-то исключать?

Тут уже по логике разговора должен был следовать и Ленинград, если не весь наш Союз, понимаете ли, Советских Социалистических Республик! На этом самом месте какая-то бдительная шишка в Смольном подскочила на своём кресле, и на пульте программного режиссёра заверещал телефон:

— Что это вы, понимаете ли, антисоветчину несёте? Немедленно вырубить! Дать нейтральную заставку, тихую музыку... Щас мы с вами разберёмся!

Полетели головы. Сняли директора студии Бориса Фирсова, сняли Главную всех литературных передач Розу Копылову и непосредственную редакторшу передачи Ирину Муравьёву, с которой я ещё встречаюсь в Ахматовском музее. А режиссёрша Роза Сирота ушла сама.

„Свято место не бывает пусто”, — восстановлю я пословицу в её изначальном (как мне сдаётся) рифмованном виде, но дело не в том, что оно заполнилось, а в том, кто его собою заполнил. Директором стал Борис Марков, до того — главный редактор „Вечёрки”, напечатавшей не только „Окололитературного трутня”, но ещё и превеликое множество подобной анти-интеллигентской травы. Этот меня может и по фамилии помнить.

По понедельникам теперь назначались общестудийные летучки. Человек эдак 200-300, жавшиеся в зале, представляли из себя струхнувшую, настороженную толпу. На подиуме возвышались трое — хоть вспоминай сталинскую инквизицию, хоть пиши с них крыловско-хвостовскую басню. Справа сидел похожий на старого медведя Филиппов (председатель Госте-

лерадио), выставив вперёд увечную, словно пожёванную другим медведем, лапу; в центре белоглазый Марков кондором поворачивал профиль налево-направо, прежде чем клонуть, а рядом всклокоченно-лысый, как мельничный чорт, Бажин, глумясь, мордовал „творческих работников“:

— Передачи должны быть такими, чтобы нравились моей теще!

Чей-то женский голос из задних рядов со сдавленной дерзостью выкрикнул:

— А Борис Максимович убеждал нас, что телевидение должно нести людям культуру!

— Вашему Фирсову место сидеть-болтать где-нибудь в кафе вместе с Иржи Пеликаном! — заскоморошествовал мельничный чорт. А кондор клоннул:

— Телевидение это такой же идеологически-пропагандный орган партии, как газета.

Старый медведь стукнул костью пожёванной лапы о стол и рывкнул:

— Завели себе прыжочки, понимаете ли... На женщинах — чорт те что надето. Мы, конечно, согласуем это дело с парторганизацией, но, мыслю: совместными усилиями снимем-таки с наших женщин бруки.

Женские брючные костюмы начали входить тогда в моду, отчего и раздался женский стон в зале, „Пражская весна“ ещё только занималась, и Иржи Пеликан изгонял из чешского телевидения цензуру. А у нас, всё наперёд зная, уже принимали на местах превентивные меры.

Что же касается наиболее басенного персонажа, то его недаром тянуло к женским брюкам. Конец его был легендарным. Однажды он тайком от жены укатил на юг с секретаршей. Шофёр казённого лимузина должен был встретить любовников на вокзале и развезти их по домам. Но жена, сама в прошлом секретарша, умело выведала и расстроила эти планы с такой страшной силой, что в Смольном был устроен разнос, и неверный муж сгоряча влепил в себя совершенно беспартийный но, увы, фатальный пиф-паф!

Мифы (хотя и не такие драматические) творились на телевидении постоянно, и я одно время хранил в памяти целую коллекцию ляпсусов, происходивших в эфире и за экраном. Наиболее знаменитой была пошедшая в эфир служебная фраза, сказанная технарём ПТС (передвижной телестанции) технарю телецентра в торжественнейший момент открытия первомайского парада: „Рожа, рожа, я — кирпич, иду на сближение“. Но самым большим курьёзом были не накладки, а тот факт, что они случались исключительно редко. Ведь всё было смётано на живую нитку, скоординировать несколько свободной болтающихся разгильдяйств в нечто единое казалось неразрешимой задачей, кто-то всегда опаздывал, что-то необходимое вдруг пропадало... Но в последний момент: тяп да ляп, и слеплялся „корабль“ и, надув кое-как залатанные паруса, скользил-таки по волнам эфира на удивление его создателей.

А иногда наоборот, всё с самого начала складывалось подозрительно гладко. Например, понадобилось найти и показать какое-нибудь чудо техники, продукт гениальных местных умельцев, нечто автоматиче-

ское и безусловно-бесперебойное! Эдакое элегантное совершенство из мира промышленности. Где ж такое найти? Разве что в космической или военной технике, но те чудеса — за семью замками. Где-то ещё есть подходящая автоматическая линия, но, увы, стоит бездвижно на ремонте, в третьем месте — японская чудо-автоматика, тоже не годится. И вдруг — вот оно: своё отечественное, и работает на славу, только ни славы, ни премий оно изобретателям не приносит, — затирают его, замалчивают, с ухмылкой по шее пощёлкивают... Мол, несерьёзно это: ликёрно-водочный завод, линия разлива того самого стратегического сырья, на коем веселие Руси зиждется! А наша редакционная интеллигенция за сюжет схватилась: давай, редактор, пробивай! Напустил я в сценарий „голубых зайцев“; их, конечно, начальство успешно отловило, а главный сюжет прошёл. Началась подготовка, пропуска для съёмочной группы оформлялись через меня.

— Отец родной, запиши хоть четвёртым осветителем!

— Что ты, что ты, Гоша, и двух за глаза достаточно...

В состоянии трудового подъёма прибыла съёмочная бригада на Синопскую набережную. Начальник цеха, большой знаток человеческих душ, сразу же предложил по соточке для настроения. Все дипломатично отказались. Тогда он выдал каждому по сувенирному мерзавчику. Это было принято с некоторым скепсисом. По окончании съёмки — ещё мерзавчик. С подозрительно трезвой бригадой я выехал за заводские ворота. И тут, на ходу микроавтобуса, начался делёж пиратской добычи: все коробки для осветительных приборов оказались упакованы бутылками. От своей доли я с негодованием отказался. Уже в редакции ко мне подошёл кинооператор (назовём его Володей Шаповаловым) и в благороднейших выражениях попросил всё-таки „уважить“ съёмочную группу. Пришлось спуститься с ним в смежное здание гостиницы и пройти в ресторан „Дружба“. Там уже стояли на столе несколько скромных салатиков по числу восседавших „князей“ и прозрачная злодейка, — вид довольно минималистский и подающий надежду выбраться оттуда своим ходом. Чокнулись за успех, зазвучали телевизионные байки об иных мародёрствах: о съёмках в шоколадном цехе кондитерской фабрики... О внезапно потёкшем из осветительного блока жидком шоколаде... Незаметно появилась на столе ещё одна злодейка, встревожившая меня, а затем и ещё одна, от которой я впал в панику, — за этой можно было ждать следующую... Между тем, дружелюбие коллег всё возрастало, но спасительный инстинкт сработал, и я всё-таки унёс оттуда ноги. Кутёж, разумеется, продолжался уже без меня, и в результате Шаповалов угодил под суд. Он был задержан в троллейбусе совершенно чуждого ему маршрута, где прошёлся вдоль салона, бия сверху по кумполам сидящих пассажиров своим резиновым кулаком.

Всегда спокойный, выдержанный парень, — мы с ним прошли-проехали вместе сотни вёрст по северным рекам и лукоморьям... Разве это он бушевал в троллейбусе? Трудно поверить. Скорей, это — она, с наклейкой. Получил он два года условно.

Отпускные скитания

Этот Володя был сыном военного хирурга и унаследовал от отца точность и твёрдость руки, а может быть, и его пристрастия. Во всяком случае, на съёмках камера его не дрожала, а в дальнейших наших походах ружьё ловко вскидывалось прикладом к плечу, и острый топорик выпёсывал причудливые изделия для наших путешественных нужд. Он меня и вовлёк в эти походы. Как всякий кинооператор, был он ещё и фотограф, и в этом качестве пригласил меня однажды на свою выставку. Я унял в себе подобающий случаю снобизм и пошёл. Думал увидеть дачные пейзажи Карельского перешейка, свежие лица детей, морщинистые лица старух в платочках, но нет.

Это был праздник дерева и топора, запечатлённый через мощные объективы, конечно, но при этом немного наивный и потому чистый, — русопяцкий гимн податливому и несохранному материалу, которому мы доверили нести нашу национальную лепоту в веках. Пожары, татары, жук-древоточец, а больше всего — коллективизация вкупе с воинственным безбожием красу эту сильно убавили, почти свели её к нулю, но кое-что всё-таки недоуничтожили. И вот этот убывающий остаток наш фотограф запечатлевал истоиво: восьмериковые срубы, тёсовые шатры и крытые чешуйчатым лемехом главы, коньки и балясины гульбищ, углы в замок, углы в лапу, крыльца, наличники, резные полотенца, — то, что роднит избу, часовню и собор с хоровым многоголосым пением, с молитвой и литургией. И теперь уже не огонь — сырость и плесень были их ликвидаторами.

Я смог искренне похвалить фотографа. Он ответил:

— Это только малая часть того, что я снимал.

— Вот бы увидеть!

— Что ж, могу кое-что принести в редакцию.

— Это бы тоже хорошо, но я имею в виду реальность...

— Ну, тогда присоединяйтесь. Мы с приятелем планируем на ближайший отпуск поход от Онеги до Белого моря. Верней, наоборот: от Соловков до Кижей.

В „Кижях” он сделал ударение на первом слоге. Я это редакторски заметил, но он подтвердил: так говорят по-северному, в отличие от туристов, которые прибывают туда на теплоходах с подводными крыльями, с двухчасовыми экскурсиями по архитектурному заповеднику. Так туда, видимо, прибыл и поэт, зарифмовавший „Кижь” со „стрижами”, которых там, кстати, не водится. Нет, именно в трудах ученичества обретать верное ударение меня очень и очень устраивало, пусть даже за этой мелочью надо идти по болотным гатям, с тяжестями за спиной...

Я решил отправиться с ними. Третьим компаньоном оказался одноклассник нашего Владимира — Валентин Пресняков, инженер городского Водоканала. Нисколько не стыдясь своей „низменной” профессии, он, наобо-

рот, подчёркивал её постоянно — соответствующим стилем своих шуточек. Ну, в мужской компании и в первобытных условиях нашего путешествия это сходило, хотя и порой утомляло. Но Валентин оказался идеальной стряпухой и заботливым хозяйственником, так что быт наших стоянок и ночлегов он обеспечивал, отчего с достоинством носил кличку Домовой.

Вёл нас по лесным пунктирам и болотным гаям, конечно, Леший, нёсший помимо заспинного мешка ещё и камеру со снаряжением, и ружьё. В результате ношенья мы однажды питались не очень прожаренной гагарой. Бывала на ужин и уха из подлещиков или даже хариусов, которых порой налавливал на стоянках, понятное дело, Водяной.

Так нашу артель и сфотографировал на Яндом-озере автоспуск. Снимок и посейчас висит у меня на стенке: взглянешь на эту троицу, и плечи расправляются. Пока вы валялись на черноморских пляжах, повидали мы много. Вы на Чёрном, а мы на Белом. Вы — вниз по горячейгальке к ленивому прибою, а мы — по циклопическим валунам навверх, на Соловецкую стену. Только вера, да помощь свыше могла воздвигнуть такую укрепу под Полярным кругом — рабским трудом на уничтожение зеки не сделали б. А монахи — другое дело: не только стены, — огурцы успевали выращивать во время почти бесконечного дня, а через дыхла в стенах горячий воздух подавался всю нескончаемую зиму: к тёплому полу-то сладко было припасть земным поклоном. Впрочем, там было не до комфорта, — иначе б такие бастионы не возводили.

Из виденного позже припоминаются громадно обтёсанные — один к одному — камни Западной стены Иерусалимского храма. Сравнимы ли с этим необработанные соловецкие валуны, покрытые ржавым лишайником? Не по древности, конечно, а по надрывности рыданий это и будет наша российская Стена плача.

Когда мы вошли в монастырский двор белой ночью, путеводителями нашими были зияния раскупоренных застенок, выкрошенный кирпич здесь и там, да вот: два снятых колокола внизу на брусчатых козлах и крупные оспины пуль на их бронзовых обводах. Зловеще, должно быть, звучал в морозном воздухе их оскорблённый звон.

Перед отплытием на в общем-то недалёкий оттуда материк я прошёл по прибрежному посёлку. Кто там жил? Рыбаки-поморы, бывшие заключённые или бывшие надзиратели СЛОНа — Соловецкого лагеря особого назначения? С телевизионным нахальством я постучал в одну из неказистых тамошних изб. Дверь из широких досок оказалась незапертой. В тёмных сенях нащупал я ещё одну дверь, утеплённую какой-то ветошью, куда и постучать-то было невозможно. Я вошёл в комнату с невысоким потолком, где пахло чистыми половиками и вытопленной печкой. Хозяин сидел за хитрой трапезой, заливая зенки, хозяйка перед ним хлопотала со сдержанным неодобрением.

— Кто такие будете?

— Да вот, приехал из Ленинграда на пару дней. Интересуюсь этими местами.

— С какой целью?

— Просто посмотреть. Слышал я, да даже и читал, что тут особая соловещая селёдка ловится. Вот бы попробовать. У вас случайно нет? Я бы купил парочку.

— Откуда про мою селёдку знаешь?

— Соседи подсказали.

— А ты кореша моего там у вас не видел? Может, на заводе работает... Рукосуев Олег?

— Да где уж... Город-то большой...

— Ну ладно. Слышь, хозяйка! Тут ленинградцы селёдкойнашей интересуются. Слазь-ка в подпол, выдай им сколько-то на пробу...

Оба — с тяжёлыми морщинами на лицах, с тяжёлыми руками. Она раза в полтора его старше, но видно, что не мать, не сестра, а именно его баба. У него лицо набрякшее, глаз не видно, у неё глаза светлые, но взгляд лютый. Полезла всё-таки в погреб, взяла рукой пару селёдок из рассола. Выпотрошила черноту из них, стала мыть.

— Да ничего, и так сойдёт. Сами почистим.

— Нет, их в трёх водах прополоскать надо.

Улыбнулась стальными коронками, лютость глаз убавила. В каждую селёдку сунула пучок зелёного лука, завернула всё в клоч бумаги.

— Угощайтесь.

Денег ни он, ни она так и не взяли.

На теплоходе „Лермонтов”, устроив на коленях столешницу из рюкзака, мы продегустировали добычу, состукнув кружками.

— С душком-с, — критически заметил Валентин.

— Анчоусная, однако! — одобрил Владимир.

Далее — Кемь, Медвежья Гора, — мы шли в обратном направлении от лагерей уничтожения — к жизни, только жизнь эта всюду была в состоянии изнурения и упадка.

Лес... Много мы повидали лесов, — когда проезжая автобусом, а когда и день за днём проходя пешком через мачтовые сосновые боры. Стволы имели шевронные насечки с прикреплёнными жестяными конусами внизу, куда стекала живица — сосновая смола, идущая на скипидар. Всё назначалось на спил. Ну, ёлки-то ладно, а вот стройно-конических пихт, обречённых на казнь, было надрывно, по-некрасовски, жалко: они представляли из себя то хвойное совершенство, к которому даже без надежды достичь всё ж стремилась иная разлапая поросль. А боры вырубались вчистую; тонкий слой лесной почвы выворачивался гусеницами тягачей, к тому же вершины и сучья где-то ещё и выжигались, а где-то и нет. Оставались лишь сопки с обожжёнными пнями — ландшафт не для слабонервных арбористов и охранителей природной среды. Но, должно быть, самым впечатляющим надругательством над природой был молевойсплав.

Мне не приходилось видеть его сезон в разгаре, но последствия можно было наблюдать повсюду по северным рекам: не знаю, по Онеге ли, но по Пинеге, по Мезени и притоку её Вашке берега были забиты завалами брёвен, гниющими в воде и рассыхающимися на ветру. Отмели также накапливали морёную и далее мрущую древесину. Кое-где по затонам водоструйные катера да бабы с баграми пытались хаос этот разобрать на плоты, пока деревенские соломоволосые мальцы ловили шуруют прямо на жилку, прыгая по связкам брёвен, но эти сценки ничего не меняли. Лицо природы складывалось в гримасу, растянутую далее за горизонт в немом и бессильном упрёке, — мол, так со мною не надо, нехорошо...

Понемногу, подспудно или от противного, как-то выстраивались мысли и настроения, расставлялось увиденное по местам.

Держа леща, трепещущего на донной лёске, я подбежал к автобусу. В Чёлмужи мы ехали с местными тётками, их кутылями, в одном из которых визжал поросёнок, с парнями-допризывниками, с двумя невесты откуда взявшимися цыганками и без какого-либо императива в уме, но, правда, с намерением увидеть там деревянный собор Петра и Павла. В пыльных окнах вверх-вниз по горкам чередовались лес мёртвый и лес живой. Парни пели бедовые песни, — будут потом их помнить всю жизнь, а я вот вспоминать:

Она его любила,
и он её любил.
Но любовь была напрасной,
он ей быстро изменил.

Так мы добрались до Онеги с другой, заонежской стороны. Палатку поставили на треугольнике между Великой Губой, хлебным полем и бревенчатой „Петропавловкой“. Приходили дети с трёхлапой собакой, молча изучали наш палаточный быт. Собака ткнулась мне в разношенные ботинки, приласкалась.

— Куда лапу-то ей подевали? — спросил я детей.

— Волк отгрыз, — последовал правдивый ответ.

Здесьняя жизнь, стало быть, подразумевала присутствие свирепого зверя.

Володя сделал профессиональный „щёлк“ камерой, и фотографию эту с собакой я впоследствии послал в журнал „Юность“ по их запросу, чтобы предварить небольшую подборку стихов. Фотографию забраковали из-за „нетипичной собаки“. Да и автор оказался привередлив, поспорив с редактором по поводу выброшенной строчки, в результате чего публикация не состоялась вовсе, — как волк отгрыз.

Старик 76-ти лет, показывавший нам собор, — внутри было темно, голо, — взбирался легко на колокольню, рассказывая нам свою жизнь. Пока добрались до высотного вида, уже знали: они с братом всё своё богатство —

3 лошади, 4 коровы — отдали в колхоз. Брат умер, а ему теперь дали 12 рублей пенсии. Вот, можно ли на них прожить? Голубые глаза, седые волосы, отдуваемые ветром... Да и на рублишко наш много ли купишь?

К вечеру над лемехами Петра и Павла, над тесинами их шатров, да над полем ржи и встрепенувшейся нашей палаткой прошла свинцовая туча, готовая вот-вот обрушиться на головы своей недоброй тяжестью. Нет, не обрушилась, но и не ушла, а, наоборот, развернулась, помедлила, да и разверзлась ледяным ливнем и оглушительной грозой. С ахами, ухами и криками небо раскалывалось прямо над коньком палатки, пыхавшей жёстким светом и готовой испепелиться в любую секунду вместе с нами, её перепуганными обитателями. Тут уж веришь-не-веришь, а крестишься истою. Промаявшись часть ночи, забылись тяжёлым сном.

Утром — светящийся от сокрытого в нём солнца туман, розовая краса озера и быстро-маневренный, со звуком вдруг разворачиваемой бумаги, полёт соколиной пары. И — наверхия двуглавого собора как воспоминание о Божьейгрозе, превратившей былых Симона и Савла в апостолов веры и вот в это устоявшее деревянное тело. Но многие, слишком многие часовни и церкви не устояли, мы видели их повсюду в последовательных стадиях обветшания, разрушения, гибели, так же, как и амбары, избы и целые сёла.

Один из явно невымерших жителей, Сквородников (56-ти лет, шестеро детей, младшему лет 12) давал нам описание дороги оттуда на Водлюзеро — как заветный номер, как стихи по памяти: пройти по гатям через болота, пробраться к разрушенному мосту, дальше лесом по балкам и до второго моста через три с половиной версты, там ещё будет горка с камнями и потом свёртка, но налево с неё не ходить, затем две поляны, часовенка, кладбище, а оттуда и озеро видно. То, что он не упомянул, это ягоды: куменика на низких трилистниках, со вкусом и видом ежевики и запахом земляники, а также морошка, жёлтая вдоль вечеряющей и перепревшей вконец гати с начинавшими мерцать гнилушками среди сумеречных теней. Полуразрушенная часовня была последним подтверждением нашего пути. Мы свернули не туда, вышли к другому озеру и оказались посреди мёртвой деревни. Несколько строений стояло всё же под крышами. Это было мрачное место, свидетельство о трагедии. Даже о серии трагедий, причём безмолвные знаки говорили очень внятно: фундаменты исчезнувших домов — о том, что селились здесь люди на поколения вперёд, на хорошую жизнь, хоть и с трудом, но с довольством, думая о тепле зимой для себя и для скотины, о запасах и кормах с лета до лета, да и сверх того украшались, чтобы свадьбы играть, детей крестить и перед соседями не зорно было бы показаться.

Кроме того чёлмужского старжила, никто не говорил с нами на Севере о главном — о раскулачивании: нельзя. Думаю, здесь все были кулаки, потому что нерадивому бы и не выжить. А ещё не догнившие брошенные дома свидетельствовали о беде военной, которая вымела остаток живых и действенных поселян, уже колхозников.

О повсеместном искоренении религии и говорить нечего. Ни одной действующей церкви мы на маршрутах наших не встретили, только закрытые, в разных стадиях разрушения. На некоторых, правда, висела табличка „Охраняется государством”, но от кого — от верующих? Или — от чего? От восстановления?

— Вы б, городские, нам черкву бы починили... Да батюшку бы прислали. А то ведь помрёшь, и отпеть некому.

Ну, а как наши песенники, наши песняры? Где они? В Вологде-где? Кстати, вовсе не из литературных кругов, а от того же Преснякова-Шаповалова услышал я о замечательном сказовом писателе Борисе Шергине, отыскал его книги и аж зашёлся от поморских и пинежских языковых красот. Его „Митина любовь” трогала сердце не менее бунинской. И сказки бывали препотешны, обхохочешься — чуть не до родимчика... Но жил и писал он как раз в то время, когда культура, им воспеваемая, шла уже под серп и молот, в Соловки да на Беломорканал, о которых лучше было бы и не пикнуть. Он и не пикнул, кажется. Разве что в стол или в душло какое, а то и в няндомский тростник нашептал, какие у царя Мидаса уши...

Кто слово верное рубанул, так это олонечкий богатырь Микола Клюев, тоже замалчиваемый в писаниях разных там властителей дум, теоретиков и практиков литературного рынка. Я уж не говорю о выделке его пёстрых словес, об иконописных метафорах, то есть о стиле, но лишь о слове правды, которое он произнёс вопреки инстинкту осторожности. Любкой моллюск, не исключая членов Союза писателей, этим инстинктом обладает и руководствуется, называя его умом, а то и стратегией выживания. Но вот у Мандельштама вырвалось это слово — „казнь, а читается правильно — песнь”, вот и Ахматова произнесла и упрятала его в рыдания „Реквиема”. И Клюев не смог умолчать, выразил ту же горестную суть в „Деревне”, в „Погорельщине”, в других инвективах происходившему.

Судьба их была плачевна и поучительна для подрастающих литераторов, присевших от страха наподобие трёх обезьянок „не вижу, не слышу, молчу”. Деревня оставалась быть минным полем даже для очеркистов, куда редко кто забредал из художественной литературы. Солженицын эту тему лишь задел, как плечом — колокольное било, и грохнула, зазвенела. После его „Матрёны” появилось целое направление „деревенщиков”. Но чем правдивей раздавались звуки, тем они более заглушались, и издребезжали в конце концов полуправдами и недоговорённостями. А деревня (уже колхозная) мёрла, либо же разбегалась. Парни в охотку шли на военную службу, лишь бы вскочить потом на подножку городского трамвая, и — на любые барачные высылки!

Поэзия вообще залегла на этот счёт по-пластунски. Правда, ходили на цыпочках редкие и осторожные слухи. Я слышал от одного литературного враля и всеведа, что у Горбовского-де написана и крепко схоронена где-то поэма „Мёртвая деревня”. Сам Глеб этот слух не поддерживал, но и не отрекся, и всё же поэма эта, кажется, в тексте так и не появилась,

лишь в упоминаниях. Ну, на „нет” и суда нет. Разве что перстом упереться себе в грудную кость и спросить:

— А сам-то ты что?

И ответить:

— Ну, пытался, дюжину стихов сдюжил. А дальше — графоманского зуда, столь полезного на больших разворотах темы, у меня не хватило. И переводить количество в качество („килькость в какисть” по формулировке Б. Зеликсона) меня за письмом утомляло. Не рядиться ж в посконное, имея лишь наблюдательный опыт!

Был у меня, впрочем, ещё один интерес к деревне, — можно сказать, домашний, или близкий к тому. Это — наша няня Феничка, родом из деревни Тырьшкино Архангельской области, чьё необычное появление у нас на Таврической улице я описал ранее, в первой книге этих заметок. Воспоминание о ней является мне и сейчас в облаке питательных запахов: распаренного укропа при засолке огурцов, варёного сельдерея в супе или жареного лука в глазунье, — даром ли мой кубометр примыкал к её полновластным кухонным владениям? Архангелогородская, а точнее — кенозерская речь её, как шинкованная капуста — солью, была пересыпана афоризмами на деревенский лад и другими забавными глупостями, иногда в форме полурифмованных нескладушек. Если бы собрать всё в книгу, можно было бы назвать её по жанровой принадлежности „Книга тырьшек”. Том первый, том второй, издание второе и дополненное, — я уверен, что „тырьшки” свои она сочиняла сама на ходу.

Потому меня так с заглотом подцепило предложение нашего Лешего на следующий отпуск отправиться в те края.

Наши путешествия (а провёл я в них не один отпуск, плюс некоторые длинные выходные) начинались с поездок по когда-то прославленным северным монастырям, а затем уж мы углублялись в совершенно заброшенные места, отыскивая там становящиеся прахом остатки Руси деревянной, и их находили. Монастыри пребывали в запустении тоже — все, кроме Псково-Печерской лавры, где от её основания не прекращалась служба, и оттого сохранилась вековая намоленность места, прикрытого от ветров косогором, как свечаладоньями во время крестного хода. В пору самых лютых гонений монастырь провиденциально остался за пределами безбожного государства, на территории „буржуазной” Эстонии, и вот жизнь его не прервалась. В других местах нас привлекали лишь стены.

Всё же что-то происходило при встрече. Кованый архангел навещая в Кирило-Белозерской пустоши, хотя и неслышно, но трубил об упокоении Истории в Бозе, а надвратная церковь осеняла любого „благоразумного разбойника”, входящего внутрь подворья. И отсельный Ферапонт при подходе к нему со стороны поля возникал из колосьев сначала крестом в цепях и звёздах, а затем и маковкой, возглавляя тебя, к нему идущего, словно единое тело вместе с холмом, а когда подойдёшь, восставал весь из земли. Наглядный пример воскресенья!

Впрочем, воскресная радость получалась лишь впроголодь: лавка была там закрыта. В утешенье, на прибрежной отмели озера можно было разглядывать разноцветные мягкие камни — тех же спокойных тонов, что и на древних фресках. От камня к камню, прячась, шныряли в воде небольшие, но и немалые налимчики. Скользкие — до неуловимости. Капроновый носок на ладонь, хватать-похватать, и уха на троих. Да ещё — с видом!

Виды были запущены до одичалости, особенно там, где проходили границы административных владений. Бездорожье провожало нас в Каргополье, когда мы продвигались на северо-восток по направлению к заветной цели странствия — Кенозеру. Но в Поржинском, первой же деревне этого елово-ощеренного края, имя Федосьи Фёдоровны вызвало изумлённое узнавание. Остановились на дворе у Сергея Григорьевича Емельянова и его жены Павлы, приходил ещё и сосед Гриша подивиться на „Федосьино начальство“. Разговор был о нашем броске сюда с днёвкой в Макарьевом монастыре, увы, совсем разрушенном. Сергей Григорьевич пояснил:

— Сказывали, что начальство так распорядилось: „На печки у вас кирпичей не хватает? Разбирай монастырь!“ Видели там кирпичи-то складены?

— Видели. Так что ж вы их не забрали?

— Кто ж такую тяжесть по гатям на себе потащит?

— А — лошади?

— Лошадь и туда-то не пойдёт, а уж обратно... Разобрали сколько-то, и всё. Добыча кирпича по методу Ильича!

Феничка свой комментарий добавила позже, по моему возвращению:

— Видел там озеро-то? Раньше, кто приходил, дак три раза по берегу на коленях обползал. А уж только потом в монастырь пускали. Вот так!

Следующим броском через дебри мы вышли к низменной части Кенозера у заколоченной деревни Ведягино, видимо, лишь недавно покинутой жителями. Травянистый мысок, выдающийся в озеро, был ограничен тростниковыми заводами, и ни вправо, ни влево пути не было, хотя там на открытых и весёлых на вид береговых склонах стояли кой-где избы, гумёнья, сараи. Вон то — вероятно, Тырышкино! Вдали на водной глади вычерчивались лесистые острова и проливы. Но кругом — ни души. Присев на бревно, я пустился зарисовывать Ведягинскую церковь. Как раз, когда я закончил набросок, из-за берегового изгиба показался чёлн, управляемый подростком с одним веслом. Паренёк оказался федосьиным племянником — нас тут ждали! Умозримая карта местности ожила: та верхняя деревня у леса называлась Бор, а Тырышкино располагалось ниже у озера. Мы причалили у федотовской баньки и поднялись к избе, где хозяйничал теперь младший брат нашей Фенички — одноногий ветеран Василий Фёдорович с супругою, с подрастающим сыном и детной молодою особой, как-то необъяснимо прибывшейся к их семейству.

Вид от избы на простор утолял, даже лакомил зрение озёрными и лесными далями, травяными покосами по берегам. „Вот так бы, — утопически мечталось, — и жить, созерцая облачные Парфеноны, отражённые в водной глади.

Райская ведь, мирная, покойнейшая обитель, даже комарики не суют сюда носу, — верный признак того, что жильё стоит на своём месте.” Что-то в этом роде я высказал и хозяину. Он комплиментов моих решительно не принял:

— Намаешься тут без ноги-то. Зимой до баньки дойти — кувырнёшься раз пяток, дак... Весь свет обматерить!

Ну, конечно, ну, разумеется, крестьянский быт тяжёл, я уж не говорю о работе на земле или со скотиной. Вот подходящая к случаю выписка из моего путевого дневника:

„В мягкой, тысячу раз перемолотой, перетолчённой пыли среди амбарного городка лежат чёрно-серые овцы. К ним развёрнут своим раскрытым чревом боковой фасад крестьянского дома. Бревенчатый своз, сопровождаемый ладными перилами, ведёт в его недра. Чего там только нет, чего там только не напихано! Бесчисленные деревянные инструменты и ёмкости, ступки, скалки, мутовки, корыта, колодки, мерёжи, рогульки, вилы, бесконечные кадушки, грабли, прялки и невесть ещё что — развешано, заткнуто, составлено или так просто брошено во внутренности крытого двора, но также и снаружи, за его пределами. И всё, или почти всё — из дерева. Даже щеколда у калитки сделана из какого-то хитро закрученного корня, — это надо же было такую конструкцию угадать в лесу, в сплетении ветвей и отростков! Каждому движению работающей руки приноровлён свой инструмент, в каждом из окостенелых орудий видна фигура трудового приёма, а сколько их, захватанных, со следами грязи и навоза, замаранных землёй, валяется здесь, составляя беспорядочный арсенал! Видать, сложна крестьянская наука. Что мы можем противопоставить ей — трактор?”

Под спальники нам было постелено свежей соломы на полу в той же части избы, где мы праздновали наше прибытие: к чугуну дымящейся картошки от хозяев добавив банку тушёнки, да ещё плеснув на дно кружек заветного спирту, настоянного на можжевельных ягодах. Из огородной зелени здесь сажали только лук.

Я проснулся от розовых зарниц, играющих на дощатом потолке. Очаровательный белокурый путти бегал гольшом по чистому полу и, любопытствуя, заглядывал в лица спящих. Жарким золотом вдруг озарились и стены — это хозяйка шуровала в поду уже вытопленной печи, вытаскивая из раскалённого зева горшок топлёного молока с зарумяненной пенкой. Не веря своим чувствам, я замер в тёплой утробе избяного рая, — да вправду ли я обоняю аромат выпекаемого хлеба, или же он только снится? Нет, желание впитаться зубами в хрустящую корку, в запашисто-свежую мякоть пробудило и моих приятелей, которые заворочались на сваявшейся за ночь соломе.

Само Тырышкино, как и весь куст близлежащих деревень, было почти безлюдно. И без того немногочисленное население административно

гуртовалось теперь в Семёнове, весьма безликом селе, расположенном не столько даже на озере, сколько вытянутом вдоль своих скудных инфраструктур — дороги да телефонной линии. Впрочем, озеро всё равно оставалось главным единением этой многоокольной округи.

Сговорившись разведать остатки местной старины, мы решили пройти налегке, сколько сможем, вдоль озера. Но и в Тырьшкине было на что посмотреть: не очень-то давняя, но ладная часовня Параскевы Пятницы стояла, почти спрятанная, в стволах сосновой рощи. Она была на замке. А у кого ключ-то?

— У почтальоники, — ответил Василий Фёдорович.

— А где она сама?

— А леший её знает.

Почему-то не смогли или не захотели пустить нас туда. Ну, мы и сами заглянули: ставень-то был оторван, крыша прогнила. Большие золотисто-коричневые доски Деисуса с надеждой и даже, кажется, с мольбой о помощи взглянули на нас. Протечка пришла в аккурат на икону Нерукотворного Спаса. Левкас разбух, краска обваливалась. Глаза Его были слепы. Всё-всё, похоже, было обречено, хотя и символически охранялось от чужаков...

Поздней я пытался сообщить об увиденном в Обществе по охране памятников, говорил с их активистом Юрием Новиковым, „бил тревогу”, — чем, наверное, его не удивил. Удивил он меня:

— Да, многое гибнет. Но правильно, что на местах охраняют наше наследие от фарцовщиков!

— Да где же правильно? Пусть кто-то и наживётся, так они же своё отработывают, у себя на горбу тяжести эти вывозят! Продадут коллекционерам, и хорошо: те их ценить будут, отреставрируют...

— Так ведь они ж иностранцам продают, за валюту. Россией, по существу, торгуют. И — безвозвратно для народа и нашей культуры при этом.

— И — ладно, и пусть! Народ, значит, культуры своей не стоит.

Замолчал. В глазах — стена патриотического недоумения.

На выходе из Тырьшкина встретила нас ещё одна молча вопиющая трагедия, а то и мистерия. В окружении вековых елей стояла крохотная, всего на человек трёх, никак не больше, придорожная часовенка. Очарование! Замшела от древности, как эти ели, но крепка и цела. Внутри — иконостасец, действительно, слегка пограбленный, огарки, зазеленевшие пятки. Приглашает путника: зайди перед дорогой, оберегись молитвой от зверя, от непогоды, от другой беды. Но сама часовенка в окружении еловых великанов лишь едва не погибла. Громадные эти деревья вдруг начали умирать, сохнуть: их корни, растущие не столько вглубь, сколько вишь под дорогой, уцелевшие от копыт и сапог, ободов и полозьев, оказались перемолоты трактором. Однажды дохнула буря, деревья вывернуло и повалило, но как! Они рухнули крест-на-крест друг другу, страшными обломками сучьев вонзившись в землю, но в середине оставив часовенку совершенно нетронутой. Ну, не чудо ли? Что же ещё, как не чудо?

Много диковинного испытали и видели мы в северных странствиях.

По возвращении образовались у меня с Федосьей, вдобавок к домашним отношениям, как бы ещё и земляческие: с каждым письмом „оттуда” передавала она мне приветы, делилась деревенскими новостями. Тырышкино, действительно, почти совсем опустело, осталось всего три мужика: её одноногий брат, старик-вдовец и ещё один, молодой мужик после армии. Вскоре в тишайшем этом месте разожглась лютая вражда. Старик тайно накосил для своей коровы травы с колхозной „ничьей” делянки, а молодой подсмотрел и сообщил об этом в сельсовет. Старика подержали в кутузке и сверх того оштрафовали, задержав ему выплату пенсии на полгода вперёд. Старик зарядил ружьё, подстерёг молодого и уложил его двумя выстрелами, как медведя. Дали ему как рецидивисту расстрел.

Не знаю, долго ли там продержался последний тырышкинский мужик Василий Фёдорович. Да и сохранилась ли деревня? Спросить некого: нет теперь и Фенички. Но вот ей моя память.

ФЕДОСЬЯ ФЕДОРОВНА ФЕДОТОВА

(1920-1998)

Свет Фёдоровна, мне тебя забыть ли?
Архангельская няня, ты была
для нас — душа домашнего события:
похода в лес, накрытия стола.

Ты знала верный час для самовара,
для пилки дров и для закупки впрок
кочней капустных, — и меня, бывало,
гоняла не один втащить мешок.

Могла сослать на дедову могилу:
ограду красить, помянуть, прибрать...
Твои-то детки, не родясь, погибли.
Война им не позволила. Мой брат,

да мы с сестрою сделались твоими
при матери красивой, занятой,
при отчине, которому за имя
я тоже благодарен. Но — не то...

Какая избяная да печная
была ты, Феничка; твой — строг уют.
А кто ко мне зашёл, садись-ка с нами:
— Ешь, парень! Девка, ешь, пока дают!

И, разойдясь перед писакой, тоже
туда же сочиняла (кто — о чём)
полу-частушки и полу-колажи,
складушки-неладушки, калачом:

„Ведагино да Семёново
к лешему уведено,
Бор да Тарасово
к небу привязано,
Шишкино да Тырышкино
шишками запиnano.”

То — все твои гулянки-посиделки
на Кенозере. Там я побывал.
Краса, но вся — на выдох, как и девки,
что хороводом — на лесоповал.

В семью пойти — кормёжка даровая,
ночлег. Из окон — липы. В бочке — груздь,
под кой и выпить, вилокй поддевая!
Да не за кого... Вот какая грусть.

Свет Фёдоровна, где теперь ты? В весях,
должно быть, трудно-праведных, где — высь,
где также — низ и погреб, корень вепский
и староверский нарост — все сошлись.

Тырышкино, лесоповал, Таврига,
стряпня да стирка, окуни-лещи,
на даче — огород. И жизнь — как книга
в 2-3 страницы, сколько ни ищи...

Как ни ищи, не много выйдет смысла,
кто грамотен. А если не сильна...
А если был тот смысл, пятном размылся.
Но есть душа. И ты для нас — она.

(продолжение следует)



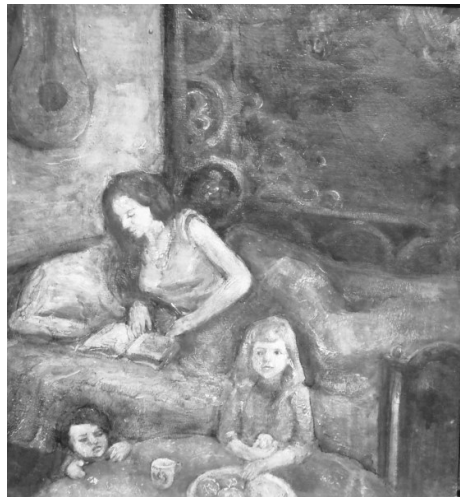
Катя Компанец
РАБОТА НАД «ГАМЛЕТОМ»
ТАРКОВСКОГО

Мои недавно опубликованные мемуары о работе над «Гамлетом» обрываются почти на полуслове. Не помню, написала ли я больше или бросила писать, занявшись другими делами. Во всяком случае, я тогда не думала их публиковать, да и писание мемуаров меня в то время мало занимало. Поэтому я совершенно забыла о том, что их написала, и для меня самой было неожиданностью, когда я их обнаружила.

Хочу добавить еще несколько слов к написанному. Меня теперь спрашивают о моей работе и просят продолжить мои воспоминания. Вместо того чтобы отвечать устно и в письмах на вопросы, я решила написать, что еще помню.

Не знаю, смогу ли я написать «свежо и непосредственно» как в предыдущем отрывке, но, может быть, написанное через «призму лет» имеет свои преимущества. Уже в 1974-ом у меня не было сомнения в значительности Тарковского. Я посмотрела «Зеркало» в доме литераторов и была им зачарована. Моя работа с Тарковским над костюмами была как бы случайностью, но к этому привела цепь событий. Моя поездка в Сенез на два месяца имела целью профессионально вернуться в форму, начать серьезно заниматься живописью после рождения двух детей. Именно эту роль она сыграла, а дополнительно, привела к работе в театре.

Я, конечно, совершенно на жалела, что взяла на себя эту работу, но это была каторга и самоубийство. Возможно, это было связано с подспудным недоброжелательством начальства или даже саботажем, было ощущение, что ты катишь в гору камень. Кроме того, более, чем за год работы, заплатили тысячу или тысячу двести рублей, что поделенное на время работы было очень мало. Недавно, к моему удивлению, я прочитала в «Мартирологе» Тарковского,



что и ему заплатили столько же. Тенгиз же тогда похвалился, что ему дали больше как «заслуженному». Описание работы над «Гамлетом» у Тарковского показалось мне очень правдивым и точным.

Вернусь к моему знакомству с Тенгизом. Когда мы жили на Сенеже, он делал выставку, свою и еще двух грузинских художников, в Музее Восточных Культур. В Москве грузины жили в квартире актрисы Ариадны Шенгелая на улице Горького. Я пришла туда утром, из комнат выходили томные юноши, ночевавшие и жившие в многочисленных комнатах этой грузинской ночлежки. Кажется, спали они в пальто, за отсутствием достаточного количества одеял и постелей. Тенгиз на Сенеже тоже часто спал, накрывшись моей шубой. На плите кипела огромная кастрюля с мясом. Тенгиз объяснил, что это грузинский утренний суп. Может быть, хаши с похмелья.

Кроме выставки он занимался еще книгой о Пиросмани. Хотел издать полную его монографию. В связи с этим он ходил по частным коллекционерам, у которых был Пиросмани. Не помню фамилию людей, к которым он меня водил, жили они в коммуналке в двух больших комнатах, завешенных от пола до потолка. Но и пола почти не было видно от темноты и количества вещей. Ходили мы и к Тышлеру в мастерскую. Тышлер был приветлив и, как оказалось, родом из Тбилиси. Не помню, был ли у него Пиросмани, он показывал свои работы.

Обдумывая свои проекты, Тенгиз часто повторял: «Надо позвонить Эдичке.» Эдичка был никто иной, как Шеварднадзе, который взялся опекать грузинскую творческую интеллигенцию. Для них была устроена вольница, возможны поездки за границу, Тенгиз ездил во Францию. Рассказывал, что он хотел поехать встретиться с Ильяздом (Ильей Зданевичем), а ему кто-то сказал: «Да, он же умер!», потом оказалось, что Зданевич был еще жив. Так повторялось несколько раз, пока Тенгиз не собрался, а Зданевич уже, действительно, умер.

По поводу своих проектов Тенгиз встречался с дамами из министерства культуры. Одна такая встреча произошла, когда мы уже работали над Гамлетом.

Тенгиз и другой интеллигентный грузин решили развлечь двух важных министерских дам и пригласили их в какой-то шикарный ресторан в центре Москвы. У входа была толпа, и попасть внутрь не было никакой возможности. Тут к ним подошел простецкий горный человек и, назвавшись депутатом съезда советов, сказал, что может их провести. Он действительно провел всех и уселся с ними за столик. Во время обеда Тенгиз, говоривший по-французски, рассказал дамам изящный анекдот, где была игра слов «шапо нуар». Дамы вежливо усмехнулись. Горский человек решил, что, то ли они не поняли, то ли недостаточно смешно, и внес пояснение: «Он ему паебать хатэл». Эту историю Тенгиз рассказывал нам, и фраза стала ходовой. Тарковский это выражение со вкусом повторял по поводу козней в театре. И тогда все становилось на место. А, ну да, конечно, как мы сразу не поняли.

Как это произошло, что Тарковского пригласили работать в Ленком, не знаю. Только знаю, что пригласил Марк Захаров, что очень странно, потому что режиссеры они были совершенно разные. Захаров ставил то, что у нас называется “musicals”, Тарковский называл это «варьете». Тогда Захаров как раз репетировал «Звезду и смерть Хоакина Муриетты». Поэма написана Пабло Нерудой и основана на жизни реального калифорнийского бандита, которого народная легенда превратила в современного Робин Гуда. То есть с идеологической стороны все было правильно, а музыка и танцы давали народу зрелище. С другой стороны, этот спектакль был западной «рок-оперой», так что Захаров сам был диссидентской фигурой, возможно, он ассоциировал себя с Тарковским в противостоянии предписанной норме и формату.

Захаров производил впечатление человека здорового и незлого. Обычно сидел у Тарковского на репетициях, но ни во что не вмешивался и никаких замечаний не отпускал.

Тарковский уже несколько лет хотел поставить «Гамлета». Первый раз он предложил Любимову поставить спектакль на Таганке. Любимов не пригласил его, и вместо этого поставил спектакль сам. Тарковский упоминал этот эпизод с характерной нервной гримасой и замечанием: «балаган». Я смотрела «Гамлета» на Таганке, эффектное оформление, но оставлял впечатление номеров и мелодекламации, а не спектакля. Мне не понравился Высоцкий в этой роли, задиристый и крикливый.

Тарковский начал работу с чтения различных переводов Гамлета и подстрочника. Смысл часто был очень различным, а иногда и прямо противоположный оригиналу, как в переводе Пастернака, который был, конечно, наиболее поэтический. Поскольку Тарковский был воспитан на русской поэзии, то и выбрал его. Однажды он обратился ко мне и Тенгизу со строчкой «Не спи, не спи художник, не предавайся сну». Наверно у нас был усталый вид. Стихотворение «Ночь» очень мистическое, я потом разобрала и опубликовала этот разбор. Тенгиз морщился на стихи Пастернака, потому что «он плохо перевел Табидзе».

В какой-то момент, тоже в начале работы, Тарковский стал читать статью Выготского о Гамлете. Статья его занимала и озадачивала, идея о столкновении двух миров — мистического и реального была ему интересна. Он обсуждал эти идеи со мной и Тенгизом, я и раньше читала эту статью и тоже была ею заворожена. Я предложила дать эту статью Чуриковой, она очень серьезно обсуждала, как и что играть. Тарковской махнул рукой: «Она совсем сойдет с ума, она и так чокнутая».

Чурикова очень серьезно относилась к работе. Поначалу она настаивала, что будет играть Гамлета. Может поэтому Тарковский считал ее чокнутой. Хотя, почему бы нет? Ведь в шекспировском театре мальчики играли женщины, почему бы теперь женщине не сыграть Гамлета. Играла Чурикова Офелию и особенно волновалась по поводу сцены безумия. Играть безумие, как и играть пьяного, дело деликатное, тут легко переиграть.

Как-то после репетиции я и она сидели на сцене, и она все говорила об этой сцене и спрашивала меня, ну что делать. Тут я рассказала анекдот про сумасшедшего, доктора и цветок. «Это Вам доктор». Чурикова серьезно посмотрела на меня и спросила: «Ну, что, мне цветок в жопу вставить?»

Мы обсуждали с Тарковским, должна ли Офелия быть в другом платье в сцене безумия. Платье, в котором она появлялась вначале, было зелено-змеиное, прототипом были женщины Лукаса Кранаха. Была запланирована узкая готическая шляпа — колпак ведьмы, но уже не помню, выходила ли она в этой шляпе. Тарковский сказал, что видит ее в платье королевы, но безумной. «Мы с Ларисой ездим летом к нам в деревню, и если Лариса появляется в красивом модном платье, то деревенская сумасшедшая вскоре появляется в его подобии, но сшитом из тряпья». Идея гениальная! Жаль, что мы её не применили.

В театре, где к нам относились как к голодным пасынкам (видите ли, сцену им давай для репетиции), были закулисные интриги и раскол. Когда-то там режиссером был Анатолий Эфрос, потом «его ушли», и он покинул театр с некоторыми актерами. А какие-то актеры, работавшие с ним, остались и были недовольны сменой репертуара и превращением драматического театра в «варьете».

Когда я работала в Ленком, мы ходили с Вадиком Паперным в гости к Эфросу, и он попросил передать привет Корецкому, но сделать это очень приватно. Я эту просьбу выполнила, Корецкий был приятно поражен и после этого всегда смотрел на меня заговорщицким взглядом. Тут я хочу сделать небольшое отступление, просто не знаю, будет ли у меня еще случай это рассказать. В 75-ом я пошла в какой-то клуб на самодеятельный спектакль с участием знакомых, Вадик был художником. Рядом со мной сидел пожилой дядька с молодым человеком. Дядька смеялся так, что чуть со стула не падал и выражал восторг как ребенок. После спектакля я спросила Вадика: «Кто это со мной рядом сидел? Он, по-моему, первый раз в театре». Вадик немного ошеломился: - «Это Эфрос».

Когда мы еще только обдумывали работу над костюмами, Тенгиз мечтал сделать спектакль в духе персидских миниатюр или индийских ковриков с изображением мандалы. Это все очень красиво, но не вижу, как можно было поставить Шекспира в таком орнаментальном оформлении. Как бы читайте то же, но в «ритме вальса». Наверно, Параджанов и Пазолини больше нравились Тенгизу, чем Тарковский. Говорил он, что персидское влияние на грузинскую культуру куда культурнее, чем европейское, в частности русское. В 1976 Тенгиз пригласил меня в дом актера на просмотр «Кавказского пленника» в постановке Георгия Калатозова. Дину играла очаровательная грузинская девочка. Фильм показался мне тоже борьбой с евроцентризмом. Идеи, сами по себе, возможные, к сожалению, теперь находят крайнее выражение.

На этом просмотре меня представили Андрону Кончаловскому — мертвое лицо, маска. Вспоминаю это потому, когда у Тарковского в мос-

ковских клубах бывали просмотры «Зеркала», я опять и опять ездила смотреть. И чем больше я смотрела фильм и слушала Тарковского, тем больше понимала, что фильм был сделан «для себя» и группы близких людей. Только так и можно сделать глубокое и умное произведение. Работа для массового зрителя разжигает идеи до полной воды. После одного просмотра Тарковского спросили, собирается ли он опять что-то снимать с Кончаловским. «Я никогда не снимал ничего с Кончаловским и не собираюсь снимать», - резко ответил Тарковский.

У Тарковского были какие-то трения с Ленкомом из-за того, что он хотел пригласить своих любимых актеров: Терехову и Солоницына. Как насплетничал мне Тенгиз, из-за Тереховой были трения не только с театром, но и с Ларисой. «Жуткая женщина, как она может». «Жуткая» - было любимым словом неодобрения у Тенгиза, если кто-то ему не нравился. Он любил тихих женщин, а если кто-то повульгарнее, то «жуткая девочка». Кроме общего неодобрения по поводу манер и вида, Тенгиз возмущался вмешательством Ларисы в работу. Не сомневаюсь, что Тарковский восторгался Тереховой, он сказал о ней: «Актриса милостью Божьей», но не думаю, что у них в это время был роман, даже знаю сплетню, что во время работы над «Гамлетом» у нее был роман с молодым рабочим сцены, впрочем, очень достойным юношей.

Платье Тереховой было задумано очень шикарное, из глубокого красного шелкового бархата, на манер костюма венецианской куртизанки, хотя не помню конкретного прототипа. Глубокий вырез и небольшой стоящий воротничок, подчеркивали грудь и шею. Сверху рукав был широким буфом, набитый ватином и простеганный. Это подчеркивало талию. А из-под буфа выходил широкий рукав из легкого материала, очень женственно подчеркивавший движение рук.

Делали основные костюмы в мастерских театра Моссовета, от метро надо было идти по какой-то набережной. Закройщица там была потрясающая, к сожалению, не помню ее имени. Я любовалась, как она кроила исторические костюмы, резала большими ножницами просто в воздухе. К тому времени, как начали делать костюмы, Тенгиза в Москве уже не было — все легло на меня. Он уехал в Тбилиси со словами, что не может больше быть в Москве, потому что ему, чтобы жить, надо зарабатывать 100 рублей в день, а в Москве он их не зарабатывает. Тарковский меня спрашивал, где Тенгиз, но Тенгиз и со мной связи не поддерживал. Видимо, полагал, что я человек ответственный и без него справлюсь.

Привести актеров на примерку было очень трудно, они от этого всячески уклонялись, как от дела лишнего и ненужного. Однажды мы с Толей Солоницыным поехали в мастерские на примерку. Должны были приехать еще и другие актеры, но не появились. После примерки мы вышли на улицу, и Толя в обычной серьезной, неулыбчивой манере спросил, куда я сейчас еду. Я сказала: «Домой», — «Нет, ты должна сейчас поехать в театр и положить директору на стол заявление, что в связи с неявкой актеров на

примерку, спектакль срывается, и ты снимаешь с себя ответственность и просишь уволить себя из театра». Он мне объяснил, что в театре, только так и делаются дела. Правда, был случай, когда кто-то положил заявление, а его сдуру уволили, а потом спохватились, где же наш постановщик.

Толя был милый человек, однажды он сказал, что хочет привезти своему ребенку в подарок переводные картинки, и мы искали их по Москве, я вспомнила, что они когда-то продавались в табачных ларьках. Но картинки «перевелись», и мы их не нашли.

Для основных костюмов мы выбирали дорогие материалы, все «подлинное»: бархат, парча, шелк, вплоть до пуговиц. Тарковский, привыкший к специфике кино, хотел подлинности в деталях. Он обсуждал с нами, можно ли на сцену принести земли, для могильщиков, устроить бассейн, где Офелия тонет, почему-то хотел устроить огонь. Ему хотелось мистерии со всеми стихиями. Было бы замечательно, если бы он снял фильм «Гамлет», тут бы он все это создал. На сцене все оказывалось невозможно, и это огорчало Тарковского.

Костюмы попроще, для массовки, делали в пошивочном цеху Ленкома. Обстановка там была какая-то вороватая, начальника называли «балабус». За пошивом у них я тоже должна была наблюдать. К лету кое-что было сделано, довольно много, но после летних каникул оказалось, что в мастерских был пожар, и костюмы сгорели, а также и ножницы, и швейные машинки. Может быть что-то и сгорело, а остальное было растащено, под шумок. Так что все пришлось делать заново.

Деньги, которые мне заплатили, уже разошлись, и не на что было нанимать няню для маленького сына, так что, когда мне надо было ездить в театр, приходилось его брать. Если я была в пошивочном цеху, он был со мной, а если мне надо было встретиться с Тарковским, я его прятала за кулисами, и он там плакал. Он еще не говорил. Через год-полтора я шла с ним по улице, и вдруг он заплакал: «В театр не пойду». Я говорю: «Что ты, о чем?», а он показывает рукой на какой-то дом: «Вот театр».

Осенью мне пришла идея, как заработать в театре еще какую-то сумму. Костюм Призрака не был как-то интересно придуман, возможно, было какое-то рублище. А мне подарили в это время книгу по «Макраме» - способ плетения вещей и одежды из веревок и, я им увлеклась. Я придумала сплести веревочную кольчугу для призрака, призрачную кольчугу. Я поговорила с Тарковским, он одобрил. Я привела к директору театра, Сорину, человеку с лицом прожженного жулика, троих своих подруг, и он подписал с ними договор на плетение кольчуги.

Конечно, мне не нужна была их помощь, я справилась с плетением сама, но три мастерицы выглядели более солидно и оправдывало сумму денег, которую я спросила. Так я обжулила жулика, но как говорит древняя поговорка «Укравший у вора, не вор».

Я прибила к верху платяного шкафа веревки, они протянулись по всей комнате, чтобы не было лишних узлов, и связала кольчугу. Выглядела

она очень красиво, внизу веревки свисали, как будто что-то сгнило и повалось, только получилась очень тяжелой, как вериги.

Лето в 1976 году никак не наступало. В мае, но шел мелкий снег, я повела Терехову на примерку в мастерские театра Моссовета. В этом театре она и работала. Она всю дорогу молчала, я для приличия пыталась с ней говорить. Она одела на себя королевское платье и вдруг, в истерике стала кричать и рвать его на себе, как будто оно ее душило. Я была в ужасе, но закройщица отнеслась к ее припадку спокойно. Когда Терехова ушла, она рассказала мне, что актрисы в их театре вообще так себя ведут, начала это Ия Савина. «Они надеются, что если забраковать костюм, то можно заказать себе платье у Славы Зайцева».

Я назначила встречу в театре с Тарковским. Он сидел за столом в небольшом кабинете, я стала ему подробно рассказывать, что произошло на примерке. Он слушал с большим вниманием и даже удовольствием. Расспрашивал и ухмылялся. По-моему, отнесся к этому как к мизансцене.

На лето сделали перерыв. Тарковский уехал в Эстонию, работать на какой-то халтуре. Я уехала на дачу с детьми, лето так и не началось, еще и в июне шел снег. Время было тяжелое и полуголодное. Тяжелая работа, которая не платила. Когда мы работали над эскизами, Тенгиз привез из Грузии мешок еды. Потом мы ее съели и выбегали в зимнее колючее от пороши Тропарево, как голодные волки в поисках еды. Как-то уже следующей зимой, Тенгиз приехал и позвал меня и Тарковского в гостиницу Минск, в свой номер, угощать осетриной холодного копчения. Тарковский ел с удовольствием и спрашивал, где можно это яство достать. Он ко всему был внимателен, к еде, быту, вещам. В театр приходила его ассистентка, Маша Чугунова, и рассказывала, что у кого-то есть наполеоновская походная кровать. Тарковский хотел увидеть и, кажется, даже купить.

Я хочу уйти вперед и сравнить работу с актерами в Москве и Лос-Анджелесе.

В 86-87 года я делала костюмы для спектакля-капустника, в котором участвовали такие актеры как Мел Брукс, Анн Банкрофт, Али МакГроу, Сюзан Аспач и другие. Работа была волонтерская, деньги от продажи билетов шли в пользу школы Кросроудс. Меня поразило, что актеры всегда появлялись вовремя, тяжело работали на репетиции, прислушивались к моим рекомендациям. Анн Банкрофт играла цыганку, и я сказала ей, что в моем детстве у цыганок было зажато в ладони маленькое круглое зеркальце. Как она обрадовалась этой детали! Как бесконечно они с Мелом репетировали небольшой танец, с которым появлялись на сцене. А красавица, Али МакГроу, совсем не стеснялась нелепого комического костюма со старомодной лисой на плечах.

Московских актеров невозможно было затащить на примерку, а на сцене они чуть что начинали паясничать. Помню первую репетицию в костюмах и трико, видимо, мужчины стеснялись своих ног и, чтобы скрыть это, превращали спектакль с клоунаду. На какой-то репетиции, дело вали-

лось из рук, никто не мог найти правильной интонации. Тогда Тарковский сам один сыграл за всех сцену и очень хорошо сыграл. На одну из репетиций появился Арсений Тарковский — высокий, красивый, с палочкой. Андрей очень почтительно его вел и усадил в кресло.

В сцене «Мышеловки», которая разыгрывалась на просцениуме, на небольшом помосте, который в другой сцене был королевской кроватью, Терехова была в красном цирковом трико. Оно на ней прекрасно смотрелось, и видно было, что эту сцену она играет с удовольствием. Двигалась она быстро и ловко и явно была довольна показаться в таком «нарядно-обнаженном» виде.

Заменой Тереховой была очень красивая молодая актриса Любовь Матюшина, она сидела на репетициях, и я ходила с ней на примерку и даже немного подружилась. Маленький ее сын болел белокрытием.

Наконец к началу зимы 77 года спектакль выпустили. Тенгиз приехал, мы смотрели костюмы на сцене, при ярком свете юпитеров они смотрелись плоско. Мы должны были их дописывать, забрызгивать темным в складках, чтобы больше было объема. Все надо было сделать лихорадочно быстро. На премьеру нам, постановочной группе, с трудом дали по два билета. Я спросила Сашу Иванова, который был, кажется, заведующим сценой: «А кому же дали билеты?» «Друзьям директора: заведующим комиссионных магазинов, директорам гастрономов». Толпы перед театром были огромные, очередь на кварталы. После премьеры были глухие разговоры, что какая-то комиссия пришла и была недовольна. Чем? Текстом Шекспира? Переводом Пастернака? Спектакль был очень красивый и актеры хорошие. Может быть немного сырой, но он бы обкатался. Кто-то там вскоре заболел, кажется Чурикова, у нее был выкидыш, пока мы работали над спектаклем. Потом его не возобновили. Это был еще один удар в спину Тарковского.

Я тоже получила свой удар в спину: на афише один Тенгиз был указан как постановщик, я и Рашид Сафиулин, который делал декорации сцены, были перечислены в группе художников, частью мистических. В группу были включены мои подруги, на которых выписали деньги, чтобы связать костюм призрака. Возмущенная несправедливостью, я позвонила Тенгизу. Он сказал, что он бы хотел, чтобы было по-честному, но так решил Тарковский. Тогда я ему поверила, но потом в Москве слышала разговоры о другом похожем случае. К сожалению, в России дело обычное, да и не только в России. Не то, что я хочу сводить счеты с Тенгизом, его уже нет, но «Платон мне друг, но истина дороже».

Лос-Анджелес, 2015



Анатолий Добрович
ТЫ НЕБУ ПОДДАН
(из недавних стихов)

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ...

Игорю Гельбаху

I.

Умница Лермонтов, как же вы дали себя укокошить,
будучи в славе и в возрасте всё еще юном?
Будто не более ценны пред Богом, чем лошадь,
та, на которой недавно скакали драгуном?

Так подтвердилось, что жизнь — лишь пустая и глупая шутка?
Дескать, поэт, не поэт — не большая потеря?
...Род замещается родом, а мы вам, как прежде, не веря,
в ужасе лезем под пулю на склоне Машука.

II.

Молодой Пастернак врукопашную бьётся
с языком представлений. Метафоры меч
во все стороны мечется, метя рассечь
зримый образ вещей до кости сумасбродства.

Подскочу! Сквозь меня пропускают разряд
обновления чувств. Восхищусь. Успокоюсь.
Сад не прыгает вверх. Небосвод не разъят.
Степь глуха. И на броне коровы по пояс.

III.

...Кто за честь природы фехтовальщик?
О. Мандельштам

Сплошная ночь - на годы, годы.
Расстрелы, стройки на костях.
И возвели в закон природы
подобострастие и страх.

Фальшиво-выспренный дискурс.
К вождю и к хаму притиранье.
Искусство выжить при тиране —
«важнейшее из всех искусств».

Кто выдал отповедь насилью
и всё расставил по местам? —
Еврейский пасынок России,
элегик Осип Мандельштам.

Шестнадцать строк его сплели
пощечину; она полоской
еще пылает на холопской
щеке — в шестую часть Земли.

IV.

Середина Европы. Берлин.
Перевод бытия на моменты.
На прилавке журчанье монеты.
Сквозь стакан растекание льдин.

Заколи математика бурш
ни за что, на нелепой дуэли,
на сто лет мы бы позже взлетели
и не гнали бы газ через душ.

В каждой мелочи дышит уют.
Георгины, герань на балконе.
В Ниефанге живут. В Оймяконе.
Не представить. Однако живут.

Возникая сквозь дым голубой,
на века эмигранты расселись.
Не скучнейте лицом, Ходасевич.
Я не к вам, я за столик другой.

V.

А может, Моцарт был уродцем,
савангом низенького роста
и клал буклястый паричок
на незаросший родничок?

Как странен мощный ток души
в привычной взору оболочке.
Сергей Прокофьев, Заболоцкий —
хоть в счетоводы запиши!
Неважно. Гения не вызнать
по жилам кисти, форме глаз.
Он здесь, но свесился из жизни
туда, где жизнь течёт без нас.
2014

ЗРЕЛИЩА

*...В ней есть любовь, в ней есть язык.
Ф.И. Тютчев*

По краям волнозаслона
две дуги образовав,
по-балетному синхронно
наплывают кружева.
Ряд за рядом, сменой линий,
растворяемых песком,
набегают балерины
в представлении морском.

Для чего студёным, скрытым
тёмным водам глубины
гипнотические ритмы
в беге к берегу нужны?
обращение прямое.
Но кого за часом час
завораживает море?
Ведь не нам же на показ
эти зрелища морские.
Кто мы, собственно, такие? —
Сообщаются стихии
меж собой, минуя нас...
2014

ОСЕНЬ

Наташе

Настали месяцы дождей,
приплыли облака и тучи.
Малюет небо чародей:
то акварель, то пятна туши.
Довольно часа за рулем
вне городов, под небосводом -
и ты в пространстве заронён,
ты небу поддан.
Небоглотатель, небожитель,
смотри в окно: тебе дано
невероятное панно;
неподражаем исполнитель.
Мне кажется, я понимаю
художника. Его мазок
так многоцветен, так широк,
так перечеркнут нежной хмарью...
Но всё исчезло, поседев.
А вот шедевр:
в сияющем полуовале,
соприкасаясь головами,
такие силы собрались,
что и не веруя, молись.
Они парят над пустотой,
как Микеланджело увидел,
а сокрушенный ими идол
уполз из кущи золотой...

Я посреди Святой Земли.
Столбом кренился дождь вдали.

2014

НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ

Инне Авраменко

Былое чувство улья. Сухой листвы дыханье.
Москва моя, Москвуля мелькает на экране.
Еще не всё успели заставить новоделом.
Еще трамваев трели с доски крошатся мелом.
Еще мне запах дорог реки, цветущей липы,
пылающих конфорок, асфальта и олифы.
И снег, прибитый солью, и ранние фиалки,
и бравый дьякон Коля, сосед по коммуналке.
И в белой шубе выдох, и плещущие флаги,
и на платформах мытых волна воздушной тяги.
И древние палаты в наличниках добротных,
и Шумана раскаты в консерваторских окнах.
И дуновенье ветра, терзающее вымпел,
при виде человека, с которым сядем, выпьем...
Всё трелью балалаечной с Даниловского рынка:
«Подколокольный», «Балчуг», «Подсосенский», «Стромынка»...
Душа забеспокоится, а в ней тропа протоптана:
отвагой Шостаковича, иронией Прокофьева.
Да чтоб вы удавились, таможня и ГБ!
Я Пастернака вывез не в книгах, а в себе.
Вещающий грассируя, несносный во хмелю,
люблю свою Россию: такой, какой люблю.
Не думавший о выгодах, нуждавшийся в защите,
я — местечковый выродок. Теперь меня ищите.

2015

Влагой, сиренью, озоном
вевт Шопен, окропив
тысячекапельным звоном
неоспоримый мотив.
Будто законом природы
вызван такой звукоряд:
молнии, воздух и воды,
кажется, сами творят
все эти темы. Так пой же
следом, как птица в листве,
на отдаленье от Польши
(в Чили, в Тунисе, в Туве!) —
и любопытствуй: «А кто он?
Всякий живой человек
что-то ведь выбрал, отверг,
чем-то задет, очарован»...

Скрытньй, болезненный шляхтич,
как ты нас видишь с высот?
Знал ли, кому предназначишь
свой триумфальный полёт?
Польского мелоса грозди
при фортепьянном предгрозье
примет любой материк
Но никому не по чину
жизни твоей сердцевины,
выведасть, пан Фредерик.

2015



Полина Барскова

СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

Дружба шьется мелкими стежками.
Яша с Катей в темном сне
Птичьими горячими руками
Рыбьими приятными руками
Страшными кошачьими руками
Страшное лицо ласкают мне.

Двигаются камни, тают горы,
Все это ничто в сравненьи с
Тем как ночью наши разговоры
Как большие реки метят вниз.
Водопаду белому подобна
Маленькая жизнь ночных бесед.
С неприятной пляской, тряской бубна
Чья-то правда чью-то жизнь сосет.

Входит боль, серьезно и невинно.
В маленькую грудь вставляет нож.
(Мила Люба Рома Сева Нина).
В маленькую грудь вдыхает ложь.

От нее исходит жженье розы.
От нее исходит жженье льда.
Похоронные и радостные росы.
Праздник боли и труда.

Ложь и труд и нежное касанье.
Как больного поверни меня:
Я хочу п(р)оверить угасанье
Летнего-кривляки дня.
Тень стекает, булькает на зданья.
Донна Анна, где ты? Аня Таня.
Трезвостью, насмешкой непрощанья,
Именем своим держи меня.

Город

Илье

И всё-таки в декабре мы однажды, взявшись под руки,
добрели до этого магазина и купили несколько игрушек —
самовар с чайником и ещё что-то.

Зальцман, Дневник.

Я дверь в меня, а ты — окно.
Ты в дверь меня, да я в окно.
Со мной и утречком темно
Со мной и ночечкой бело.
Как будто горний мир—стекло.
И кто-то ногтем по нему
И сквозь порез пускает тьму.

Я раздражение твое
В паху на остреньком плече.
Я разложение твое
На мир сияющих вещей.
Вот эта вещь вина беда
Вот эта вещь беда вина.
Вот эта вещь моя всегда
Вот эта вещь чужда нужна.

Вот это: город сад зверей
Сидят за тысячью дверей
Повсюду вывески дворцы
Все "бесы" тут и "молодцы".
И лишь один казался мне.
Он верно показался мне.
Он был как дырочка в стене
И там была записка мне:

Там сказано "не дрейфь не бзди.
Плывает шар в твоей груди.
Шар новогодний, он блестит.
Кто шельму метиг, тот простит".

Чужое письмо

Куртавенель, среда.
Вчерашний день был менее однообразен, чем позавчера.
Мы сделали большую прогулку,
А когда вернулись, великое произошло событие.
Вот, что случилось:

Большая крыса забралась в кухню,
Мы заткнули тряпкой дыру,
Которая служила крысе отступлением.
Несчастливая крыса укрылась
Под угольный шкаф: ее оттуда выгоняют,
Но она исчезает.
Ищут ищут во всех углах: крысы нет.
Утомившись войной,
Мы садимся играть в вист,
И тут горничная выходит,
Неся щипцами труп своего врага.
Вообразите себе, куда спряталась крыса:
В кухне стоял стул, а на этом стуле лежало платье горничной,
Крыса забралась в один из его рукавов.
Заметьте, что я трогал это платье
Четыре или пять раз
Во время наших поисков.

Не восхищаетесь ли Вы присутствием духа,
Быстротой глаза энергией характера
Этого маленького животного?
Горничная уже собиралась уйти и оставить поиски,
Когда рукав чуть шевельнулся.

Бедная крыса заслуживала, чтобы спасти свою шкуру.

Вы привезете нам хорошую погоду.
Мы не ждем Вас раньше субботы.
Ради Бога, берегите себя.

Tausend Grüsse

Не восхищаетесь ли Вы присутствием духа,
Быстротой глаза энергией характера
Этого маленького животного
Ивана Тургенева,
Проведшего самый лакомый кус лета да и жизни всей
В ожидании той, которую раньше субботы
Ожидать не следует?

Его веселый писк,
Его вечерний вист,
Шуршанье, визг
Девочек в сыром красивом доме:
Луиза, Берта, Вероника.
Зевки и "скукота" и передергивание.

И где-то посреди него всего Полина
Ее зеленые слегка навывкате глаза
И голоса прямые смоляные
При легком смехе чуть дребезжащий голос
И узенький блестящий рыбий стан.

Был ли он в ней не был ли
Биографам понятно
Не вполне но
Она была в нем.
Она ходила в нем,
Ходила в нем, как в душной летней комнате Куртавенельской,

Покуда он
Лежал, отлично спрятавшись, и ждал
Разоблаченья:

Вот вот найдет его
И будет шелка шум, и башмаков
И, как стрекозы, плоскеньких ее острот
Повсюду звон:

Он пошевелится, она его заметит наконец,
Она в брезгливости закружится, забьется,
А он заверещит:

Потоки поцелуев!
ВашВашВашВаш!

Ihr.

29-ый

Появление трамвая с кольца
Чтение детективного романа с конца
Из чудовищных внутренностей
Мясокомбината
Он появляется как вырвавшийся зверь-преступник
Лязгая клацающая изрыгая тепло
С куском отраженным заката
На кругленьком лобике
Тавро —

29.

Три остановки
Медленно медленно никуда
Мы не торопимся
Мы соблюдаем виды
Серо-серые дома
Пытательная среда:
Улица скуки тупик свободы проспект обиды.

В этом тепле мерцании качании громе рельс
Было что-то приятное
Так предвкушение акта, так замедленье дома
Совершенно не заблудившийся,
Уныло идущий в рейс,
Мой речной ножной ножевой трамвай,
Посмотри, Содомы

Как плавают, пучатся и тужатся угольки
Как им вторят
Вдали уютом костры Гоморры
Я вполне тебе отдаю отчет
Достигнув какой реки
Мы оставляем на берегу
Память тапочки мелочь
Бесстыдные разговоры.

Из Лонга

Над ручьём, развалившись как карточный домик, мурлыкают Дафнис и Хлоя.
Их — друг друга ласкающих — ласкает безглазое, злое,
Горловое светило. Кого же ласкать ему? Двое
В целом мире пустом, меж деревьев, воды, насекомых, —
Развалились они, раскалились. Она — драгоценный обломок,
Ископаемый оттиск, тугой завиток, тяжкий натиск.
Он — улыбчивый корень, песками затёртая надпись,
Изошрённая клинопись. Кто расшифрует: не я ли?
Вот она усмехается, словно стрекозка в серале,
Предположим у Ингра, целует его и бормочет,
Наблюдая: в его бороде стрекузничек хлопочет,
И коровка не-божья (язычники!) важно крадётся.
Хлоя смотрит, и смотрит, и смотрит. Смеётся, смеётся.

II.

Подле них озерцо
разлеглось по земле — с островами.
Словно серое платье с кармашками и рукавами
Золотистых болотоц.
А может быть — словно лицо
С нанесёнными крупно чертами,
С золотыми губами,
Огромными и плотоядными.
В небе висит запятая
Усечённого месяца. Рядом крадётся густая
Черета облаков завитая,
Как парик куртизанки, что сбросила серое платье.
Небо смотрит на озеро. Озеро смотрит объятье
На прибрежном холме. Хлоя смотрит на Дафниса. Этот
Смотрит как над плечом её морщится месяц
От последнего ветра, что дышит на них этим летом.
Впрочем, страх наступающей осени ему в упоенье неведом.
Он не знает и знать не умеет, что будет, но только-что длится.
От прохлады ночной удивительно ясны их лица,
Как в момент выплыванья из тягостной тьмы негатива
Очертаний реальности. Он выдыхает: «Красива
Ты сегодня, как озеро.» Хлоя в ответ тяжелеет
И склоняется.
Небо чёрным на них надвигается.
Только сбоку полоска тоскливо бесстыдно алеет.



Вероника Капустина
«ДА ОНА ВЛЮБЛЕНА В ТЕБЯ,
И МУЧАЕТ ПОТОМУ!..»

xxx

Так много печали в оранжевом цвете,
и в желтом, и в желтом так много печали!
Сильнее других это чувствуют дети.
Их оповещает о близком начале
учебного года настурций цветенье,
и пчелы, и шмель-одиночка с мотором —
июльские первые предупреждения
о чем-то большом, неизбежном и скором.
Начнутся осенние кроссы на время,
заколет в боку, ярко вспыхнет дорога,
и вдруг перестанешь держаться со всеми,
начнешь отставать, отставать понемногу...
И все потеряются в желтом мелканьи.
А ты не успеешь. Тебя обманули.
Верней — умолчали, что хватит дыханья
не дальше настурций, не дольше июля.
Ведь все пробежали сияющим парком.
Ведь все уже знали и просто молчали
о том, что вот именно в светлом и ярком,
в оранжево-желтом так много печали.

xxx

С яблока течет долгий и густой
запах.
Что-то же должно круглым быть, простым,
ясным.
Как там ни крути Землю, все равно
запад
Вечно будет там, где закат цветет
красным.

xxx

Что ж, поезжайте, звоните, пишите из Ялты:
дышит ли там еще море спокойно и мерно,
ходят ли там в стороне от курортного гвалта
дамы с собачками из отдаленных губерний.

Видимо, ходят, ведь мир-то везде одинаков.
Скуки и пыли и здесь на десяток романов.
Свет электрический дом вынимает из мрака,
поздний прохожий ключи достает из кармана.

Город совсем опустел. Никого не осталось.
Даже собаки уехали в теплые страны.
Так вот разъедутся — и репетируешь старость,
так примеряешь и этак — и страшно, и странно.

Может быть, рано? А впрочем, выходит неплохо.
Стрелка от страха ползет побыстрее по кругу.
Лето проходит, и долго доносится грохот —
поезд на юг убегает, дрожа от испуга.

xxx

Если, скажем, надеть то же самое платье
или так же подстричься, я помню, как было...
Так на новом витке вновь пытаюсь поймать я
тот же день, тот же час, но, как видно, не в силах
так разбрасывать счастье скупая природа,
не обманешь ее ни покровом, ни цветом.
Измениться бы разом, легко, как погода
поступает порой, если выхода нету.

xxx

На всей Земле не топят,
должно быть, мерзнет Куба,
и ливня громкий топот
напоминает грубо,

что больше нет пощады
ни северу, ни югу,

сентябрь шуршит плащами,
прижатыми друг к другу.

И хриплые признанья
такую дышат страстью,
что кажется, и нами
теперь займется счастье.

На чахлых наших ивах
такие зреют фиги!
Сентябрь, храни счастливых,
их ссоры, их интриги,

простуженный их шепот,
любой их жест пугливый,
когда еще не топят,
когда уже дождливо.

xxx

Как будто множеством тяжелых атмосфер
К газетной вырезке придавлена стена,
И вечный дождь, смертельно бледный Агасфер,
Проходит медленно и виден из окна.

Что тяжелей ему: тоска или вина?
Что может сбросить он, оставить, уходя?
Статьей о Диккенсе и держится стена,
Что отделяет нас от вечного дождя.

Стенограф юный, оторвавшись от листка,
Какие трудные увидел времена.
И круглым почерком в них вписана тоска,
И резким росчерком проставлена вина...

Но нас не примут в ясный кукольный роман,
От наших всюду проникающих погод
Куда мы денемся, когда глухой туман,
Совсем не лондонский, нас молча разведет?

xxx

Пробираясь по ходу поезда по вагонам,
И дойдя наконец до первого, до предела,
Или в комнате с вечно занятым телефоном,
Где ты, в общем, по делу, и до тебя нет дела.
Или бледной, как свечка, ночью на сон грядущий
Устремившись, как будто тебя позвали,
Или, вынырнув из его кофейной гущи,
Вдруг услышишь явственное «что с вами?».
Это — вместо того эфирного поцелуя
Доброй феи, давно пропавшей без вести в чаше,
И тем самым к твоей колыбели пустившей злую,
Поддающей изредка голос, больше молчащей.

УБОРКА

Вещей, простых и настоящих,
мне не хватало.
С трудом открыла нижний ящик —
всё заедало!

Больничный пасмурного цвета.
не раз продленный,
и профсоюзного билета
мундир зеленый...

На снимке бледном и размытом,
под икс-лучами,
мой зуб ещё болел пульпитом,
белел печально.

Смешались скрепки, папки, люди,
медикаменты,
открытки: яблоки на блюде
и пляж, где тенты.

Я запахнула всё обратно,
отбросив жалость, —
лицо двоюродного брата
слегка помялось.

А помню брата я нескладным,
всегда последним,
в Таврическом саду прохладном —
девятилетним.

И скобку на зубах, и папку, —
на ней съезжали
с горы зимой, в сутробе шапку...
Беда с вещами!

Их тьмы и тьмы. Какие тучи
легли на плечи!
Я помню всё гораздо лучше,
чем эти вещи.

Я, собственно, письмо искала:
«Ушел туда-то...».
Слова я помню: там их мало,
вот только дата!

Я помню, что начало лета,
я — в чем-то желтом.
Как знать, что на тебе надето,
когда «ушел» ты?

Какой был год, узнать бы точно,
и как давно мы
пожизненно теперь, бессрочно
с тобой знакомы.

xxx

Попробуй до конца додумать мысль «Я умру» —
Жизнь тебе тут же крикнет: «Нет, ни за что!».
Примется теребить за рукав пальто,
Тормошить, подсылать троюродную сестру

Из Харькова или из Сиднея грипп:
Жар, спутанные сознание и речь, —
Сгодятся январский хруст и апрельский всхлип —
Лишь бы тебя от этой мысли отвлечь.

Припасет для тебя сума, а то и тюрьму,
Стоит тебе задуматься — хватит минут пяти:
«Умру, мол, как хочешь, тут без меня цветы...»
Да она влюблена в тебя, и мучает потому!

Она потеряла многих, и ты расстанешься с ней.
Уже примериваешься, пробуешь воду ногой.
Ты всё чаще и чаще думаешь о другой,
А эта — ты знаешь, кто — мстит больней и больней.



Вячеслав Вербин

ПОЛШАГА В ТЕНЬ

ПАЛАНГА

А ветер ловит воздух ртом.
И задыхается на вдохе.
И хриплый голос выпивохи
Знаком откуда-то, знаком...
Я успокоился б на том,
Что перечислили все эпохи,
Перемешав золу с песком.
Но скоро дождь. И в горле ком.
И все воспоминанья плохи.

И волны мутные бегут,
Как, пастуха лишившись, стадо.
Не надо мельтешить, не надо,
Пока стоишь на берегу...
Я сам себя подстерегу.
И сам себе вручу награду.
Нужна ли память дураку,
Когда вся жизнь — сплошной прогул
И смерть — почти всегда — эстрада.

О море! Вечный камуфляж
Любви, поэзии, порыва...
Тут есть предатель — запах рыбы.
Он превращает благо в блажь.
Чтоб он пропал, чего ни дашь!
Хоть этот сморщенный загрибок
Под наименованьем «пляж»,
Хоть фляжку, хоть фонарь, хоть плащ
И, как полцарства, полприлива.

И всё ж спасибо, облака,
За вашу музыку ночную,
За всё, что, может быть, начну я,
За всё с чем кончено... пока.
Под вашим взглядом свысока,
Не обижаясь, не ревнуя,

Я — холмик теплого и влажного песка...
Переселенье душ. Тоска.
И внятный зов в судьбу иную.

** ** *

Г.К.

От рвущихся к горлу обид
Расплачутся крыши и пляжи,
Но слякоти жеваный бинт
Земле синяки перевяжет.
И хлынут, как свадебный марш
Под сводами мартовских арок,
Субботние сны секретарш,
Воскресные дни санитарок.
Окраины высохнут позже,
Чем лопнут сугробы по швам,
И сумерки станут похожи
На наш разговор по душам.
Тогда галереей диковин —
«По душам, по лужам, по снам...» —
Гром с ясного неба! Бетховен! —
Предместья откроются нам.
И Царским селом по Бульварной
Наивны, юны и пьяны
Пройдут в менюэте попарном
Мужчины к киоскам пивным.
И будут на всём перемены,
Но это не трогает их.
Вне времени белая пена
Эпохи и кружек пивных...

** ** *

АВГУСТ В ТАВРИЧЕСКОМ

Там, где неуследимо
Измениться спеша,
Мчалось облачко дыма,
Словно чья-то душа,
Где бензиновым чадом

Оглушало стволы,
(Доставалось дриадам
От электропилы).
Где, как в лёд — без движенья —
В пруд, где сверху грязца,
Вмерзло не отраженье, —
Отторженье Дворца,
Мы с тобою лежали,
На траве расprostерты,
Как по горизонтали
Слово в нежном кроссворде...

** ** *

Был коридор, как коридорный,
Услужлив каждым поворотом.
И чудился дорогой торной
К твоим не считанным щедротам.

Всё было утренним и сонным.
Копило пыль. Болело ленью.
И оставалось мертвым фоном
Для вспышки твоего явления.

Здесь только ты, кого хвалили
Всем неустроенным в пример,
От глаз до девичьей фамилии
Горела жаждой перемен.

Секунда кончилась и канула,
И не оставила следов.
Ты из хрестоматийной гранулы
Шла в гениальность и любовь.

И в слепоте прозренья некого
Плыла такой звезде подстать,
Что было выше падать некуда.
И ниже некуда взлетать.

** ** *

Г.К.

Сухой ли день, толпа ль у моста,
Друзья ль в гостях, один хотя б...
Всё так прекрасно, так непросто...
Твои подарки мне, октябрь.

И я вхожу как в рай, как в детство,
Как в фотоснимок, как в игру.
Старинный сад. Старинный пруд.
Какое новое соседство.

И вечный запах черных веток.
И танец шахматных ферзей.
Как в рай. Как в детство. Как в музей...
Твои подарки, бабье лето.

О жизнь, благодарю за тех,
Кто никогда не повторится.
За их, на страшной высоте
Над нами мчащиеся лица.

За их святые имена.
За всё, что в нас осталось. Или
За то, что мы не сохранили...
Твои подарки, седина.

** ** *

О, кто-нибудь, кто помнит то чумное,
Чем был наш вечер до отвала сыт!
Оно смеркалось. Таяло навзрыд.
Светало. И к утру звалось весною

Отчетлива, как тушь на чертеже,
Судьба плыла вдоль страшного лекала
Пунктиром — через лампу вполнакала
И бедный пир на первом этаже.

Уже Нева давилась грязным льдом.
И горькое вино казалось пресным.

И было что-то дьявольское в том,
Как вороньё слеталось к переездам.

И было что-то ангельское в тех,
Кто успевал заплакать и обняться
Пред тем, как над землею приподняться
И кануть в равнодушной высоте.

И кто-то, прокричав про добрый путь,
Вставал в тупик пред новой пустотою...
О, кто-нибудь, кто помнит то, святое!..
О, кто-нибудь, кто помнит...
КТО-НИБУДЬ!

** ** *

Что может русская природа,
Переползая за Урал?
Сиять, линять и ждать приплода
От той овцы, что волк задрал.

Что может Азия зимою?
Сверкнуть глазами, припугнуть,
Чесать кудель, брести с сумою
В снегу по грудь, куда-нибудь.

Один поэт псевдонародный,
Ухватистых набравшись сил,
Сказал, что Азия — дремотна.
Ошибки он не допустил.

** ** *

От сырости траву бросало в дрожь,
Но минул час, и, сомневаться не в чем,
Не по хорошу мил, а помилу хорош
Восстал рассвет бессолнечным, но певчим.

Так тишина звенела с высоты,
Так купола далекие горели,
Так сотрясала влажные кусты
Слепая жажда соловьиной трели.

Еще будильник ничего не знал
О будущем. И не просил завода.
И в снах преобладали белизна,
Полет без крыльев, дети, и свобода.

Сводилось всё к естественным вещам:
Любви и бунту, счастьем и расколу —
Всему, что день сквозь сон наобещал
Пустому зданью Музыкальной школы.

Автопортрет в интерьере с пустыми бутылками

«Хоть роялист, хоть карбонарий,
Хоть босомыга на углу,
Ты попадешься на иглу!
Тобой пополнится гербарий!
Меж диетических идей
Ты не нашел рецепт причины
Несходства сути и личины.
Ты, даже выбившись в мужчины,
Не личность стал, а лицедей.
Среди бессвязных вероятий
Ты цифры не нашел простой.
Кончай фиглярствовать! Постой!
Вокруг себя взгляни, приятель.
Вот море. Дерево. Зверёк.
Вот облаков головоломки.
А вот орнаменты поземки...
Ты тоже маршируй по кромке,
Натуре взяв под козырек.
А ты боишься быть на ты
С букашкой, пшашкой и ромашкой!
Трагедия, а не промашка —
Потеря этой простоты...»

Так говорил я сам себе,
Не чуя Участи в Судьбе,
Предпочитая естеству
Тупую склонность к колдовству...

Как долгов был продажный матч
Игры в загадки с зеркалами,
Где мог поправить дело камень,

Но я проигрывал, хоть плачь!
Как страшен был «кремнистый путь»!
Как пыль обочин привечала!..
И, опоздав начать с начала,
Я брел к финалу как-нибудь,
Таща, как торбу, на горбу
Макулатурную судьбу.
И те слова, что сам родил,
Как эпитафию твердил:
«Хоть роялист, хоть карбонарий,
Хоть босомыга на углу,
Ты попадешься на иглу.
Тобой пополнится гербарий!»

** ** *

В оркестре дня преобладает медь.
Знать, дирижер секретом обладает.
Душа моя дичится и плутает,
И просит тишины и хочет петь.

Ну, спой, душа! Про что-нибудь, про шашни,
Про то, как ночь, безумна и светла,
Влетев с Невы на траверз телебашни,
С поста соборных ангелов сняла.

Как летаргия жирного барокко
Утешила двуглавого орла.
Как ночь с работы ангелов сняла,
Поскольку в них уже не будет проку

Ни Городу, ни мне, ни нам с тобой,
Ни ей, (ты помнишь?) бестии кудрявой.
Ну, что ж ты медлишь?! Пробуй, птица, пой!
И Бог с ней тишиной,
И черт с ней славой.

Звени себе, не спрашивай про что.
Про что угодно. Пой, к чему привыкла.
Про нежный рев ночного мотоцикла
И львов ручных из цирка Шапито.

** ** *

Н.В.

Весна была задумана, как крен
Деревьев, забеременевших вестью
О том, что воздух стал тягуч, как песня.
И дождь воспринимался как рефрен.

Весна была построена, как рай
Для нищих птиц с ухватками придворных.
Им каждый двор стал, точно дом игорный.
Азарт и зёрна. Счастья через край.

Весна была отмеряна, как часть
Всеобщего и полного разлада.
Она была как бал и как баллада,
А может быть, как старость и как страсть.

А может быть, как святость и как стыд.
Как чистый лист и яркие чернила.
Как белый свет, который ты затмила.
Как свет в окне, который тоже ты.

** ** *

Н.В.

Прошу тебя, открой окно во двор.
Пуская торцы столпятыя
Подслушивать наш смутный разговор,
Подмигивать, смеяться.
Мирок мансард, подвалов, чердаков,
Как мальчик, любопытен...
Как нравится тебе моя любовь
Среди других событий?
Как нравится тебе весь этот сдвиг,
И суета, и смута,
Где с робостью и радостью любви
Рассвет так просто спутать?
Где, от рожденья ко всему готов,
Мир держится на нити...
Как нравится тебе моя любовь
Среди иных наитий?...
Прошу тебя, открой окно во двор!...

** ** *

Два зеркала, свечу и — с Богом!
Гадай, пока не надоест
На тех фаянсовых невест,
Чья нежность нам выходит боком.
Их лакированные лбы
И горький запахок дизайна —
Гроша не стоящая тайна
Губ, рук, и платьев... и судьбы.
И ах, как просто повторять:
Танцуйте, сказочные рыбы.
Нам — лишь себя в себе найти бы.
Вам — дай Бог — нас не потерять.
Танцуйте! Мы вам всё простим:
Измены, ревность, верность, лень...
Мы и за собственную тленность
Не спросим и не отомстим.
Нет поражений и побед.
Есть тайна тающего снега.
Вот жизни альфа и омега.
И смерть. И счастье. И ответ.

ГРАЖДАНКА
(вступление)

Преамбула: живу не как хочу.
И бисер перед свиньями мечу.
И, утешаясь мыслями про то,
Что мир скорей болото, чем лото,
Гляжу, как бритвой балуюсь у горла,
Двойник в стекле подмигивает гордо.
Мы с ним сосуществуем двадцать дён.
Он не женат. А я не разведен.

Подобную двусмыслицу душа
Трактует как запутанный ландшафт,
Где, чтобы не свихнуться, нужен навык

Как в шахматах отыскивать пути
Меж черных клумб, забывших зацвести,
И мокрой белизной бульварных лавок.

«Гражданка» именуют сей пейзаж.
И он необходим мне как фиксаж
Для сохранения в памяти ужимок,
Составивших тот давний фотоснимок:
Ухмылка... след помады на щеке...
Я сбился. Я опять о Двойнике.
Вчера я подловил его в подземке.
Подлец на лявру явно пялил zenки.

Моя экологическая ниша,
Где раны я зализывал, была
Как некий знак, дарованный мне свыше,
И как бальзам на садину легла.
Тут прежде жил заслуженный алкаш,
Как Прометей, не уберегший печень.
Он осознал, что человек не вечен,
И поменял «Тройной» на «Флуераш».
В пахучих пятнах было канапе.
Где ты, мой благодетель? В ЛТП.

Его великовозрастная дочь
В обитель эту мне открыла дверь.
Потом бутылку, душу и секрет,
Который умещается в рефрене
Романса на сентиментальной фене:
«Кого люблю, того — увы — здесь нет».
Роман, забрезжив, так и не возник.
Кемарил мой набравшийся Двойник.
Зато я стал владельцем чердака.
Всего-то в месяц два четвертака...

Уединенье — это ремесло,
Которому учиться бесполезно.
Я редко был один. Признаюсь честно.
Другим фартило. Мне не повезло.
Всегда впритык твоя с чужими койка.
Казарма... Общежитие... Помойка!
«Ад есть другие!» Память суть котел,
Где булькает похлебка из отбросов.

Мсье Сартр! У матросов нет вопросов.
Но вы, прошу прощения, — козёл!
Не то чтоб мне не нравился трюизм,
Но жаль терять природный оптимизм.
(Агрессией подпорчена строка...)
Двойник проснулся. Выход Двойника...

-- Анальгин! Аллохол! Корвалол! Душ! Зарядка! стакан минеральной!..
Та, что дрыхнет, пусть встанет, помое посуду и сгинет!
Одиночество есть ритуал, а не сквер привокзальный!
Ваших жертвенных телок пасите подальше от скиний!
Стол подвинуть к стене, чтобы солнце в затылок сияло!
Кумпол полон словами. Смолчишь — перегрев неизбежен!
Всем сестрам по серьгам! Никому не покажется мало!...
Он был грозен, конечно, но выглядел вобщем несвежим.
Дело кончилось тем, что, истратив остаток бумаги,
Он слинял, нахлобучив картуз и подняв воротник...
Я поймал идиота в пивной. Он был полон тоски и отваги.
Мы опять напились.
И опять закемарил Двойник...

Сон нам снился один на двоих...

** ** *

Дорогая моя, завал!
Святотатствую. Прозевал.
Прозябание непростительно.
Кто в родители, кто в президиумы.
Что отходит? Опять звонок.
Катер? Поезд? Любовь scandalная?..
Юность, палуба пятибальная,
Вырывается из-под ног.
Нарьян-Мар ли? Москва ль товарная?
Или Крым с шашлыком и шашнями?...
Я в стихи уходил, как в армию,
Попрощавшись кивком с домашними.
Циркуль возраста круг очерчивает,
Штрихпунктиром судьбы позванивая.
Есть призвание — быть доверчивым.
А признание... Бог с ним, признанием.
Усмехнется один: освистан?

Ухмыльнется другой: обуздан?
Не беда, если ты не признан.
Был бы узнан. Ах, был бы узнан!..

ПУТЕШЕСТВИЕ

Геннадью Куцero

Не сдуру, так спьяну сорвемся туда,
Где клочья тумана над кромкою льда —
Стекланная вата.
В обычаях клана (ты прав, побратим.)
Дурная осанна вояжам таким.
Среда виновата.

Апрель — решето для детдомовских пчел.
Я сам — только то, что когда-то прочел,
Пускай мимоходом...
Но в память божественный врезался текст.
Бюро путешествий. Условный рефлекс.
Намазано мёдом.

Приверженность к этим походам вдвоем —
Защита от ржавых «отбой» и «подъем»
В уставе всеобщем.
Прогул, самоволка, побег... Нареки,
Как хочешь. Любое сойдет. Сопляки!
Как робко мы ропщем!

Ах, комплекс подкидыша! (Можно без слёз
Пока обойтись, потому что невроз
Слабее симптома).
Но шанс не вернуться настолько блестящ,
Что режет глаза. Не застегивай плащ.
Весна, Монтигомо.

Случайно проведая, что поезд на Львов,
Всосав салоедов, к отправке готов,
Дерюжкой ковровой
Мы в тамбур войдем, чтобы дернув в тепле,
Внимать, как истошно, подобно мулле,
Вопит маневровый.

И нас проводница не выставит вон,
Поскольку делиться — не тот ли закон,
Что «око за око»?
Граненый стакан за нарушенный КЗОТ...
Не дезодорант, но мазут, креозот —
Дорог подошлека.

Колесному форте отмашка дана.
В подобном офорте бутылка вина
Не прихоть гравера,
Но как бы намек, как бы ключ или знак.
И, коли мы в тамбуре, кто же мы, как
Не тамбурмажоры.

Два «Я» — мы железнодорожный падеж.
(Склонять бесполезно.) Наш путь, Гильгамеш,
В край света — до Луги.
Пакгаузы, шпалы. И тянет судьбой.
Миражи Валгаллы. Плебей и плейбой.
Конец Кали-юги.

Для тех, кто привычен к узорной резьбе
Гримас, зуботычин, знакомств, что в судьбе
Не весят ни грана,
Курс — строго на зюйд. И уже через час
Феллах затевает безлюдный намаз
На гребне бархана.

Не трогай стоп-крана. Пространству претит
Не фата-моргана, но конъюнктивит
На веке Фортуны.
И сам я не знаю, ведя репортаж,
Откуда вползли в православный пейзаж
Исламские дюны.

Соблазн остановок — старинный гешефт
Для нерва глазного. Наш винный фуршет
Не требует льготы.
Мгновенье чудное, но в этом ли суть,
Коль нам всё одно его не тормознуть,
Цитируя Гете.

Прости. Иудейская память блажит,
Бездействуя. Скрыты ее стеллажи

Пылюгой цементной.
Но только попробуй и вытащи том,
Знакомой хворобой заблещет синдром,
Такой абстинентный.

Предчувствие жалит меня, как оса.
Еще полчаса и пойдут чудеса.
Известно заранее:
Всё то, что случается в этой стране,
Замешано только на крепком вине
И лишнем стакане.

Приманкою харча нас ловит в толпе
Южанка, что алчет в четвертом купе
Допить что осталось.
И Космос раздроблен. И свой персонал,
Чтоб с воплем «Ноу проблем!» начать карнавал
Выводит к нам Хаос.

И вот бестиарий, в котором Старик
К пустыющей таре, как коршун, приник,
Клюя молодецки.
Бренчало в копилке, ан выскочил гвоздь.
В немецкой посылке печенье нашлось.
Закусим немецким...

За что воевал, он не помнит уже,
Но был запевалой. И нам по душе
Хрипенье реликта.
И крутится барышня, хочет упасть.
И это недаром, что песенка в масть
Крылу Венедикта.

Споем, пилигримы!.. Вот Сын Старика,
Чья в ультрамариновых перстнях рука
Трактует о ранге,
Отныне утраченном. Он, как Спартак,
Ни за хрен собачий словил четвертак.
Три трупа по пьянке.

Беззубый вампир, он из псковских тетерь.
Он суке-Фемиде не нужен теперь,
Что вобщем неплохо.
Отцу из тайги возвратили сынка.

Великую милость явили цинга
И палочка Коха.

В незрячем азарте барачной борьбы
Рисованной карте дан облик судьбы,
Багровым подкрашен.
И страшное нечто легло на весы.
И ставку на первого встречного Сын
Диктует Папаше...

И новый попутчик заходит на звук.
В зрачках его жгучих восторг и испуг,
Что закономерно.
Его ассирийской бородки кудря
Нам напоминает, похоже, не зря,
Хмыря Олоферна.

Наверное, так и рождается миф.
Тем более, щедрая наша Юдифь,
Ослабив кирасу,
И враз окончательно плюнув на нас,
Уже не отводит мечтательных глаз
От полки с матрасом.

Он командировочный торговский тать.
Он пилит во Львов, чтобы что-то загнать
Карпатским гобсекам.
Он гарный такой. Всё ему не впервой.
Он в этом клянется дурной головой,
Проигранной в секу...
Стоянка объявлена. Нам выходить.
О, как норовит ариаднина нить
В колечко свернуться!
Прощай, лабиринт. Минотаврам привет.
Наш медленный спринт застревает в траве...
Они остаются.

И то, что случится, случится потом
В другом измеренье. В огромном глухом
И темном тоннеле,
Где между вещами столь тесная связь.
Что аннигилируют, в точке сойдясь.
Путей параллели.

ЛУГА

Посещение могил в этом городе есть ритуал,
Сообщающий медленной жизни таинственный стимул
Под крестами в оградках с упорством, достойным похвал,
Тыкать в землю отростки каких-то загадочных примул.

Мертвецы шепетильны. Им нравится, если родня
Во владениях племени трудится долго и честно,
Подбирая ли колер к чугунной модели плетня,
Очищая ли камень от птичьих следов из асбеста.

Им по кайфу, когда на столешницу щедрой рукой
Выставляется снедь и в стакашек вощенной бумаги
Наливается зелье, поскольку их вечный покой
Должен быть подтвержден самой древней из нынешних магий.

Так устроено горизонтальное их бытие,
Где безличное «пухом земля» не коробит, но радует ухо....
Порционной горбушкой накрыт стограммовый паёк.
Пенсионные барышни светски глотают сивуху.

Поколение лежащих отчетливо помнит войну.
Но теперь они все до единого однополчане.
Окопавшись на этой высотке, они, отошедши ко сну,
Наконец-то смогли отличить тишину от молчанья.

Под гармошку свою, сколько выпало им, отплясав
И в наследство живущим оставив две даты и имя,
Отдыхают они.... И вокруг партизанские стьнут леса.
Те, которые в августе мы называли грибными.

** ** *

Лизочке в день 25-летия

Мир поехал крышей. Все газеты
Доят Нострадамуса. Выходит,
Мы, осточертев родной природе,
Схлопотали свой Армагеддон.
В Летку-енку сцепятся планеты.
Океан, как на дрожжах, забродит.
Вобщем, коль у Господа не в моде,
Швах тебе и полный угомон.

Вот такая светит нам подлянка:
В очереди биться у ковчега,
Хлопоча по поводу ночлега
Между чистых и нечистых пар.
Лучше уж в Таврическом полянку
Приискать и в позе печенега
Переждать — не так ли, альтер эго? —
Наводнение, смуту и пожар.

Или на недельку смыться в Лугу.
Там, прости за каламбур, не смоят.
Там и так с водою перебои.
И река скисает от жары.
И ни про какую Кали-югу
Не слышали местные ковбои.
Им планет схождение роковое
Вроде предзакатной мошкары.

Там твой день рожденья можно, кстати,
Будет справить.... Жаль, что ты не с нами.
Я поставлю бабушке и маме
Рюмочку вина и разражусь
Тостом, что приличествует дате.
Как не пожонглировать словами,
Чтобы угодить прекрасной даме,
Той, что четверть века я горжусь.

«Словно вверх по лестнице каная,
Мы живем ни валко и ни шатко.
Что ни шаг, то новая ступенька.
Что ни год, всё ближе наш чердак,
Тот одиноличный призрак рая,
Что на самом деле просто шапка,
По которой скроен каждый сенька...
Вот такой, подружка, четвертак.

Нету в Апокалипсисе шарма.
Жизнь грустна, но это только повод
Радоваться. Ничего другого.
Всё, что мне по жизни удалось, —
Ты, моя единственная карма.
Ты, моя любимая обнова.
Ты ко мне прибила, как подкова,
Боженькой подброшенная вскользь.»

С профессиональным умилением
Смотрит вниз Авалакитешвара.
Ночь как ночь. Ни смуты, ни пожара.
Есть, за что судьбу благодарить.
Отменилось светопреставление...
На другом краю земного шара
Гаснет пятизвездная хибара.
Всё в порядке. Можно покурить.

И пока дымится сигарета,
Вся эсхатология абсурдна.
Страсть была посеяна недурно
И дала приличный урожай...
Эпилог. Стихи, Елизавета,
Как зурна. Они не для ноктюрна.
Да и ноги затекли в котурнах.
Видно, возрастное.... Приезжай!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Нева, как девочка в ветрянке...
И на Фонтанке
Лед шелушится, словно кожа.
Всё так похоже...
Названья улиц не разбираю.
Ночь распирает
От нетерпенья...
Прощай, прощай,
Порвались цепи,
Рассыпав звенья...
Колдует Память, сестра Забвенья...
В печи сосновые поленья
Трещат, трещат...

В тепле, при свете
(А ночи были черней, чем грифель.)
Ты пел о лете,
(И стыли пальцы на узком грифе).

Ты становился Землей и Садам,
Водой и Птицей.
Ты становился, а было надо
Остановиться...

Поддержан скользкою ступенью,
Склони лицо над глубиной.
Ты из другого измеренья
Ты из губернии иной...

Ты — лес. С тобою дружат волки.
Ты понимаешь их игру
Ты здесь чужой. Ты в самоволке.
Тебя сграбастает патруль.

Тебя не помнят на свободе.
Твой шаг рождает дикий звук.
Тебя чураются, обходят
И к телефону не зовут.

И только девочка больная,
Нева, которой все равны,
Лепечет: «Помню», шепчет: «Знаю»
И вслух рассказывает сны.

Я снился ей позавчера.
Ах, как смеялись доктора...

** ** *

Голос мой постепенно — похоже — сходит на нет.
И, прорываясь наружу всё случайней и реже,
Слова, звучавшие, словно ангельский флажолет,
Превращаются в хриплый скрежет.
Вот именно. В хриплый скрежет...
Признаюсь, иногда я не пел, а мяукал и кукарекал.
Иногда собирал урожай. Часто болел бесплодьем...
Но, когда перешел любовь — вброд — как большую реку,
Оказалось, что задыхаясь выполз на мелководье.
И вот, в старомодной прозе из аргентинского мыла
Существовая, поди, уже лет пятнадцать, а то и двадцать,
В быту, как стало понятно, я — ни уха ни рыла.
(Правда, меня утешали: не все сумели «вписаться».)
К тому же певчее горло — неумехам не оправданье.
«Мало ль вас, наделенных милым, но бесполезным...
Где вы шлялись, покуда Господь диктовал заданье!?»
Романтики пролетели. Наркоз оказался местным.

Так что ни модным, ни денежным стать я не успеваю.
(Энциклопедия пошлости...) Впрочем, если *сам* выбыл
Из списка, команды, компании (вобщем, стаи) —
Глупо пускать слезу. Особенно, если выпил.
А морочить голову барышням — признак дурного тона.
Это годится физикам или постмодернистам...
К тому же каждая, даже если издали примадонна,
Напрашивается на выпивку и вблизи неказиста.
Так что в своем добротном, дремотном своем похмелье,
Коль пренебрег предметом, заигравшись с его же тенью,
Я не меняю хорошей привычки к дурному зелью,
В чью рецептуру входит сивушное самомнение.
Дивное слово «поздно» за правым плечом витает,
То ли даруя что-то, то ли во что играя.
Кроме меня навряд ли кто-то еще считает,
Сколько шагов осталось, чтобы дойти до края.

И я себе повторяю...

«Если тебя обогнали те,
С кем ты стартовал на одной черте,
Утешься фразой, плетясь в хвосте, —
«Подальше положишь — поближе вынешь».
Не в том ли дело, мой друг-бегун,
Что в кроссе мимо пустых трибун
Нам всем, затесавшимся в тот табун,
Одинаковый светит финиш».



Филипп Исаак Берман

САРРА И ПЕТУШОК

ПРЕДИСЛОВИЕ

Если читатель посмотрит в конец рассказа, то он увидит, что даты написания рассказа «Сарра и Петушок» содержат большой период времени, около 10 лет. Прежде я никогда не думал, что литературную вещь можно писать 10 лет. И это правда. Ты только иногда прикасаешься к ней, когда вдруг слышишь тайное биение своего сердца.

Когда я посещал писательский семинар Юрия Трифонова, часто у нас бывало, что-то вроде генеральных семинаров, где кто-нибудь из мастеров прозы рассказывал бы о том, что он хотел или *мог* рассказать. Советская власть кастрировала большинство русских писателей, но все равно общение с истинным мастером было интересным, даже если он говорит не всегда то, что хотел. Помню такой семинар Льва Славина. Лев Славин был советским классиком. Нам сказали, что он друг большого классика русской литературы Алексея Толстого. Провидение пожелаю, чтобы я родился бы и жил напротив дома Алексея Толстого и дома Горького, на Спиридоновке, которая позже была переименована в улицу Алексея Толстого, в маленьком домике, который расположился у подножья большого восьмизатяжного дома, выходящего своим фасадом на Малую Никитскую. Трифонов высоко ценил талант Алесей Николаевича Толстого и говорил мне об этом. Он как бы хотел сказать, что несмотря на другие вещи, которые ты несомненно знаешь, Толстой есть классик. Это было очевидно. Хотя в то время (70 годы) мы, конечно, знали, что граф Алексей Николаевич Толстой подлаживался под Сталина, и выполнял все, что от него требовалось. Он бывал на всех вельможных приемах у Сталина и у его сына Василия Сталина. Там были известные актрисы, балерины, кинорежиссеры, пилоты. Мой рассказ «Сарра и Петушок» был готов для прочтения. Рассказ тогда был, как я полагал, вполне закончен. Думаю, что Славин согласился бы прочитать рассказ, в силу врожденной еврейской деликатности, которой все мы страдаем. Но, с другой стороны, я боялся поставить его в неловкое двойственное положение. Рассказ по моему понятию был антисоветским. Я не решился.

На вельможном приеме можно было встретить известного писателя Константина Симонова. Симонов вложил много энергии и труда, чтобы раскрутить идею Сталина о безродных космополитах во всех областях и углах советской империи. Космополиты оказывались все евреями. Это было время, которое и подвело к 53 году. А действие рассказа «Сарра и Петушок» происходит в 53 году. Симонов сам предложил Сталину написать пьесу о космополитах, что он примерно и сделал. Речь идет о пьесе «Чужая тень». Жданов и

Сталин обучали Симонова, как писать пьесу. Сталин сам дописал Симонову конец пьесы. *Вождь всех времен и народов* дал ему указания, что нужно сделать с пьесой. Сохранился документ: Симонов написал записку Сталину, что все его указания к его пьесе выполнены, и передал ее Поскребышеву. В 1950 году Симонов был назначен главным редактором «Литературной газетъ». Он немедленно уволил всех евреев. Симонов и Сурков были заместителями секретаря Союза Писателей Фадеева. Фадеев произнес речь о космополитах на правлении Союза Писателей в 1947 году и сразу же уехал в Париж на заседание Всемирного Совета Мира, который широко использовался советскими как всемирный пропагандистский орган. Евреев стали изгонять отовсюду. В Минске был убит всемирно известный актер Еврейского театра и антифашистский деятель Соломон Михоэлс. Михоэлс был Председателем Еврейского Антифашистского комитета. Когда-то специально для Сталина он исполнял «Короля Лира». Это организовал Каганович. В 1948 году Сталин, задыхаясь от гнева, собрал Политбюро 10 января 1948 года. Он кричал в гнев: «Михоэлса надо убить топором, завернутым в мокрую телогрейку, а потом задавить его грузовиком!» («The Secret File of Josef Stalin», Roman Brackman, Frank Cass London, Portland, OR) Перевод с английского мой. Телогрейка нужна была для того, чтобы скрыть следы убийства: топор будет чистым. Михоэлса убили 13 января 1948 года.

В отношении Алексея Толстого я знал также и то, что сын Марины Цветаевой, Мур, жил в доме Алексея Толстого, когда они жили в Ташкенте во время войны. Это был даже, в некотором роде, вызов советской власти, потому что он приютил у себя члена семьи *врагов народа*: отец его Эфрон был расстрелян, сестра Аля была в далекой ссылке, мама его, известная русская поэтесса, была сослана в Елабугу, где повесилась, либо ее повесили мастера убийств. Мур был жив, пока жил с ними и пока не ушел на фронт, где был убит. Лев Славин написал толстый роман «Наследник», из которого я только помню сейчас, что нужно уметь *оттягиваться*, это, чтобы не попасть на войну. У Льва Славина была знаменитая пьеса «Интервенция», которая часто шла в Москве, в театре Сатиры.

Лев Славин сказал нам, слушателям его лекции, что хорошо, когда вещь полежит, потом вы можете к ней вернуться опять. Я был возмущен, он что, не знал, в какой стране мы живем? Нас не печатают, книги лежат десятилетия в издательствах. Работает жутчайшая цензура. Меня не печатали еще и потому, что (увы и ах!) я был (есть и буду) евреем. Он даже сказал, если мне не изменяет память, что хорошо, если вещь полежит этак, лет десять. Тогда ему было лет семьдесят, а мне лет 35. Я подумал, неужели рассказ «Сарра и Петушок» будет лежать 10 лет и после этого его никогда не напечатают? Я помню, как я разговаривал с ним, можно ли достать материалы о восстании евреев в Варшавском гетто во время войны. Он как-то странно посмотрел на меня. Своим вопросом я сломал какую-то стенку между Славиным официальным и нормальным человеком. Он спросил меня: «Вы что, хотите писать о Варшавском гетто?» Он был удивлен, что ж я не понимаю, в какой стране мы живем? Но ничего не сказал. За многие

годы советской власти он научился плотно молчать. И в его взгляде появилась непробиваемая печаль. До этого я задал ему этот немой вопрос, теперь он вернул его мне. Евреи могли быть в книгах портными, мудрыми часовщиками («Кремлевские куранты»), но они не могли быть героями.

Хотя нас и называли молодыми писателями, но это было советским определением молодости. Сами куски рассказа «Сарра и Петушок» я писал довольно быстро, но на то, чтобы он появился в том виде, какой он сейчас здесь, ушло около 10 лет. При этом произошли в моей жизни некоторые события, которые надолго отложили мое писание этого рассказа. Рассказ сначала назывался «Розовое пятнышко», и он был об очень молодой любви Абрама и Перли. Постепенно что-то менялось. Значительно позже, в Америке, вдруг появилась часть о Рахили Меламед. Потом, само собой, появилась часть о Сталине. Интересно, что рассказ жил в моем воображении долгие годы и не умирал. Когда кусок о Рахили был закончен, я начал писать кусок о Сталине и все, что шло за ним. Мне не нужно было прилагать каких-либо усилий, все писалось само собой. Когда я писал «Сарра и Петушок» произошли серьезные литературные и политические события. Аксенов, Ерофеев и Евгений Попов создали неподцензурный альманах литературы «Метрополь». Об этом много писали, и здесь я сокращу описание этого значительного явления в русской литературе. Создатели «Метрополя» взломали советскую цензуру. Между тем, мои литературные дела шли не блестяще. Однажды я пришел в «Литературную газету». Там работал заместителем ответственного секретаря Юра Синяков. Ответственным секретарем был тогда Виталий Александрович Сырокомский. Его звали в редакции Сыр. Сырокомский был заместителем Бориса Чаковского. Его кратко звали Чак. Юра сказал мне: «Понимаешь старик, у нас подсчитывают, сколько евреев на каждой странице. Если главный редактор Чак печатается на странице, при всех самых благоприятных обстоятельствах, ты уже там не можешь печататься». Мы окончили с ним один и тот же институт, МИИТ, и были в дружеских отношениях. Он знал о моих действительных литературных успехах, но и знал также, что напечатать что-либо было весьма трудно. Он мне сказал: «Старик, давай попробуем что-нибудь сделать здесь». О том, чтобы напечатать «Сарру и Петушок» в том виде, каким был этот рассказ тогда, не могло быть и речи: сплошь еврейские персонажи. Я даже не показывал этот рассказ Юре. С другими русскими рассказами в Литгазете ничего не получилось, хотя блестящие рецензии на рассказы были написаны известными русскими писателями Сергеем Антоновым (он сравнивал меня с Андреем Платоновым) и Юрием Нагибиным, который написал очень хорошую рецензию и послал рассказы в «Наш Современник». Когда рассказы там отклонили и я позвонил ему, он был возмущен и сказал, что такая же история произошла с Юрием Казаковым.

В 1980 году, 18 ноября последовал мой арест, а затем и требование немедленно покинуть СССР: я участвовал в создании второго (после «Метрополя») неподцензурного альманаха литературы «Каталог», в котором печатался

отрывок из моего романа «Регистратор». «Каталог» был издан в издательстве «Ардис» в Америке в 1981 году. А мой роман «Регистратор» в 1984 году.

До отъезда мне предстояло решить главное, как переправить свои литературные произведения через советскую границу. Нужно было сделать фотографии моих текстов. Этот путь полностью прошел и рассказ «Сарра и Петушок». Много рассказов и одна пьеса, «Белый город», пропали. Умные люди передавали каким-то образом брильянты, а глупые свои рассказы.

В 1953 году по указанию Сталина было придумано ложно-клеветническое дело врачей, о том, что евреи отравили видных советских деятелей. Вся страна находилась в состоянии истерии. Готовилась казнь еврейских врачей на Красной площади и высылка всех евреев в Сибирь. По мнению автора, знаменитая антисемитская статья «Убийцы в белых халатах» была написана знаменитым советским писателем Симоновым. Вот это все и происходило в стране.

А что происходит в рассказе «Сарра и Петушок»? Дело происходит в 53 году.

Представьте себе, дорогой читатель, московский двор. В Москве тогда были дворы, огороженные чаще всего деревянными заборами. Действие происходит в маленьком домике, который расположился у подножья большого восьмизэтажного дома, выходящего своим фасадом на Малую Никитскую. Летом, когда открыты окна, из окон большого дома может раздаваться песня: «Любимый город может спать спокойно, и видеть сны, и зеленеть среди весны».

Либо другая песня: «Крутится, вертится шар голубой. Крутится вертится над головой...»

Во время советских праздников, на фасаде восьмизэтажного дома появляется большой портрет Сталина, который тянут лебедками, установленными на крыше дома. В Америке рассказ изменился и увеличился. Появилась Рахиль Меламед и появился Сталин. Без этих добавлений рассказ не может существовать.

Выходит, что классик Лев Славин, был прав. Мой рассказ писался, лежал и снова писался около 10 лет. За это время советская власть перестала существовать, земной шар много раз провернулся вокруг своей оси, а рассказ «Сарра и Петушок» печатается в журнале «7 искусств».

Действующие лица рассказа:

Перля Фриделевна

Абрам, ее муж

Первая соседка, Зойка-бандитка

Коля, муж Зойки

Вторая соседка, Маруся

Сталин

Рахиль Меламед, вечно живущая еврейка

Яша, любовник Зойки
Петушок, красный Петушок-Леденец



Ф. Берман и В. Аксенов

Я вам покажу карнавал жизни. Если вы хотите плакать, плачьте. Если вы хотите смеяться, смейтесь, если вы хотите любить, любите.

Вы знаете, на старости лет я стала ашатхынты. Вы не знаете, что это такое. Это сваха по-вашему будет, а по-нашему, это значит по-еврейскому, это будет ашатхынты. Я вам хочу рассказать, как я стала сватать. Сейчас совсем другая жизнь стала. А раньше сватали и так жили всю жизнь. Кто любил, а кто не любил, но так всю жизнь мучилась. Вы теперь образованные все, разве мы раньше знали, столько сколько вы. Что мы знали? Вы меня простите, как родную мать, мы знали, как делать детей. Это даже дураки могут. Бог дал это счастье всем. Никому не отказал в этом счастье, поэтому он Бог.

— Что ты им рассказываешь мансыс*, Перэл? Ты что-то начала уже рассказывать, так ты кончай уже. Вы знаете, у нас, у евреев так: если он хочет рассказать вам про пуговицу от пиджака, так он начинает сначала от шнурков про ботинки. А зачем, вы спросите? А так. Он хочет вам рассказать всё. Всё, что он знает, и что он не знает. Всё.

Ему на минуточку показалось, что если он вам расскажет, аформиньпкэле*, про ботинки, так это как раз то, что вам нужно знать про штаны. Что ты от меня хочешь, ньдник*?

Я уже начала говорить, так ты дай мне рассказать то, что я хочу.

А когда ты будешь рассказывать, то мы будем тебя слушать.

А он может так вам начать рассказывать, что вам дурно станет.

И хочет, чтобы его слушали!

Он вам станет читать одну книгу, потом достанет другую книгу, потом соединит всё вместе и достанет третью. И попробуйте тогда ему что-

нибудь доказать. Когда он был мальчик, так он учился в еврейской школе. Так однажды, когда раввин рассказывал, что Бог сделал всё, так он поднял руку, ему было тогда семь лет, и спросил: а кто же сделал Бога? Так всё местечко ходило ходором, как Абрам, семилетний мальчик, мог сказать это? Так, когда он пришел домой, так отец его снял свой ремень и дал ему *кто сделал Бога*, что он не мог потом неделю в школу ходить. Но потом он стал там первый ученик. Так отцу его был кувид*: у Хаима самый умный сын. Когда нужно было считать, так он считал быстрее раввина, а когда нужно было читать, так он знал уже всё наизусть. Так когда Абрам начинает читать, то вы должны смотреть ему прямо в рот. А он читает и читает. Вы уже рот раздираете, так вы хотите спать, но вы должны его слушать и слушать. Вот такой у меня умный муж, нравится он вам или нет, я не знаю, а вот жили мы с ним когда-то хорошо.

Я очень люблю вставать рано, когда солнце встает, когда небо голубовое.

Тогда я помолось, смотрю в небо, оно всё мое.

И всё, что я прошу у Бога, всё идет ко мне обратно. Я люблю, когда одно небо синее и белые облака на нем.

Я думаю, зачем мы все живем на земле. Зачем я родилась? Зачем вы родились? Чтобы есть, и пить, и ложиться спать?

Я этого не думаю. Потом мы должны были с ним встретиться, чтобы родить детей. Я вам не могу всё рассказать, как это точно получается. Может быть, мои внуки вам расскажут.

Но я чувствую вот здесь, что я живу не просто так, я всегда что-то жду, что я жду, я сама не знаю.

Что придет один такой день, что кто-то прилетит к нам оттуда. Вот тогда мне так легко становится.

Вот он к нам прилетит, придет и принесет нам другую жизнь.

Принесет мне мою жизнь. Каждому свою жизнь, какую он не прожил на земле, какую он должен прожить еще.

Тогда он нам всё расскажет, зачем мы живем.

Вы, молодые, смеетесь. А я вам скажу, клянусь вам моими детьми, чтобы все они были живы, здоровы со своими детьми и внуками, что, если бы только меня пустили туда, если бы я только могла, я бы полетела туда.

Потому что я верю, что там другая жизнь, которой мы не жили еще. Но мы-то и родились для того, чтобы жить ее.

Как вот этот стол стоит здесь, и что мы сидим сейчас, в этот час, с вами и говорим, как вот эта яблоня стоит за окном, чтобы мы все вместе жили с вами до ста двадцати лет, со всеми нашими детьми, с нашими внуками и правнуками, я бы туда полетела, и, уверяю вас, вы бы сейчас больше знали, что там делается.

А что они нам рассказывают? Что они знают, что нам нужно рассказать?

Они так знают, как я могу сейчас танцевать фокстрот.

Могу я сейчас танцевать фокстрот? Так вот, так они знают, что они там видят.

Они летают туда, они летают сюда, одним одевают ордена, другим одевают ордена, плескают руками туда, плескают руками сюда.

Как они могут что-нибудь увидеть, если они не знают Бога?

Зачем мы с вами живем на земле?

Они знают, как убивать, они знают, как сделать бомбу, что они еще знают? Как из человека сделать калеку.

Сначала были погромы, потом революция, потом опять погромы, потом опять революция.

Потом были красные, потом были белые, потом были зеленые.

Я знаю, еще какие?

А кто виноват? Вы уже знаете ответ. Евреи.

Так вы уже знаете, что вы такие люди, так стойте в стороне. Вы всегда виноваты. Так вы это должны знать и не лезть, куда не надо. Такая у нас судьба. Ты не хочешь, чтоб тебе было лучше, так лыг ин дрерд, это значит, лежи в земле.

Один мой брат, Изя, он был первый красавец.

Вы бы посмотрели на него, он был лучший закройщик, когда он делает пальто, так все пальцы нужно целовать, как оно сидело.

Вы знаете, какие бывают женщины. Так они приходили, только чтобы посмотреть на него. Чтобы он их где-то потрогал.

Так он хорошо выпил однажды.

Он мог столько выпить, сколько воды в этом водопроводе.

Так он взял извозчика, а в местечко пришли петлюровцы,

Он взял извозчика и поехал по всему городу, и стал кричать: долой Петлюру!

Тогда они его поймали вместе с извозчиком.

Извозчик тоже был такой же, как наш Изя, так он кричал вместе с ним. Он был гой, но он кричал.

Изя дал ему хорошо выпить. Так они посидели, выпили и поехали.

Два революционера. Изя наш и извозчик.

Изя наш был горячий, и извозчик был горячий. Так когда их поймали, они начали драться. Так им все кости чуть не переломали. Ты, может быть, сильный, но, если на тебя накидывается орава бандитов, что ты можешь сделать?

Так Изю избили хорошо и бросили в сарай. И извозчика тоже хорошо избили. Утром они хотели их убить.

Они хотели их убить, чтобы все видели.

Ночью его выгнали большевики из сарая и увезли вместе с извозчиком.

Так он стал красным.

Другой мой брат, мышимид* Есиф, убежал из дома, когда ему было четырнадцать лет. Он был высокий, красивый. Пусть земля ему будет пу-

хом, где он там сейчас находится. И пусть ему это не повредит, что я говорю сейчас.

Так он стал в Одессе балагулой. Он мог взять этот рояль и отнести на четвертый этаж.

Но кто переживал от этого? Мама.

Когда один сын стал красным, а другой убежал из дома, так маме есть о чем переживать.

Отец мой был хухым, это значит большой умница.

Он сказал маме: это жизнь, Эстер, это ураган, Эстер.

Чтоб им земля была пухом там, где они находятся сейчас.

Какие у меня были родители, пусть он вам скажет. У отца была вот такая борода, вы бы видели, как он ходил!

А мама? У нее были синие глаза, у нее были вот такие косы!

У нас в столовой висело их фото, когда они были молодые. Так когда к нам в дом приходили гости, то все останавливались.

Когда они вдвоем с папой входили в синагогу, так все на них смотрели.

Мы были бедные, не так, как его отец. У нас была одна корова, а когда мы ее продавали, а когда снова покупали.

Но у нас всегда дома стоял мешок сахара и мешок муки.

Чтобы мы нуждались с мясом, как сейчас, такого не было. Конечно, никто тогда не смотрел в телевизор, но, чтобы нуждаться в продуктах, такого не было.

Никто тогда не давился в очередях, никто не выхватывал ничего из рук. Аби гызынг, это значит, только чтобы здоровье было, а остальное приложится.

Потом пришел бандит всех народов Сталин и сказал, что мы отравили всех вождей. Что еврейские врачи отравили всех самых больших партийцев. Какая-то курва Тимашук, или Тимошенко, или дер рих вейст* кто, якобы заметила у доктора Вовси яд, который они разделили между собой, чтобы отравить всех больших балабосым*. Это было дело врачей. Так когда я открыла газету, мне стало темно в глазах: я читаю Вовси, Коган, Фельдман, я знаю, кто еще, может быть, Кацман — все наши евреи там, как же смотреть теперь людям в глаза, я вас спрашиваю? Если мы можем сделать такое, так мало нас били, мало нам кричали "жид", так мы-таки это заслужили, чтобы нас земля не носила на себе! Ой, готыню, говорю я себе, за что же ты нам послал всё это, чем же мы у тебя провинились, что ты нам это посылаешь, кто это сделал против тебя? или мой отец, или мой дедушка, или кто? Нет, они этого не сделали. А кто же? Ни мой отец, ни мой дедушка, ни моя мамочка. Что мы знали? Что они знали? Погромы, маленькое местечко, река Буг там была, они были честные евреи, всю жизнь трудились, растили детей и мечтали, что когда-нибудь их детям будет хорошо, и просили у Бога, чтобы их детям и внукам жилось немного легче. А что же тогда? Нет, думаю я, этого не может быть. Чтобы евреи сделали такое, этого не может быть. Это дело Бейлиса. Мы это уже знаем, это уже с нами

делали. А нам нужно только терпеть и ждать, что Бог для нас приготовил, нам нужно только ждать и терпеть.

Когда же Маруся принесла мне утром газету, то она сказала мне: вот посмотрите, что ваши сделали. Я ей говорю: Марусенька, Вы же меня знаете, Вы знаете Абрама, мы же с вами последним куском делились всегда. Тогда она не выдержала, расплакалась и говорит: я и сама не знаю, я всю жизнь с евреями живу, ничего такого не слышала, и ушла к себе. Если бы видели, что тогда делалось. Утром начинали с евреями, а вечером кончали с евреями. Можно было подумать, что если бы не было евреев, то у них было бы мясо. Если бы не было евреев, то советская власть дала бы им хорошую жизнь.

На кухню я не могла выйти приготовить обед. У нас было две соседки. Одна была Маруся. Так мы с ней были как родные сестры. Когда у нее Толя болеет, так я бегу к ней, а когда мой сын болеет, так она с ним. Что-нибудь спотовлю вкусного, так Абрам меня спрашивает: а ты Марусе занесла попробовать? То, что она сказала, вот смотрите, что ваши сделали, так она же все-таки не еврейка, когда тебе больно, так это тебе больно, а для нее это чужое. А мы как? Мы тоже так. Свое — это свое, так хорошо болит, когда свое. Но Маруся нам сделала очень много хорошего. Абрам ушел на фронт, я осталась с двумя детьми на руках. Я бы пропала без нее. Бомбежки, достать ничего невозможно. Шестнадцатого октября в сорок первом году была паника. Маруся достала нам телегу. Немцы стояли у Волоколамского шоссе, может быть, двадцать километров от нас. Так мы уехали в товарном вагоне в Казахстан. Маруся осталась в нашей комнате и платила жировку. Вы знаете, что такое комната в Москве? Сейчас надо заплатить, наверное, двадцать тысяч, чтобы попасть в Москву. А когда мы вернулись в сорок третьем году в Москву, мы могли там жить. Я ей оставила деньги, сколько могла. Но что тогда были деньги? В шкафчике у нас осталась банка с клубничным вареньем. Так она его не ела, всё думала, что скоро война закончится, мы приедем, тогда и съедем. Она мне сказала: вы лучше убегайте отсюда, что мы выдержим, вы никогда не выдержите, забирай своих детей и спасайся.

Когда я вернулась, я смотрю, стоит банка с вареньем, оно засахарилось, но не пропало. Я говорю Марусе, что же вы его не съели? Она мне тогда сказала, почему. Я ее расцеловала и заплакала. И она вместе со мной плакала. Плакали, что Бог дал нам пережить войну. Что Абрам вернулся с войны живой. Ее муж, хоть и живой вернулся, но не в дом, а к другой ушел. Вот так мы проплакали с ней над этой банкой, обнявшись.

Я ей говорю: ничего, вот пройдет война, мы сварим с ней два ведра варенья, ей и мне. Когда все вернутся с войны, устроим пир горой. Вот какая была Маруся.

Вторая была бандитка. Когда напечатали в газете про дело врачей, так она вышла и сказала: вот теперь всех евреев перережут ножами.

Чтобы не отравляли наших вождей.

Слава Богу, что хоть Сталин живой остался. Он вас к порядку призовет.

А всех евреев, кто в живых останется, кого не дорежут, пошлют в Сибирь лес пилить.

Чтобы мы все поубивали там друг друга. Потому что евреи не умеют пилить деревья.

А когда они будут падать, они будут падать на нас.

Тогда они нас передавят, потому что мы не умеем работать. Такую смерть она для нас придумала.

Она мне сказала: что ж ваш Бог еврейский вас не спас? Что ж он вас не спасает? Где же ваш Бог?

Гитлер вас резал, не дорезал, теперь мы дорежем! Ну, где ваш Бог? Теперь ты свой бульон варить больше не будешь на кухне.

А то, мы, евреи, бульоны тут варят всякие, кур жарят. На морозе нашем кур не пожарите больше!

Я ей сказала: ах ты бандитка такая. Мерзавка, пакостная.

Да, вы будете нас есть, я знаю. Ешьте нас, бандиты, но нашими костями вы подавитесь! Когда будете их глотать, то подавитесь, бандиты!

Наши кости раздерут ваш желудок! Лежи лучше в земле, бандитка.

Когда они раздерут ваш желудок, то вы захлебнетесь в своей собственной крови от наших костей! Вы лучше, бандиты, вспомните про Бога, он видит всё, он всё видит, что вы делаете!

Она мне сказала: что ж ваш Бог еврейский вас не спас? Что ж он вас не спасает? Где же ваш жидовский Бог?

Где же Ваш Бог? Где же ваш еврейский Бог? Что ж он вас не спасает, ваш еврейский Бог?

Потому что его нету! Потому что его нету! Потому что его нету!

Ну где он? где он? где он? ваш еврейский Бог.

Покажи мне его, Сарочка! Покажи мне его, Сарочка, вашего еврейского Бога! Покажи мне его, Сарочка!

Она орала, как сумасшедшая. И каждый раз мне кричит: Сарочка, Сарочка.

Я думаю себе: я тебе покажу, бандитка, как кричать Сарочка!

Я тебе покажу, бандитка, нашего еврейского Бога, Господи!

Когда она начала кричать, как сумасшедшая: Сарочка, Сарочка, я уже не знала, что делать, тогда я схватила чугунок, я в нем бабку делала, как раз в нем остывала бабка. Я ждала, когда придет Абрам с работы. Тогда я схватила чугунок и этим чугуном прямо этой курве по голове.

И я ей сказала: вот тебе Сарочка.

Вот тебе: нас Гитлер не дорезал! Вот тебе, бандитка.

Вот тебе наш еврейский Бог, и вот тебе Сарочка. Ешьте нас, бандитка, ешьте нашу еврейскую бабку. Вот вам наши кости.

Я ей сказала: ах ты блядь такая! ах ты курва такая!

Ты водишь к себе всех армян из консервного магазина, а я Сарочка! курва такая!

На тебе, курва, ешь, чугуном по голове твоей паршивой. Ты нас теперь дорежешь и проглотитшь наши кости. Но вы помните, что вы ими подавитесь.

Так я ей ударила чугуном прямо по голове.

Так она упала.

Я смотрю: бандитка лежит на полу. Вокруг нее бабка моя вся разбилась. И я не знаю, что делать.

Бандитка лежит и молчит. Я не знаю, жива ли она, или я ее убила.

Тут выбежала Маруся.

Она мне говорит: вы ее правильно отделали, чтобы запомнила на всю жизнь. Проститутка паршивая!

Маруся даже не подумала, что я ее убила. Она говорит: с такой тварью-паскудой так и надо.

Она оттого к людям пристаёт, что ее давно по морде не били.

А я уже думаю: господи, что суждено мне, то пусть так и будет, но помоги мне, господи!

Помоги мне, Господи, помоги мне, Господи, помоги мне.

Пугай меня, Господи, но только не наказывай!

Шрек мир, готынню*, но только не наказывай!

За всю свою жизнь я никого пальцем не тронула, Господи.

Что нужно было сделать мне, чтобы я схватила чугунок и ударила эту бандитку?

Что нужно было сделать мне, чтобы я могла ее убить, я уже не знаю, что нужно было, чтобы меня довести до этого. Какой нужно быть бандиткой, чтобы я схватила чугунок.

Какой должна быть жизнь, чтобы еврей мог убить человека?

Но тут эта курва, слава Богу, вскочила и начала орать, как я никогда в жизни не слышала.

Ой, меня евреи убили! ой, меня евреи убили, ой, меня евреи убили!

Ой, меня отравили евреи! Караул, евреи меня отравили, караул, меня убили евреи!

Такой у нее голос, что она могла бы петь в Большом театре.

Так она орала, что все стены дрожали.

Тогда я нагнулась и схватила обратно свой чугунок.

Чтобы, если вдруг она на меня набросится, чтобы я могла себя защищать.

И я уже говорю Богу. Спасибо тебе, готынню*, что я не убила эту курву. Вы себе представляете, как бы она уже кричала, если бы я ее-таки убила. Чтобы эта курва, уже-таки была жива-здорова.

Так я стою с чугуном в руках и говорю: спасибо тебе, готынню, что я ее не убила! Спасибо тебе, готынню, спасибо тебе, готынню!

И если этой бандитке суждено быть убитой, то пусть не от моих рук.

Потому что мы не так воспитаны, чтобы кого-то убивать.
Чтобы кого-то бить чугунком по голове.
Чтобы кого-то отравлять.
Даже, если есть такие бандиты у нас, которых надо было бы отравить.
Даже, если есть такие, которые лучше бы не рожались никогда.
Я так стою и молю Бога, что я ее не убила.
А руки мои трясутся, а в руках я держу чугунок, если бандитка на меня нападет.
Но бандитка на меня не нападает больше.
Она отбежала от меня к керосинке и орет, как я никогда в жизни своей не слышала.
Ко мне не подходит.
Отбежала к керосинке и кричит, как будто ее режут.
Она кричит: евреи меня убили! евреи меня убили! евреи меня убили!
Она наберет воздуха и кричит у керосинки.
Евреи меня убили, евреи меня убили, евреи меня убили!
Дорогой товарищ Сталин! Дорогой генеральный секретарь коммунистической партии ЭС-ЭС-ЭС-ЭР, меня убили евреи! Ох, мне ударили евреи по голове! Ох, дорогой товарищ Сталин! ударили меня евреи по голове. Защитите нас от евреев, дорогой товарищ Сталин!
Я думала, она сошла с ума. Руки мои трясутся, а она орет у керосинки.
Я думаю, что если она, не дай Бог, опрокинет на себя мой бульон из курицы, и ошпарит себе ноги, то, тогда-таки, у меня будут цорес*.
Маруся это поняла, что я думала.
Она говорит ей: ты тут нам театр не показывай.
Она говорит ей: ты лучше свою жопу отодвинь от керосинки.
От Перл Фриделевой керосинки отодвинь свою жопу, а то капизду свою ошпаришь, тогда армяне к тебе перестанут ходить!
Тут бандитка поворачивается к Марусе.
А тебе завидно, что ко мне армяне ходят!
Завидки берут, что ко мне армяне ходят!
Завидки берут, что ко мне армяне, видите ли, ходят!
Ко мне ходят, а к тебе не ходят!
Тут уж бандитка забыла, что ее убили евреи.
Про товарища Сталина она тоже забыла в этот момент.
Ты молодая, а к тебе никто не ходит! А ко мне ходят и будут ходить!
И армяне, и евреи!
Потому что моя жопа слаще, поэтому они ко мне ходят!
А к тебе, воровке, суке еврейской, никто ходить не будет. Ты только евреям подпеваешь.
Чтобы они тебе кость пожирней откинули, то, что сами жрать не хотят, то они тебе кидают.
Кугочку свою еврейскую подкидывают тебе, чтобы ты им служила!

Вот ты им и служишь! Подхалимка еврейская!
Маруся ей говорит: ах ты, проститутка паршивая! Инфекционная тварь!

Я же тебе добра желаю. Я тебе говорю, чтобы ты отодвинула свою сладкую жопу от керосинки, чтобы ты сберегла ее для своих армян и евреев, а ты меня не слушаешь.

Что ты на Перлю Фриделевну накинулась?

Что ты на людей нападаешь?

Правильно она тебя чугуном огрела. Только жаль, что не убила, суку паршивую. Я бы уж если бы начала тебя бить бы, то добила бы. Я не Перля Фриделевна. Я бы тебя бы добила уже, суку. Суку паршивую пожалела.

А ты здесь заразу разносишь, а она тебя пожалела.

Ты бы ей спасибо сказала, тварь инфекционная, а ты орешь на всю улицу, что тебя евреи убили.

Если бы они тебя убили бы, то ты бы, тогда бы, уже не орала, как полоумная!

Мерзавка, такая.

Что ты к людям пристаешь? Я русская, а вы евреи! Дура ты, вот кто ты. Ты-то, может, и русская, да душа твоя нерусская!

А то: ко мне мужики ходят, а к тебе не ходят!

Да если бы я только захотела, то ко мне бы очередь стояла, от Манежа до Никитских, ко мне бы чернилом на руках писали, как за мукой стояли в войну.

Да я только с каждым не лягу! Потому что, моя-то шахиня, на помойке не валяется. К ней надо пропуск иметь, как на парад.

Она у меня с подходом. А у тебя, хоть армян, хоть еврей, хоть наш Иван-дурак!

Она у меня в общепите не готовилась. Она у меня не для всех желающих. А то: этому дала, тому дала. Давалка нашлась тут. Будто дать некому больше.

Одна у нас Зойка такая, на всю Россию нашлась, нарасхват, сучка непревзойденная. Не бойся! и тебя превзойдут!

Я, мол, ворую, а она не ворует! Как ты, зараза, сумки из магазина таскала, то это не воровка!

Как ты с директором булочной шилась, то это не воровка!

А я по двое суток на грузовике шоферила, чтобы детей прокормить, по двое суток не вылезала из кабины, а ты, тварь, с армянами шилась в это время, да в подсобке у директора, сумки набивала!

А то кричит: пирожки горячие, пирожки горячие, а там уже вечная мерзлота. Потому что ты любить уже никого не можешь, вот что.

Конечно, я бы тоже лучше бы, с хахалем лежала, чем вкалывать и воровать.

А вместо этого ворую и вкалываю.

Тварь ты, вот кто. Зараза и простигутка. А признавать этого не хочешь. Вот от этого ты и злишься, что правда!

Бандитка всё это слушала, чтобы ей было что ответить.

Но тут я поняла, что она может Марусю ударить: она отскочила от моей керосинки, чтобы что-то схватить.

Я тогда ей крикнула: стой, бандитка!

Если ты ей что-то сделаешь, то я уже буду бить, или колоть, я уже не буду смотреть ни на что.

Тогда-таки, ты уже узнаешь, что такое Сарочка.

Я так говорю ей, а у самой всё трясется.

Тогда ты уже узнаешь, что такое Сарочка. Тогда она посмотрела, что нас двое, а она одна.

Она ударила дверь и побежала во двор. Чтоб у меня было столько здоровья, сколько у нее: никакая холера ее не берет.

Она чуть дверь не оторвала.

Вы только посмотрите. Я ее ударила чугуном.

Она полежала немного и встала. Я бы уже не встала бы. А ей, бандитке, ничего. Она полежала немного, вскочила и стала орать.

А потом чуть дверь не оторвала.

Вечером пришел ее Коля с работы. Она вокруг него крутится, но ничего не говорит. Она пошлаялась немножко на улице до его прихода, пришла и молчит.

А Коля был тихий мужчина. Он работал электриком. Любил выпить, не без этого, конечно.

Тут он пришел. Говорит мне: здрасте, Перля Фриделевна.

Я ему отвечаю: здрасте. А что мне жалко, он мне говорит здрасте, так я ему отвечаю тоже здрасте.

Знал Коля, что к ней ходили армяне, или не знал, этого я сказать не могу. Но к ней ходили. И русские тоже ходили. А что, евреи не ходили?

И евреи тоже ходили.

Один к ней ходил вот такой паршивый еврей. Я ему говорю, что вы к ней ходите, вы посмотрите, на вас уже штаны не держатся.

Но армяне ходили особенно. Они жили у консервного. Если вы пройдете от Никитских ворот к консервному магазину в переулочек, то там они жили. Там магазин еще есть, "Три поросенка".

Вот мы легли спать в эту ночь. Всё было, слава Богу, тихо. Я думаю, что хватит уже, сколько можно жить, как на вулкане?

Но тут, ночью, стучат в дверь на кухне. Я говорю Абраму, может, ты пойдешь, откроешь. Он мне говорит: пусть уже холера им открывает, наши дети все дома и спят, кому надо, тот пусть и открывает. Я знала, что если Абрам спит, то его ничем уже не поднимешь. Если вы будете стрелять из пушки, то он будет спокойно спать.

Когда немцы бомбили Москву, так мы все бежали в убежище, а он ложился спать. Он от них не бегал. Он говорил, если мне суждено умереть,

то я умру, а если нет, то никакая бомба в меня не попадет. Он говорит: один раз я всё равно умру, а два раза еще ни у кого не получалось умереть. И у меня тоже не получится.

Так он говорит мне: пусть уж холера им открывает, повернулся на другой бок и заснул.

Но я слышу, кто-то опять стучит. Тут выходит Коля открывать.

Я знаю, как Коля ходит, а бандитка ходит иначе. Он пошел, открыл дверь, и сам вышел на улицу говорить с тем, кто в дверь стучал.

А это был бандиткин хахаль, он Колину смену перепутал.

Он думал, что Коля в ночь работал. Это уже потом нам бандитка рассказала. Тогда Коля тихо вернулся в дом, я даже не слышала как.

Он знал, что мы спим, я думаю, что он не хочет нас будить.

И тут я слышу такой гром, как будто кто-то шкаф бросил или диван. Выбегает бандитка в одной рубашке и так начала стучать в нашу дверь, что даже Абрам вскочил с кровати.

Ой, дорогая Перля Фриделевна, пустите, он меня убьет!

Он с ножом, он меня убьет, пустите меня к вам!

Когда Коля за ней побежал, так она свалила на него шкафа.

Так пока он выбирался из-под шкафа, она к нам тарабанила в дверь, в одной рубашке.

Она такая здоровая, что она может взять шкаф и бросить на своего мужа. А кто это может еще? Только бандитка.

Что мне делать? Она, конечно, бандитка, но когда на твоих глазах убивают человека, а вы можете его спасти, то, как вы можете его не спасти?

Если же я не открою дверь, то соседи скажут, что мы ее убили.

Когда я это сказала Абраму, он сказал: ты-таки права, открой ей дверь, и пусть она уже лыгт ин дрэрд, что значит: пусть она уже лежит в гробу.

Абрам мне говорит: ты мне скажи, Перэл, кто послал на нашу голову эту мылиху*, этих соседей, эти ножи, чтобы нам ночью тарабанили протститутки, и мы их впускали к себе в дом? За что нас Бог наказывает?

Я что-то видела, что когда Коля пришел с работы, он сел в бочку с капустой.

Бандитка посолила свою капусту, так он сел в эту бочку с капустой.

Он пришел. Он начал обнимать Марусю. Когда он выпьет немножко, так он ее идет обнимать: моя соседushка, я тебя люблю.

Маруся ему говорит: ты иди к своей законной жене, у нее жопа слаще.

У тебя есть твоя законная жена. Ты к ней и иди.

А сама смеется. А Коля ее обнимает: моя соседushка, я тебя люблю. У нее хоть и слаще, а я тебя люблю.

Он ей говорит: а мне хочется помоложе, а не послаще!

Маруся ему говорит: вот видишь ты как, ему хочется помоложе, а кому-то хочется постарше.

Перля Фриделевна, ты слышишь, он хочет меня больше, чем свою законную жену.

У тебя жена законная, ты иди к ней. И легонько его оттолкнула. Так он попал в бочку с капустой.

А там было еще полбочки капусты. Коля в нее сел и никак вылезти не может.

Ему понравилось, что Маруся его оттолкнула. Он думал, что, когда он встанет, он снова начнет ее обнимать. Маруся была сильная, она работала шофером на грузовике.

У нее был муж, он тоже работал шофером. Был красивый такой блондин. Широкоплечий, как крестьянин из деревни. У него была на работе, на автобазе, сучка-секретарша молодая.

А женщины сейчас такие, если они видят штаны, они уже идут за штанами.

А мужчины сейчас такие, если они видят юбку, то они уже идут за юбкой.

Маруся говорит: вот они, два супника, и снюхались, между собой, ее муж и секретарша.

Вот так бывает в нашей жизни: одна солиг капусту, этот босяк, а тот паршивый еврей.

А Маруся красивая, молодая, а несчастная. Она одна.

А Коля всегда, когда выпьет, идет к ней обниматься.

Он еще покупал ей конфет, леденцов. Тогда эти леденцы делали, как красный петушок на деревянной палочке.

Он купит красного петушка на палочке. После войны такие петушки продавали.

Он принесет этот леденец Марусе. Станет в дверях и говорит ей: нет, ты его возьми. Я хочу, чтобы ты его покушала.

Когда Маруся стала помогать ему вылезти из бочки, тут вышла бандитка.

Маруся смеется, и Коля смеется, а бандитка всё видит.

Она пошла в свою комнату, и так хлопнула дверь, что можно было поднять мертвого с постели.

Вот Коля тогда ее и услышал. Он тогда вылез быстро из бочки, отряхнулся от капусты. Но своего тоже упускать не хочет.

Он сказал: ты возьми вот этого петушка, тогда я пойду в дом.

Маруся взяла петушка, смотрит его на свет: а не поддельный ли он? Сейчас много поддельных леденцов-петушков по дорогам шастает.

Стоит она и улыбается.

Тогда Коля пошел в дом к бандитке.

Маруся стоит и улыбается, а в руках у нее красный подаренный петушок.

В руках у нее красный петушок подаренный.

Наутро, на другой день, я посмотрела в окно, во двор.

Там небо голубовое, как я люблю.
А в небе два белых облака плывут. Я это сказала Марусе: посмотри туда, в небо.

Я как раз белье стирала.
Я повешу белье. Оно быстро просохнет.
Я его тогда выглажу, пока мой придет.
Положу свежую простыню, когда мой придет.
Тогда простыня будет пахнуть свежим воздухом.
Я поставлю ему обед на стол.
На белую скатерть поставлю его еду. И на белую скатерть поставлю мою еду.

Маруся сказала: ты, Перля, счастливая.
Ты, Перля, счастливая, потому, когда ты стираешь, такая погода. Такое небо. И такой воздух.

Тогда я пошла достирывать белье.
У меня была хорошая новая стиральная доска.
А я не могу после прачечной. Оно у них серое становится.
Мое белье на таком воздухе, как снег.
Под таким голубовым небом оно становится, как снег.
Когда я пустила бандитку к нам, она стоит и вся трясется в одной рубашке. Так, она к нам, прибежала в одной рубашке.

Она обняла меня: ой, господи, спасите меня.
Я ей говорю: раз уж ты здесь, то стой уже с нами, что мы можем теперь сделать, вер гылейт*, но почему ты прибежала в одной рубашке, к моему мужу?

Она мне говорит: вы скажите спасибо, что я могла рубашку, успела надеть, я же голая сплю с ним. А то бы я, к вам голая бы, прибежала бы.

Конечно, курва есть курва, что можно от нее ждать.
Тут Коля сбросил шкаф, который бандитка на него кинула. А может, это был диван.

Прибегает Коля к нам, и начинает тарабаничь в нашу дверь.
Он ей говорит: Зойка-сука, если ты будешь прятаться у евреев, лучше домой, вообще не приходи. Зарежу блядищу, если не сегодня, то завтра, вместе с твоими евреями.

Тогда бандитка прижалась к Абраму, как будто она боялась, что он убьет ее, а Абрам может ее спасти. Обхватила его руками и шепчет ему на ухо: ты не бойся, Абрамчик, он как кисель будет к утру.

Абрам ему говорит через дверь: Бог дал мне эту жизнь и, когда надо, он возьмет ее у меня. Но только не через такого дурака, как ты.

Я танки немецкие подрывал, ты это знаешь. Мы с тобой, слава Богу, не одну бутылку водки выпили вместе. И ты видел у меня на шее дырку.

Меня, Абрама, всю жизнь кто-то хочет убить, а я всё равно живу.
А тот, кто хочет меня убить, таки хорошо лежит в земле. А я все равно живу.

А если ты хочешь, чтобы твою жену не пахали, то заколоти окна-двери, а жену посади на цепь.

Жизнь — это ураган. Ты в этом урагане, я в этом урагане.

Но жизнь — это счастье. Ты в этом счастье, и я в этом счастье. Плохо тому, кто лежит в земле. А мы с тобой живы.

Нас несет ураган, и в нем есть счастье и горе, но в нем есть жизнь.

Кто знает? Может, Бог хочет, чтобы жена твоя спала с тем, с кем она спит, а не с тем, с кем она не спит.

Чтобы она стояла сейчас и обнимала меня в одной рубашке, а ты бы стоял за дверью, чтобы нас убить.

Ножи — это плохое дело. Ножи — это тюрьма.

Выбрось ножи из головы.

А сейчас давай расстанемся по-хорошему. А завтра сделаем лыхаем*.

Мы положили бандитку на кушетку в столовой.

Там спали наши дети. Чтоб они жили до ста двадцати лет.

У Лены была раскладушка. Она спала на ней. И у Бори была раскладушка. Он тоже спал на ней.

А кушетка была для наших гостей. Когда же, кто-то приезжал из местечка, то Леночка спала на столе. То Боря спал на полу.

Тогда мы отдавали нашим гостям раскладушки тоже.

Так сейчас у нас был наш дорогой гость, наша бандитка.

И мы положили ее на кушетку. Если кто-то это напишет в книге, то все будут смеяться: утром мы с ней деремся, а ночью мы с ней спим вместе.

Но Бог дал нам эту жизнь, а другой жизни нам не дали, так мы живем ту жизнь, которую нам дали.

Когда мы положили ее на кушетку, так я боялась, чтобы она спала вместе с детьми. Она могла принести всякую заразу.

Когда Коля кричал, что он ее убьет, то, я ее пустила.

Но когда мы уже ее пустили, так я себе покоя не давала.

Я дала бандитке-Зойке старое красное одеяло на вате, без пододеяльника.

Я не могла положить ее вместе с нами, в нашей комнате.

Наша комната девять метров. Так нам двоим хватает. Я не жалеюсь.

Но привести к себе в дом бандитку и положить ее рядом с собой, так утром она ляжет вместе с моим мужем.

Я ночью встала посмотреть.

Бандитка спала под красным одеялом. Дети спали спокойно, у обоих, красные щечки во сне. Что им снилось, когда бандитка в дверь тарбанила, я не знаю.

Может, им снился сон из другой жизни, которой мы не жили.

Под утро бандитка ушла к Коле. Она сказала, что под утро он станет, как кисель.

Вот она пошла, залезла в свой кисель голая, под одеяло, к Коле.

Потому что мой папа сказал, пусть ему земля будет пухом там, где он находится сейчас, он сказал: это жизнь, Эстер, это ураган, Эстер.

Один в одном киселе, другой в другом киселе.

Потому что жизнь плывет над нами, а не мы над ней.

Она плывет, как белые облака по небу, и мы не можем до нее дотянуться.

Как белое облако плывет по синему небу, а мы чувствуем только запах воздуха.

Утром вышла Маруся. На работу она не пошла.

Она отработала свое по ночам.

Она поставила картошку в мундирах вариться.

На свой кухонный столик она поставила банку с водой.

В банку с водой она поставила петушка.

Деревянную ножку она поставила вниз.

Может, цветок вырастет из этого петушка, она мне сказала.

Тогда она засмеялась.

А Коля вышел к Абраму, и он ему сказал: ты хороший мужик, Абрам.

Вы, хоть и евреи, но хорошие люди. Мы с тобой пили раньше и еще выпьем не раз. А то, что я вчера баламутил, вы забудьте, пожалуйста.

И на старуху бывает проруха.

А жена моя, перед Перлей Фриделевной, обязательно извинится.

Кого ваши еврейские врачи отравляли, это их дело, а вы никого не отравляли. Вот если бы они, заодно бы, моего начальника отравили, то я бы им за это низкий поклон бы отвесил. А они, вишь, малость промахнулись.

А ты, Абрам, немецкие танки подрывал, кровь свою проливал на нашей земле, а не в Ташкенте урюк жрал, как другие евреи. А вождей ты не отравлял.

Потом пришла бандитка ко мне: Вы, Перля Фриделевна, извините меня, Вы меня от ножа спасли. Вы, хоть и евреи, но хорошие люди.

Но я прошу вас больше меня не спасать. Мы живем своей жизнью, а вы своей.

Какая у нас жизнь есть, такая у нас пусть она и будет. А вы в нашу жизнь не должны вмешиваться.

Если же он меня убьет, то я посажу его в тюрьму. А если я умру, то другие люди его посадят.

Мы любим друг друга. Я никогда не любила его больше, как после вчерашнего.

А он меня никогда не любил так крепко, как после вчерашнего.

Я же хочу извиниться перед вами и просить вашего прощения. Когда же вам нужно, что из продуктов достать, то вы знаете, что у меня есть связи.

И в булочной-кондитерской, и в мясном магазине.

Хотя вы евреи, вы и сами сможете отовариться. Но если что нужно, то я себе не возьму, а вам достану. Обращайтесь ко мне, мы будем дружить с Вами.

Так когда я заснула после такого тяжелого дня, так мне приснился страшный сон. Когда я сейчас вспоминаю, так у меня мороз по коже идет.

Так я никому не сказала, встала рано утром и стала печь пирог. Почему я стала печь пирог, я вам расскажу потом, когда вы узнаете остальное.

В нашем местечке жила старая женщина, еврейка.

Сколько я ее знала, так она всегда была старая.

Получилось так, что она теперь жила недалеко от нас, ей тогда было, наверно, уже сто лет.

Когда кому-то снился плохой сон, так все шли к ней. Все говорили, что Рахиль Маламуд всё вам расскажет, что с вами будет.

Так я сготовила пирог, лыкех, и пошла к ней.

Я ей сказала: Рахиль, я пришла к тебе рассказать мой страшный сон.

Она мне говорит: какой же тебе сон снился, Перэле?

А она меня очень любила, когда я была маленькая. Она и их семья жили через улицу от нас, через дом, где жил Янкель дэр Блиндер, это значит — Яшка Слепой.

Так, однажды, когда я была маленькая девочка, она мне говорит: Перэле, ты знаешь, что такое Перэле?

Она меня подозвала к себе.

Она мне говорит: Перэле, это значит жемчуг.

Когда я выросла, и мне стали давать паспорт, так гойка в паспортном столе говорит мне: как тебя записать, Пелагей, что ли?

По-нашему, это будет Пелагея, правда? А я ей говорю, нет, ты запиши Перэл, я так родилась, и так умру с этим именем.

Ты меня запиши не по-вашему, а по-нашему.

Так Рахиль меня спрашивает: Перэле, какой же тебе снился сон? И говорит мне: если ты пришла ко мне, то ты можешь уже ничего не бояться.

Тогда я собралась с духом и сказала ей: я вам что-то расскажу, но это должно умереть в вашем желудке.

Она мне говорит: я знала твою мать Эстер, она мне рассказывала свои сны. Я знала твоего отца Фридла, и он мне рассказывал свои сны.

А ты, Перэл, рассказывала мне свои сны.

Тогда я развернула белую салфетку и подала ей пирог. Она сказала: этот пирог мы едим всю жизнь. Он темный, как черный хлеб.

Он темный, потому что жизнь темная.

Он сладкий, потому что жизнь сладкая.

Я ей рассказываю, что когда я уснула, то снится мне черное небо, и там нет ни звезды, и ни одного облака.

Я думаю, что это ночь, поэтому оно такое черное. В этом ничего страшного нет.

Но стало так тихо-тихо. Когда так стало тихо, так я услышала, как стучит мое собственное сердце.

Тут появилась Маруся, и мы смотрим с ней вверх, хотим увидеть что-то. А вместо этого оказались мы на Красной площади. Под ногою всюду камень. Мы идем, и о каждый камень нога спотыкается.

А на мавзолее стоит голубятня пустая.

И там нет ни одной живой птицы.

И вдруг, я вижу, стоит Сталин, вы меня простите, как родную мать, в одних кальсонах.

На шее у него веревка, как будто он белье пойдет развешивать.

Так я испугалась. Хотя у нас самая хорошая страна в мире, но за такой сон, в нашей мылихе можно получить десять лет, и пропасть совсем тоже можно.

Так я подумала, почему Бог должен меня наказать и послать мне такой сон? Почему он не приснился бандитке лучше? Она уже спит с евреями и армянами, так она бы уже переспала и с грузином тоже.

Но кому можно рассказать такой сон? Никому. Тогда я пошла к Рахили.

Тут я смотрю: он еще полез на мавзолей. Веревка на его шее раскачивается, как часы, один раз в одну сторону, чуть меня не захватит, другой раз в другую. Он шаг шагнет — и она летит.

Живот у него круглый, как футбольный мяч, а он куда-то лезет.

Так я, пока что, стала дрожать. Он лезет, а я дрожу.

Наконец, он, слава Богу, залез туда. Чтоб он так дрожал в своей могиле, как я дрожала. И он стал так тихо с голубятней рядом. Скажу по правде, я никогда не думала, чтоб он был таким тихим.

Он стоит рядом с пустой голубятней, и на шее у него веревка.

Чтобы мои враги видели всё это. Так я уже во сне думаю: а что будет, когда я уже проснусь?

Лучше бы я уже не просыпалась. Потому что, когда ты проснешься, так ты поймешь, что это был только сон, пысты холоймэс*.

И я буду думать, что, когда я пойду за хлебом, дворничиха ударит меня лопатой.

А тот меня толкнет, а тот крикнет жид, а тот, что мы отравили советскую мылиху*.

Так балабус* с веревкой на шее стал на мавзолее, как столб. А когда он залез туда, то стал рядом с клеткой, где когда-то жили голуби.

И тут я смотрю, что Сталин, сосет Марусинкрасныйпетушок, леденец. Стоит с пузом, в кальсонах, и сосет петушок.

Чтоб он уже сосал гышвольны макэс*. Это значит, опухшие нарывы, чтоб он сосал. Он имеет всё, что он хочет, всю нашу жизнь и всю нашу кровь, так ему этого мало. Ему нужен еще леденец. Петушок.

Так холера с тобой!

Но когда я это начала рассказывать Рахили, так она сразу закричала: ой!

Я ее спрашиваю: а что вы кричите ой?

Она ничего не сказала, но пока что, пошла закрыть дверь на крючок. Ей было уже сто лет.

И она шла туда целую жизнь. И она шла обратно целую жизнь.

Я видела свою деревню, как я родилась, как я женилась за Аврама. Какое было голубое небо. Как нас били, как нам кричали жид, как дети мои родились, как случилась война, и когда она кончилась, и когда Аврам вернулся живой с войны.

Она шла туда целую жизнь. Она шла обратно целую жизнь.

Когда она закрыла дверь и пришла обратно, она говорит: я кричу ой! Перэле, потому что я видела тот же сон, что и ты.

А за сегодняшний день ко мне уже пришли шесть евреев, и все они видели этот сон, что и ты. А ты, слава Богу, седьмая.

Когда она так сказала, то я покрывалась гусиной кожей: у меня пошел мороз по телу. Оказалось, что семь евреев тоже видели этот же сон. Я подумала, что это было уже от Бога.

То, что ты видела это место, это уже не к добру.

— А почему это не к добру! — я ее спрашиваю. — Почему это так?

Так она отвечает: там, в стене лежат мертвецы. Их пепел.

Там, в земле лежат мертвецы. Их кости.

А там, куда залез этот человек, и он ел красный петушок, там лежит тоже мертвец.

И он кукла.

Они думают, что отсюда начинается жизнь, но отсюда жизнь кончается.

Когда наступает ночь, они все вылезают и начинают друг с другом разговаривать, кто кого убил.

Вот они сидят в кружочек и разговаривают. И чай пьют. И делят нас.

Иногда они ругаются, дерутся, никак не могут нас поделить, а потом чай пьют, опять с нашим лыкехом*. Сидят в кружочек, разговаривают тихо. Какую кость в наш бульон бросить.

Какую кость в наш бульон не бросить.

Какую кость, в наш эсек-флейш* еврейский отпилить от своей ноги, а никто свою ногу отдавать не хочет. Вот они тогда начинают убивать друг друга снова.

Из-за нас, евреев, опять друг друга убивают.

А потом садятся в кружочек и тихо разговаривают. И чай пьют.

А когда первая звезда уйдет с неба, они собираются и танцуют фрейлехс. А кукла лежит, как она лежала. А они танцуют вокруг.

Когда же вторая звезда уходит с неба, и они уходят. Кто в землю, а кто в стену.

Так, когда снится такой сон, так это не к добру.

Когда жил Авраам, однажды к нему пришел Бог.

Но тогда каждый сделает себе из дерева или из глины куклу, и это был их Бог.

Так они с ней просыпались утром. И они с ней ложились спать вечером.

Но когда Авраам увидел Бога, так он понял, что кусок дерева — это не Бог.

Так он взял свою жену Сарру, он взял своего племянника и ушел совсем. Он шел туда, куда ему показывал Бог.

Теперь, когда он поднимался утром, он видел своего Бога, а не куклу.

А когда наступал вечер дня, он видел своего Бога, а не куклу.

И он шел впереди своих овец, а не позади их. И они шли за ним, потому что он вел их.

Пусть земля ему будет пухом, где он там находится, и его детям, и детям его детей, и их внукам, и их правнукам, и их детям.

Скажите, Рахиль, а что означает, что он залез на мавзолей? — я ее спрашиваю.

А это означает, говорит она, что он уже стоит одной ногой в могиле.

А почему у него на шее была веревка! — говорю я ей, а сама боюсь, что она ответит.

А это означает, что он уже второй ногой тоже в могиле стоит.

Вы меня простите, Рахиль, как свою родную дочку, за то, что я вас спрашиваю, а почему Сталин был в кальсонах? Когда я это увидела, так я чуть с ума не сошла.

Потому что, когда он умрет, то его разденут так, как ни одного мертвеца не раздевали. Одни только кальсоны ему оставят, чтобы не видеть его гнилой шмок*.

Это место забудут, люди будут туда приходить только чтобы вспомнить горе. А кто захочет вспомнить горе?

Я ей говорю: но когда праздник, так мы туда бежим, мы туда ходим.

Нет, это вы туда не бежите, нет, это вы туда не ходите.

Это вас туда ведут. Это вас туда приводят. А вы туда не ходите.

Вот так она мне отвечает: это вас туда ведут, вас туда приводят.

И Рахиль говорит: а разве вы знаете, куда вы бежите? Разве я знаю, куда я бегу?

Все бегут туда. Я тоже бегу туда. Люди бегают, бегают, а потом приходят в одно и то же место.

Они танцуют, веселятся, а когда приходит час, то оказывается, что они веселились на своих поминках.

Они думают, что идут на праздник, а приходят к своей могиле. Разве мы знаем, куда мы бежим? Мы идем и бежим. Остановитесь, куда вы бежите, еврей?

А кто их может остановить?

А еврей иду, и иду, и иду. А их убивают, и убивают, и убивают.

Остановитесь, куда вы бежите, еврей? Вус*, вэн*, почему?

Что, когда, почему? А кто это знает?

Бог это знает: что, когда, почему. Зачем мы идем, зачем мы бежим, зачем нас убивают.

А кто это знает? Никто этого не знает. Я только хочу просить Бога, чтобы то, что нам положено, чтобы мы дожили без такого человека, кто нам приснился, чтобы мы еще могли гулять на свадьбе моей внучки.

Чтобы ты, Перэл, могла бы гулять на свадьбе своих детей и твоих внуков.

Чтобы мы могли умереть в своей постели, когда придет час, а не на улице, или в допре.

Когда горе, то ты растешь. Я шла от нее по улице, я смотрела на людей и я видела что-то другое. Я видела людей. Я не знала, кто они, что будет завтра со мной. Что будет завтра с ними.

Я думала, что они могут меня убить, но кто-то всегда будет с нами. Он будет смотреть оттуда.

Я видела что-то другое. Как будто над нами что-то было.

Сначала было голубовое небо. Потомплыли два облака.

Потом они разошлись, и я увидела его лицо. Он летел к нам, и падал на нас, и в его лице были все: я, и Абрам, и наши дети, и наш дом, и я.

И в нем были все, кто был под ним.

И мы стали подниматься и летели к нему, а он летел к нам.

Мы летели в него, а он летел в нас.

Когдаже мы сошлись, было больно, счастливо и горько. И мы знали, что мы были в нем, и он был в нас, и во всём вокруг нас, до самой нашей смерти, которой никогда не будет.

Я шла из булочной. Дворничиха замахнулась на меня лопатой: ах вы жиды, проклятые!

Я несла свою сумку с хлебом. Он был горький и сладкий.

Но потом что-то стало в сердце.

Я подумала: Господи, есть ли ты на свете? Я поставила хлеб на землю. Хлеб лежал на этой земле, и я стояла на этой земле.

Почему я родилась из материной утробы?

Почему не остановилось молоко, когда я брала ее грудь?

Почему я видела день, мне нужно было бы послать ночь, чтобы я никогда не видела дня!

Есть ли ты, Господи, для нас? Есть ли ты, Господи, на свете для нашего отца Авраама, для всех его детей?

Но он летел к нам и падал на нас. И в его лице были все: я, и Абрам, и наши дети, и я.

Когда мы сошлись, было больно, счастливо и горько.

Но я видела его, как он летел, а мы поднимались навстречу, когда же я исчезла, исчезло всё.

Когда горы смоеет вода и не останется больше гор?

Пока душа ваша жива, гору никогда не смоеет вода.

Когда ветер перестанет дуть, а листья перестанут стоять на деревьях, а дождь перестанет идти с неба?

Горы будут стоять, и ветер будет приносить нам белое облако, пока наша душа жива. Тогда вы поднимаетесь к нему навстречу.

Я лежала в больнице две недели. Дворничиха пробила мне голову лопатой.

Такое наше еврейское счастье, чтобы увидеть Бога, нужно чтобы тебя стукнули лопатой, тогда ты вспомнишь о нем.

И тогда ты уже всё забудешь. Пока я лежала в больнице, я забыла свой страшный сон. Бог меня туда положил, чтобы я это забыла.

Когда я там лежала, то стала уже весна. Это был уже март.

Я смотрела в окно. Там небо было голубовое. И там было два белых облака.

Когда я смотрела на них, я вспомнила что-то. Но я не знала, что я вспомнила. Мне было так тревожно, как будто я еще не родилась, но я знала, что я должна родиться.

Но что будет потом, я не знала. Вот так я смотрела в окно.

Тут открывается дверь, и входит бандитка-Зойка. Она тащит мне большую сумку: вот, Перля Фриделевна, я вам принесла гостинцы.

Достает мармелад розовый и желтый. А по краю идет белая и зеленая каемка.

А вот это вам мой муж передал: она достает красного петушка, леденец, на деревянной палочке.

Тут я стала плакать. Что я дура плачу, я сама не знаю.

Вот такая у нас жизнь. А другой у нас жизни нет.

И мы живем той жизнью, которую нам дал Бог. А за что, мы этого не знаем.

Тут дальше открывается опять дверь и входит этот паршивый еврей.

Он приходил к ней, когда Коля был на работе. А я ему сказала: как вам не стыдно, на вас штаны еле держатся.

Она мне говорит: у Коли вчера была вторая смена, Яша пришел ко мне. Я ему сказала, что пойду к вам в больницу, вот он за мной, как хвостик, куда я, туда и он.

В кино-театр мы не можем, нас увидят. Его жена ему этого не простит, а Коля меня убьет, Вот мы решили, хоть в больницу вместе ходим.

Она мне говорит: посмотрите, какое небо, посмотрите какое солнце, что вы, в такую погоду, обязательно выздоровеете. Это март, до весны один месяц только ждать.

А ты, Яша, хоть бы раз меня на Лебединое озеро позвал, небось, жену свою водил. Такая стоит погода.

Яша ей говорит: а что разве тебя интересуют эти танцы? Я этого не знал.

Ты хочешь в Большой театр, так я достану тебе билеты в Большой театр. Правильно, Перля Фриделевна? Когда женщина что-то хочет, так ей надо дать, что она хочет.

У меня такое правило, я даю женщинам, что они хотят. Поэтому они меня так любят. Она хочет это, на тебе это.

Она хочет то, на тебе то.

Я куплю тебе два билета, так ты пойдешь с Колей и посмотришь, что ты хочешь. Ты хочешь театр, на тебе театр.

Лебединое озеро, или гусиное озеро. Смотри что хочешь. Мне не жалко. Смотри с Колей, смотри со Шмолей. Если ты так хочешь, то смотри. Разве есть что-то на свете, что мне для тебя жалко?

Она говорит: нет, ты не понимаешь, Яша, я же с тобой хочу.

Да, я хочу с тобой. Ты оденешь, новый костюм, что мы с тобой в ЦУМе достали.

А я одену новое платье, которое ты мне подарил. Белое платье.

Я его спрятала в диван, чтобы Николай не нашел. А то он скажет, откуда это платье? Мы от полочки до полочки не доживаем, а он увидит это платье.

У театра, там большие белые колонны. Мы с тобой пройдем вместе, мимо них.

Мы сядем в красную бархатную ложу, а на сцене будут белые лебеди. А мы будем сидеть рядом, смотреть на них. Правильно, Перля Фриделевна?

Что я могла ей сказать? Я уже не знала, что правильно, а что неправильно.

Я ей сказала: он же женатый человек, Зоя.

А она мне говорит: так и я тоже замужняя. Я Яшу люблю, потому что я никого больше не люблю. Хоть он и еврейчик.

Вы его никто не знаете: что он мне говорит, когда мы вдвоем.

Если бы вы знали это, вы бы тоже его любили. А вы этого не знаете.

Посмотрите, какое небо, посмотрите, какое солнце.

И тут, когда она так говорила, произошло чудо: небо вошло в комнату, где я была.

Тут же появилась Рахиль. Она шла ко мне сто лет. Когда же она пришла ко мне, это небо вошло ко мне, а не она. Но она была в том же платье, когда я ей принесла пирог.

А Рахиль говорит: когда ночь наступает, они все вылезают и начинают друг с другом разговаривать, кто кого убил.

Вот они сидят в кружочек и разговаривают и чай пьют. А он встанет, к голубям в клетке подойдет, хлебных крошек им поднесет.

А то воды принесет им в клетку. Они очень ночью пить хотят. Скоро много будет воды. Вода потечет ручьями по площадям, чуть не потопит всех. Тогда все напьются.

Вот такая это будет весна. От того, что сейчас такое голубое небо.

От такого солнца и неба все могут утонуть.

Тут я смотрю, сидит Рахиль, Абрам, а Рахиль держит в руках лыкex. А Абрам держит в руках тору.

Она говорит мне: он темный оттого, что жизнь горькая, он сладкий оттого, что жизнь сладкая.

Ты его поешь, и весь эйтэк* пройдет. Абрам помолится Богу, попросит за тебя. И за меня, и за твоих детей. За всех наших детей попросит он Бога.

Тут дверь открывается и входит Маруся вся в слезах: пусть за нас, за русских людей Абрам помолится, Сталин умер. Пусть он помолится тоже за нас, Перля Фриделевна, за моих детей и за твоих детей, наш отец родной умер.

А Рахиль говорит: вода потечет по площадям, чуть не потопит всех. Это от такого неба.

Это оттого, что мы под таким небом голубым живем.

Я говорю Рахили: а что теперь с нами будет? Что будет теперь с евреями?

Абрам говорит: когда бандит рождается, это плохо, а когда бандит умирает, это может быть еще хуже. А когда Сталин умирает, это несчастье.

Это имдлык* для всех, если такой человек умирает. Кто знает, какой изверг может прийти вместо него?

Абрам говорит: вот, Маруся, ты плачешь, а что ты плачешь, ты сама не знаешь. В войну ты не плакала, слезы от горя высохли, а сейчас ты плачешь.

И гладит Марусю и целует ее, и говорит: это имдлык, Перэл.

Это значит по-нашему: несчастье.

Он говорит: кто знает, завтра скажут, что мы его убили.

И он говорит: мы уже всех один раз отправили, а теперь мы Сталина убили. А завтра, когда солнце взойдет, мы пойдем убивать сталинских соколов.

Рахиль говорит: теперь воды все хоть напьются, когда вода от слез затопит всех.

Вот мы тогда напьемся водички, готыню.

За всё ты нам заплатишь, что мы заслужили у тебя. А Маруся говорит: что же-то с нами будет теперь, господи?

А я смотрю: такого голубого неба я еще не видела.

Такого голубого света я еще в жизни своей не видела.

Потому что жизнь плывет над нами, а не мы над ней.

Она плывет над нами, как белые облака по небу, а мы не можем до нее дотянуться.

А я говорю Абраму: когда смерть к нам придет, на краю смерти мы будем любить друг друга.

Когда смерть будет звать меня к себе, я буду идти к тебе.

И на краю смерти мы будем любить друг друга.

Тут входит бандитка, а Колло держит, как слепого, за руку. А он тихо за ней идет.

Она говорит: вот, теперь мы все дождалась, чего хотели. И я дождалась, чего хотела.

Она говорит Коле: вот, возьми нож. Он твой, может, он тебе нужен будет. А я Аврама всю жизнь любила.

И она говорит Авраму: положи свой Израиль ко мне на живот, я от тебя ослепла.

Положи свою ногу на мою ногу, положи свои губы на мои губы.

А мою грудь раздави своими руками.

Перед смертью я тебя обниму хоть немного. А я обнимать твою спину ногами буду.

А Аврам говорит ей: иди сюда, Зоинька, я тебя всю жизнь ждал. Я тебя всю жизнь любил.

А Коле Аврам говорит: ножи — это плохое дело. Выбрось ножи из головы, а жену посади свою на цепь. А окна и двери заколоти бревнами.

Тут вошли мои дети, и их дети, и дети их детей.

Тогда мы сели все вокруг стола.

И Аврам сел, и бандитка, и Коля с ножом, и Маруся, и мои дети, и их дети, и дети их детей.

И я села вокруг стола.

А Рахиль нарезала всем лыкех-медовник и каждому дала свой кусок пирога. И мне, и Авраму, и бандитке, и Марусе, и детям моим, и их детям, и детям их детей.

И каждый ел свой кусок пирога.

А я посмотрела в небо: эй жизнь, куда ты пролетаешь мимо нас?

Туда, куда мы не знаем, куда.

Туда, где жизнь, которой мы не знаем.

Эй жизнь, куда ты пролетаешь мимо нас?

1977-1988

Перевод слов с еврейского языка идиш.

* *мышимид* — выродок.

* *мансыс* — выдуманнные истории, сказки.

* *аформиньткэле* — на минуточку.

* *ныдник* — зануда.

* *дер рих вейст* — черт знает (кто).

* *балабосым* — большие шишки, дословный перевод: балабос — хозяин. Сталина называли балабос.

* *шрек мир готыню* — пугай меня, господи (только не наказывай).

* *готыню* — Боженька.

- * *цорес* — несчастья.
- * *мылиха* — страна, советская власть.
- * *вер гылеймт* — чтоб ты подохла.
- * *лыхаем* — выпьем, за жизнь, поддадим.
- * *пысты холоймэс* — пустые мечтания, пустые хлопоты, пустые сны.
- * *гышвольны макэс* — опухшие нарывы, болячки.
- * *лыкех* — пирог-медовник, из меда, получается темного коричневого цвета.
- * *эсек* — флейш — кислосладкое мясо.
- * *шмок* — член.
- * *вус, вэн* — что, когда.
- * *вэйтэк* — боль, болезнь, душевная рана.
- * *имдлык* — несчастье.

1977-1988



Илья Криштул

МИНИАТЮРЫ

ИНТЕРВЬЮ

Писателя Хвостогризова, автора популярных воспоминаний о своих встречах со знаменитыми людьми, трудно застать дома, в тиши рабочего кабинета. Вот и на этот раз наш корреспондент наткнулся на него в подмосковной Балашихе, на презентации точки по торговле бахчевыми. Г-н Хвостогризов с радостью согласился ответить на несколько вопросов, заметив при этом, что вообще-то он прессу не жалует.

Корр.: — Г-н Хвостогризов, вы известны читающей публике прежде всего как автор замечательных мемуаров. Вы действительно общались со всеми людьми, о которых пишете?

Х.: — Я не общался. Я с ними дружил. И с Иосифом, и с Никитой, и с Лёней... Мы были одна компания, вместе выпивали, дрались, играли в футбол, ухаживали за девушками — тогда это было модно. Я и писать начал только для того, что бы оградить этих людей от так называемых "друзей", от тех, кто делает деньги на святых именах. В книге "Мой Высоцкий" я много пишу об... не знаю, как их и назвать-то. Например, некто Влади. Да она с Высоцким не была даже знакома, мне Володька сам говорил! Он очень любил меня, ведь я — сейчас об этом уже можно говорить — автор почти всех его песен. И "Баньку", и "Охоту", и... и другие его песни написал я, Володя просто перепел их, я ему разрешил. Он очень тогда нуждался в деньгах. Так же, как и Леннон, об этом я написал в книге "Мой Леннон". Я, кстати, был женат на его сестре.

Корр.: — Почему же вы скрывали это?

Х.: — Причины я раскрыл в книге "Мой Есенин". Сейчас об этом уже можно говорить — я ведь очень много стихов подарил Серёжке, и про пальцы в рот, и чего-то там про живую старушку и... и другие его стихи. Он очень тогда нуждался в деньгах. Молодые мы были...

Корр.: — Но ваше имя практически неизвестно широкой публике...

Х.: — Недавно я написал книгу "Мой Ленин", там я как раз размышляю над этим. Ильич многое дал мне, но в первую очередь он научил меня скромности. Я в долгу не остался и — сейчас об этом уже можно говорить — ещё в марте надиктовал ему "Апрельские тезисы". Он очень тогда нуж-

дался в деньгах. Нас познакомила Крупская, я в то время был женат на её сестре.

Корр.: — С кем ещё вы были знакомы?

Х.: — В книге "Мой Пушкин" я пишу об этом. Ван Гог, Чайковский, Булгаков, Шаляпин, Кеннеди, Фишер... Мы были одна компания, вместе выпивали, дрались, играли в футбол, ухаживали за девушками — тогда это было модно. Петька Чайковский, правда, этого не знал и ухаживал за мальчиками, сейчас об этом уже можно говорить. А в футбол лучше всех играл Ван Гог, однажды в пылу борьбы ему даже оторвали ухо... Помню, как я учил Фишера играть в шашки — он потом, и это известный факт, стал чемпионом мира... А как гениально Шаляпин пел сочинённые мной романсы — и "Баньку", и про пальцы в рот, и... и другие мои романсы. Он очень тогда нуждался в деньгах. Я, помнится, в то время был влюблён, посвятил любимой девушке стихотворение "Я встретил Вас...", Сашка Пушкин увидел, выпросил... Молодые мы были...

Корр.: — А много книг вы написали?

Х.: — Да, и об этом я рассказал в своей книге "Мой Наполеон". Мы ведь дружили с Боней с детских лет, много разговаривали, спорили... Помню, как я отговаривал его идти войной на Россию, сейчас об этом уже можно говорить... Чем закончился этот поход, можно узнать из моей книги "Мой Кутузов". Наполеон, кстати, всегда нуждался в деньгах. Я был женат на его сестре.

Корр.: — С Кутузовым вы тоже встречались?

Х.: — Да, с Мишкой мы были, как в поговорке — "не разлей водка". Сейчас об этом уже можно говорить. Помню, я звал его "адмирал Нельсон", уже не знаю, почему. Когда я рассказал об этом самому Нельсону, он очень смеялся, хотя постоянно нуждался в деньгах. Молодые мы были...

Корр.: — А сколько раз вы были женаты?

Х.: — Много. Об этом я пишу в своей книге "Моя д'Арк". У нас была огромная, всепоглощающая любовь, но она — сейчас об этом уже можно говорить — трагично оборвалась, сгорела... Я не виню Жанну, это были счастливые годы, но, мне кажется, она больше нуждалась в деньгах, чем во мне. В книге "Моя Клеопатра" я более глубоко раскрываю тему женского непостоянства. Кстати, после смерти Клёпы я женился на её сестре.

Корр.: — И последний вопрос — ваши планы...

Х.: — Я заканчиваю новую книгу воспоминаний под названием "Мой Христос".

Корр.: — Вы...

Х.: — Да. Сейчас об этом уже можно говорить — я был женат на его сестре. Молодые мы были...

МОСКВА

(из цикла «Великие города мира»)

Примерно восемьсотсемьдесят лет назад по распоряжению Владимира Владимировича Путина была основана столица нашей Родины город-герой Москва. Сначала это был маленький населённый пункт, в нём жила дружина князя Долгорукого с жёнами да местные, которые ещё не знали, что стали москвичами. А когда узнали, очень этим загордились и придумали сначала прописку, потом регистрацию и четыре тысячи долларов метр. За это москвичей сразу не полюбил остальной народ и несколько раз сжигал весь город. Жгли все — татары, французы, братья-славяне... Но москвичи отстраивались заново, причём сами, без помощи турок и молдаван. В те давние времена они ещё умели это делать своими руками. Секрет строительства домов без участия турок и молдаван, к сожалению, утерян. Или украден молдаванами. Зато Москва после каждого пожара становилась всё краше. В ней появились первые достопримечательности — Большой театр, третье транспортное кольцо и метро «Выхино» в час пик. Кроме них к московским красотам относится подземный переход под площадью трёх вокзалов, чебуречная «Дружба» на Сухаревской и, конечно, Кремль. Кремль это сердце Москвы. Капотня — лёгкие, оба Бутовых — отбитые почки, а Измайлово, судя по лицам жителей, давно и неизлечимо больная печень.

Шли года. Москва превратилась в огромный мегаполис, в который рекой льются деньги и бомжи. Видимо, бомжи деньги привозят, прячут их, забывают, где спрятали и идут спать в последние вагоны метро, несмотря на турникеты. Турникеты, кстати, изобрели тоже в Москве. Особенно нужны они в трамваях, которыми пользуются исключительно бабушки. Куда они постоянно ездят в количестве, равном количеству сидячих мест, это загадка, над разгадкой которой бьются многие исследователи. Ближе всего к истине предположение, что ездят они до конечной остановки и обратно. Главное, что турникеты бабушкам не страшны, у них специальные проездные с фотографиями, а вот зайти в трамвай простому человеку стоит пятьдесят рублей и минут десять в очереди, так как бабушки никуда не торопятся. Но, к счастью, не только турникетами славна наша столица. Всем известно, что в Москве обитают самые чест-

ные, добродушные и гостеприимные полицейские страны. Мимо них невозможно пройти бесплатно. Это искусство, которым владеет далеко не каждый москвич, что уж говорить о гостях столицы. О гостях столицы, кстати, лучше вообще не говорить, особенно с ними же. Но Москва это не только полицейское гостеприимство. Москва — город, который приносит людям радость. В Москве Алла Пугачёва встретила Галкина, а маленький Юрочка Куклачёв — свою первую кошку. В Москве нашёл, наконец, работу Д.А. Медведев, а скульптор Церетели обрёл вдохновение и мастерскую. Как изменились улицы, украшенные его творениями! Как красив и высок Петр Первый! Говорят, что в голове Петра находится двухуровневый боулинг-центр, а в мизинце правой руки купил себе квартиру Роман Абрамович. Недалеко расположена и знаменитая Рублёвка с её нефтяными фонтанами и газовыми факелами, где можно вкусно отобедать за пять тысяч долларов под пение живого Элтона Джона. И именно в Москве открылись самые крупные в Европе «Икеа» и «Ашан», «Мега» и «Леруа Мерлен». В этих магазинах надо жить, что, кстати, многие москвичи и делают, сдавая свои квартиры всё тем же гостям столицы. Но всё-таки не магазины, не турникеты и даже не Рублёвка являются лицом Москвы. Известно, например, что недалеко от ресторана «Correa's» можно обнаружить знаменитую Третьяковскую галерею, на задворках ЦУМа стоит Малый театр, из бутика «Giorgio Armani» виден Собор Василия Блаженного, а из одного ночного клуба даже краешек Пушкинского музея. В окружении такой красоты не хочется ни хамить, ни обманывать, поэтому в столице вам никогда не нахамят и вас не обманут. Убить могут, хотя это и запрещено. Но, к сожалению, запреты в Москве не приживаются. Стоит мэру Москвы что-нибудь запретить, как это «что-нибудь» появляется везде сразу и в удвоенном количестве. После последних запретов теперь у каждого казино стоят девушки лёгкого поведения, которые курят и распивают пиво в общественных местах, торгуя с рук собой и местами для парковки. А гей-парады проходят не на улицах, а в лучших концертных залах. И во всех подземных переходах азербайджанцы без регистраций продают украинскую клубнику из пальмового масла. Может, попробовать запретить в Москве море, пляж, солнце и обнажённых мулаток? Ведь этого так не хватает в нашем сумрачном городе...

БОЛОГОЕ

(из цикла «Великие города мира»)

Город Бологое является самым таинственным городом на нашей планете. Он по праву занял своё место рядом с такими загадочными явлениями, как рисунки в пустыне Наска, падение Тунгусского метеорита,

посадка НЛО во дворе наркологической больницы города Хабаровска и беременность замужней женщины из Брянска от снежного человека. Дело в том, что город Бологое никто никогда не видел при дневном свете. Российские учёные опросили свыше десяти тысяч человек на Московском вокзале в Санкт-Петербурге и на Ленинградском в Москве. Полученные результаты поражают воображение. Десять процентов опрошенных заявили, что город Бологое бывает только ночью. Оставшиеся девяносто процентов не поняли вопрос и просили пива. Были опрошены также проводники поездов, курсирующих между двумя столицами. Никто из проводников не видел Бологое днём. Мало того, никто из них никогда не встречал людей, сходящих на этой станции. После многочисленных обращений учёных в Администрацию Президента судьбой города заинтересовались ЦИК, ФСБ и завод по производству фонариков. И вот что им удалось выяснить. Город Бологое существует. Он состоит из здания вокзала и нескольких ларьков, торгующих со стороны Москвы шаурмой, а со стороны Санкт-Петербурга — шавермой. В городе живут десять человек, из них четыре — полицейские. Дальше, по словам членов специальной комиссии, начался лес и вагон-ресторан закрылся. Главное, что удалось рассмотреть — в Бологом действительно была ночь, в то время как через три часа в Санкт-Петербурге — день. Обратный путь члены комиссии решили проделать на самолёте, но их постигла неудача — все места у окошек оказались заняты и наблюдения были сорваны. К сожалению, денег на вторую экспедицию ни у одной из заинтересованных организаций не нашлось. Между тем от некоторых членов комиссии довелось услышать предположение, что, скорее всего, Бологое является международной столицей вампиров, которые, как известно, боятся солнечного света. Они появляются по ночам и сосут кровь у пассажиров проходящих поездов, поэтому у них, у пассажиров, всегда утра очень плохой вид. Но вампиры вампирами, а неужели правительству России, депутатам, другим ответственным лицам безразлична судьба российского города? Ведь под покровом ночи в Бологом могут совершаться серьёзные правонарушения, такие, как уход от уплаты налогов или торговля контрафактными петардами. Также совершенно непонятно, как там осуществляется призыв в Вооружённые силы и регистрация браков, работает ли в Бологом ячейка «Единой России» и зоопарк, какова ситуация с нарушителями правил дорожного движения — кто их штрафует, на сколько и где деньги. Между тем к Бологому уже проявляют интерес различные международные организации. Недавно, например, полицейскими на границе Московской области были остановлены пять «Газелей», в которых находились граждане Китая. Учёные, как они представились, направлялись в Бологое с целью проведения эксперимента по продаже итальянских джинсов отличного качества. Пока полиция совещалась, учёные исчезли вместе с «Газелями», а на границе Московской области появился рынок джинсовой одежды, на котором торгуют исключительно жёны полицейских. Куда пропала науч-

ная экспедиция из Китая? Откуда у жён полицейских появились джинсы? Что происходит в Бологом днём? Почему именно там поребрик превращается в бордюр, подъезд — в парадное, а буханка — в булку? На эти вопросы ответов пока нет. Город Бологое продолжает хранить свои тайны, будоража умы искателей приключений со всего света...

КРУГЛОВСК

(из цикла «Великие города мира»)

На первый взгляд кажется, что Кругловск это обыкновенный провинциальный российский городок. Расположен он вдалеке от туристических троп и шумных автострад, стоит на берегу небольшой реки Кругловки, которая впадает, правда, в самую матушку-Волгу. Городок тих, чист и уютен, если не обращать внимания на развалины двух церквей, заброшенный стадион с дворцом культуры и вонючий пруд в самом центре. Старожилы рассказывают, что в давние времена на месте этого пруда была главная городская площадь, на которой как-то появился след от лошадиного копыта. След превратился в лужицу, лужица в лужу, лужа с годами — в глубокую яму с водой, а уже яма — в заросший городской пруд, излюбленное место отдыха кругловцев, которые уверены, что их пруд возник на месте метеоритного кратера и его дурно пахнущая вода обладает целебными свойствами. История для нашей страны обычная, да и Кругловск, как уже говорилось, это обычный городок, каких, к счастью, ещё много осталось на территории Российской Федерации.

И мало кто знает, не считая местных жителей, конечно, что в заурядном Кругловске есть нечто, ставящее его на один уровень с такими городами, как голландский Хорн, город сыроваров, или швейцарский Ла-Шо-де-Фон, город часовщиков, или немецкий Бамберг, город пивоваров, или даже Санкт-Петербург, город президентов. Да, Кругловск, как это ни удивительно, стоит в одном ряду с этими знаменитыми городами, потому что Кругловск...

... потому что Кругловск, и это повод для гордости всех кругловцев, — город мерчендайзеров! Дело в том, что уже несколько веков в Кругловске рождаются, живут и умирают только мерчендайзеры и никто больше. Самый первый мерчендайзер, как утверждают исследователи кругловского мерчендайзинга, появился в городе ещё во времена царствования Павла I, в сентябре или октябре 1798 года. Звали мерчендайзера Сергей и именно его портрет кисти Иоганна Баптиста Лампи-младшего висит на почётном месте в Кругловской художественной галерее. Главный мерчендайзер галереи, Елизавета Сергеевна Круглова, рассказала, что, хоть по инструкции она и обязана несколько раз в день перевешивать картины в зависимости от спроса и смотримости, портрет

Сергея она не трогает. «Да, начальство поругивает, - улыбнулась Елизавета Сергеевна: - Но я считаю, что картина Лампи-младшего «Портрет мерчендайзера» должна висеть на лучшем месте. Ведь это не только великолепная живопись, это ещё и история нашего города!».

Но ведь Сергей не сразу стал мерчендайзером! Кем он был раньше? Откуда пришёл в Кругловск? Почему именно он стал первым из известных теперь на весь мир кругловских мерчендайзеров? И почему именно мерчендайзеров, а не, к примеру, кустарей или зеленщиков? Ответы на эти вопросы есть в кругловском краеведческом музее, расположенном на берегу метеоритного кратера-пруда. Старший мерчендайзер музея, Елена Анатольевна Круглова, знает о зарождении и развитии кругловского мерчендайзинга всё, ведь она защитила докторскую диссертацию по теме «Сергей — путь из варягов в мерчендайзерь». По её словам, Сергей пришёл в Кругловск из финского Зеленграда вместе с рыбным обозом, что являлось в то время самым популярным и доступным способом передвижения российского среднего класса. Да, Сергей, несмотря на русское имя, был финном, хотя финского языка не знал, как, впрочем, и русского. В первые месяцы жизни в Кругловске Сергей не помышлял ни о каком мерчендайзинге. Он осматривался, устраивался, учил язык, обзаводился нужными знакомствами, что вылилось в его женитьбу на старшей дочери купца Круглова красавице Леночке. Сергей взял за ней хорошее приданое и старинную фамилию, тоже став Кругловым, а вскоре у молодой пары родилась первая дочка Машенька. Сергей обожал свою дочку, часами наблюдал за ней и вскоре заметил одну странность в её поведении — Машенька обожала всё переставлять и перевешивать, передвигать сундуки и комоды, словом, менять местами вещи, годами стоявшие в своих углах. Кругловские лекари не нашли у неё никаких психических отклонений, столичные светила, к которым обеспокоенные родители свозили Машеньку, тоже, а знаменитый немецкий профессор, на приём к которому Кругловым чудом удалось попасть, прописал лечение хинином и оздоровительное дыхание по его методике. Кругловы разочаровались в медицине, смирились с Машенькиной странностью и вернулись в Кругловск. Однажды, зайдя вместе с отцом в лавку, принадлежащую её деду-купцу, Машенька так удачно поменяла местами холстину с пенькой, что покупатели разобрали и то, и другое. Сергей задумался и, придя домой, заперся в своём кабинете. А уже вечером он вслух читал домочадцам и слугам свой знаменитый «Трактат о введении мерчендайзинга в России». Так началось триумфальное шествие кругловского мерчендайзинга сначала по России и Европе, а позднее и по всей планете.

В наше время мерчендайзеров из Кругловска можно встретить везде, где процветает торговля. Они работают в магазинах Липецка и Костромы, Кейптауна и Парижа, в автосалонах Токио и на базарчиках Бесарабии, словом, повсюду, где есть продавцы и покупатели. Мер-

чендайзинг давно стал неотъемлемой частью культуры торговли, и магазины самых знаменитых марок считают своим долгом иметь в штате русского мерчендайзера. Выпускники КУМа, Кругловского Университета Мерчендайзинга имени Сергея Круглова, служат в лондонских универмагах «Харродс» и «Селфриджес», в московских ГУМе и ЦУМе, именно они выставляют и переставляют товар в шведской «Икее» и во французском «Ашане». Даже в Амстердаме, в районе «красных фонарей», работают кругловские мерчендайзеры, а работа там считается очень непростой, так как товар в «красных фонарях» живой, часто с истёкшим сроком годности, с амбициями и с большим опытом самостоятельных продаж. Но кругловцы справляются, ведь за их плечами не только пятилетнее обучение в КУМе, но и вся многовековая история кругловского мерчендайзинга. В Кругловске даже дети, когда родители просят их поставить молоко в холодильник, автоматически переставляют прокисшее на уровень глаз, а свежее — на самую нижнюю полку! Видимо, у них это в крови, они появились на свет уже со знанием главного закона русского мерчендайзинга, который гласит: «Продавать надо плохое, хорошее продается само».

Конечно, феномен возникновения мерчендайзинга в старинном русском городе Кругловске и завоевания им всего мира ещё ждёт своего осмысления и своих летописцев. Ну а в самом Кругловске ждут акушеров и воспитателей детских садов, учителей и пожарных, официантов и работников ритуальных служб. Ведь сами кругловцы, кроме как переставлять товар с полки на полку, делать ничего не умеют, поэтому... Россияне! Приезжайте в тихий и славный город Кругловск, на родину мерчендайзеров! Вас ждёт здесь интересная и высокооплачиваемая работа по многим специальностям, размеренная жизнь и великолепный отдых на берегу пруда с целебной водой, который образовался на месте падения метеорита! Или на месте следа от лошадиного копыта...

А в следующих очерках о великих городах мира мы расскажем об узбекском городе Карчи, родине всех московских дворников и цыганском городе-поселении Бузеску, где зафиксировано рождение золотозубого ребёнка с бриллиантовым перстнем на пальчике. Чудеса ещё случаются на нашей планете, хотя в них уже давно никто не верит...



Александр Матлин

В МИРЕ ЧЕТЫРЁХ НАТАШ

Однажды в супермаркете я обратил внимание на сухощавого пожилого человека с бледно-рыжими усиками. Лицо его показалось мне знакомым. В тот момент, когда я посмотрел на него, он посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. Человек с усиками радостно улыбнулся и кивнул. Я понял, что он меня знает, следовательно, я тоже должен его знать. Поэтому я сказал:

— How are you?

Человек с усиками приветливо ответил:

— Можете говорить по-русски.

Я не растерялся и сказал, сделав вид, что я действительно его знаю:

— Конечно, конечно, это я так, в шутку. Как дела?

— Ничего, спасибо, — сказал мой предполагаемый знакомый, охотно вступая в разговор. — Вот вчера дочка со своим младшим сыном уехала. Гостили у меня всю прошлую неделю.

— Замечательно! — сказал я, стараясь поддержать беседу. — Как её дела?

— Неплохо, совсем неплохо. — Мой собеседник оживился, глаза его заблестели. Так блещут глаза у человека, которому предоставляется возможность беспрепятственно говорить о своих детях или внуках. — Она недавно получила повышение. Она уже два года работает в компании, которая...

Рассказ о служебных делах дочери продолжался минут десять, потом плавно перешёл на её детей, что сопровождалось показом фотографий, потом на мужа дочери, потом на его детей от первого брака, потом на остальных родственников. Семья у моего знакомого оказалась обширной и разветвлённой. Но я никуда не спешил. Я слушал, не перебивая, в надежде, что в какой-то момент



смогу понять, каким образом мы с ним знакомы. То, что мы знакомы, не вызвало сомнения, потому что он в ходе своего монолога несколько раз назвал меня по имени. Я старался придумать какой-нибудь безобидный вопрос, который натолкнул бы меня на след. Наконец, меня озарило. Я сказал безразличным тоном, как бы подчёркивая незначительность вопроса:

— Как там поживают наши общие знакомые?

Мой собеседник насторожился.

— У нас много общих знакомых, — сказал он, нахмурившись. — Кого вы имеете в виду?

Я понял, что попал впросак. Озарение оказалось непригодным.

— Ну, как кого? — сказал я. — Ну, эту... Как её...

— Наташу, что ли? — подозрительно спросил мой собеседник.

— Да, конечно, именно Наташу, — сказала с облегчением. — Как она?

Мой разговорчивый собеседник помрачнел ещё больше.

— Я не знаю никакой Наташи, — сухо сказал он.

— Но вы же сами только что...

— Меня все спрашивают про какую-то Наташу, — перебил он меня. — Мне это начинает надоедать. В нашей зелёной деревне четыре Наташи, но я не знаком ни с одной из них.

Наконец-то! Упоминание о зелёной деревне всё разъяснило. Значит, усатый живёт там же, где и я, в деревне с жеманным названием “Зелёные холмы”. На самом деле, там нет никаких холмов, да и зелень довольно скудная. И вообще, это не деревня, а самая обычная организованная пригородная застройка, то, что по-английски называется development. Одинаковые, скромные на вид, но вполне комфортабельные внутри, дома выстраиваются в улицы, улочки и тупики, и всё это огорожено непреодолимым забором. Въехать в деревню могут только её жители или их гости; это создаёт у жителей чувство безопасности и некоей избранности. Население деревни около полутора тысяч человек, из коих человек пятьдесят — иммигранты из России. Мой собеседник оказался одним из них. Может быть, даже моим соседом. Оставалось выяснить, как его зовут.

— Виктор, — сказал он, явно прочитав в моих глазах затаённый вопрос. — Меня зовут Виктор. На случай, если вы забыли. Сами знаете, в нашем возрасте память слабеет.

— Ну, что вы, что вы, — забормотал я с облегчением. — Конечно, Виктор, я знаю, как вас зовут. Витя, значит. Витюша. Ну, как дела, Витёк? Впрочем, это я, кажется, спрашивал.

— Нормально, спасибо. А как у вас?

Этот нехитрый вопрос заставил меня задержаться с ответом. Бдительность прежде всего, сказал я себе. Пятьдесят человек — не такая уж большая община, но достаточная для того, чтобы в ней плелись интриги, создавались фракции, выявлялись друзья и недруги и распространялись слухи. Любая информация про каждого русскоязычного жителя Зелёных холмов разлеталась со скоростью света и обрастала подробностями и комментариями. Любое неосторожное слово могло меня скомпрометировать или повергнуть в нежелательную фракцию. Поэтому я сказал, не вдаваясь в детали:

— И у меня нормально, спасибо.

— Как я понимаю, у вас тоже недавно гостили родственники — подсказал Виктор.

Я немного удивился, но виду не подал.

— Да, гостили — сказал я. — Двоюродный брат Коля с женой, приезжали на неделю. Откуда вы знаете?

— Что значит — откуда? У нас в деревне всё известно. Как я понимаю, Коля вам, на самом деле, не двоюродный, а троюродный брат. Ваши отцы были двоюродными братьями, правильно?

— Точно. Вы и это знаете?

— Конечно. Все это знают. Как я понимаю, Колин отец, то есть ваш двоюродный дядя, был инженером, начальником строительного управления в Свердловске. Его в тридцать седьмом посадили и расстреляли. А вашему отцу, как я понимаю, повезло: умер от инфаркта.

— Так вы, значит, знакомы с Колей?

— Нет, с Колей я не знаком. Видел один раз издалека. Но вы же знаете: у нас в деревне все всё знают. Кстати, как у вас с мочеиспусканием?

— Да вроде, ничего. Мочусь. Почему вы спрашиваете?

— Потому что у вас, как я понимаю, были проблемы с этим делом. Но уролог вам попался хороший, Шапиро. Я его знаю.

Меня поразила осведомлённость моего нового знакомого о моём состоянии здоровья. Но это было только начало. В течение следующих нескольких минут он довольно толково, не упуская деталей, пересказал всю мою историю болезней. Некоторые из этих деталей я уже не помнил, и мне было полезно возродить их в памяти. Я сказал:

— Извините, Витя, но это... мм... только вы или вся зелёная деревня так внимательно следит за моим мочеиспусканием?

— Ну что вы, — укоризненно сказал Виктор. — У нас никто ни за чем не следит. Те, кого интересует, и так всё знают.

— Кого же это интересует?

— Всех.

Мы помолчали. Я думал, как бы повежливей распрощаться со своим собеседником, чтобы его не обидеть, но, в то же время, не углубляться в дальнейшие подробности моих мочеполовых проблем. Но Витя, похоже, не хотел расставаться.

— Как я понимаю, — сказал он, — ваша жена уже вернулась из Миннесоты.

— Да, вернулась. Ездила на пару недель навестить внуков.

— На десять дней, — поправил Виктор.

Оглянувшись по сторонам и понизив голос, он добавил:

— Говорят, в её отсутствие к вам приходила какая-то блондинка. Но вы не беспокойтесь, я никому не скажу. Все и так знают.

— Ну, это уж чистая сплетня, — возмутился я. — Никто ко мне не приходил.

— В прошлый вторник, около девяти вечера, — сказал Виктор вполголоса. — Небольшого роста блондинка в светлых шортах.

— Это неправда! — Я почти кричал, от негодования срываясь на фальцет.

Самое настоящее враньё!

— Я тоже думаю, что враньё, — неожиданно согласился Виктор. — Зачем вам блондинка в вашем-то возрасте? Кстати, как у вас с этим... Ну, сами знаете, с чем... Функционирует?

— Не жалею. Впрочем, это вас не касается.

— Ага! — обрадовался Витя. — Не жалуетесь! Значит, таки пришла блондинка!

— Нет! Нет! Не приходила! — взмолился я. — И вообще, к вашему сведению, я не люблю блондинок.

— Понятно, — сказал Витя. — Значит, она была крашеная.

К счастью, подошла моя очередь в кассу, я быстро расплатился и ушёл, не оглядываясь. На парковке, загружая продукты в машину, я услышал за спиной женский голос:

— Привет! Ты что, своих не узнаёшь?

Я оглянулся. Это была моя соседка, одна из четырёх Наташ. Я видел её сегодня утром, но обряд требовал соблюдения. Мы радостно заулыбались и расцеловались, демонстрируя друг другу восторг по поводу неожиданной встречи.

— Ну, ты даёшь! — сказала Наташа, на снижая накала радости. — Не успела жена уехать, как уже... эта... крашеная... в шортах...

— Наташа, это неправда! Кто тебе сказал?

— Никто не говорил. — Наташа пожалала плечами. — Все и так знают. А ты, я видела, с этим идиотом Витькой разговаривал.

— Ты его знаешь?

— Не знаю, и знать не хочу.

— Откуда же ты знаешь, что он идиот?

— Это все знают. Мир тесен.

Я распрощался с Наташей и поспешил сесть в машину, пока не встретил кого-нибудь ещё из нашего тесного мира.

Когда я вошёл в дом, жена разговаривала по телефону и заметила меня не сразу. Я поймал обрывок фразы:

— Конечно, знаю: небольшого роста блондинка в светлых шортах.

Я понял, что надо готовиться к обороне. Но, к моему удивлению, атаки не последовало. Жена повесила трубку и сказала бесстрастным тоном:

— Всё купил, что я просила?

— Всё, кроме стирального порошка.

— А почему так долго? С Витькой трепался, что ли?

— Кто такой Витька?



— Ну, этот, с рыжими усиками, которого ты встретил в супермаркете.
— Откуда ты знаешь, что я его встретил?
— Все уже знают, — сказала жена.
— Ты что, знакома с этим Витькой?
Жена посмотрела на меня ледяным взглядом.
— Я его не знаю, и знать не хочу, — сказала она. — А про свою дочку он врёт. Никакого повышения по службе она не получила. Это всем известно.
— Понятно. Про что ещё он врёт?
— Про то самое — сказала жена, не проявляя эмоций. — Про блондинку в светлых шортах. Никакая блондинка к тебе не приходила.
Тут я, конечно, я вздохнул с облегчением. Но, с другой стороны, стало немного обидно. Я уже почти поверил в свою супружескую неверность и даже почувствовал жгучий стыд, хотя и с некоторым оттенком гордости. И приготовился к взрыву ревности. И тут — на тебе: совершенно унизительное неверие в мою мужскую порочность. Я говорю:
— Он, — говорю, — конечно, врёт. Но откуда ты знаешь, что врёт?
— Говорю, значит знаю.
— Ты что, знаешь, кто распустил этот слух про блондинку?
— Конечно, знаю. Я и распустила.
— Зачем?
— Чтобы ты вёл себя прилично в моё отсутствие. Чтобы знал, что у нас тут ничего не скроешь.

— Ты с ума сошла! — закричал я. — В какое положение ты меня ставишь перед русскоязычным коллективом?

— В очень выгодное. Ты не представляешь, как ты вырос в глазах наших женщин. Нас уже три Наташи пригласили в гости на обед. Четвёртая ещё не вернулась из супермаркета.

В этот момент раздался звонок в дверь, и жена пошла открывать. Я услышал женский голос:

— Вот, возьми. Все говорят, что тебе нужен стиральный порошок.

— Спасибо, Наташенька.

— Не за что, — сказала Наташа. — Приходите завтра к пяти на обед. С мужем, конечно. Отпразднуем его успешное мочеиспускание.



Рисунки Вальдемара Крюгера



Анна Агнич

МЕССЕНДОРФ

1

Черная буханка ночи над горизонтом, тяжелая и плотная, как бородинский хлеб. Рыжая арнаутка луны, невесомые плетенки облаков. Сколько хлеба можно купить на пенсию? Здешнего американского, легкого как поролон — пакетов четыреста. Настоящего, из русской пекарни — буханок двести. Переслать бы их в Донецк на шестьдесят с лишним лет назад, когда была война и голод, вот мама была бы счастлива. Так нет же, не перешлешь.

В Донецк он летает весной, в свой день рождения. Съездит в Макеевку, сводит бывших сотрудников в ресторан, раздаст друзьям сувениры, внукам — игрушки, детям и бывшим женам — деньги. Сходит на кладбище, посидит на лавочке у отца с матерью, покрасит серебрянкой ограду.

Вечерний бриз приносит с океана запах тмина. Да, так и должен пахнуть бородинский. Толя дышит глубоко, чтобы выветрить запах вина. На брайтонской набережной кафе работают допоздна, здесь всегда можно выпить у стойки. Водку он пьет редко, хватается стакана красного полусладкого вечером. Иногда жена сама наливает, а иногда пугается, что он сопьется, и начинает таскать по врачам, по гипнотизерам-шарлатанам. Эх, Оля-Олечка, не жила ты в шахтерском городе, не видала, как люди спиваются. Стакан красного — это так, для настроения.

Толя достает аптечную баночку, отковыривает крышку, высыпает на ладонь немного черного чая. Ветер сметает чайники на доски набережной. Ничего, в баночке есть еще. Пожевать чайных листьев, они убивают запах вина — и домой, там Оля ждет, не ложится. Зайти еще только купить цветов — за углом круглосуточный магазин.

В первые месяцы в Америке искал любые подработки, посуду в ресторанах мыл по ночам, а жена у него без цветов не сидела. Мать, помнится, срезаных цветов не любила, называла зряшной тратой, говорила: «Без брюк, но с тросточкой в руке». И еще говорила: «Так они и жили, дом продали, а ворота купили». У нее на каждый случай находилась поговорка, а чаще всего она говорила: «Все ничего, лишь бы не было войны».

2

Сорок третий год, двухэтажные бараки на окраине Донецка, керосиновая лавка, немецкие мотоциклисты. За железной дорогой базар, оттуда Толя с мамой приносят хлеб, картошку, изредка немного сала или молока.

В первое время как немцы заняли город, денег на базаре не брали, продукты меняли только на вещи. Потом стали принимать советские купюры и мелочь. В сорок втором немцы напечатали карбованцев, но мелкие деньги ходили прежние: монеты с советским серпом и молотом, желтые рубли, зеленые трехрублевки. Больше всего Толе нравились трешки, на них нарисованы красноармейцы с винтовками и в касках. Мама всегда давала ему полюбаваться, когда попадались трешки.

— Это они нас освободят идут, — бормотал Толя, разглаживая купюру на колене. — К нам они идут, все вместе, много их: раз-два, раз-два... и папа с ними!

Отец воевал на фронте, писем от него не было — да какие письма, оккупация же. Но мама все равно заглядывала в почтовый ящик и закрывала жестяную крышку осторожно, будто боясь потревожить зародыш будущего письма, незаметно зреющий в темноте у ящика внутри.

Ребята во дворе говорили: наши уже освободили Краснодар и Харьков. К середине марта земля посредине двора тоже освободилась, не от немцев, так от снега, и просохла немного, стало можно играть в расшибалочку. Шла первая в этом году игра. Толя пробежал мимо: мама послала на соседнюю улицу отдать долг, полтора рубля мелочью в завязанном на двойной узел носовом платке. Остановился посмотреть, и сам не понял, как развязал зубами платок и поставил на кон все деньги. Риск был невелик, Толя бросал биты не хуже старших, хотя ему только что исполнилось семь. Но в тот раз не повезло: пришлый Рожа из бандитского двора с первого броска попал в казенку, сгреб выигрыш и повернулся уходить. Ребята его не пускали, кричали, что так не делают, пусть играет дальше! Рожа всех растолкал и ушел в свой двор. Туда соваться не стали, пошумели и принялись гонять в казаки-разбойники.

Толя с ними не играл. Домой тоже не шел, бродил по улицам, вглядывался в замусоренную землю — если хорошо искать, можно найти оброненные кем-то деньги. Даже помолился на всякий случай:

— Господи, если ты есть, пожалуйста, помоги мне найти полтора рубля!

Именно полтора — лишнего не просил, так скорее исполнится. Но денег на земле не было, и Толя бродил и бродил по улицам, тоскливо и долго, до самых сумерек. Он не боялся наказания — бить его некому, отец на фронте, а мать жалела.

Домой пришел, когда уже начинало темнеть. Стоял в дверях, смотрел в пол.

— Что, сынок? Не донес? Ничего, бывает. Бывает, и вошь залает. Умывайся да садись за стол, с утра ж не евши.

Сперва картоха без масла не лезла в рот, но скоро он разохотился и дочиста выскреб миску. На закуску мама дала полстакана простокваши. Сама не пила — в то время она вдруг разлюбила молоко, только вздыхала и говорила, что цены на базаре кусаются как бешеные. Толя представлял,

как рычат и кусаются цены — раньше, до войны, это казалось смешным, но теперь думать об этом было совсем не весело. Даже на сытый желудок не весело, потому что голод все равно сидел внутри, просто временно спал, пока в довольном животе нежилась картоха с простоквашей.

Вечером мать покопалась в шкафу, повздыхала и уложила в кошелку лучшее довоенное платье. Проснулся Толя рано, но матери не было — ушла на рынок. Сколько раз говорил, чтоб не ходила без него! Уже было попала в облаву, хорошо он тогда сумел ее вывести через заднюю стенку скорняжной лавки, там доски можно раздвинуть и вылезть, если кто не очень большой. Он знал все входы и выходы, с мальчишками облазил в районе каждый закуток.

Умываться не стал, все равно мать перед обедом заставит мыть руки, лицо и уши. Ладно лицо и руки, но уши зачем? Они и так чистые. На столе под полотенцем лежал завтрак — горбушка черного хлеба, посыпанная солью. Хотел сразу не съедать, растянуть на подольше, но хлеб кончился, еще когда Толя переходил двор. Он вышел на пустую улицу, побежал в сторону базара. На полдороге встретил соседку, она шла и подвывала на ходу, платок съехал на сторону, узел волос распустился, космы свисали по плечам. Увидела Толю, заголосила громче. Он еле смог разобраться, что на рынке облава, забрали всех, кроме стариков и калек. Забрали, оцепили и повели на вокзал — а там уже стоят вагоны.

Он побежал к железной дороге, издали слыша крики и собачий лай, и даже одну автоматную очередь. Поднырнул под оцепление, нашел в толпе мать, схватил за руку, потащил к вагонам — может, удастся пролезть под ними и вылезть с другой стороны или еще уйти как-нибудь. Уйти не получилось — немцы охраняли поезд плотно со всех сторон. Людей загнали в теплушки и повезли в Германию.

3

Везли долго, с остановками. Из вагонов не выпускали, кормили раз в день ячменной кашей. Выгрузили на какой-то станции, Толя не знал на какой, он тогда не умел читать по-немецки. Их повели в баню, потом с десятком таких же захваченных на базаре людей посадили в грузовик и привезли на распределительный пункт. Там их выстроили в ряд. Они стояли, а вдоль ряда ходили хозяева, бауэры по-здешнему, присматривали себе работников. Маму с Толей выбрал толстый румяный бауэр, посадил в подводу и привез на ферму. Там уже работало человек пять поляков. Мать доила коров, убирала хлев, задавала скоту корм, Толя ей помогал. Работа была тяжелой, с раннего утра и до вечера, но кормили сытно. Спали в сарае на соломе все вместе — и мужчины, и женщины.

Мама быстро сдружилась с поляками, научилась их языку — польский похож на украинский. В Толиной семье говорили по-русски, но по-украински тоже понимали.

Одна из полячек убирала у хозяина в доме, ей удавалось подслушать новости, через нее и узнали весной сорок четвертого, что советские войска вступили в Польшу. Мама заплакала, стала говорить, что наши вот-вот придут — скорей бы!

Утром все пошли на работу, а матери с Толей хозяин велел остаться. Запряг коня, посадил их в подводу и повез обратно в распределительный пункт. Сказал по-немецки, но мать поняла:

— Мне не нужны такие работники, что ждут не дождутся Красную Армию.

Их поставили в ряд вместе с теми, кого пригнали недавно. Толя посмотрел вдоль ряда: мамино лицо было глаже и розовей, чем серые после поезда лица оголодавших в оккупации людей.

Он крепко держал маму за руку. В прошлый раз так не боялся — тогда он слишком устал, все было внове, ничего не понять, будто спал на ходу. Теперь ему было по-настоящему страшно — он уже наслушался историй и знал, что их с мамой могут разлучить. Чего он боялся, то и произошло: один бауэр выбрал маму, а сына не захотел. Мама просила, обещала, что мальчик будет работать, никому не помешает, Толя вцепился в ее руку и орал изо всех сил. Собрались люди, поднялся шум, немцы спорили, что-то друг другу доказывали. Над Толей склонился старик, он все повторял: «Их бин Ханс, их бин Ханс», — и показывал себе на грудь. Мама тоже стала Толю уговаривать, и в конце концов он понял, что его возьмет к себе этот старый бауэр по имени Ганс, он живет рядом с фермой, куда забирают маму.

4

У нового бауэра мама ухаживала за свиньями. Говорила, с коровами было лучше, но что было, то сплыло, а бывшее бльем поросло. По вечерам Толя ужинал с семьей старого Ганса и бежал к маме, с разбегу перепрыгивая широкий ручей, разделявший фермы. Забирался на чердак, где спали работники, они с мамой обнимались, зарывались поглубже в сено и шептались, пока не засыпали, прижавшись друг к другу для тепла и утешения. Рано утром бежал обратно — мамин хозяин не любил, когда чужие болтались в его дворе.

Толе было уже восемь лет, он помогал по хозяйству, и еще оставалось время поиграть с младшей внучкой Ганса, Луизой. Она была неулыбчивой девочкой, пухлой и белокожей, с тонкими желтыми волосами, похожей на куклу — Толя видел такую в витрине, когда старый Ганс брал его с собой в город на почту. Луиза бегала за Толей всюду, даже на скотный двор, хотя ей туда не позволяли ходить. Услышишь ее голосок: «Анатоль!

Анатолю!» — и вроде становится веселей. Если он был занят, Луиза ждала, тихонько играла неподалеку.

Ее старший брат Вальтер донимал их обоих, норовил толкнуть, вроде нечаянно, или как-нибудь прицепиться. Драться не дрался — ему Ганс запрещал, грозил выпороть, а порки Вальтер боялся. Гаже всего было, когда Вальтер назло обижал Луизу, потому что видел, как это задевает Толю. Приходилось терпеть: не прогнали бы. И Толя сжимал кулаки и терпел, хотя пару раз чуть не сорвался.

Еще на ферме жила молчаливая жена Ганса и старшая внучка, семнадцатилетняя Марта. Обе они тоже работали — и в доме, и на скотном дворе.

К сентябрю молчаливая хозяйка фермы перешила на Толю старый шерстяной костюм Ганса, щедро подвернув ткань в рукавах и штанинах — на вырост. Ганс отвел Толю и Вальтера в школу. Маленькая Луиза стояла в воротах фермы и плакала.

Учитель посадил Толю на заднюю парту и велел помалкивать, не высовываться. Но это не помогло — школьники подняли бунт. Больше всех разорвался Вальтер, он кричал, что никто не сможет его заставить учиться в одном классе с рабом.

Толя вернулся на ферму раньше времени и не хотел никому рассказывать, что случилось. Наутро старый Ганс надел парадный костюм, взял Толю за руку, привел на школьный двор и велел подождать. Вышел не скоро, лицо у него было красным. Взял за руку влажной, дрожащей ладонью:

— Идем, Анатолю. Я сам тебя буду учить.

Занимались после обеда, когда молчаливая старуха ложилась отдыхать. Луиза садилась рядом, смотрела в книжку и шевелила губами, тихонько повторяя за Толей немецкие буквы.

Зимы в Германии сырые, туманные, но в том году еще до Рождества ударил мороз. Ручей, разделяющий фермы, схватило льдом. Толя бежал к маме, разогнался прыгнуть, поскользнулся — и упал в темную воду, проломив лед. Холод ощущался как ожог. Разгребая острые куски льда, выбрался из воды и побежал обратно на ферму. Заколотил в дверь, не чувствуя пальцев, его била дрожь, стучали зубы. Открыла Марта в ночной рубашке, волосы заплетены в две косы на ночь. Ловко раздела его, растерла шерстяной фуфайкой, завернула в одеяло и напоила горячим молоком со шнапсом. Толя навсегда запомнил ощущение тепла и сонного покоя, что охватило его, восьмилетнего, завернутого в толстое ватное одеяло на заснеженной ферме в немецком селе Мессендорф.

5

Весной сорок пятого, как только к селу подошли наши, мама взяла Толю и уехала домой. Не ждала, пока официально освободят, не слушала ничьих советов, а подхватила и в общей неразберихе поехала на восток

— на попутках, на каких-то подводах, через Польшу и Львов. Толя болел, у него был жар, он плохо помнил, как оказался дома. Их комнату в бараке никто не занял, кой-какую утварь сохранили соседи, а главное, их ждали письма от отца — целая пачка. Война с немцами закончилась, но шла еще другая война, на востоке, значит, отец был там.

В Донецке Толя пошел в первый класс, потом сразу в третий. Костюм, перешитый женой старого Ганса, был его единственной приличной одеждой: и в школу, и на праздник. Мама каждый год выпускала подогнутую ткань рукавов и штанин — до тех пор, пока выпускать стало нечего. Ткань оказалась добротной, костюм Толя носил до седьмого класса, пока вдруг не вырос за лето чуть не на полметра и не перерос отца.

6

Мама умерла в шестидесятых, в июле, за неделю до своего дня рождения. Толя заранее купил подарок — шерстяную югославскую кофту, два часа простоял в очереди на солнце. А подарить не успел. Он был уже взрослым женатым мужчиной, но скучал по ней, как ребенок. Говорил:

— Она была такой человек, такой человек... — и замолкал, не мог продолжать.

Мама приходила во сне, почему-то всегда под утро, улыбалась издали, не приближалась, не давала себя обнять — и Толя плакал навзрыд, как маленький.

Жил он все так же в Донецке, только уже не в бараке. Работал в НИИ, занимался безопасностью шахт. Сделал первое свое изобретение. Тетка в патентном отделе посоветовала вписать в заявку начальников.

— Спасибо, не хочу, — ответил Толя спокойно, хотя все дрожало внутри.

— Подумайте, — сказала тетка. — Без нужных имен все равно не оформят внедрение.

Заявку он сделал по-своему, внедрение оформили и пустили в серию — то ли повезло, то ли идея была хороша.

Он создал себе репутацию чудаковатого гения, ему было можно то, чего нельзя другим. Когда родился сын, с работы стал уходить на час или два раньше. Начальник терпел неделю, потом не выдержал, спросил:

— Не рановато ли, Анатолий Тимофеевич?

— Сколько я делаю за полдня, другие за два дня не наработаю, — сказал Толя, взял портфель и пошел домой.

У проходной закурил, оглянулся — сотрудники смотрели из окон. Кто-то поднял большой палец. Жаль, за ближующим окном было не разглядеть кто. И вот что странно: коллеги не возмущались. Может потому, что его любили в отделе. Его всюду любили — такой он был человек.

7

В конце восьмидесятых уехал в Израиль лучший Толин друг. Теперь тех, кто уезжал, не осуждали на собрании, не клеймили предателями родины. Приходили на отвалы, обещали писать друг другу — и в самом деле писали. На проводах кто-то спросил, когда Толя думает ехать.

— Никогда.

— Ну да, ты ж не еврей. Бывает.

Примерно в это время Толя перестал изобретать. Что-то изменилось в нем, он больше не подхватывался в четыре утра с идеей, как обойти проблему с модифицированным кожухом мотора. С работы все еще уходил раньше времени, хоть и понимал, что не заслуживает этого больше, но торчать в лаборатории не было сил. Раньше играл на трубе, выступал с любительским оркестром, в доме культуры занимался бальными танцами — теперь все бросил.

О двух годах в Германии вспоминал редко. Когда-то мечтал, что придет в Мессендорф нынешним — взрослым, высоким, овладевшим уважаемой профессией инженера, пройдет по городку, где один день учился в немецкой школе, навестит ферму, выпьет пива с Гансом, обнимет красавицу Марту и маленькую Луизу. Но со временем стало понятно, ни в какую Германию ему не выбраться — и он перестал об этом думать.

Дети выросли, жили отдельно. Умер отец. Звонила первая жена, жаловалась на нового мужа. Со второй тоже не складывалось. Ведь была же любовь, но как-то быстро все пропало, ушло.

С утра наваливалась необъяснимая тоска, и самым скверным в ней была именно необъяснимость. Пусто было все, пусто и бесцельно. Он сильно напивался — отпускало на время, потом делалось хуже.

Легче стало, когда родилась внучка. Брал ее, крохотную, на руки, наклонялся к макушке, вдыхал воробьиный запах детских волос, как обычно делают женщины. После работы шел к сыну, брал коляску, вез внучку в парк. Она спала в тени деревьев, он играл в шахматы. Если девочка пицала, качал коляску, не переставая думать над ходом. Не позволял никому из чужих брать ее на руки — нечего тут грязными лапами. Пусть своих заводят, нечего тут.

Вечером, как обычно, выпивал стакан красного полусладкого, по выходным пил с друзьями — не спеша, под сигареты, разговор и закуску. Жизнь устоялась, он не ждал перемен.

Весной девяностого поехал в санаторий сопровождающим, как ездил уже не раз, повез товарища, покалеченного в шахте. И там, в Крыму, встретил Ольгу.

8

Советское время было на излете, но порядки в санатории оставались прежними: отдыхающие по профсоюзным путевкам, женщины в лучших платьях, мужчины при плечистых пиджаках. Гулкая столовая с люстрами, ва-

фельные полотенца на спинках кроватей, кефир с ложкой сахара перед сном. На холодном апрельском пляже тела мужчин были белыми, а шеи, лица и кисти рук — коричневыми. Цвели странные деревья: из стволов, прямо из черной коры торчали на коротких стебельках пучки ярко-розовых цветов.

В первый день он шел по дорожке вдоль террасы, на асфальт упала сумочка в золотых чешуйках, звякнула цепочка ручки. Он поднял глаза — на террасе стояли две женщины. Одна смеялась, другая смотрела серьезно.

— Будьте добры, эта дорога по этой дороге? — сказала серьезная, и взмахнула рукой. На солнце блеснули перламутровые ногти.

— Не знаю... я сам только приехал.

Смешливая прыснула. Толя сказал:

— Впрочем, все зависит от того, кто спрашивает. Вот вы — чего вы хотите?

— Булочка, чего мы хотим? — обернулась к подруге серьезная женщина.

Та, давась смехом, пискнула:

— Ничего...

— Всего, — сказала женщина и посмотрела Толе в глаза, задержав взгляд дольше, чем это принято у незнакомых между собой людей. — Но для начала, будьте добры, подайте мою сумку.

Толя поднял сумочку, положил на перила террасы — желтая цепочка щекотно скользнула вдоль предплечья. Женщина сказала:

— Благодарю вас.

Коснулась его запястья, медленно провела подушечками пальцев по тыльной стороне ладони так естественно, как если бы это был обычный жест благодарности. Потом взяла подругу под руку и ушла, опираясь на палочку. Здесь многие ходили с палками и костылями, такой санаторий. Смешливая женщина оглянулась, серьезная — нет.

Вечером на танцплощадке он заметил ее — стояла с той же подругой, румяной и пышной, в самом деле похожей на булочку. Заиграли вальс. Толя пересек пустую середину зала, выдержал паузу, наклонил голову:

— Танцуете?

Женщина подняла к нему лицо — она была трогательно мала, ее макушка не доставала ему до плеча — и вдруг голосом пятилетней девочки пропела детскую дразнилку:

— Дяденька, достань воробушка!

Потом, когда вспоминали, она смеялась и говорила: не было этого, он все выдумал. А Толя помнил — было.

— Хоть звездочку с неба, — ответил он быстро, как называют условленный и затверженный пароль.

Женщина отдала палочку подруге, сделала несколько шагов к центру зала, балетным жестом подняла руку, описала ею плавный полукруг и положила Толе на плечо. Красиво, — подумал он.

Поначалу она оберегала левую ногу, но скоро поняла, что ему можно довериться, этот не уронит. Осторожно выясняя возможности друг

друга они двигались все свободней, шаги увеличивались, скорость росла, они меняли направление и под конец сделали две невысоких поддержки. Вальс кончился, они стояли посреди зала, не разнимая рук. Кто-то хлопнул в ладоши.

— Разрешите представиться? Анатолий.

— Ольга. Кстати, моего мужа зовут Толей.

— А у меня жена Оля.

Он не сказал, что почти разведен, она не сказала, что муж два года как умер. Оба знали: так лучше для курортных легких отношений.

9

Сблизились быстро — в санатории, если заводишь роман, нужно все уместить в двадцать восемь дней. У них и того времени не было, Оля была здесь уже неделю, так что ее путевка кончалась раньше. Вокруг Оли успела образоваться компания, семь или восемь мужчин и женщин, они ждали ее у столовой после ужина, когда уже не было процедур, смеялись ее шуткам, исполняли придуманные ею розыгрыши — словом, служили той свитой, что на сцене играет короля. То есть королеву.

Оля ничего не делала обыкновенно. Говорила умно, шутила остро, молчала выразительно, слушала с лестным вниманием, танцевала лучше всех, рассказывала невероятные истории из журналистской жизни — во всех ее движениях и словах была энергия, веселая, заразительная, привлекающая сила.

Толя увел ее от компании. Им было хорошо вдвоем. Она много рассказывала о своей жизни: работа в газете, признание, почет, успех, поездки по всему Союзу, лучшие в мире дети и внуки. Она ничего не скрывала, даже свой возраст объявляла при первой возможности — ей было весело смотреть, как все удивляются. И все же Толя чувствовал, чего-то он в ней не видит, что-то не складывается, как если бы он смотрел на картину, где нет теней.

В последнюю ночь они не спали — гуляли по аллеям, сидели на влажных от росы скамейках, он подстирал ей свою куртку и укутывал свитером от ночного воздуха. Утром проводил в Симферополь к поезду.

— Оля, милая, когда я увижу тебя?

— Тридцатого июля, в мой день рождения. В дверь стучать ногами.

— Почему ногами? — спросил он, давая ей пас, как в футболе.

— Ну, руки же у тебя будут заняты розами и шампанским!

Он взял ее адрес, но не писал и не звонил — ни разу за три месяца. Тридцатого июля сел в самолет и к вечеру стоял у двери на пятом этаже облицованного кафелем дома в новом районе Киева с красивым именем Оболонь. Шампанское, охлажденное и завернутое в свитер, лежало в до-

рожной сумке, розы он держал за спиной. Думал: я сошел с ума, она же пошутила. Ее просто не окажется дома.

Послышался стук каблучков, и Оля, не спрашивая, кто там, широко распахнула дверь. Улыбчивая, нарядная, причесанная. В комнате стол накрыт на двоих.

Спустя годы Толя рассказывал об этом, и его глаза краснели, голос становился тихим, как если бы он рассказывал о чуде. Накрытый на двоих стол особенно трогал его. Вот ведь какая женщина: ждала, верила, что придет. А если бы он забыл? Удивительная, невероятная женщина!

Шампанское они открыли уже под утро. Забыли охладить бутылку, пробку вышибло, постель залило вином. Оля рассмеялась и слизнула каплю со своего голого плеча.

10

Толя так никогда и не узнал, что она вовсе не ждала его — мало ли, курортный роман, сколько их было. Стол накрыла на всякий случай, вдруг кто заглянет. Заглядывать, правда, было особо некому: сын с женой в экспедиции, старший внук о дне рождения бабушки никогда не помнит, дочь с младшими внуками уже полгода в Нью-Йорке. Постоянного поклонника в тот момент не случилось, слишком была занята — продавала книги и мебель, заказывала платья, готовилась ехать в Америку.

Нет, она его не ждала, не думала даже о нем — по крайней мере, так через много лет она сказала дочке Алене. Впрочем, она могла так сказать потому, что не хотела признаться, что кого-то ждала — даже себе не хотела признаться. Не любила зависеть ни от кого.

В нее влюблялись, а она, когда ослабевал первоначальный восторг поклонника, уходила легко и без сожалений. У нее не было давних друзей. Новые — очарованные и восхищенные, появлялись часто, а старых не было.

11

Проснулся Толя от того, что кто-то топал над головой и чем-то громко стучал. Солнце светило в окно, отражалось от полированной поверхности стола и ложилось на потолок. Ветер с Днепра раздувал занавеску. Оля сидела в кресле — с чашкой и книжкой. Поставила чашку на столик, потянулась, взглянула на потолок:

— Это соседский мальчик наверху, уморительный такой. Люблю, как он бегает по утрам — топ-топ-топ. Знаешь, мы с дочкой Аленькой специально ходили в центральный универмаг любоваться детскими одеж-

ками, они такие крошечные. Полбуемся — и идем гулять по Крещатику. Аленка любила есть из алюминиевых вазочек мороженое в Пассаже.

— Повезло Аленке с мамой, — сказал Толя. — И моя мама, знаешь, она была... такой человек... Нет, не могу, прости меня, не могу об этом. Она умерла от рака груди.

Оля помолчала. Взяла чашку со столика, повертела в руках. Сказала, сосредоточенно глядя в пустую внутренность чашки:

— А у меня не было мамы. Я воспитывалась в детдоме.

И в этих словах была такая горечь, такая тоска, что Толе показалось: наконец-то он понял ее до конца. Вот зачем, — подумал он, — вот почему ей нужно все это внимание, признание, поклонение. Просто у нее не было мамы.

В груди защемило, он прислушался и узнал — это чувство вины, он ощущал его физически как щиплющую, горячую, тяжелую жидкость. Почему его не было рядом с Олей? Он смог бы любить ее так, чтоб утолилась, исчезла, затянулась ее тоска. И не важно, что когда Оля была в детдоме, его еще не было на свете, все равно вина была — не рациональная, но сильная и понятная.

12

Толя стал летать в Киев каждый выходной. Зимой получил в профкоме путевки в дом отдыха, поехали вместе. Называли себя мужем и женой, но расписываться Оля не хотела, все равно ей улетать в Нью-Йорк. Он надеялся уговорить ее остаться: да, там дочь и внуки, но здесь сын, тоже внуки — и он, Толя. Она отвечала уклончиво.

Ходила она уже без палочки — нога зажила, кости срослись, но в доме отдыха опять сломала колено — то же, левое, что и год назад. Она его не раз уже ломала, левая нога была с детства слабее и тоньше правой. Толя носил ей в больницу фрукты с базара, травил шахтерские байки, какие поприличней, приносил шахматы. Она удивительно хорошо играла, почти вровень с ним — на уровне третьего разряда, но так рискованно и авантюрно, что каждая партия была приключением.

В Киеве на вокзале их встретил Володя, Олин сын. Принес легкий венский стул гнutoго дерева, Олю усадили и донесли вдвоем до такси как королеву. Толя оправдывался:

— Представляешь, Володя, на минуту отвернулся в столовой — на одну минуту всего, а она раз — и упала. Ух, быстрая какая! Там официантка чай пролила, а я не видел, не удержал.

— Компот, — в который раз поправляла Оля. — Не чай там пролит был, а компот.

Он ухаживал за нею преданно, ловко и небрежливо. На вторую неделю она тайком от врача ножом разрезала гипс, стала снимать его и разра-

батьвать колено. Это очень больно, но она всегда так делала, чтобы не хромать. Толя клал руку ей на колено и долго держал — они оба верили, что его рука уменьшает боль. Оля, может, не очень верила, но не признавалась.

Пожились перед самым ее отъездом. Собрали родственников, Володя сделал плов — сразу и свадьба, и проводы. В Нью-Йорк Толя звонил каждый день, на телефонные разговоры просаживал ползарплаты, как раньше на полеты в Киев. Через полгода бросил работу, бывших жен, детей и внучку, могилы матери и отца — и уехал в чужую страну, где кроме Оли у него никого не было.

13

Поселились они в русском районе, в одном квартале от моря. Ветер нес с океана соленую водяную пыль и желтый песок, по дощатому настилу набережной гуляли компании старичков и подростков, ковыляли на каблучках надушенные дамы с презрительным выраженьем лиц, звонили велосипеды, спортивные мамы в шортах толкали коляски с большими колесами, бабушки отгаскивали внуков от железных мусорных бочек, выкрашенных веселой зеленой краской. Оле нравилось подслушивать здешние разговоры. «Я его так кэрала, так кэрала, а он ушел...» «Каждую неделю покупаю баночку икры. Не могу в этом себе отказать. Просто не имею права!...» «И вот, когда меня в третий раз вызвали в КГБ...».

Летом работали в русском доме отдыха в Кастильских горах. С утра Толя чинил все, что ломалось — от дверных замков до электропроводки, потом чистил бассейн, а с десятидо пяти дежурил на спасательской вышке. Оля занималась детьми отдыхающих, ставила спектакли: со старшими сказки из «Тысячи и одной ночи», с младшими «Красную шапочку». Волк был в спектакле один, а Красных шапочек двенадцать. Почему бы и нет, если каждая девочка хочет играть главную роль?

Каждые два-три года Толя летал в Донецк. Оля заранее копила деньги на билет и сама выбирала наряды для его внучки — что-нибудь бархатное, с блестками. Съездили в Израиль, на могилу Олиной сестры. В Тель-Авиве бывшие Толины сотрудники устроили вечер, говорили о Толе хорошо, даже восторженно — было приятно, что Оля слышит. Новое тысячелетие встречали в Париже, в маленьком ресторане с видом на Эйфелеву башню.

Теперь, когда заграница сделалась достижимой, Толя чаще вспоминал немецкую ферму, где жил ребенком шестьдесят лет назад. Представлял, как приедет, пройдет по знакомым местам, перепрыгнет ручей на границе двух ферм, сходит на могилу старого Ганса, найдет Луизу и Маргу. Они еще не старые, особенно Луиза. Узнают ли они его? Вспомнят ли? От этих мыслей билось сердце, как от трех чашек двойного эспрессо.

В библиотеке искал Мессендорф на карте, не мог найти. Не было такого села — исчезло, испарилось, пропало без следа. Был город Мессендорф в Австрии, но мама, помнится, говорила, работали они неподалеку от Польши. Да и сам он знал, что Австрия тут ни при чем.

За поиски взялась Оля со свойственной ей энергией. Она связалась с архивами и музеями, нашла общественные организации, где для нее писали запросы по-немецки и по-английски, и после года поисков отыскала место, название которого помнил Толя. Село, оказывается, переименовали после войны. Теперь оно звалось Мезина, и было не в Германии, а в Чехии, почти на границе с Польшей.

14

В самолете Толя не мог ни спать, ни читать. Хотел попросить стюардессу принести вина, но вспомнил: у Оли период страха перед мнимым его алкоголизмом, так что нужно перетерпеть. Он закрывал глаза и видел аккуратную ферму, темноватые чистые комнаты, скотный двор, старого Ганса, его семью. Прошлое становилось недавним, реальным, длящимся. Луиза, маленькая Луиза — как он, оказывается, скучает по ней. И Марта... добрая славная Марта.

Если на ферме живет Вальтер — как он встретит, поможет ли найти сестер, покажет ли могилу Ганса и его молчаливой жены? Или не станет даже разговаривать? Можно тогда расспросить соседей, Толя говорит по-немецки, язык не забылся за столько лет.

Из Праги добрались электричкой до ближнего к Мезине города. Толя узнал мощенную булыжником площадь, шпиль костела над крышами, разноцветные одноэтажные дома — в этом городе мало что изменилось. Где-то здесь была школа, куда он ходил один день, хорошо бы найти ее на обратном пути. Оля углядела в витрине хрустальную вазу, захотела привезти ее в подарок дочке Алене — именно эту и никакую другую. Купили две почти одинаковых, они оказались дорогими и довольно тяжелыми для своего небольшого размера, но Толя никогда не спорил с женой о покупках. Он только подумал, что когда вернется в Прагу, надо будет купить цветов. Тем более ваза есть, даже две.

В село, к самой ферме, ходил автобус. Им сказали, здесь всего несколько остановок, и они пошли пешком. Остановки были не городские, шли долго. Оле попадали камушки в босоножки, приходилось останавливаться. Толя приседал, расстегивал ремешки ее маленьких босоножек, вытряхивал камушки, а она, стоя на одной ноге, держалась за его плечо.

Волнуясь, Толя описывал, что будет за той рощей, за тем домом — и каждый раз оказывался прав. Он хорошо помнил эти места. На полдороге повезло, поймали такси. Шофер не говорил ни по-русски, ни по-английски,

ни по-немецки, так что Толя рукой показывал, куда ехать. Остановил такси там, где ручей подходил близко к шоссе. Вода текла в заросших травой берегах точно так же, как много лет назад. Спустились поближе к ручью. Толя сел в траву среди тонких берез, Оля — ему на ноги. Он никогда не позволял ей сидеть на сырой земле.

Ветки занавешивали их, затеняли солнце, деревья вокруг казались теми же, что росли тут когда-то. Хотя, наверное, старые умерли, а новые выросли и повзрослели.

Удивительно ясно чувствовалось мамино присутствие. Здесь она казалась ближе, чем даже на кладбище в Донецке.

— Мама была такой человек, такой человек... — сказал Толя и замолчал, не смог говорить дальше.

Оля положила голову ему на грудь и, кажется, уснула. Устала, бедная. Посидели еще немного, потом она вздохнула, подняла голову, открыла сумочку, подкрасила губы, встала. И они, держась под руки, пошли к ферме старого Ганса.

С поля, огороженного кривыми жердями, внимательно, будто стараясь их запомнить, смотрела грязно-белая кобыла с бельмом на одном глазу. Толя споткнулся на неровной дорожке, ведущей к дому, чуть не упал, схватился за каменный столбик ограды, вазы в сумке звякнули, но, кажется, уцелели. Раньше дорожка была глаже — или он забыл. Нет, не забыл, он узнавал эти камни — и видел, как их перекосило и вздыбило время.

Толя стоял у ограды, к двери не шел. Дом плавал в глазах, менял очертания, изгибался, будто сквозь воду или неровное стекло. Оля прошла вперед и нажала кнопку звонка.

Дверь открыла стриженная старуха в грязном фартуке. По-немецки она не говорила, но довольно сносно объяснялась по-русски. Ее семья жила тут с конца войны, старуха не знала, куда делись прежние владельцы, не знала даже их имен. Приехал на мотоцикле сын, тоже ничего не мог сказать. Нет, не было в Мезине никакой немецкой семьи, никто и не слышал даже, чтоб здесь когда-нибудь жили немцы. Вот они — чехи, и все соседи чехи, а немцев нет. Это чешская земля.

Оля попросила разрешения войти в дом. Их впустили неохотно, не дальше гостиной, но этого было довольно: Толя увидел знакомую темно-вагую комнату, теперь она казалась ниже и тесней. Мебель была другой: тонконогая, легковесная, вышедшая из моды мебель семидесятых, и только в углу стояли старые часы в тяжелом полированном корпусе. Блестел золотом циферблат, за стеклом неподвижно висел маятник и две золоченые гири. Толя вполголоса сказал жене:

— Подойди, взгляни на часы. Слева на корпусе царапины крестом. Там, возле стенки. Немного дальше. Нашла?

Оля под напряженным взглядом хозяев провела пальцами по боковине часов. Оглянувшись, кивнула. Царапины были на месте. Она поблаго-

дарила хозяев, попрощалась за двоих: за мужа и за себя. Толя, обычно вежливый, молчал.

На улице было безветренно и жарко. В зените пела невидимая птица. Грязно-белая кобыла с бельмом посмотрела на них внимательно — и отвернулась.

— Царапины, — усмехнулся Толя, — это Вальтера работа. Хотел свалить на меня, да разве Ганса обманешь? Если б он звезду нацарапал... Ну и пороли его! Визжал как свинья.

На соседних фермах ничего не знали о семье Ганса, вообще не помнили, кто здесь жил. Или не хотели говорить. Толя точно помнил, вся округа Мессендорфа была немецкой, все села и фермы. А теперь никого. Куда могли деться люди? Как вышло, что они были зачеркнуты, вымараны из жизни? Толя молча брел за женой от фермы к ферме, молча сел в автобус. Он уже что-то понял, но еще смутно, еще не мог сказать этого даже себе.

15

Они вернулись в город, зашли на почту. Оля разговорилась с пожилой чешкой, та хорошо понимала по-русски, в ее время в школе еще учили русский язык. В Чехии старшее поколение знает русский, а младшее — английский. Женщина неохотно сказала, что немцы ушли отсюда в сорок пятом году. Никаких подробностей она не знала. Оля нашла музей, выпрашивала, настаивала: где можно узнать, как найти семью Ганса, есть же какие-то документы, архивы? Но в музее тоже ничего не могли сказать. Или не хотели.

Они приехали в Прагу и там, на Вацлавской площади, на втором этаже стеклянного книжного магазина, молодой продавец с серьгой в ухе сразу понял, что им нужно. Он принес недавно изданный альбом о депортации немцев, живших в Судетах несколько сотен лет. В написанном по-английски предисловии было сказано, что эта тема в Чехии была под запретом до самого недавнего времени, до середины девяностых годов. Если бы Толя приехал несколько лет раньше, то ничего не узнал бы.

Он смотрел фотографии, читал английские подписи, описания убийств, изнасилований, погромов и пыток, видел тела, брошенные на мостовой. У немцев отобрали дома, их согнали в лагеря, запретили ездить на велосипедах, ходить по тротуару, посещать кино и рестораны, в магазины они могли входить только в определенное время. Они были обязаны носить на рукаве белый лоскут с буквой «К». Непонятно, почему «К», но какая разница... Их использовали как рабов на тяжелых работах, издевались и убивали на улицах просто так — за то, что немцы. Три с половиной миллиона депортированных, несколько сотен тысяч убитых. Или больше — об убитых точных данных нет.

Отыскать семью старого Ганса было невозможно, Толя даже не знал их фамилии. Что с ними случилось, как они пережили депортацию? Страшно было думать о семнадцатилетней Марте, она была очень красивой девушкой.

В затылке давило, как в паровом котле, у которого забился клапан. Почему-то особенно мучило, что он ничего не знал, все эти годы воображал, как Ганс и его внуки благополучно живут на чистенькой ферме. Что изменилось бы, если б он знал? Непонятно почему, но что-то для него изменилось бы.

Из книжного магазина на пражскую улицу вышли в сумерках.

— Олечка, — сказал Толя, — разреши? Мне нужно.

Зашли в первый попавшийся ресторан, официант принес бокал крепкого темного пива и к нему стопку водки. Потом еще. И еще. В тот вечер пиво с водкой Толю не брало.

Наутро не хотелось открывать глаза, двигаться, вставать с постели. Оля заставила его одеться, силком напялила через голову майку. Руки в рукава он продел сам. Она потащила его на улицу, и он пошел, не думая ни о чем, как бы не просыпаясь, не желая просыпаться, только чувствуя боль в затылке. Жена привела его в цветочный магазин, купила дюжину разноцветных роз, Толя молча уплатил. Пошли на Карлов мост. Было ветрено, Ольгин шарф развеивался, хлестал их обоих по щекам. То хлестал, то гладил. Она остановилась у ограды, развернула розы.

— Толя, — сказала она с чувством, и ветер унес ее голос. — Толя, мы не знаем, где они, живы ли, и где могила Ганса. Давай цветы для них бросим в реку!

Это был сентиментальный, бессмысленный, актерский жест, и в этом была вся его Оля. Ей нужно действие, она не может без жеста.

Она высыпала цветы за ограду моста. Наклонилась, подобрала белую розу, упавшую на асфальт, бросила вслед за остальными. Толя почувствовал, как ослабело давление в затылке. Чего не могла сделать водка, сделал этот бессмысленный жест.

Он не умел молиться, но сейчас, на пражском мосту, он просил о старом Гансе, его молчаливой жене, красавице Марте и маленькой Луизе:

— Господи! Если ты есть, прошу тебя, сделай так, чтобы они жили тогда, и ничего не случилось с ними плохого!

Нелепо было молиться о том, что было давно, но больше ничем он не мог им помочь. Розы поплыли вниз по Влтаве — сначала вместе, сцепившись стеблями, потом рассеялись, разошлись. Если они не застряли в шлюзах, то может быть, несколько штук доплыли до реки Лаба. И может, хотя бы одна, растеряв по дороге лепестки, оставила Чехию и оказалась в Германии, где Лаба становится Эльбой.

Ветер с океана задул сильнее, он собирал бумажный мусор в недолговечные смерчи, наметал песок и чертил на досках брайтонской набережной подвижные узоры. Раньше под настилом ночевали бездомные — идешь вечером, видишь под ногами свет фонариков в щелях. В прошлом году ураган засыпал песком пустоты между опорами, бездомные ушли в другие места.

В цветочном магазине было светло и тихо. Молодая продавщица, улыбаясь своим мыслям, разворачивала пакеты туго спеленутых роз, ставила в пластмассовые ведра, прятала в холодильник. Цветы облегченно расправляли зубчатые листья.

Толя выбрал одиннадцать роз, слегка сжимая пальцами бутоны, пробуя, крепкие ли — чем крепче, тем дольше будут стоять. Вспомнилось, как Алена, Олина дочка, говорила, что в хрустальных вазах из Мессендорфа долго не вянут цветы, даже капризные недолговечные розы. Она приезжала в прошлые выходные, и он, как всегда, смешил ее:

— Знаешь ли, Аленка, как выбирать цветы для женщины? Все зависит от фаз луны. Если растет — носи розы, тюльпаны, ирисы. Убывает — пойдут орхидеи, хризантемы, астры. А в полнолуние — все равно, что дарить. Ничего не спасет, все одно окажешься виноватым.

Алена звонила потом из машины, переспрашивала, что дарят на убывающей луне.

— Не помню, солнышко! Как придумал, так сразу и забыл.

Она смеялась — оценила шутку.

Продавщица, все так же неизвестно чему улыбаясь, добавила в букет пальмовых веток, обернула зеленой бумагой и обвязала собранными в пучок лентами разных цветов — в тон розам.

На улице ветер разыгрался всерьез, задувало так, что прохожие останавливались и отворачивались. На углу сильный порыв чуть не сбил с ног одинокую старушку. Толя бросил цветы, успел подхватить под руки, удерживать. Старушка вырвалась, раздраженно дернув локтем, и поковыляла дальше, сжимая паучьими пальцами воротник пальто.

Толя смотрел вслед, пока она не свернула за угол — ничего, дойдет, за углом вроде тише. Что она бродит по ночам в одиночку, такая старая? И тут же подумал: да ведь он сам не намного моложе. Подобрал растрепанный букет, зажал подмышкой и пошел быстрее, почти побежал. Через пару десятков шагов пришлось остановиться: свистело в груди, не давало дышать. Совсем никуда стала дышалка. Да, теперь не смог бы играть на трубе, даже не взял в Америку, оставил сыну. Как это мама говорила: «Старое дребезжит, новое звенит». Ганс говорил прямее и проще: «Alter ist ein schweres Malter».

Толя старался не вспоминать, насколько Оля старше его. Обычно ему удавалось не думать об этом, но сейчас он ясно увидел ее в больнице

под капельницей, как было этой зимой. Она лежала, такая маленькая на больничной койке с железными перилами, улыбалась через силу, и ее поза казалась очень яркой из-за бледного, в синеву, лица.

Он шел домой, наклонив голову, преодолевая давление ветра, зажав подмышкой растерявший лепестки букет, и не замечал, как бормочет, не слышал своего голоса за шумом бури и грохотом брайтонского сабвея:

— Господи, если ты есть, сохрани ее, пусть она меня переживет. Сохрани их всех, пожалуйста. Я так многих потерял, не могу я больше. Господи — если ты, конечно, есть, — извини меня, но больше я не могу.

17

Умер Толя весной, через две недели после своего дня рождения, за пять лет до того, как в Донецке снова началась война. «Все ничего, лишь бы не было войны...» На какой стороне был бы Толя? Наверное, на той, где его сыновья. А если бы сыновья оказались по разные стороны?

Толя не болел, не жаловался, просто в начале февраля лег, перестал вставать — и через два месяца умер. В свои семьдесят три он был вполне крепок, только легкие немного подвели. Нельзя ему было лежать, не вставая, он это знал.

Оля не оплакивала его, как не оплакивала никого из четверых мужей, как не горевала ни о ком и ни о чем. Слишком о многом пришлось бы плакать: сиротство, детский дом, голод, война, эвакуация, снова голод. Если оглядываться на прошлое, как жить в полную силу? Нет, не оглядываться, не сожалеть, от этого становятся слабыми. Она раздала Толины вещи, выбросила бумаги и стала жить, будто его и не было никогда.

Алена увезла домой Толин свитер — кашемировый, светло-желтый. Он был ей велик, почти до колен, но со временем съезжился от многих стирок и стал впору. Этот свитер она надевает, когда болеет или хандрит, или осенью, если дождь целый день, или в февральскую темень и холод — и от желтого кашемирового тепла ей становится легче.



Владимир Матлин

ЛАРИОН-ЛАРИК

Помню, Саша Тамаркин позвонил мне поздно вечером, я уже был в постели. Я пробормотал что-то, мол, сплю, позвони завтра, но он и не подумал извиняться:

— Слышал новость? — заговорил он возбуждённо. — Главный редактор, наконец, назначен. Угадай, кто?

Новость была такая, что сон слетел с меня сразу:

— Говори уже, не тяни!

— Ну, подскажу тебе: принят наихудший вариант... Догоняешь? Нет? Ладно, не буду тебя мучить, — и фальшиво торжественным тоном: — На должность главного редактора нью-йоркской еврейской газеты приглашён видный писатель русской эмиграции Ларион Губеев. Что скажешь?

От неожиданности я вздрогнул:

— Что ж, — сказал я как можно более безразличным тоном, — он хороший писатель, его вон американские журналы публикуют. В переводах. Из всех нас — его одного.

— Да, но его взгляды... Газета всё-таки еврейская, а что он знает об иудаизме? Он себя и евреем-то не считает.

— Всем известно, что его папа Вайншток.

— Вот он и взял мамину фамилию...

— Фамилия не главное в этом деле. А писатель он стоящий. Можно ожидать, и редактором будет неплохим.

Лариона-Ларика я знал к тому времени не так давно. Мы познакомились в Риме, “на пересадке“, как это называлось: ждали разрешения американских властей на въезд в США в качестве еврейских беженцев. Тогда он называл себя Ларион Вайншток. Говорили, что он пишет неплохие рассказы, которые ходят в самиздате. А писал он постоянно и везде. В Риме тогда, “на пересадке“, мы все бегали по музеям, ездили по всяким древнеримским развалинам, куда только могли добраться на городском транспорте, а он сидел в убогой квартирке в Остии и писал, писал.

В Нью-Йорке еврейские организации начали пристраивать нас на работу, какую-нибудь работу, лишь бы снять с пособия. Профессия? Забудьте о своей профессии. Может быть там, в прежней жизни, вы и были инженерами, учёными, архитекторами, но здесь, без языка и американского опыта, вы — никто.

Однако Ларика такой подход не устраивал:

— Я писатель, — заявил он в Джушке, — И ничем другим заниматься не могу, не умею и не хочу.

Какое-то время ему выплачивали пособие, потом перестали. Но он особенно и не тужил: его жена Варвара быстро устроилась на хорошую работу с приличной зарплатой. Английского, как и все мы, она толком не знала, но зато знала два новых компьютерных языка. И семья Вайншток — супруги шнос десятилетняя дочь — зажили полнокровной жизнью, не богато, но вполне пристойно. А Ларик сидел и писал, сидел и писал. И таки высидел...

Был в то время в расцвете сил видный учёный-советолог, специалист по современной русской литературе профессор Джозеф Фабер. (Он недавно умер). Так вот, какие-то рассказы Ларика попались ему на глаза. Ну, конечно не случайно, не просто так, а вполне целенаправленно. Ларик не один месяц охмурил профессорскую ассистентку Патришу, и, в конце концов, она показала рассказы профессору Фаберу. Тому рассказы понравились. Хорошо известно, что либеральный профессор не любил Солженицына, считал его ретроградом и матёрым реакционером, и вот писания Губеева, как полагал профессор, вполне можно было противопоставить Солженицыну. Они оба описывали советскую действительность, и оба под критическим углом зрения. Но Ларик писал весело, иронично, без этих солженицынских ужасов, без его страстного желания опорочить всё передовое и прогрессивное, что, по мнению Фабера, всё же принесли народам России революция и социализм.

По приезде в Америку Ларик сразу начал публиковаться в русскоязычных газетах и журналах, и его рассказы, на мой взгляд, действительно обладали несомненными достоинствами. Писатель хорошо знал советскую жизнь: три года он провёл в армии, затем, чтобы прописаться в Москве, поступил в милицию, где проработал ещё шесть лет. Такого там насмотрелся... можете себе представить! Он начал писать ещё в свои "милицейские годы", но редакторы шарахались от его рассказов, как в наше время от эболы, хотя ничего ужасного в них не было — просто высмеивались нелепости советского быта. Так что у профессора Фабера были основания рекомендовать Губеева американским журналам. И переводчика профессор подыскал отличного — из своих лучших учеников. А позже, когда у известного нью-йоркского финансового магната и филантропа Марвина Минцера появилась идея приобрести посредством газеты на русском языке своих одичавших единоверцев к этой самой еврейской вере, щедрый магнат обратился за советом, естественно, к специалисту в области русской словесности профессору Фаберу. Тот, ничуть не сомневаясь, рекомендовал Лариона Губеева — на этот раз на должность редактора свежесозданной еврейской газеты, хотя опыта редакционной работы у Ларика не было никакого.

И вот, когда редакция усилиями Саши Тамаркина была, в основном, образована, и готовились первые выпуски газеты, на редакционном совещании главный редактор Ларик произнёс программно-тронную речь, в которой изложил свои взгляды на задачи и методы газетной работы. В этой

речи он особенно напирал на то, что хотя еженедельник и зовётся “Еврейская жизнь”, освещать мы будем житие в Америке в самом широком аспекте. Идеологические задачи еврейского воспитания эмигрантов будут выполнять, в основном, комментарии к недельной главе Торы, которые поручаются раввину Кацу, и еженедельные колонки редактора, которые, естественно, будет писать сам Ларик.

Тут нужно сказать о таком уродливом явлении как национальное самосознание советских евреев. Впрочем, что говорить? Достаточно вспомнить этот густой, пышущий жаром, как расплавленный асфальт, антисемитизм последних советских лет. Какое тут, к лешему, национальное самосознание, когда слово “еврей” считается оскорблением — его вслух не произносят! “Лица еврейской национальности” — максимально допустимый эвфемизм, если разрешите так выразиться. Многие евреи ощущали свою национальность как проклятие, как уродство, и скрывали свой позор как только могли. Ну, а если под напором обстоятельств вынуждены были сознаться, то несли о своём происхождении и своих предках чудовищно безвкусные небылицы. Очень популярен, помнится, был сюжет о бабушке из богатой еврейской семьи, которая бежала из родного дома с гусаром (варианты: уланом, кавалергардом) и обвенчалась с ним, предварительно приняв православие. Также распространён был сюжет о дедушке — пьянице, дебошире и матерщиннике (бывший николаевский солдат), который ничем, ну решительно ничем не отличался от родного русского хулигана.

Ларик был приверженцем этого последнего сюжета. Первую же колонку редактора он посвятил своему дедушке Абраму Вайнштоку, который за богатырский рост, удаль и бесшабашность был принят в личную охрану государя императора. Конечно, это было несусветное враньё. Во-первых, еврея не могли зачислить в личную охрану царя, каким бы силачом он ни был. А во-вторых... Я был знаком с дедушкой Вайнштоком, тихим, сухоньким старичком, преподававшим когда-то сопромат в одном из московских вузов. Как истый “тикейный жилет”, он страстно любил поговорить о международной политике, но высказывался на эту тему очень осторожно. Я познакомился с ним в Риме, “на пересадке”, он жил там в семье своего внука Ларика. Умер дедушка в возрасте девяноста трёх лет вскоре после приезда в Америку. И звали его, кстати, не Абрам, а Матвей Савельевич.

— Ну, читал мою колонку? — спросил Ларик, когда мы сидели поздно вечером за пивом. В тот период это было традицией: в день выхода очередного номера мы пили пиво всей редакцией. За двумя исключениями: Патриша пила вино, а раввин Кац — водку, поскольку всё остальное — не кошер. — Ты, надеюсь, понимаешь: пришлось маленько того... приукрасить... — Он снисходительно потрепал меня по спине. — Чего молчишь?

Панибратство раздражало, но надо было что-то ответить.

— “Приукрасить”? Ты так это называешь. Зачем-то переименовал дедушку в Абрама. Это тоже украшение?

— Не, это для убедительности. Тебе так не кажется? Брось, старик, не придирайся. По-моему, это смешно: еврей Абрам охраняет русского царя. Не согласен? Давай спросим батюшку раввина. Эй, ребэ Кац, что вы имеете сказать за мою колонку?

Почему-то Ларик считал нужным (и возможным) говорить с раввином на “одесском языке“, хотя Кац до эмиграции жил в Ленинграде и по-русски говорил правильно. Раввин посмотрел на него широко раскрытыми глазами и ничего не сказал. А я понял, что Ларик просто напичкан стереотипами по поводу евреев. У таких как он, еврейство почему-то ассоциируется с чем-то блатным: “Мурка, моя Мурка“ или “С одесского кичмана бежали два уркана“... Влияние Бабеля, может быть? Но тогда Бабеля они поняли очень поверхностно, ведь не это у него главное. А это всё, что они знают о еврействе.

Надо сказать, Ларика никогда не смущало недостаточное знание какой-либо темы. Во всяком случае, это не было препятствием для написания статьи. В своих колонках он безапелляционно критиковал американскую систему налогообложения, высказывал смелые идеи относительно социальных проблем расовых меньшинств, предлагал проекты реформы американской системы образования и т.п. Когда кто-нибудь говорил ему, что это очень сложные проблемы, и, прожив в стране несколько месяцев, трудно так сразу понять, что к чему, он отвечал примерно так:

— Вы не понимаете главный принцип журналистики. Я как бы смотрю на явление глазами моих читателей и рассуждаю от их имени. Это и делает мои колонки понятными и популярными.

Единственным сотрудником газеты, кто отваживался критиковать его колонки, был Саша Тмаркин. Конечно, не только он видел фактические ошибки (“залепухи“ на редакционном жаргоне) в колонках Губеева, но открыто говорил ему об этом он один. Может, потому что знаком был с Лариком очень давно, с московских времён, когда они вместе безрезультатно обивали пороги редакций и издательств. К тому же Саша чувствовал себя в нашей редакции незаменимым: он лучше всех знал тонкости редакторского дела, мог, к примеру, выполнять работу метранпажа. И ещё он довольно прилично знал английский — по сравнению с нами. У нас была и коренная американка — Патриша, хотя её положение в редакции было весьма неопределённым. Она не состояла в штате, а помогала нам, что называется, “на добровольных началах“. Русский язык был для неё иностранным, она выучила его в университете под руководством профессора Фабера, говорила по-русски вполне сносно, но редактировать статьи, понятно, не могла. Зато была совершенно незаменима, когда в редакцию звонили из типографии, или с почты, или из санитарного надзора. К тому же она почитала гениальным всё, что писал и делал Ларик — эту идею ей, наверное, привил её профессор. А может быть, дошла своим умом.

С нами, сотрудниками, Ларик держался запросто, по-приятельски, хотя, признаться, я ощущал в его отношении лёгкий привкус снисхожде-

ния и панибратства. Может быть потому, что по российскому табелю о рангах журналист котируется ниже писателя. А к тому времени писательская судьба Губеева явно двигалась в гору: весьма престижное издательство вело с ним переговоры о публикации сборника рассказов. Да и в редакции всё было поначалу неплохо, пока Ларику не пришла в голову идея обсуждать каждый номер на “летучке”.

Вообще-то такая практика существовала в солидных газетах, но зачем это понадобилось в нашем приятельском междусобойчике, не знаю. Достаточно было, что после каждого выпуска мы выпивали в редакции за сдвинутыми столами — говори себе, что хочешь. Нет, Ларику понадобилась официальность... И вот на первом же таком совещании поднялся Саша Тамаркин и спокойно так перечислил все “залепухи”, замеченные им в колонках редактора. Их оказалось немало...

Надо отметить, Ларик реагировал на это мужественно. Он сказал, что благодарит за критику, что проверит все указанные факты по дополнительным источникам и впредь будет внимательнее. Это на людях, в официальной, так сказать, обстановке. На личном уровне между старыми друзьями Лариком и Сашей пролегла явная эмоциональная трещина. Позиция Ларика была понятна: ну да, критика ошибок — необходимое дело. Но зачем же так, при всех? И в такой форме? Всё же он, как никак, а начальство, следует поддерживать его авторитет. Разве нельзя сказать то же самое наедине, и по возможности до выхода номера?

Не лишено смысла, как мне показалось...

С глазу на глаз Ларик намекал, что Сашка просто завидует — ведь он тоже мнит себя писателем, а его вот не печатают. Так или иначе, но “летучек” у нас больше не проводили. А может и зря... Во всяком случае, однажды мне очень хотелось сказать главному редактору пару слов публично.

А случилось следующее. В своей очередной колонке (а Ларик сдавал их прямо в набор, никому предварительно не показывая) он вдруг, ни с того, ни с сего, обрушился... на евреев. Вспоминая по какому-то поводу черту оседлости и вообще антиеврейские законы в дореволюционной России, он заметил вскользь, что евреи тоже виноваты перед русским народом: это они устроили революцию. Посмотрите, чьи лица преобладали в Совете народных комиссаров — первом после революции правительстве?

Ситуация была совершенно бредовая: главный редактор еврейской газеты повторял худшие выдумки черносотенной пропаганды, разоблаченные к тому времени добросовестными историками. Если бы публичное обсуждение состоялось, я мог бы сказать, что список народных комиссаров первого советского правительства, возглавляемого Лениным, существует и доступен всякому, стоит захотеть. И тогда выясняется, что из 16 членов правительства евреем был один Троцкий. А насчёт того, кто совершал революцию в стране... Как вы думаете, кто жёг помещичьи имения? Расстреливал офицеров и массами дезертировал с фронта? Устраивал забастовки на заводах? Евреи? Да, в революционном движении приняли активное уча-

стие многие молодые евреи, но вспомним, что в тогдашней 175-миллионной России евреи составляли чуть более четырёх процентов населения, и большинство из них было заперто внутри черты оседлости. Главному редактору еврейской газеты надо бы знать обо всём этом прежде, чем высказываться столь категорически.

— Думаешь, он правда так считает? — спрашивал Саша, когда после работы мы сидели в баре за второй порцией виски. Мы с трудом привыкали к этому правилу: брать по одному “дринку“ на человека. Почему нельзя сразу взять бутылку? — Да ничего подобного! Он не за евреев и не против. У него вообще нет взглядов ни по какому поводу. И в этом его сила. Понимаешь?

Я не понял и заказал третью порцию виски.

Саша глотнул из своего стакана, посмотрел по сторонам, будто кто-то мог нас подслушивать, и тихо заговорил:

— Я вот что думаю. Давно думаю... Ты только не считай меня шизофреником. Впрочем, считай, если хочешь... — Он помолчал, допил стакан. — Мы называем его легкомысленным, ну, без царя в голове, как говорится. А он очень, очень себе на уме. То, что нам видится как его промахи, ошибки, на самом деле — тонкая игра, вот что. Посмотри, что в последнее время происходит в той стране, откуда мы уехали. Книги эмигрантов начинают издаваться повсюду. Но кто из авторов им там придётся по вкусу? Диссиденты? Ни в коем случае! В холодной войне они были на стороне Запада, они развалили “кипучую-могучую“, они одержали моральную победу; им этого в России не простят! Даже Солженицына они встречают с кислой миной: ведь он одобрял развал Советского Союза. А как Губеев ненавидит диссидентов! Особенно женщин. Называет их “недоё...ми психопатками“. Говорят, в этом что-то личное: якобы он, когда служил в милиции, участвовал в разгонах демонстраций и арестах, и что якобы теперь некоторые диссиденты опознают его.

Я слушал Тamarкина, понимал, что он в чём-то прав, но всё же справедливость требует... Я сказал:

— А писатель он хороший, несмотря на всё это...

— Да! Да! Хороший. Никто у него этого не отнимает! — почти закричал Саша. — В том смысле, что владеет стилем, наделён чувством юмора, хорошо знает и чувствует язык... Но он сам себя обкрадывает. Избрав эту позицию — ничего и никого не жалко, нет ни правых, ни виноватых — он лишает свою прозу глубины. Русская литература замечательна тем, что всегда стремилась понять суть явлений. А Ларик? На всё взирает с одинаковой снисходительной иронией, поскольку всё на свете г..но.

— Но это нравится читателям...

— Читателям в России, давай уточним. В Америке его опусы большого успеха не имеют, несмотря на все усилия профессора Фабера и Патриши. А в России... конечно! Ведь они сами именно такие. Побывали пламенными коммунистами, восторженными демократами, стойкими патриотами, мечтающими слинять за границу... Дальше куда? А никуда, потому

что всё на свете г.но, правды нет! Такая поза удобна, модна, и даже имеет научное название — “пост-модерн”.

Та злополучная “летучка” стала чем-то вроде водораздела в жизни нашей редакции: она знаменовала конец мирного приятельства и начало растущей, порой скрытой, порой открытой неприязни среди сотрудников. Началось с Ларика и Саши, но постепенно у каждого из них появились союзники, единомышленники, болельщики. Обстановка усугублялась тем, что Ларик всё больше пил, и скрыть это было невозможно. Традиция “обмывать номер” всей редакцией отмерла сама собой, так что Ларик пил наедине — и дома, и в редакции в своём кабинете. Иногда он засиживался допоздна и напивался до того, что оставался ночевать на работе. Звонил Варваре и объявлял, что до дому не доберётся. Варвара всё переносила, но однажды не вытерпела и приехала среди ночи в редакцию. И нашла своего благоверного в кабинете на диване в обществе Патриши...

И пошло-поехало, всеобщая деградация и развал. Редактору заниматься газетой некогда: жена выгнала его из дома, и он пытается где-нибудь пристроиться. Патриша взять к себе не может: сама живёт с мамой, папой и сёстрами, а снять квартиру в Нью-Йорке — дело очень непростое. То есть простое, если приличные деньги есть, а редакторская зарплата Лариона позволяла ему разве что собачью конуру...

Но и эта крошечная зарплата оказалась под угрозой в один прекрасный день. Каким-то образом нашему благодетелю, финансовому магнату и меценату Марвину Минцеру, на чьи деньги существовала газета, стало известно об обстановке в редакции. Кто настучал — остаётся загадкой по сей день. Я только должен категорически сказать, что не Сашка, хотя некоторые его и подозревают. Да и зачем ему? Ведь газету при таких обстоятельствах могут закрыть, а уж это никак не в его интересах.

Так или иначе, благодетель оказался хорошо информирован. Он вызвал к себе Лариона и Патришу и учинил им (точнее Лариону, поскольку Патриша была приглашена в качестве переводчика) разнос по первому разряду. У него был список редакторских колонок в переводе на английский, включая и ту самую, насчет вины евреев перед русским народом.

—И это называется еврейской газетой? — вопрошал меценат, глядя в глаза Ларика, мутноватые от вчерашнего.

—Но мы... но газета в каждом номере публиковала... ну это... статью раввина Каца... из Талмуда... — попытался оправдаться Ларик.

Благодетель брезгливо поморщился:

—Вы хотите сказать, комментарий к недельной главе Торы. Этого совершенно недостаточно.

Короче говоря, беседа закончилась примерно такой фразой Минцера:

—Я прихожу к мысли, что газета не выполняет своего предназначения. А в таком случае, зачем она нужна?

Этот разговор нам пересказал не кто иной как сам Ларик. Он созвал общее собрание редакции и описал всё в подробностях. Был он грустен, подавлен, растерян, — таким я видел его впервые.

— В общем, вы должны быть готовы ко всему, — сказал он на прощание. — Что я слечу, это уж наверняка. Но продолжит ли газета своё существование? Не знаю, не уверен. Минцер явно охладел к этой затее. Короче, спасайся, кто может. А я... я с самого начала... не туда потянул, в неправильную сторону. Простите, ребята, я вас подвёл.

На следующий день он в редакции не появился, и на следующий, и на следующий... Мы догадывались, в каком он состоянии, а узнать было негде: Патриша тоже не приходила, а кто еще может знать? Примерно через неделю позвонила Варвара и сказала, что он лежит в больнице — инфаркт, положение тяжелое. Она узнала об этом, можно сказать, случайно, через знакомых.

А еще через два дня он умер.

Газету нашу, как и следовало ожидать, вскоре закрыли, мы все оказались без работы. Как прожить, ведь у многих семьи? Начались мучительные поиски. Те, что помоложе, пошли учиться на программиста, некоторые устроились на радиостанции “Свобода” и “Голос Америки”, ну а иным пришлось заняться уборкой улиц. Трудное было время, многие бедствовали. Случалось так, что за квартиру нечем заплатить, да что там — на обед порой не хватало. И одолжить не у кого: все мои друзья-приятели, бывшие сотрудники “Еврейской жизни”, в таком же положении. Впрочем, за одним важным исключением.

Варвара Губеева. В течение нескольких месяцев она получила от российских издательств как наследница Лариона ... никто точно не знает сколько, но говорили о десятках, а может и сотнях тысяч долларов. Словно прорвалась плотина! Гонорары шли за издание сборников рассказов, воспоминаний, очерков... Издали даже колонки редактора из нашей покойной газеты. По рассказам и очеркам Ларика снимались одновременно два фильма: один о Советском Союзе, другой о Нью-Йорке. В нескольких театрах шла биографическая пьеса о жизни в Америке замечательного русского писателя Лариона Губеева. В ней Ларик предстával эдаким добродушным парнем с открытой русской душой, редкий талант которого пытались использовать гнусные америкосы (слово “пиндосы” еще не вошло в лексикон). Тексты Ларика, в которых он с веселым презрением пишет об американцах, о еврейских эмигрантах с Брайтон-бич, о своих коллегах по работе — в общем, обо всех, позволили сделать из него героя современного мифа о чистом и благородном русском человеке, окружённом безнравственными врагами. (Между прочим, мало кто из его поклонников знает, что в нем не было ни капли русской крови: папа еврей, а мама откуда-то с северного Кавказа)

Апофеозом этой Губеямании можно считать полученное мною недавно приглашение на открытие музея Губеева в Москве, на Зацепе, недалеко от дома, где милицейские власти когда-то устроили ему комнатенку (после шести лет ожиданий). Такие же приглашения получили Саша Тмаркин и Варвара. Никто из нас троих не поехал — каждый по своим причинам.

Что сказать в заключение? Пушкин однажды написал, что предпочелбы “бессмертию души своей бессмертие своих творений”. Часто думаю над этой цитатой: неужели он всерьез? Неужели он готов погубить свою душу ради писательской славы? Не могу себе представить.

Это Пушкин. А вот Ларик точно не сомневался бы ни минуты. И, кажется, получил — если и не “бессмертие своих творений”, то во всяком случае популярность и деньги.

Которых он так и не увидел...



Александр Бирштейн

ПЛАТА ЗА ВСЕ

Рассказы

НИ ЗА ЧТО...

Не знаю, в сколькотысячный раз телефон голосом Леонида Осиповича Утесова зашел:

— Есть город, который я вижу...

Но я не дал Утесову допеть и, нажав на клавишу, строго сказал:

— Я!

Звонила двоюродная сестра. У меня семь двоюродных сестер, и каждая объявляется раз в неделю. Сегодня вторник. Значит, это Люба. В принципе, имя несущественно. Ибо тема разговора в любой день неизменна. Им нужно:

— вытащить меня, наконец, из этой «пропащей страны»;

— женить на хорошей еврейской девочке.

О том же будет со мной говорить и мама, которая позвонит через полчаса. Почему я в этом так уверен? Опыт, граждане, многолетний опыт!

А я держусь!

Сдержанно хвалю присылаемые по электронной почте фотографии претенденток на мою еще достаточно крепкую руку. И отвергаю, отвергаю...

Вот и сейчас сестра завела разговор на тему отдыха. Мол, не худо бы приехать к ним в Чикаго, а потом всем вместе отправиться на озера... Все вместе — это сестра, ее муж и, разумеется, подруга — очень и очень приличная девушка из очень-очень и очень приличной еврейской семьи...

— Вот и женись на ней сама! — советую сестре.

— Я, к твоему сведению, давно замужем! И за достойным человеком! — обижается сестра. — А тебе следует кое о чем вспомнить!

Это ее «кое-что» напоминание о моей бурной молодости и не менее бурной любви к Светке с очень редкой фамилией Ивановна. Волна негодования, охватившая моих родственничков, когда я объявил, что женюсь на Светке, была настолько ужасной, что вызвала к жизни три проклятия, один микроинсульт, тридцать четыре обморока и двадцать семь вызовов скорой помощи.

Что интересно, Светкины родственники не захотели отставать от моих. Но отстали. На один вызов скорой помощи и четыре обморока.

С тех пор кое-что изменилось. Уехала в разные страны моя родня. Подались в другие края и Светкины родичи. И те, и другие, уезжая, грозили всевозможными бедами и карами...

А Светка... Кстати, надо ее разбудить. Через пять минут будет звонить Светкин папа. Откуда я знаю? Опыт, граждане, все тот же многолетний опыт! Тема разговора? О, такая же, как и у моих родственников. Но с другим знаком.

— Приехать, наконец, к ним;

— найти себе в мужья нормального русского или, в крайнем случае, австралийского парня...

Ничего нового!

Не могу сказать, что мне это все надоело. Привык, притерпелся. Просто, очень устал. И все. Поэтому не говорю им всем, этой коdle, что... Нет, и вам не скажу!

А Светка, тем временем, отбивается от атак папеньки. Она тоже от всего этого устала. И тоже не выдает наш секрет.

Поговорив со мной, сестра Люба звонит моей маме.

— Ну как? — спрашивает мама.

— Все то же... — отвечает сестра.

— Он что-нибудь говорил?

— Ни слова!

— Бедный мальчик! — начинает всхлипывать мама. — Ему, наверное, очень тяжело. Все-таки Света на шестом месяце... А он, временами, такой слабенький... И покормить его некому...

Потом мама, страдая, звонит Светкиному папе. И, в свою очередь, задает традиционный вопрос:

— Ну, как?

— Молчит... — сокрушается Светкин папа.

— Какое счастье, что есть на свете соседи по двору! — восхищается мама. А потом, наверное, спрашивает: — Ну, почему, почему эти дети нам никогда ни о чем не говорят?

— До сих пор понять этого не могу! — вторит ей Светкин папа.

ЕСЛИ ТЫ...

— Если ты не пойдешь на эту вечеринку, меня украдут! — сказал он.

— Как украдут? — испугалась она.

— Молча... Верней, совсем не молча. Придут, заговорят... Совсем, кстати, чужие женщины. И украдут...

— А ты?

— А я попаду в рабство. Ненадолго, правда, но попаду... И стану страдать. И это все будет из-за тебя!

Конечно же, она пошла на эту вечеринку.

Но все равно его увели.

Она возвращалась домой одна и сквозь слезы думала, что больше никогда, никогда...

Он позвонил через недельку. Как ни в чем не бывало.

— Если ты не пойдешь со мной...

И она пошла...

Так было всегда. Иногда они возвращались вместе, иногда она шла домой одна.

Всяко случалось.

— Хочешь, я на тебе женюсь? — как-то сделал одолжение он.

— Еще чего не хватало! — успокоила она.

— Брось его! — требовали родные. — Мы хотим, чтоб ты была счастлива!

— Зачем он тебе? — негодовали подруги.

— Он — подлец! — пытались доказать претенденты на ее руку.

Она не спорила.

Однажды он пришел и сказал:

— Если ты не поедешь со мной, я погибну!

— Куда? — спросила она.

Оказалось, что не в другой город, область, а совсем в другую страну, в которой никогда не было мира.

— Что ты делаешь? — отчаивались родители. — Ради кого ты бросаешь нас одних?

— Он все равно оставит тебя! — предрекали подруги.

А она все-таки поехала.

Увы. Подруги оказались правы. Он оставил ее. Совсем... Потому что, когда в ресторане, куда они заскочили поужинать, раздалась автоматные очереди, он закрыл ее собой.

КЛОУН МОСЯ

День кивнул утру на прощание и ушел туда, где наливали пиво и гулко суетились слова.

Солнце сквозь полуоткрытые окна запускало лучи в бокалы.

С моря донесся пароходный гудок, одинокий, как Клоун Мося. У Моси образовалась красная десятка, и он нес ее к прилавку гордо и бережно, как октябренок флажок.

— Где взял? — завистливо спрашивали другие.

— В магазине купил! — скрытничал Клоун Мося.

Сухие соленые баранки таяли во рту, как валидол.

Раньше Мося был Матвеем и служил в цирке. И жена служила. Дресировщицей собачек. А потом сбежала с фокусником. А Мося, тогда еще

Матвей, остался. И работал. Но потом, вскорости, устал. Потому что все думал, вспоминал. И перестал работать.

— Пропал кураж! — говорил. Цирковые понимали. Остальные нет.

Он стал ходить в парк над морем, глядел на залив, окруженный берегами, как арена партером. Море снизу посылало невидимые для других комплименты.

Настала зима, и море стало некрасивым, нервным и грязно-серым.

По парку бегали домашние собаки, а к ним лонжами были пристегнуты хозяева. Собачьи хозяева дули на озябшие руки, хмуро глядя на часы.

Дома скопились пыль да афиши. Он стал ходить по улицам, искать пристанище. Его, как ни странно, впустили в какое-то кафе, куда не всех пускали. На двери там много лет висела табличка «РЕМОНТ». А в пиво доливали не воду, а самогон. Зато плату брали и деньгами, и вещами. Пускали, туда людей приличных, так что и вещи пропивались вполне приличные. И все были довольны.

Нельзя сказать, что Матвей, как-то сразу ставший Мосей, был душой компании. Но он умел показывать животных и людей так, что их сразу же узнавали. Публика смеялась, глядя на этих довольно грустных людей и зверей. Мося был неплохим клоуном.

В цирк его пускали всегда.

Приходил, когда не было представления, садился на барьер, смотрел, как репетируют. Потом обходил конюшни... Его окликали:

— Матвей!

Он оборачивался не сразу и с виноватой улыбкой.

— Как живешь? — спрашивали знакомые.

— Все еще под куполом... — отвечал.

Ему пытались совать деньги, но он не брал:

— У своих... Нет... Нельзя...

Покинув цирк, спешил в забегаловку, принимал в руки бокал пива и успокаивался.

— Без куража тоже можно жить! — говорил. Вряд ли его кто-нибудь понимал.

ХАМ ЕГОРОВ

Егоров — хам! И хулиган говорящий.

— Слушай, — пристегивается он, — твоя фамилия не Гринблит, а Гринблат!

— Почему? — послушно спрашиваю я, понимая, что сейчас отхвачу.

— А потому, что ты сюда по блату попал!

Попробуй возрази! Так и есть...

После инструментального института и службы командиром взвода в рядах, хоть и советской, но, якобы, непобедимой армии, я, вернувшись в наш город, реально мог устроиться только в институт «Пищепромавтоматика» на бешеную зарплату в сто десять рублей. Плюс бесконечное протирание штанов за проектами, которые не очень-то и были нужны.

На нашем заводе мне платили сто семьдесят пять! И работа по делу. Правда, устроиться сюда было неимоверно трудно. Но мне удалось...

Должность называется мастер инструментального цеха.

А мой обидчик Егоров работает просто слесарем. И меньше трехсот рублей не зарабатывает. Не считая премии. Плюс постоянный объект развлечений — я!

Когда я потребовал тщательно убирать после смены свое рабочее место, Егоров обозвал меня Гринписером. А его ржущие коллеги тут же сократили это прозвище.

Представляете?

Кстати, его фамилия дает мало поводов для словотворчества. Но я в любом случае не стал бы это делать. Потому что, человек должен гордиться своей фамилией. И это подло высмеивать то, чем человек гордится.

По работе придраться к нему трудно. Все-таки шестой разряд. Да я и не собираюсь.

— Гринбой! — орет на весь цех Егоров, — Почему заготовки вовремя не подвозят? А ну живо!

— Гринболт! — вопит он, — А где гайки?

— Зачем ты молчишь? — спрашивает меня начальник цеха Игорь Иванович Упругий. — Дал бы раз...

С Игорем мы учились в одной группе и служили вместе в Афгане. Спецназ... Я был комвзвода. Игорь моим заместителем. У меня одно ранение. У него тоже. У меня две Красные Звезды. И у него две Красные Звездочки...

Мы уже догадались, что попал я на этот завод только благодаря Игорю.

На праздничные демонстрации 1 мая и 7 ноября принято приходить всем семейством. Игорь Упругий приходит со своей Светой. А Егоров с женой Женей и дочкой Ирочкой.

А я прихожу один.

Я знаю, Егорова это раздражает.

— Гринбаб, — шипит он так, чтоб Женя не слышала, — ты явно Гринбаб!

Я и тут молчу.

— Сколько можно? — настаивает Игорь.

Если б я знал...

Не надо было мне сюда идти работать. И Егорову было бы спокойней, и мне легче. Но кто ж знал, что я его тут встречу?

Женю мы с Егоровым любили с третьего класса. Просто, у него не было шансов. Он это знал... Но не отставал.

Мы с Женей хотели пожениться сразу после института, когда станем хоть немного независимы от родителей, которые с обеих сторон яростно противились этому.

Двадцать седьмого июня я защитил диплом, а второго июля уже был в рядах легендарной, потому что советской, армии.

Узнав, что нас отправят в Афган, сказал Жене, что свадьба откладывается. Она промолчала.

Через четыре месяца на меня пришла похоронка. Ошибочка вышла. Бывает... Исправили ошибку нескоро...

У Жени произошли преждевременные роды. Ирочка родилась семи-месячной.

И все это время Егоров был рядом. Приносил продукты и цветы. Сдал кровь... Он стирал Ирочкины пеленки, возил ее в коляске, которую сам же и купил, гулять...

А еще через полгода меня выписали из госпиталя.

ПЛАТА ЗА ВСЕ

В просторном зале ожидания аэропорта кучковались священники. Их было человек пятьдесят. Баулы и сумки служителей культа стояли, как бы в очереди, подле дверей, через которые пускают на таможенный и прочие досмотры. Но дверь была закрыта. Рейс задерживался.

— Интересно, а что нашим попам в еврейских местах делать? — подумал он. А потом все же сообразил.

Прочие пассажиры, в основном, нелюбимые им евреи, тихонько прощались с родственниками. Некоторые из них имели вполне нормальный вид.

— Никогда б не подумал, что еврей! — решил он.

Стали пускать на досмотр. У стойки таможенника он попытался расслабиться. Кажется, ему это удалось, ибо тот, скользнув наметанным взглядом по полупустой сумке, разрешил:

— Проходите!

Он облегченно вздохнул. И... поступил в распоряжение молодого человека, стоящего за пюпитром с какими-то бумагами. И началось!

— Куда конкретно едете? Кто паковал багаж? Как добирались в аэропорт? Кем вам приходится пригласивший?

— Лучший друг! — ответил он и нехорошо усмехнулся.

Лучший друг... Еврей — лучший друг! Дожил! В страшном сне такое не увидишь. Еврей! Лучший! Друг! Нет, что-то в этом мире перевернулось!

С Генрихом, соучеником по институту, приславшим ему гостевой вызов, он в Израиле видеться не планировал. Еще чего нехватало! Он специально взял билеты так, чтоб пробыть в Израиле не больше одного дня.

— Вы ж ничего посмотреть не успеете, а такие деньги потратите! — ужасалась мымра из турфирмы. Действительно, лететь туда и обратно выходило разными авиакомпаниями, а это получалось вдвое дороже.

— Разберусь! — глупо ответил он тогда этой дамочке. А про себя решил:

— У-у, сучка, о евреях беспокоится. Чтоб они с меня побольше своих шакалов содрали! За отель вшивый, за еду, эту, как ее, кошерную. Слово «кошерную» вызвало у него стойкую ассоциацию с кошками. Тут его передернуло.

— Цель поездки! — тем временем не отставал въедливый молодой человек.

— Посещение могил родственников! — ответил он, как учили.

Ответ понравился, и молодой человек налепил зеленые квадратики на обложку паспорта и сумку.

— Проходите, пожалуйста!

Сдав сумку, он прошел паспортный контроль, потом рамку. Все! В накопительном зале уже имелось довольно много народу. Причем, объем, занимаемый евреями, показался очень большим. Священники просто в нем терялись.

— Вот племя! — неодобрительно подумал он.

Потом, отдав десять гривен, получил чашечку эспрессо и сел за столик.

Цель поездки... Если б он ее знал... Встретиться. И... Сказать, сказать... Он представил ее глаза, полные слез, и в душе что-то запело.

А ведь двадцать пять лет прошло! Нет, двадцать пять будет завтра! Серебряная свадьба! Кстати, и штамп в паспорте имеется. Паспорт менялся, а штамп он оставил. Зачем?

Евреев он не любил! Всегда! Не ненавидел — больно жирно им будет, — а именно не любил! Как назло, их было довольно много. Особенно в их группе в институте, куда он поступил, приехав из маленького городка в той же области. Особенно его раздражало то, что эти самые нелюбимые евреи все время лезли со своей дружбой. Как этот, как его, Герка, приславший вызов.

Уходил он, уходил он от любого сближения с евреями. Даже учиться хорошо стал и ходил на все лекции, чтоб не просить у них конспекты!

На работе в режимном институте, куда он попал по распределению, евреев, слава Богу, не было. Да-а, закрытый почтовый ящик — это здорово! Плюс зарплата, плюс блага... Через три — три! — года он получил квартиру, еще через три смог купить машину!

Родители по-прежнему жили в своем городишке. Виделся он с ними редко. Но деньгами помогал. А что, жалко? Деньги-то были.

Вообще-то, жил он довольно скучно. Случались, конечно, какие-то женщины. Но они хотели замуж. И он с ними расставался. Работа, дом, иногда кино или концерт.

Единственным местом, куда он ходил регулярно, был стадион. Глядя футбол, он отдыхал и даже сил, вроде, набирался.

Там-то и Лену встретил. Ух, как она болела! Залобуешься! Он и залобовался. Даже на поле забывал смотреть!

— Какая красивая! — подумал он тогда. И еще подумал, что, кажется, еврейка. И отмахнулся сам от себя.

На следующий матч, он, сам не зная почему, взял билет на ту же трибуну. И увидел ее. И обрадовался. Место его было на два ряда ниже. Так что приходилось оглядываться. Часто... Он ловил себя на этом и сам на себя сердился.

А на третьем матче они познакомились. И он пригласил ее отметить победу «Черноморца».

Через месяц Лена переехала к нему.

И началось... счастье!

Счастье? Но она же еврейка!

— Я прощаю ей это! — говорил он себе.

Что прощаю? Зачем прощаю? Что за чушь, вообще? И он сам понимал, что это чушь. И все путалось. И он отмахивался от себя.

Что вы знаете? Он даже жениться хотел! Он! Хотел! Жениться!

А она отказывалась!

Главное, любила, любила его! Но отказывалась. А когда он настаивал, начинала плакать.

В самолете место оказалось у иллюминатора — повезло! — он сел, сразу же пристегнулся и закрыл глаза. Евреи расплзались по салонам, поглотив священников, шума и суеты.

Они не давали думать-вспоминать, и это злило.

Наконец, самолет взлетел, все как-то успокоилось...

Разносили напитки. Он отказался. Потом привезли еду. Он отказался тоже. Не хватало еще есть их еду... Хотелось одного — покоя. Но покой не приходил.

Когда Лена забеременела, он обрадовался.

— Теперь никуда от ЗАГСа не денется! — ликовал он.

Лена же ребенка не хотела. Почему? Отчего? Он кричал, шептал, угрожал, переставал разговаривать...

Наконец она призналась, что собирается уезжать. Дважды уже подавала документы, дважды отказывали, но она очень надеется на третий раз. Времена-то меняются.

— А я? — поразился он. — А как же я?

— Тебя тогда не было! — плача, оправдывалась она.

— Ты все равно туда ни за что не поедешь! — еще пуще плакала.

Тогда он ушел из дома. Оставил все ей и ушел. Ночевал у знакомых...

Неделю спустя, она дождалась его у проходной. Условием своего возвращения он поставил поход в ЗАГС. Жена сотрудника была в районном ЗАГСе какой-то начальницей. Так что, их расписали в три дня.

Самолет слегка запрыгал по бетонным плитам.

— Мы прибыли в аэропорт Бен-Гурион... Температура воздуха... + 34 градуса...

Пассажиры, все, кроме него и священников, загалдели на каком-то непонятном и оттого еще более чужом языке. Их, вроде, как бы больше стало...

Длинные-предлинные переходы, ожидание багажа...

Наконец, все позади. Он вышел в немного душную, но яркую ночь.

— Как попасть в Иерусалим? — спросил он у первого попавшегося еврея. Тот объяснил быстро и толково. Он поблагодарил, отошел и только тогда понял, что разговор шел на русском языке.

— Воистину «на четверть бывший наш народ!» — усмехнулся он. И тут же выругал себя:

— Наш... Какой там наш?

Поменяв доллары на шекели, он сел в автобус. Вскоре автобус тронулся.

— А светло-то как! — поразился он, глядя в окно. Честно говоря, он рассматривал эту поездку еще и как акт мужества.

— Там стреляют, бросают касамы и взрывают! — рассказывала дома пресса.

Но что-то никто не стрелял. И взрывов не наблюдалось...

Он успокоился и закрыл глаза.

Через двадцать два дня после того, как их расписали, она получила разрешение на выезд.

— Уеду одна, — сказала Лена, — а там нас станет двое!

— А я? — закричал он.

— Поедь, поедь, поедь с нами! — взмолилась она.

— Ни за что!

Дни превратились в войну!

— Оставайся! — молил он.

— Я тут жить не могу и не буду! — отвечала она.

Постепенно — а может это только казалось? — любовь становилась ненавистью.

— Ненавижу! — кричал он.

Она молчала. Только смотрела на него темными, сухими глазами. И говорила о том, что убьет плод.

— Давно пора! — кричал он. Сгоряча! Разве он соображал тогда что-то?

Как-то он не застал ее дома. На столе лежал пакет, а в нем драгоценности. И те, что у нее были, и те, что он ей дарил.

— Плата за все! — было написано в записке. И он понял, что она уехала.

Гостиница оказалась рядом с автовокзалом. Дорогу показал какой-то солдатик с автоматом. Странно, но и он говорил по-русски.

Номер был вполне приличным. Он умылся, потом взял сумку и достал пакет, спрятанный в доньшке.

— Завтра! — билось в голове, — Завтра я швырну ей это!

Он, не раздеваясь, прилег на кровать и положил руки под голову. Самое смешное, что все-таки уснул. А очнулся, когда было уже светло. Торопливо схватив пакет и бумажку с адресом, выскочил на улицу.

— По Яффо до короля Георга, потом повернуть... — конечно же, он наизусть знал то, что написано в бумажке.

Вот и скверик, где она гуляет каждый день. Но там пусто...

— Как же так? — отчаялся он, а потом глянул на часы. Шесть утра...

Он сел на скамейку и облокотился на спинку.

Пакет вместе с запиской он положил в шкаф и попытался о них забыть. А заодно о ней. Получилось? Как сказать... Он ведь так и не женился с тех пор...

Вскоре после развала страны институт закрылся. Это не очень его огорчило. Имелись некоторые бизнес-планы, которые он удачно стал воплощать. Миллионером не стал, но на жизнь, можно сказать, хватало. Несколько раз хотел поменять квартиру — в его положении жить в однокомнатной хрущобе было неприлично. Но почему-то это не сделал.

Отдыхать он ездил только на европейские курорты. Италия, Франция, Испания... Собственно в Коста-Браво и встретил он Генриха. Тот почему-то обрадовался, приставал с воспоминаниями об институтских годах. К счастью, Генрих с семейством назавтра отваливал в свою Израиловку.

— Слушай! — сказал Генрих, уже садясь в такси, — А я твою бывшую жену каждый день встречаю!

— Как! — опешил он.

Дело в том, что Генрих действительно знал Лену. Он сам их познакомил, стремясь показать ей, что у него есть и еврейские друзья.

— Где? — спросил он, жарко глядя на Генриха.

— По дороге на работу! — пояснил Генрих.

— Где?

Воистину он сейчас мог говорить только короткими словами...

И Генрих написал адрес сквера на бумажке. И ее адрес. Она жила рядом со сквером. А на другой стороне бумажки, на всякий случай, свой телефон.

Прилетев домой, он стал мечтать, как кинет его ей в лицо вместе с запиской и уйдет. Навсегда!

О, как ему нравилась эта идея! Он даже унизился до того, что позвонил Генриху и попросил вызов...

И вот он тут...

Она вошла в сквер, толкая перед собой коляску. В коляске сидел жизнерадостный мальчишка.

Она почти не изменилась. Издали ведь не видны морщинки и седина в волосах... Но не это взволновало его.

— Ребенок! Она замужем!

Вблизи мальчишка в коляске ему кого-то напомнил. Но кого он от волнения вспомнить не смог.

— На! Ты! Забыла! — швырнул он к ее ногам пакет.

— Ты... — опешила она. И хотела что-то сказать, но губы не слушались ее, и она только показывала, показывала рукой на мальчика.

— Не прощу! — фальцетом прокричал он и убежал.

Это, наверное, выглядело смешным.

Выглядело... Смешным...

Автобус. Аэропорт. Контроль...

Наконец самолет.

Лицо пылало. Он вошел в туалет, пустил воду и приложил мокрые ладони к горящему лицу. Стало чуть легче, и он осмелился глянуть на себя в зеркало. А там он увидел лицо мальчика из коляски.

— Как же так... — растерянно бормотал он.

И тут, как возмездие или милость пришло понимание того, что у него внук. И еще есть... он даже не знал, кто: сын или дочь...

А самолет летел, летел...



Лиза Грунбергер

«РОЖДЕННАЯ СО ЗНАНИЕМ»

Предисловие и перевод Яна Пробштейна

Лиза Грунбергер (р. 1966) — автор двух книг стихов «Рожденная со знанием» (Finishing Line Press, 2012) и художественно, каллиграфически оформленной книги «32 стихотворения для передачи голоса» (2013), многочисленных публикаций в периодике, профессор английской литературы и творчества (creative writing) университета Темпл, выпускница факультета богословия Чикагского университета, где защитила также докторскую диссертацию. Стихи Грунбергер переведены на французский, иврит, идиш и словенский. Кроме того, Грунбергер — автор книги «Идиш Йога» (2009), написанной на смешении культур и жанров, с чтением-представлением которой она объездила многие города США. Не меньшим успехом пользуется и другой ее проект «Собирательница молитв», своеобразное шоу-рассказ о старой еврейской женщине, которая собирает молитвы у Стены Плача в Иерусалиме. В сопровождении ансамбля клейзмер, рассказов на идише и субботних молитв, шоу с большим успехом прошло в Нью-Йорке в известном культурном Центре 92У. Родилась она на Лонг-Айленде, но живет с мужем и ребенком в Филадельфии. Необычна судьба ее родителей: отец родился в 1920 г. в Вене, но в 1925 г. семья переехала в Берлин, где они пережили «Хрустальную ночь», отец попал в Терезиенштадт, потом был освобожден, и в сентябре 1939 г. семье отца удалось бежать в Палестину на одном из двух последних кораблей, отпльвающих из Румынии, «Нозми Джулия». Отцу было 19 лет. Вскоре дедушка по отцу, здоровье которого было подорвано испытаниями в Германии, умер. В Палестине отец познакомился с будущей матерью Лизы, которая родилась в 1925 г. неподалеку от Тель-Авива в семье эмигрантов из Германии и России. В своих стихах она переплавляет опыт нескольких поколений евреев из разных стран и свой собственный — дочери, жены, матери, родившейся и выросшей в США.

Песни Хайку

Я вижу числа
вместо любви.
Бескрылы,

улетают они.
Я остаюсь.

*

Выдержанный карвуазье
в подвале

он ждал терпеливо
годами

*

по воскресеньям папа
играл рэгтайм
на громоздком восьмидорожном магнитофоне

мы кружились и танцевали
в гостиной

сотрясая стены
со старинными часами
звонившими в разное время.

*

Мама ненавидела
пристяжные ремни
говорила: закон — враг

Мама возглавляла
родительский комитет

Мама могла бы стать
адвокатом

но в Израиле
у нее не было даже
велосипеда.

*

Глазее на витрины
раздваиваюсь

мне ничего не надо
если б не воздух,

МОИ НОГИ
СТОЛЬ СВОЕВОЛЬНЫ
ЧТО ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ

НО ВСЕ ЖЕ
ОТ ЖЕМЧУЖИН, КОЖИ,
ИЗЯЩНОЙ ОТДЕЛКИ
ИЗНЫВАЕТ ДУША

*

Я НИКОГДА
НЕ СТОЮ НА МЕСТЕ

НО СЕРДЦЕ
ЧАСТО
ЗАТИХАЕТ

КОГДА
ПОЧУВСТВУЕШЬ ЖАЖДУ

УЖЕ ПОЧТИ
СЛИШКОМ ПОЗДНО

НО ПЕЙ
ПЕЙ
ВСЕ РАВНО

*

НО РЯДОМ С ДРУГИМ
ТЕЛОМ

СОН И ОКЕАН

КАСАЮТСЯ КАК КРЫЛЬЯ.

Несоответствия

Однажды в ином веке, священник
сидел в узком темном месте

в маленьком городке днем,
таким солнечным, что глазам его было больно думать об этом.

Сорок лет он слушал,
особенно в пивном саду,
ранней осенью, когда деревья полны
загадок и злосчастий.

Сегодня под сосной
он простирает руку,

точно слепой, касается коры,
думает о тайнах,

чтобы поведать это сказанье так мягко
сто раз тысячу раз

Если б у дерева были губы, он гадал,
где бы поместил их Господь?

Словно рана

Словно я
или может твои уста
были раной
мое тело бальзам
твой голод
волна

это касанье
что меня создает

твои иссиние-фиалковые глаза
вечно меняют цвет
как изменяется свет

из розового в серый

ты непрестанно
говоришь зрячими руками
Покажи мне все
ты говоришь

В Книге разочарований

В книге разочарований
у женщины длинные волосы;
только после того, как любовь ее изведет,
она срезает их и движется дальше.

Я окунула ногу в ванну,
ты медленно тянул мартини;
что-то жужжало, но не стонало.
Думаю, это зовут одиночеством.

В зиму толстых лодыжек,
мы пытались сделать ребенка;
ничего не выросло, ничего
кроме стоны и прилива.

Двигаюсь к пуповине,
центр мироздания отрезан
от бедер до стен,
маятниковая красота, распутный мох.

В книге разочарований
у мужчин отрезаны языки,
мечтают, что они любовники Спящей Красавицы;
уста изрыгают проклятья, когда она пробуждается.



Ромен Гари
СТЕНА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ
Перевод Эдуарда Шехтмана

Мой друг доктор Рей устроился передо мною в старинном добротном кресле клуба, что расположен в одном из аристократических районов, там, где течёт размеренная жизнь стольких знаменитых англичан. Мы сели недалеко от камина, чуть в стороне, ощущая приятное тепло.

— Н-ну... так-таки ничего? — участливо спросил доктор.

— Ничего, — вздохнул я. — Уже недели две словно в стену уткнулся.

Я встретился со своим старым другом, дабы умолиль его прописать мне одно из этих новых «чудодейственных средств», стимулирующих творческую энергию, оптимизм и способность концентрироваться. Декабрь был на носу, а ведь я обещал редактору одной крупной газеты для молодёжи рождественский рассказ — эдакую нравоучительную историю, которую подрастающее поколение вправе было от меня ожидать.

— Обычно в преддверии Рождества всегда нахожу подходящую фабулу, трогательную и нежную, — объяснял я доктору не без уныния. — Всё это приходит в голову совершенно естественно, когда вечера становятся такими длинными, а витрины магазинов заполняются игрушками. Но на этот раз вдохновение, похоже, меня оставило, повторяюсь, я как перед стеною...

Взгляд моего друга, к слову, прекрасного специалиста, стал задумчив:

— Вот что... мне кажется, здесь таится замечательный сюжет...

— Это как же?

— Стена... Я не буду вам выписывать рецепт, тем более что не занимаюсь своим ремеслом здесь, в клубе, а если хотите проглотить ваши чёртовы пилюли, то приходите в мой кабинет, это обойдётся вам в пять гиней. Но могу рассказать подлинную историю, стержнем которой является как раз стена, стена, я бы сказал, в прямом и переносном смысле. История эта случилась в одну из тех ледяных предрождественских ночей, когда сердца людей сжимаются в желании, почти нестерпимом, дружбы, тепла и чуда. Итак, в двух словах, что же произошло. В начале своей карьеры я был связан со Скотланд-Ярдом в качестве судебного медика. Меня, нередко случалось, поднимали с постели среди ночи, и спустя малое время я склонялся над каким-нибудь беднягой, сон которого уже ничто и никогда не могло прервать.

И вот однажды, когда только занималась желтовато-грязная декабрьская заря, — а это лучшее, что может предложить Лондон в таком

роде, — я был призван констатировать смерть в одном из этих ужасных меблированных домов на Эрл Корт, печаль и мерзость которых у меня почти нет необходимости вам описывать. На месте я увидел тело молодого студента лет двадцати, который повесился той же ночью в своей убогой комнате, обогреваемой газовым аппаратом, куда вкладываешь по шиллингу за порцию тепла. Я присел к столу в холодном воздухе, чтобы составить заключение, когда мой взгляд привлекли несколько листков бумаги, исписанных порывистым почерком. Я бегло глянул на них, потом принялся читать с внезапным вниманием. Несчастный молодой человек оставил нам объяснение своего поступка. Он, несомненно, покончил с собой в приступе одиночества. У него не было семьи, друга, денег, а тут Рождество, всеми фибрами души он жаждет нежности, любви, счастья... И обнажается здесь ещё некий момент, нерв, что ли, истории, как сказали бы французы. В соседней комнате жила молодая девушка, с которой он не был знаком, но встречался порою на лестнице и чья «ангельская красота» — вы узнаете по этому стилю молодость в самом цветущем? — глубоко его ранила. Так вот, борясь со своей тоской и отчаянием, он услышал через стену, в комнате соседки, какой-то шум, какие-то скрипы, вздохи, которые квалифицировал как «характерные» и о точной природе которых слишком легко было догадаться. Вероятно, звуки продолжались без перерыва, пока он сидел над бумагой, ибо славный малый подробно их описывал, будто стараясь от них освободиться в гневе и презрении — его почерк выдавал крайне смятение ума. Для молодого англичанина, должен признать, письмо было довольно смелым: с иронией, язвительной и безнадёжной, он не упускал ни одной детали. Он слышал в течение, по крайней мере, часа истинные крики сладострастия, а также толчки и скрипы кровати; комментарии его на сей счет я опускаю. Стоны удовольствия его «ангельской соседки», явным образом, терзали сердце молодого человека, особенно в том состоянии одиночества, подавленности и общего отвращения к жизни, в котором он находился. Он признаётся также, что тайно влюблен в неизвестную. «Она была так красива, что я даже не осмеливался заговорить с нею», — писал он. Он разразился несколькими проклятиями — горькими и традиционными для хорошо воспитанного англичанина его лет — в адрес этого «мерзкого мира, который надрывает мне душу и с которым отныне я отказываюсь знаться». Короче, очень хорошо было видно, что произошло в сознании этого юноши, явно сверхчувствительного и очень чистого, вконец одинокого, терзаемого жаждой человеческого тепла и влюблённого в таинственного «ангела», к которому робость мешала обратиться, но голос которого он слышал теперь через стену да еще каким земным! — вы это уже знаете. Итак, он разорвал штору на полосы, скрутил веревку и совершил непоправимый поступок. Я кончил читать эти листки, подписал свое заключение и, прежде чем встать, на миг прислушался. Но стена хранила молчание. Без сомнения, любовные ласки давно прекратились, и их сменил крепкий сон. Человеческая природа имеет свои пределы. Я положил ручку

в карман, взял походный чемоданчик, чтобы выйти в компании с полицейским и консьержкой, полусонной и потому сильно не в духе.

Но внезапно меня обуяло — как бы вам сказать? — любопытство. Конечно, я не замедлил сыскать себе извинения, пристойные и даже как бы по делу. В конце концов, эту молодую особу и её партнера по удовольствиям отделяла лишь тонкая стена — нам это известно — от комнаты, где разыгралась драма. Может быть, они что-нибудь объяснили бы в случившемся, добавили бы некий новый штрих? Но не буду от вас скрывать, что главным движущим мотивом моего побуждения было всё-таки любопытство — нездоровое или циничское, как хотите, — бросить взгляд на это «ангельское создание», вскрики и вздохи которого повлекли за собой столь трагическую развязку. В общем, я постучал в дверь. Никакого ответа. Я подумал, что счастливец, без сомнения, ещё в её объятиях, и воображение подсунуло мне картину двух сплетённых тел под одеялом. Пожав плечами, я собрался было спускаться, как консьержка, стукнув пару раз и крикнув: «Мисс Джонс! Мисс Джонс!», вынула связку ключей, затем открыла дверь и всмотрелась в полутьму комнаты. Почти тотчас, чуть не голося, бедная женщина бросилась вон с искажённым лицом. Я вошёл и раздвинул шторы. Короткого взгляда на постель мне было достаточно, чтобы понять, как ошибся молодой студент относительно истинной природы всех этих стонов, скрипов и вздохов, доносившихся через стену и подтолкнувших его к роковому поступку. Я увидел на подушке голову блондинки, лицо которой все страдания и все явные признаки отравления мышьяком не могли лишить лучезарной красоты. Малышку настигла смерть уже несколько часов назад, агония её должна была быть длительной и более чем беспокойной. На столе лежало письмо, не оставляющее никаких сомнений относительно причин её самоубийства. Это был, куда яснее, острый случай одиночества... и общего отвращения к жизни.

Доктор Рей умолк и дружески на меня посмотрел. Я выпрямился в кресле, слегка ошеломлённый, и оставался недвижим с невысказанным протестом на губах: совсем не то хотелось услышать сегодня.

— Да, стена... — пробормотал эскулап мечтательно. — По-моему, этот сюжет — и с готовым заглавием! — представляет интерес для вашего рождественского рассказа. Ведь подчас и вот так входит она в судьбу людей — эта пора, окутанная тайной.



Алексей Курилко
ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ ВЗРОСЛЫХ
(о книгах Марианны Гончаровой)

Со мной определённо что-то не так в последнее время. (Будь я роботом, можно было бы предположить неожиданную поломку... Или какой-нибудь изначальный дефект, брак, который проявился только теперь, спустя тридцать девять лет с момента производства. Недоглядели! Выпустили совершенно не пригодный к эксплуатации экземпляр. Но я не робот. Насколько мне известно. Я человек. Хуже того! Как говорил некий водитель автобуса из одного рассказа Гончаровой: «Я человек искусствий! И она человек искусствий!»). А может, и не в последнее время, может, так было всегда, я же — попросту ничего такого за собой не замечал. Но что-то со мной явно не в порядке. Судите сами. Попросили меня прочесть последнюю книгу Марианны Гончаровой «Персеиды» и поделиться о прочитанном своим мнением. Я с радостью согласился. Автор мне знаком. Знаком не лично, но вполне прилично. Кое-что, помню, читал, мне понравилось. Почему бы не ознакомиться с новой книгой моего соплеменника? (Нет, мы скорее, сослуживцы! Однополчане! Который год держим оборону в районе Малая Проза! Несём огромные потери в личном составе! Скольких уже с нами нет! Многие ушли безымянными, "недолюбив, не докурив последней папиросы"... Нам предлагали сдаться, гарантировали сохранить жизнь. Но жизнь без Литературы — немыслима. Мы скорее умрём! Хотя я так просто жизнь свою не отдам! Разве что в обмен на Бессмертие.) И почему бы не поделиться мнением о прочитанном? Я люблю читать добротную литературу. Люблю и умею! И почему бы заодно, если эта книга придётся по душе, не написать положительную рецензию? Тем самым, так сказать, поддержать талантливого коллегу. Товарища по оружию. Собрата. Хотя в данном случае сосестру: она ведь женщина. То есть морально поддержать талантливого (а бездарные и так пробьют себе дорогу к славе) сородича! Родственную душу! "Нас мало: нас, может быть, трое..." Решено! Решено! Да будет так!

И вот тут начались проблемы. Я дня три всё никак не мог приступить к чтению. Книга с одинаковой силой разом и манила к себе, и отпугивала. Да! Смело признаю: я робел. Во-первых, боялся: а что будет, если книга мне не понравится? (Да почему, собственно, — спрашивал я себя, — она тебе может не понравиться? Да потому, — отвечал я себе тут же со

свойственным мне красноречием, — что кончается на «у». Убийственно рациональный аргумент!). Мне трудно угодить. Ведь я читатель со стажем в 34 года. Простите, но какого качества текст я безошибочно определяю по первому абзацу. Почти так, как профессиональный сомелье легко определяет марку, сорт и год изготовления вина по одному глотку. Ему необязательно выпивать всю бутылку до дна, искусство дегустации — это высокое умение ощутить аромат и букет, а не низкое намерение осушить разом бар и буфет! Считайте это бахвальством, но мастерство и одарённость автора определяется мной по короткому фрагменту текста так же быстро, как и полное отсутствие дара или явные признаки графомании. Однако основная проблема не в том, что я могу отличить настоящее произведение искусства от искусственного ненастоящего произведения. Меня смущало то, что автор — женщина! Это хоть и во-вторых, но меня это беспокоило в первую очередь. Тут, сказал я себе, могут возникнуть проблемы. Да не "могут", а уже есть! Ибо любая женщина — это всегда проблема. Сама по себе. Уже проблема! Для мужчины. (Нет, я серьёзно! Даже когда шучу. Для каждого мужчины женщина — главный источник проблем! У мужчины без женщины — нет никаких проблем! Кроме одной — нет женщины! Заколдованный круг!). Но меня смущает не женщина, а то, что женщина — автор...

Здесь я вынужден сделать страшное признание, несколько меня не украшающее, напротив — ужасно порочащее мою и без того малопривлекательную личность. Я не очень-то люблю женщин-писательниц. Сугубо с профессиональной точки зрения, исключительно! Нет, даже не так. К писательницам я всегда относился весьма скептически... С недоверием... Я сомневался в их творческом потенциале... В отрочестве я вообще был убеждён (и на то имелись крепкие основания), что великого литератора из женщины получиться не может. Я был слишком юн, а, следовательно, глуп. К тому же я тогда ещё не читал, например, Айн Рэнд и не подозревал, что Жорж Санд — женщина. Но и много позднее упорствовал. Пытался найти логическое объяснение моему интуитивному недоверию... У пишущей женщины, даже у талантливой, есть один существенный недостаток — полное или частичное отсутствие чувства юмора. (Вероятно потому, что остроумие — оружие, а к оружию у мужчин природный интерес. Но, не имея чувства юмора, женщина знает толк в смешном. Так издревле пошло. Юмор — одно из качеств, призванных помогать завоёвывать женское внимание. Мужчины больше шутят, женщины чаще смеются. Но это лишь теория). А без юмора любое произведение слишком пресно. И ненатурально! Поскольку в мире живых людей смешного ровно столько же, сколько печального. Смешное рождается до сих пор, а ведь если верить учёным, то впервые смех прозвучал около восьми миллионов лет назад: по сути, с нашим появлением. И будет звучать смех, пока человечество живо. Да, смех и есть громкое доказательство жизни, здоровья, счастья. Я не стану углубляться в теорию, но сообщу, что смешное, как это ни парадоксально звучит, проистекает из тех же истоков, что и печальное. Но смеющийся не

побеждён, он продолжает бороться со смертью — с тем, куда печаль приближает человека быстрее. (К слову сказать, если честно, то любой, кто изучал историю смешного, знает и помнит три вещи! Нас смешит разное и по-разному — раз, смех и плач не являются противоположностями, они сёстры! хоть и не похожи, и плач, как правило, порой лагентно, порой совершенно открыто, но безмерно эгоцентричен, направлен на себя, вовнутрь. А вот смех, напротив, ориентирован вовне: смеющегося интересует, прежде всего, кто-то другой. Они родные сёстры, уверяю вас, я и знаком с обеими, и с обеими плотно сотрудничаю [обе способны очистить душу]. Как же верить, в повесть или роман, где нет вообще ни грамма юмора? А ведь в мире живых среди живых людей всегда и всюду случаются забавные ситуации, всегда есть те, кто шутит, или пытается шутить, всегда кто-то неумело хвастается, есть девушки, у которых три высших образования, а она в СМСке из семи слов делает шесть ошибок, есть хвастуны и глупые трусливые начальники, бесстрашные дворники и вахтёрши... А где то место в мире живых, в котором никто никогда не шутит, не острит, не ошибается, не врёт; место, в котором никто никогда не ставит кого-то или не попадает сам в глупое положение, где все политики и звёзды читают книги и умеют грамотно говорить и писать, а блондинки ездить по правилам и быстро парковаться. Нет, я допускаю, что может и существует место, где только плач, крики, стоны, зубовой скрежет, но мы живём не в аду, да и там остроумных людей никакие муки не удержат от желания пошутить. Скажем, Оскар Уайльд, даже умирая, не удержался и, будучи до конца настоящим эстетом, сказал: «В этой комнате ужасные обои, кто-то из нас должен непременно уйти».

Приблизительно так выстраивались мои размышления в данном вопросе. Упрямый, желторотый юнец! Так я упорствовал до шестнадцати лет, пока не открыл для себя непревзойдённую Тэффи, а чуть позже — Викторину Токареву и ещё парочку женщин, умеющих писать смешно. Ладно, упрямо фыркал я, бывают редкие исключения. Но и тогда чаще всего женщины пишут поверхностно и в основном для женщин. Женщина-писатель неспособна создавать высокохудожественные тексты и не способна писать одновременно интересно и глубоко. А все что слишком — всегда плохо. К примеру! Если отсутствие чувства юмора автора приводит читателей к сплошному мучению скучной драмой, то, как грустно подметил ироничный Довлатов, полнейшая неспособность почувствовать драму другого человека — это уже явная трагедия лично для автора.

А вот Гончарова, чуть ли не единственная из живущих ныне писателей, которая соединяет, нет, лучше сказать, переплетает в своей прозе смешное и печальное, весёлое и мудрое... Но до знакомства с её книгами я делил литературу на две категории: мужская и женская. И женская считалась априори никакой (теперь я делю на три категории: мужская, женская, и настоящая, независимо какого пола автор её создал). Прошу, не осуждайте мой типично мужской, слегка домостроевский, предвзятый,

примитивный, сексистский взгляд родом из мужского шовинизма. Жизнь мудра! Она умеет вовремя, как нашкодившего котёнка, ткнуть куда надо того, кто спешит изливать свои заблуждения, не подумав.

К двадцати годам я ознакомился с блистательной публицистикой Марины Цветаевой, затем с "записками" мудрой Лидии Чуковской, а три года назад я прочитал повесть «Дракон из Перкалаба». И знаете что? В этой повести хватало и мастерства, и глубины, и реализма, и мистики, и не только легкой, ненавязчивой, тонкой иронии, но и столь же изысканной самоиронии — высшего пилотажа для остроумцев любой категории. Автора «Дракона из Перкалаба» (а им как раз и оказалась будущий автор «Персеид» Марианна Гончарова) абсолютно заслуженно наградили «Русской премией» в 2013-м году. «Дракон...» весьма стоящая вещь, поверьте моему более-менее развитому вкусу и поверьте тому, что развило мой вкус — моему опыту.

Так что же я опасался приступать к чтению книги «Персеиды», если первая повесть имела, на мой взгляд, вполне заслуженный успех? Отвечаю. Боялся, что та повесть окажется наивысшей точкой авторской потенции. Пиком творчества. История литературы хранит массу примеров яркого дебюта, после которого наступало медленное затухание и упадок таланта и как следствие — затянувшийся кризис, потеря дара, затем долгое молчание, жалкие и убогие попытки повторить собственное восхождение на звёздный Олимп, а после всего вышесказанного, сами понимаете, таким примерам несть числа.

Я пытался игнорировать эмоциональную сторону своего внутреннего мандража. И на помощь раздвоившемуся «я» мне пришлось позвать самого бездушного из всех моих субличностей. Холодного, жестокого и бескомпромиссного профессионала. Я называю его Мэтр! Другие называют его «Маэстро», а за глаза «Самоуверенный Ублюдок И Диктатор». Если соединить, получается Маэстро Самоуверенный Ублюдок и Диктатор. И вот Маэстро СУИД сказал: «Хватит скулишь, щенки! Дайте мне эту чёртову книгу. Я сам прочту. Но предупреждаю! Если мне хоть что-то не понравится — буду справедлив до жестокости и честен до безжалостности! Коротко говоря, вердикт будет суров, но справедлив! И я не посмотрю, что она женщина. Я не испытываю жалости ни к старикам, ни к детям, ни к женщинам, ни к "подпольным советским миллионерам". Я беспощаден к бездарным врагам прозы. Чуть что не так — острой рецензией по горлу, и в Лету! И рука не дрогнет! Таков суровый закон каменных литературных джунглей! И никаких поблажек! Никаких реверансов! Хотели равенства и равноправия — распишитесь в получении. Короче: Платон мне друг, но истина дороже, вверх таких не берут, и тут, МУР, а не институт благородных девиц, лигтератор пола не имеет, пусть он звёзды хватал с небес, а ты как думал?! Тут вам не равнина, марш домой, к мамкам, нянькам, куклам, тряпкам! Корнет, вы женщина? Всё смешалось в доме... Оболенский... Кони, люди... Налейте вина! Я сказал!»

Вот он какой! Грозный Мэтр СУИД! «Страшно, аж жуть!»

И вот, ознакомившись с книгой, этот жесткий, принципиальный и жуткий критик (он же СУИД), угрюмо помолчав, произнёс таинственную фразу: "Это волшебная повесть, но секрет её волшебства заключается не в том, О ЧЁМ и не в том КАК, а в том КТО её поведал".

Что это могло означать? Он не соизволил снизойти до объяснений.

И я решил *сам* прочитать повесть, дабы составить собственное мнение о прочитанном.

При желании можно спрятать в тенетах своего произведения всё (чтобы угодить если не всем, то многим). Можно спрятать в тексте пол, возраст, национальность, гражданскую позицию, опыт или неопытность, ум или глупость, истинные мысли и вкусы... Всё то, из чего состоит твоя личность! Можно спрятать, зашифровать или загримировать, но убрать всё это бесследно труднее, чем незаметно помыться в многолюдной бане, не снимая одежды... Гончарова даже попытки такой не делает - завуалировать свой внутренний мир. Вся её проза, весьма характерная, автобиографическая, стильная, несёт чёткий и глубокий отпечаток её собственной души.

Такую прозу раньше называли «авторской», позже филологи отнесли подобные произведения к категории «кирико-автобиографическая проза». Название условное, и не все вещи такого рода обязательно несут в себе и упомянутые качества. Но случай Гончаровой аккуратно входит в эту в своё время опустошённую нишу.

Она щедро использует личный биографический материал, но, как мне кажется, всегда обрабатывает его особым художественным образом, использует случившееся как натуру для своей живописи. Продолжая проводить параллель, она пишет некую новую действительность по мотивам реальных фактов, а не фиксирует их посредством фотоаппарата.

Толстой заметил когда-то, что если в будущем и останутся писатели, то они не станут сочинять, а лишь будут описывать то важное, главное, что произошло с ними в реальности, что оставило след в их сердцах, имело влияние на слова, поступки... И то верно, *что* нового можно сочинить? Сюжеты все учтены и обработаны многожды раз, в разных переплетениях и описаны с разных позиций, в разных вариациях... Но, с другой стороны, просто мило и забавно фиксировать происходящее — в том ничего оригинального нет. А вот выстроить новый мир из прожитого и пережитого да прочувствованного и уметь отстраниться, не устраниаясь, а наоборот, являясь и автором, и героем, и наблюдателем этого соединения, честно работая для читателя над произведением, но не предавая собственной природы, и быть при этом интересным другим, абсолютным разным людям — вот тут и мастерство, и талант, и магия настоящего литератора. Уметь одновременно быть и адвокатом, и обвинителем, и обвиняемым, и судом присяжных, и свидетелем процесса под названием *сама жизнь* — для этого нужно быть весьма многогранной личностью. И при этом иметь не только талант рассказчика, но и виденье, и волю режиссера, а также сумасбродство и испол-

нительское рвение не утратившего любви к лицедейству, артиста. И все эти способности вместе не только помогают в создании качественного художественного текста, но и зачастую мешают одна другой, входят в прямой конфликт друг с другом. Так вот, этот конфликт и это противоречие остаются в театре за кулисами, за границами сцены, а в книгах Гончаровой они, выражаясь высоким слогом, не уходят за границы печатного текста, а разукрашивают текст, придают ему уникальную пластичность, которая нас увлекает, как драматическое действие на сцене театра.

Недаром в одной аннотации к её очередной книге я прочёл, что отличительной особенностью прозы Марианны Гончаровой является яркая театральность. Но вымысел и условность незаметны лишь в хорошем театре, поскольку по-настоящему талантливый автор пьесы дает множество достоверных деталей и выписывает точные образы и диалоги, а хорошие актёры придают героям реальные черты, и всё это подаётся публике настолько естественно и органично, что уже веришь в происходящее на сцене на все сто.

Однако это всё не конкретно о «Персеидах» Гончаровой, а скорее вообще обо всех её основных и главных творениях. Что-то их, безусловно, роднит между собой, не только обаятельная личность автора. Хотя, согласен, в основном именно это, как мне кажется, и определяет их легкость, очарование, игривость и блеск! Но об этом позже. Сперва исключительно о «Персеидах». Пора бы приблизиться к повести вплотную. Для того я и сел за письменный стол ровно в полночь. О "ночной повести" и писать символично тогда, когда почти весь город уснул.

Так что же я хочу сказать?.. При желании повесть «Персеиды» можно прочесть за один присест. Проглотить за какие-нибудь восемь тире десять часов. Эти десять часов пролетят незаметно. Вы получите колоссальное удовольствие от такого тотального поглощения и, скорее всего, ещё один-два дня будете ощущать приятное послевкусие, вспоминая ту или иную сцену из книги, будете ловить себя на том, что глупо улыбаетесь, как хомо идиотус. Со мной было именно так! Может, вы другие, я не показатель. Но не думаю, что моё эстетическое, да и этическое, заодно с этническим и эклектическим, восприятие художественной литературы отличается от вашего. Если вы до сих пор читаете эту статью, стало быть, моя манера вас не корбит. И, стало быть, в нас больше общего, чем мы могли представить...

Думаю, многие верные читатели именно так и поступают — за день или за ночь прочитывают очередную книгу Гончаровой, а затем пишут благодарные письма. Или не пишут, но хотели бы написать. Или просто хотели бы сказать пару приятных и теплых слов при случае. Я не утверждаю. Предполагаю только. Можете считать меня идеалистом. Мне же после прочтения хотелось поблагодарить автора за ощущение некой свежести, за какое-то внутреннее очищение, словно душу, не только душу, весь свой внутренний мир, искупав в прозрачном швейцарском озере, я повесил

на ночь сушить под ночным весенним ветерком, несущимся, как дети на санках, с альпийских гор. (Видите, я и сам стал добрее, светлее, лиричнее что ли? Хотя моё сравнение, по большому счёту, ужасно, ибо дети, несущиеся на санках с альпийских гор, поубивались бы к едрене-фене!)

Автор же, наверное, читает восторженные отклики и хоть и довольна тем, что угодила читателям, и наверняка испытывает гордость за проделанный труд, но и улавливает в себе тихое ворчание, едва слышимое за громким радостным сердцебиением. «Гм, — читая, думает она. — Ну надо же... Прочла вашу книгу за ночь... Хотя вообще-то... Не обязательно было так торопиться... Книгу ведь и так никто не отбирал... Нет, приятно, не то слово, право же... Я ведь её, прямо как дитя, девять месяцев вынашивала, да и рожала столько же... и потом ночами не спала, до утра просиживала над ней... Любовалась... Гадала, какой будет её дальнейшая судьба?.. Понравится ли она людям? Не обидит ли её какой-нибудь злобный тролль? Придётся ли ко двору столичного журнала? Или проведёт жизнь во тьме архива? Болела душа за неё. Улучшала текст: писала, переписывала, вновь исправляла... А эта, видите ли, прямо раз — и проглотила... За одну ночь... Я год работала, а она... Тоже мне ударница скоростного чтения... Да ты, видать, и в смысл особо не вдумывалась...»

Хотя, судя по книгам, Марианна Борисовна — я с ней лично не знаком, к сожалению, — так вот, судя по книгам, она о людях плохо не думает. Вообще! Создаётся такое впечатление. Не думает плохо... Не сердится на них, не раздражается... Этого, конечно, не может быть. Люди раздражают всех. Некоторые особенно сильно раздражают. И автора «Персеид», уверен, тоже. Ведь она — пусть даже необыкновенно светлый — но всё-таки человек, и её люди тоже иногда и обижают, и огорчают, и раздражают, изредка, но бывает... Не может же быть иначе. Но при этом она каким-то сказочным образом умудряется их простить, вернее, понять... Или оправдать... Даже очень-очень плохих людей, нехороших... Это тоже дар божий, которым пользуется один из тысячи. Дар был дан всем, однако не всем он по силам, многим не по душе, а кое-кто, дабы использовать дар других себе во благо, свой дар вывернул наизнанку — выверни "дар" станешь "рад".

А Гончарова, напротив, делится радостью со всеми. Ну, то есть, не сама Гончарова. Сама она только хотела бы делиться радостью и счастьем со всеми без разбора, и с хорошими, и с плохими...

Впрочем, нет. Я в корне не прав! Я же чувствую, для Гончаровой, как и для Сергея Довлатова, которого она искренне любит (это понятно из её текстов), нет людей *плохих* или *хороших*. Да и быть не может, если ты разбираешься в жизни. Если умеешь быть к людям внимательным. Гончарова (уверен, что из скромности она это будет отрицать) в полной мере обладает житейской мудростью и внимательным отношением к живым существам, в число которых входят и люди. Как по мне, не все и не всегда. Но Гончарова добрее меня, она способна искренне и любить людей, и ве-

рять в них, и — главное — верить, что самое доброе в них в конце концов возьмет вверх...

Да... Её книги читаются легко и поэтому быстро... Но советую не спешить. Вы рискуете пропустить много важного... А если поддадитесь лёгкости её повествования, не можете остановиться — перечитывайте, умоляю... Не пропустите такие строки как: «Ничто так не говорит о людях, как отношение к ним животных. Стали бы доверять аисты людям, если бы они были плохие? Злые, коварные?».

Эти же слова можно отнести и к одному человеку. Скажем, к самой Гончаровой. А ведь животные, я так понял, души в ней не чают. Любят её. А уж как она их любит. И не просто любит. Она их уважает. В каждой зверушке умудряется увидеть Личность. Тут, чёрт возьми, не в каждом человеке личность увидеть можно! То ли личность мелковата, то ли у меня зрение слабее, чем у Гончаровой. Вот она пишет о собачке Дуне: «Зеркала у Дуни нет, чтобы оценить свою красоту, размеры, а поскольку воспитывает её гигантский пёс-лайка Амур, Дуня уверена, что она тоже большая, лохматая, грозная и сильно породистая. А на самом деле по двору бегают чёрная туфля с белым бангиком примерно тридцать пятого размера, носится и пищит». И ведь видишь прямо это потешное дитё четвероногое. С каким вниманием надо наблюдать за своими питомцами, чтобы в какой-то момент услышать их речь? «Амур лежит на крыше будки на террасе — своей дневной резиденции, по-королевски свесив кисти лап, если можно так сказать, наблюдает за всем этим и вдруг зевает с подвывом.

Дуня подбегает, задрал голову, вся лучится от радости, повизгивает, потявкивает, семенит всеми четырьмя карандашиками, от восхищения теряет над собой контроль и равновесие, валится на один бок, вскакивает:

— Вы что-то сказали, мой прекрасный великий господин? О, прекрасный великий господин?

Амур величественно поводит носом, вздыхает и в сторону:

— Д-д-дурочка!..»

Как превосходно! Так мило, что даже я невольно улыбаюсь... Юные натуралисты так не любили зверей, как она. Гончарову можно записать в писатели-анималисты, но столь же талантливо она очеловечивает куклу... И даже некоторым (явно неприятным) людям она очеловечивает их животные личины... Скажем, одного явного «сексота», жадного, подлого, но трусливого, она очеловечила до того, что его уже и не презираешь, а лишь смеёшься и даже чуточку его жалеешь, нелепого, жалкого, смешного... И соседку злобную почти понимаешь, и почти не сердиться на неё, а лишь с улыбкой удивляешься вместе с автором: ну как так можно, мол... Гончарова заряжает добротой, но не святой простотой и глуповатой наивностью, напротив, мудрой добротой и каким-то всепониманием... Так что читать её всё равно что брать уроки внимания, доброты, искренности... Можно и залпом выпить бальзам, настоящий на целебных травах, но лучше — в день по столовой ложке. По главе в день перед сном... Это рекоменда-

ции... Но... Я-то знаю, как тяжело следовать рекомендациям врача. Да я и сам прочёл книгу за два дня. Но я не идеал, лишь знаю дорогу к идеалу... Думаю, что знаю... Иду впотьмах... Но точно знаю, что думаю! Уже немало! Пока иду, ищу, то нахожу, то теряю... Нашупываю...

В бледно-розовом детстве я, помню, прочитал в какой-то книге, испорченной до тошноты идеологией и нездоровой пропагандой, что Зоя Космодемьянская, когда была ещё юной пионеркой, заставляла себя, воспитывая силу воли, откладывать книгу именно тогда, когда в ней начиналось самое интересное. Вот какой характер был у Зои. Стальной характер. И время стальное — сталинское. С раннего детства девочка была волевой. Представляете? В романе самое интересное начинается — а она раз, книгу в сторону и на сбор металлолома шурует. «Гвозди бы делать из этих людей»... С детства в крови махизм... Тьфу! Я хотел сказать, марксизм... марксизм-ленинизм-сатанизм... Да ну что ж такое! Подсознание вылазит... Сталинизм, конечно!

Вот что за человек я такой? Ради красного словца, ради сомнительной шутки самое святое готов обсмеять! Да, святое! Не удивляйтесь! В детстве я верил! Верил, что мы живём в самой счастливой стране. Верил, что Ленин был самый добрый... и люди у нас в стране сплошь хорошие... А там, на западе, сплошь жадные, злые и кровожадные... В коммунизм как во всеобщее счастье верил... Верил в Мальчиша-Кибальчиша! И в подвиги верил! Гапоненко... Зоя Космодемьянская... Павлик Морозов... Когда меня не приняли в пионеры из-за плохого поведения и двойки в четверти по алгебре, я плакал стограммовыми слезами, горючими... Нет, не так! Для начала меня мать отлупила велосипедной цепью, а уж затем я рыдал. Но пионером быть действительно хотел и в советской власти не сомневался, верил в неё. Правда, ужас как не повезло. Практически всё, во что я верил когда-то, рухнуло в одночасье...

Героиня повести «Персеиды» счастливее меня — она искренне верит в то же, во что поверила всей душой некогда в глубоком детстве. (Не в марксизм-ленинизм, конечно!) И сумела пронести свою веру по жизни. По вере ей и воздаётся. Живёт счастливо, хотя, вроде бы, никаким материальным благосостоянием не обеспечена, а живёт, как в сказке...

Я же не могу представить, с каких пор я... Стоп! Речь не обо мне! К чему я вообще вел? Да пока ни к чему! Просто рассказал, что Космодемьянская могла отложить книгу на самом интересном месте... Было бы уместно посоветовать вам так же поступать с повестью «Персеиды», но тогда бы вам — не преувеличиваю — пришлось бы откладывать книгу каждые две-три страницы. Это при том, что интерес подогревается не благодаря лихо закрученному сюжету или постоянно сменяющим друг друга интригам. В чём же секрет успеха? В чём тайна нашего пристального внимания? А вот я спешить не стану. Уж я-то потяну интригу... Хотя уже всякому ясно, основная тайна в личности автора...

Вернёмся лучше к моей ненормальности! К тому же она помогла разгадать секрет волшебства. Итак, в чем моя странность?..

Вот ознакомился я с повестью «Персеиды». Получил массу удовольствия от столь приятного знакомства с добрым, ясным, ироничным, мудрым и в то же время по-детски наивным миром настоящего художника. В очередной раз подивился тому, что о хороших писателях, наших современниках, мы узнаём редко и случайно. Поразился тому, что кто-то ещё способен в рамках классических норм писать прозу живым и ясным языком, быть собой, а не жалкой пародией на своё лживое представление о себе! Дальше — больше! Задумался о том, нужна ли сейчас народным массам, будет ли замечена и оценена по достоинству, книга, не содержащая в себе насилия, секса и грязи, всего того, чем привычно напичканы современные книги, фильмы, хроники новостей? С удивлением обнаружил, что мне давно не попадались в руки творения нашего времени, после которых не возникало бы стойкого желания наложить на себя руки или вцепиться ими в горло того, кто умудрился своим, так называемым, художественным произведением очернить, опошлить, осквернить и загадить всё, что ни попадало в поле его внимания? (Это если мне еще хватало сил и воли следить за неловкими потугами неуклюжего и обрюзгшего повествования, украшенного сверкающей бижутерией из цинизма и дешевого эпатажа, или если я не уставал от долгой, заунывной, однообразной, порой маловразумительной речи околотитературного бича, который постоянно суёт себе в рот всякие объедки от вчерашнего пирса: заумь, контаминации, ассоциации, аллитерации... В ход идёт всё, кроме здравого смысла!) Настоящий художник никогда не копирует мир, он творит собственный! Да так искусно, так мастерски, что с первого взгляда и не отличишь!

Коротко говоря, мне было что сказать нашему современнику о чудесном мире, созданным Гончаровой, о мире и о его творце. «Коротко говоря» - сказать надо было много. Казалось бы, встань и иди. То есть сядь и пиши. Ничуть не бывало. Вместо этого я полез в Интернет и ограбил бедного автора, подарившего мне столько эстетических и духовных наслаждений, ограбил того, кто безвозмездно дал мне пищу для ума и бальзам для души...

Неблагодарный я! И ведь рука не дрогнула, когда я совершал преступление, то бишь, совершенно бесплатно скачал с пиратского ресурса ещё три книги Гончаровой. Ни стыда, ни совести. Лишь бы "на халяву"! Казалось бы, сам же писатель. Сам же неоднократно печально констатировал тот безутешный факт, что прожить на литературные заработки способно лишь какое-нибудь эфемерное существо, питающееся надеждами на будущее и читательским восхищением в настоящем; сам же в пьяном угаре бил себя лапой во впалую грудь и чуть не плача от жалости к себе, цитировал того, кто на литературные заработки содержал три семьи, купил автомобиль и норковую шубу для своей Музы: «Мне и рубля не накопили строчки!» Сам же, чтобы писать, не задумываясь о завтрашнем дне и хлебе насущном, вынужден время от времени сниматься в каком-нибудь дешё-

вом теледерме или веселить пьяное быдло эстрадными монологами в ночном клубе. И вот я, собрат, литератор, азартно радовался, получив три книги в своё распоряжение, не потратив ни копейки, при этом вместо проклятий посылал в космос эмоциональные импульсы в виде нейтральных пожеланий долгих лет пиратам интеллектуальной собственности. Так вот, сейчас мне совестно признаваться в содеянном. Я из последних сил ищу себе оправдания. Мол, не корысти ради, мол, аз есть грешен, житие мое, сколько взял, столько и верну и сверх того поделюсь с Гончаровой одним важным открытием о ней самой. С ней поделюсь и с её читателями. То есть почитателями. Поскольку пишет она настолько очаровательно, настолько увлекательно и доступно, что все, кто её начинает читать, то бишь, все читатели, в большинстве своём автоматически становятся почитателями её творчества.

Сюжетная композиция повести «Персеиды» незамысловата, а говоря откровенно, проста до гениальности. Но это не воровство, хотя сама идея, уверен, заимствована у жизни.

Фабула такова: маленькая девочка росла в сказочной атмосфере любви и добра, душевной гармонии. Детей обычно учат смотреть под ноги, а её учили почаще смотреть на небо. В небе красота, глубина, мудрость, Бог и звёзды, чудеса... Когда звезда падает, она вовсе не падает, она, может, летит мимо. А то и хуже того... Сгорает... А свет от неё летит к нам, но тухнет, сверкнув на прощание особенно ярко... Однако же люди-то говорят, что она падает... Если же загадать желание, пока видишь свет этой падающей звезды, то оно, желание, сбудется, и тогда будет счастье....

Главная героиня — наивная и добрая чудачка — с раннего детства искренне верит, что желание человека, озвученное во время того, как падает звезда, любое, самое-пресамое невероятное, сбудется всенепременно. Героиня не только верит в чудеса, но и ежегодно убеждается в том, что сие поверье, внушённое ей ещё в юные годы бабушкой, всегда исполняется. Когда эта некогда маленькая девочка, бабушкина внучка, доросла до появления своих внуков, вера уже давно превратилась в проверенное опытом знание: любые желания исполняются.

У Гончаровой вообще не бывает сложных разноплановых и переплетенных между собой линий, из которых состоит крепкий сюжет с крутыми поворотами и неожиданным финалом. Грубо говоря, происходящее в книге вообще не имеет сюжета в привычном понимании этого слова.

Убедитесь сами! «Персеиды». Женщина лезет на крышу и проводит на ней всю ночь, размышляя, вспоминая, загадывая желания свои и чужие, мечтая, фантазируя...

Бессонную ночь проводит и героиня книги «В ожидании конца света». Она сидит возле безмятежно спящего мужа и, пережидая обещанный в календаре мая апокалипсис, вспоминает всякие случаи из жизни: забавные, смешные, грустные, трагические, в общем, разные истории...

Она до утра сидит и, беспокоясь о родных, о близких и дальних, вспоминает, размышляет, мечтает, молится...

В третьей книге главная героиня просто едет из пункта А в пункт Б, в дороге она наблюдает, вспоминает, размышляет, мечтает и т. п.

Просто главная героиня всех книг Гончаровой — прирождённая рассказчица. Одна рассказанная история тянет за собой другую увлекательную историю, в середине которой может (к примеру) появиться забавный персонаж, поведавший забавный случай, о котором внимательная рассказчица спустя несколько историй обязательно вспомнит и расскажет историю его жизни, после которой придётся рассказать историю их знакомства, и эта история плавно перетечет в историю её родителей, одной их ссоры и примирения, состоявшегося благодаря её сестре, встретившей любимого мужчину, попавшим в одну поучительную историю, за которой последует другая, третья....

Так что же это — сборник простых и незамысловатых случаев, связанных личностью героя? Нет, тут что-то большее. А истории уже вышли за границы простого анекдота. Порой это целые судьбы в одном абзаце: «На следующий день оставшихся в живых евреев закрыли в подвале синагоги. Никто не разбирался, почему одних уничтожили сразу, других закрыли. Ну не было логики в их поведении, не было! Этих, закрытых в подвале синагоги, было тридцать семь человек взрослых и две девочки. Пишу буквами: тридцать семь. Тридцать семь синагог по всему миру поставила потом за свою долгую жизнь одна из этих девочек. В ту ночь те самые согнанные в подвал синагоги евреи собрали всё золото и серебро, которое было у них с собой, и подкупили конвоира. И тот отпустил девочек. Одной было семь лет, второй двенадцать. На следующее утро пленные были расстреляны, небрежно... Земля дышала потом долго, говорили старики. Ходила там земля».

Эта история из жизни. Она не придумана, но поверить в неё невозможно. И представить немислимо. Но это было! А автор рассказывает не только то, что знает, но и то, чего не может понять. А как такое можно понять?

"Там в центре раввин жил. Растил семь дочерей. Как было принято, помогал всем: соседям, знакомым, да и всем, кто приходил или в синагогу, или прямо к нему домой, всем, кто просил. Ещё румынские войска не вошли, только слухи пошли об их наступлении, а соседи уже закололи всех. Девочек. Раввина. Раббанит. Вилами.

Как понять, как это понять, как понять?... "

Это трудно понять. И принять невозможно. Но авторская проза именно потому так и названа, что автор всё пропускает через себя. К нам придёт и в нас останется лишь то, что автор пропустит через себя. А ведь

порой это куда более мучительно, чем просто читать об этом. Это мучительно больно...

«Мне часто снится сон, что я в длинном сером платье, в платке поверх длинных чёрных волос, заплетённых в косу, босая, убегаю от кого-то и прячу у себя чьих-то маленьких детей. Я боюсь, чтобы дети не заплакали от голода или усталости. Чтобы нас не нашли. Я спешно поднимаюсь в убежище по лестнице с хрупкими опасными гнилыми перекладинами, с провалами, открывающими страшную пустую высоту внизу под ногами, почти бегу, прижимая к груди маленького мальчика, держа за руку девочку постарше. А потом стою с ними, с этими детьми, у быстрой горной реки, а по зелёному склону от древней полуразрушенной деревянной мельницы, равнодушно стоящей на вершине холма, уверенно, пружинисто шагая, спускаются люди с повязками на руках обычных поношенных пиджаков, в нечищенных сапогах. И каждый придерживает левой рукой автомат у себя на плече. Они ускоряют шаг, показывая на нас с детьми пальцами. Бежать мне некуда. Последнее, что я вижу, — серый от пыли сапог с опавшим по ноге растрескавшимся голенищем. И в панике я всегда просыпаюсь. А руки мои ещё долго помнят потную ладонь девочки и тугую тяжесть мальчика.

Почему мне снится этот чужой сон? Что в моём доме принимает, как ангел, этот повторяющийся, ужасный заблудившийся в космосе сон?..»

И вот первый ключ к разгадке. Часто героиня просит о чём-то или что-то спрашивает у мироздания, чтобы затем поведать об этом нам, читателям, но, возможно, и мироздание о чём-то спрашивает нас, читателей, людей, спрашивает или пытается нам что-то важное поведать через автора или через героиню. Ведь героиня как-то знакомо привлекательна и мила... Ей веришь, доверяешь ей... И как-то парадоксально в ней уживаются мудрое и наивное, горькое и смешное... Героиня — вот кто удерживает наше внимание. Мы не только следим за ней, но и глядим на мир её глазами, поэтому мир так необыкновенно удивителен, хотя вроде бы знаком, ведь он тот же, в котором проживаем и мы, и всё-таки он другой. Совсем другой. Потому как она другая, неизменная героиня всех её книг. Героиня и рассказчик... Кто ты?! Я тебя знаю. Кто ты? И отчего ты не такая как мы? Ты другая... Но я тебя знаю... Я тебя помню...

Серьёзный критик, опытный профессионал с высшим филологическим образованием строго придерживается при написании статьи традиционных форм: сухим научным языком обозначив в первых же строках главную тему, он, не отходя от неё далеко, медленно движется от завязки вдоль по развитию сюжета через яркую кульминацию к развязке и далее навстречу финальному выводу.

Модный и современный критик презирует всяческие правила и каноны, пишет свободно, небрежно, в манере ЖЖ или потока сознания, откровенно пиарит себя, щедро сыплет цитатами, всегда и намеренно открыто и нагло склонен к яркому эпатажу и к оригинальным, часто скандальным, неожиданным интерпретациям.

Продажный критик, взвешивает каждое слово на вес золота, дозирует степень лжи так, чтобы на литр похвального сиропа шла ложка правдивого дёгтя. Для пушей конспирации.

К счастью, я вообще не критик. Я и сам худо-бедно, но умею писать художественные тексты. И всерьёз назвать меня серьёзным могут только те, кто реально близок, те, что знают то, что знаю я: в улыбке мы прячем оскал, а за грохотом хохота можно услышать плач и скрежет зубовой...

Мне скучно в сотый раз ссылаться на Бахтина и Гаспарова. Я не собираюсь умничать, говорить о четырёх уровнях великой прозы, о скрытой амбивалентности образов, о повествовательной динамике произведений Гончаровой, похожих на красочные сны ребенка, хотя не сказать об этом — значит умолчать о том, что скрыто под внешней, видимой стороной её текстов, кажущихся такими простыми, так быстро и грубо сшитыми друг с другом яркими лоскутами. Я ничего не собираюсь утверждать и доказывать, я ни в чем не уверен, лишь пытаюсь разобраться в том, что мне нравится, я размышляю и делюсь плодами размышления. Так же я не хочу быть модным и вслед за всеми упоминать первую обойму имён, всё ту же привычную и беспроблемную обойму современных украинских авторов: Пелевин, Сорокин, Прилепин, Быков и... За границей которых... Я против них ничего не имею. Они у всех на слуху... А Быков даже всегда на виду... Куда ни плюнь! Нет, правильно! Они заслужили! Даже тот, за границей... Я о другом! Обойма не меняется лет 15! Почему не пополняется? Той же Гончаровой, например. У неё что ни выстрел — в десятку! Той же... Хотя, ладно, ту, скорее всего, на западе оценят, а в России за это же и обплюют с ног до головы... Или вам нужна тишина? То-то слышу упорное молчания роты критиков? Хотя это в Россиирота... В Украине и половины взвода не наберется... А молчание и там и там...

Ох, Алексей-Алешенька-сынок! Заносит тебя! Постарайся быть объективным! Нет никакого заговора! Первые места давно заняты, уступать их никто не собирается! Писатели не обязаны подвигаться. Им и так там, на самом Олимпе тесно. Олимп не резиновый.

Нет, я не критик! Их и так слишком много сейчас в Украине! Аж трое! Или четверо? В общем, там места тоже все заняты!

Всё правильно! Если есть литература, должна быть и критика! И литература есть. Более того. Есть хорошая добротная литература. Но о ней почти никто не знает... Ту же Гончарову в Украине не знают... Почти...

Опять это слово «почти». В седьмойраз уже мелькает. Неужели случайно? Почти... почти...

Я объясню! Нынче у нас всё так... почти всё так... Кругом и всюду. Украина — почти Европа. Украина почти независимая... С одной стороны, почти реформы. Хотя почти не видно никаких перемен... Но мы уже почти ничему не удивляемся... Мы уже ко всему привыкли... Ну, почти...

И, безусловно, по сравнению с XX веком в наше время почти никто не читает. Но литература-то есть. Люди пишут, книги издаются... И так будет всегда... Пока есть спрос, будут и предложения... Спрос есть... Почти есть... Но предложений гораздо больше... Но основная часть предложений непристойны... Или примитивны... Безусловно, есть и великие поэты и прозаики... Их ценят и чтут... Почти...

Ничего страшного! Во времена Пушкина в Российской империи не более двух процентов людей из всего населения читали книги на родном языке. Но сколько тот век подарил талантливых литераторов... Уже тогда их было много, а земля и теперь не бедна талантами, вот ещё бы их отрывали почаше, то бишь не зарывали бы... Талантливых людей надо учиться ценить. Это трудно. Они, подчас, и сами себя не ценят. А если без иронии, мы могли бы... Тот же Киев способен стать столицей культуры, науки, литературы и творчества... У нас для этого все ресурсы. Бездна талантливых людей. Это если говорить теоретически. А практически мы имеем то ли бездну талантливых людей, то ли талантливых людей и перед ними сплошную бездну....

И всё-таки об одном таком весьма одарённом человеке я собираюсь написать статью... Или эссе? А кто помнит разницу? В общем, собираюсь написать нечто... Что?! Только лишь собираюсь? Я окончателью "слетел с катушек"?

Ну конечно, это я так, разминался...

Я просто пишу в своё удовольствие, так, как пишу. Я не скован цепями долга, не связан узами дружбы, не ослеплён блеском серебра и золота... Пишу о ком хочу, что хочу и как пожелаю... К тому же меня, вероятно, прельщает, вернее, увлекает близкий мне по духу жанр, в котором творит Марианна Гончарова. Жанр этот нетипичный, оригинальный, хотя и далеко не новый, точнее, давно забытый старый. Называется «как Бог на душу положит». (Вы, однако же, по моей статье об этом её удивительном индивидуальном жанре не судите строго. Жанр «похож, да не одно и то же — у них пшеница, а у нас рожь»). Надо вам сказать, Бог кладёт на душу Гончаровой аккуратно, красиво, щедро...

Загадок "почти" нет. В той же повести "Персеиды" подзаголовок интригует куда сильнее самого названия: ночная повесть, но логика такого подзаголовка быстро улавливается и вполне оправдана, ясна.... А само название понятно, а кто не слышал, тот пусть поинтересуется у всезнающего интернета! И узнает, что Персеиды — такой мощный метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. В повести об этом речь заходит с первых страниц... Но у повести имеется предисловие, в котором автор предупреждает: "Смешно не будет. Или будет.

Не знаю. К слову сказать, никогда не ставила перед собой такой задачи". (А почему вообще должно быть или не должно быть смешно? Автор признаётся, что никогда не ставит перед собой цели — рассмешить читателя. И я ей верю. Такого рода потуги всегда видны, их не спрячешь, это всё равно, что рожать и не тужиться. Она ведь пишет о жизни. А жизнь всегда — трагикомична. Всё зависит от роли, от спектакля, текста, мизансцены, партнёров... А в жизни это всё меняется каждую минуту! Вот ты герой, а вот уже «злодей», а вот ты всего лишь зритель, а через минуту — бах! — трагедия, а ты всего лишь один, безымянный актёр, из массовой. Такова жизнь. И таковы её повести. А откуда ей знать — какой будет её повесть! Да и откуда ей знать кто ты, читатель её повести? От тебя же тоже многое зависит! Хотя какая же это повесть? Это скорее сказка на ночь. Но сказка для взрослых. Как и предыдущие её сказки... **НО такие жизненные**, что и не уснуть... И, не покидает тебя ощущение, словно ты и не читаешь книгу сам, а слушаешь тихий голос автора... и не хочешь засыпать... и хочешь слушать... слушать... при том, что так страшно... То страшно интересно, то страшно смешно, то страшно мило, то страшно страшно...

Однако же всё это — пустая лирика. Жалкий лепет восторга. Неоправданные «ахи и охи». Пора бы объяснить, а для начала и самому понять, что именно вызывает во мне столь положительные эмоции. Хотя эмоции всегда положительны, отрицательно только отсутствие эмоций. Когда ничего тревожит, не удивляет, не волнует... Когда ты равнодушен... Когда ты мёртв... Недвижим, тих и «спокоен, как — пульс покойника»... Таким «покойником» можно читать Пелевина да Сорокина: вот где сразу видно, как старательно автор «тужится», а ничего не рождается, то есть рождается НИЧЕГО или НЕЧТО, и ты понимаешь, это были не роды, а, простите, потуги иного рода.

Говоря сухим языком литературоведов, Гончаровой претит постмодернизм! Да ей не присущ и нонконформизм, авангардизм, модернизм, романализм, соцреализм... Ей глубоко противны эти «измы». И литературные выкрутасы, претенциозные выверты ей не нужны... Даже, казалось бы, нон-фикшн она бы отвергла в качестве ярлыка! Она просто автор! Буквально с латыни — творец! И одновременно агиограф! Только описывает жизнь не святых людей, а просто людей, а под её пером даже кошки, собаки, голуби, кролики, не то что люди, и те - святые! И то верно — все мы — божьи создания!

Она хороший и талантливый автор! Читаешь — всё идеально!

Но будем сухо придерживаться литературного тона! Мы ведь тоже кое-чему учились! Хотя при всей классической манере, она и тут ни в какие рамки не влезит. Отчего так? Тут же вроде всё предельно понятно: авторская речь чиста, правильна и незамысловата. Отсутствует какой бы то ни было пафос и вычурная патетика, слог прост, сух, тон повествования доверительный, располагает к тихой откровенной беседе... События следуют одно за другим, нас, читателей, мягко и умело переносят из одного времени

в другое, но реминисценции не уведут нас в сторону, не выбивают из комфортного седла, лошадки с условным именем «Сюжет», ровным аллюром несущей нас мимо колоритных жителей, о которых мы узнаём интереснейшие то подробные случаи из жизни, то случайные подробности...

Читается легко. А уж я-то знаю, какой труд и какое мастерство прячутся за подобными словопостроениями, как тщательно необходимо выстроить каждое предложение, дабы фразы складывались и подгоняли себя друг к другу, не оставляя швов и пустот на стыках. Это при том, что автор стремительно ведёт за собой читателя от одной истории другой, от второй к третьей и так до бесконечности, успевая скупыми точными штрихами набросать яркие портреты десятков персонажей, с которыми приключаются всякие житейские случаи... Здесь нет четкого (да и нечеткого тоже, никакого) деления героев на плохих и хороших, на положительных и отрицательных, они ведь живые, у каждого из них, равно как и у каждого из нас, есть и свои слабости, и свои недостатки, но есть и достоинства. А для не совсем этических поступков действующих лиц автор всегда старательно подыскивает смягчающие обстоятельства... А если не получается, то быстрой скороговоркой уводит нас от такого поступка «неприятного» человека в сторону смеха, а смеющийся человек становится добрее, мягче, терпимее к чужим недостаткам... Не правда ли?

Но чаще она сама находит объяснение всему отрицательному, и это тут же позитивно сказывается на нашем отношении к отдельным недостаткам нашего мира, общества, рода, вида...

Просто Гончарова не только умело и ярко рисует нам облик того, о ком она собирается поведать нечто интересное, но и мастерски проникает в его психологическое нутро...

А как умело она передаёт прямую речь того или иного персонажа! Вот послушайте, и перед вашим взором предстанет как живая, односельчанка главной героини, старушка Поликарповна:

«А эти сериалы... Я уже и не знаю, где кто от кого беременный, позапутывали, а тот, от кого все беременные, он же во всех сериалах, шмыгает туда-сюда! А-ха-ха! Не уследишь за им, я уже и сама скоро буду от ево беременная. А-ха-ха!

И что, от смари — я ж так и знала, этого мерзавца, таво, в костюме — пинжак в ёлочку, бруки, - ну таво, точно прикончат в десятой серии... Почему-почему... Так он вже в первой серии ходил из дохлым лицом. И так торопился слова свои говорить, ничо не понятно — тыр-тыр-тыр! — так спешил, так спешил! И я сразу сказала: не жилец. И точно!»

Итак, ночная повесть... С речью, бегущей к нам навстречу, в самое сердце, словно мягкая волна по лунной дорожке...

Гончарова, как всегда, в своих художественных картинах, демонстрирует себя и как великолепный живописец: ей удаются портреты, как

групповые, так и одиночные, пейзажи, как городские, так и загородные, натюрморты, анималистика, картины сюжетные, исторические, и дух захватывает от того с какой лёгкостью она, когда того требуют обстоятельства, умело использует любую нужную манеру — от шаржа и карикатуры до импрессионизма и сюрреализма. Она всё умеет, но форма в её прозе всегда работает только на содержание, никогда — наоборот. И донести до читателя содержание ей важнее, чем удивить формой.

Словом, понятно, что это она идет навстречу читателю, помогает ему. Так как считается с ним! Уважает его!

Если вы хотите пить, вас измучила жажда, вам нужна вода, то вам плевать какой формы, равно и на то, из какого материала создан сосуд. Вам нужна холодная, чистая, богатая минералами вода, в удобной для питья посуде. Так вот Гончарова подбирает посуду адекватно предлагаемому напитку. Молоко приносит в кувшине, старое вино в бутылке, мёд в бочке... Она не издевается над нами, не эпатирует нас, не затуманивает искусственно смысл, особенно когда его нет...

Она легко и быстро погружает нас в атмосферу предлагаемых обстоятельств, и мы можем, без лишнего напряжения, следить за действующими лицами...

«Персеиды» — ночная повесть, но какая яркая ночь в этой повести...

Имеется дом с крышей, сидя ночью на которой можно наблюдать звездопад. И героиня предлагает всем желающим исполнение желаний, она согласна стать добровольным посредником между ними и космосом: переписав на листик желания друзей и подруг, а также вообще всех, кто нуждается в чуде, героиня сидит на крыше и наблюдает звёздный дождь, зачитывая желания знакомых, малознакомых и совсем не знакомых людей. Желания простые, понятные, человеческие... Кто-то просит, чтобы его сын наконец-то выздоровел, смог бы как и другие дети, ходить, бегать... Кто-то просит повышения по службе... Кто-то очень просит, чтобы его ребёнок, сейчас солдат, вернулся домой живым и невредимым... Многие просят любви... Любви всегда всем не хватает, но кому-то особенно сильно, до такой степени, что он (она) готов поверить во что угодно и попросить её у неба...

Боги, мои боги! Люди! Человеки! Не могу! Не способен! Меня, наверное, подставили! Увы, я не в силах передать вам, сколько доброты, сколько тепла и света несёт в себе вот хотя бы эта ночная повесть Гончаровой. Что уж братья говорить о её творчестве в целом?

Помню, дочитав книгу я, стареющий циник, завистливо-тоскливо подумал: надо же, а есть, оказывается, всё-таки в нашем грешном страшном мире — всё-таки есть ещё такие душевно чистые, добрые, порядочные, благородные, светлые люди.

А ведь когда-то и я был таким. Или хотел бы быть? Но не удалось... А тут вот вдруг стал! На короткое время! Благодаря Этой Книге СТАЛ...

ну хотя бы немножко... ПРОСВЕТЛЁННЫМ! Чем не действие того самого катарсиса?

В этом её заслуга, как писателя. Но, отчасти и моя, верно? Один мудрый прозаик ведь как учил? Помните? «Каждому из личного опыта известно ощущение, что писатель теми или иными словами или произведением в целом выразил наши сокровенные мысли и чувства, которые мы не умели так совершенно выразить сами. Самовыражение посредством художественного произведения оказывается, таким образом, уделом не единиц — авторов, а миллионов — читателей».

Мы сами себя сделали чуточку лучше, Гончарова просто нам помогла. А мы ей помогли тем, что прочитали. Она нам, а мы — ей. И вот уже всякий читатель отчасти соавтор. Вместе мы сделали невероятное. Улучшили себя! А если каждый станет чуть лучше, кому от этого будет хуже!

Так можно и на самом деле поверить, что искусство способно сделать мир лучше!

Но личность автора не давала мне покоя. А может, она не такая? Но она не может нас обманывать... Она сама обманется скорее... Я же чувствую! Тут не только опыт, интуиция, знаете ли...

Чары... Сказка... Всё не так, как мы привыкли... Ну конечно! Мне казалось, я почти определил её архетип... Всем помогает, спешит на помощь, за всех переживает... Никогда не унывает, а унывая, не отчаивается... И не перестаёт удивляться этому миру... И удивлять своим поведением...

Так-так-так-так...

Правильно, но если архетип есть условная модель, то мы сами себя всегда оцениваем по-другому, и мы не видим себя такими, какие мы есть, да и качества наши истинные часто прячутся от нас, проявляя себя в фантазиях и обнаруживаясь через символы. Или в критической ситуации, когда мы ведём себя не так, как нас воспитали и как мы привыкли, а как само собой получается... А каждый режиссёр помнит завет Станиславского: «Ищи в хорошем плохое, а в плохом хорошее». И не только потому, что это придаёт объём любому картонному персонажу, и не только потому, что «весь мир — театр, а женщины с мужчинами — актёры», нет, мы не стремимся кого-то обмануть и выдать себя за другого, мы, подсознательно, а единицы — сознательно, нарочно и умышленно, просто глубже прячем в себе того, кто нам ближе. Ведь зачастую в человеке совмещено два архетипа, один из которых доминирует над вторым. Но сильный, как по мне, руководит изнутри тем, за кого прячется. Стоп! Что же, она двулична? Мы думаем, что она очаровательное, хрупкое, идеалистическое существо, а она хищная, злая мегера? Нет, зачем же такие крайности? Да и явные противоположности сложно уживаются в одном человеке, если он, конечно, не полный псих и чудовище.

То, что я говорил в самом начале, помните? Лирический герой есть наше отражение... Оно похоже на нас, но в социуме мы его не выставляем напоказ, а литература — определённая форма душевного стриптиза. Мы

оголяемся, отпускаем себя, открываемся, исповедуемся... Что? Я этого ещё не говорил? Значит, пришло время и мне открыться... Эссе моё хоть и критическое, но и критика, так должно быть в идеале, является частью литературы.

Вот и мне захотелось открыться больше, чем я себе обычно позволяю! Или пришло время полностью распахнуть душу? А почему нет?

Ведь я не могу быть точно уверен, что говорю сейчас не о себе, когда рассказываю вам о Марианне Гончаровой... Это нормальный процесс! Я ведь и сам писатель. И сказал же кто-то умный, что критические тексты того, кто и сам писатель, что это самый необыкновенный род критической прозы. Разбор, анализ и критика другого писателя также неумышленно становятся авторским исследованием себя, эдаким саморазбором, предметом самопознания. Но порой писатель так увлекается, что говоря о другом, описывает прежде всего себя. Вот тут надо уметь различать и разграничивать!

Само собой, прежде всего пишу о Гончаровой. Пишу, что называется, отпустив себя, в стиле "сплошной поток сознания на заданную тему». Поэтому, как обычно, много ухожу в сторону. Перечитал написанное и ужаснулся — сколько лишнего, ненужного, так бесстыдно много и часто перехожу с Гончаровой на себя, с себя на классиков, а от них — вновь к Марианне Борисовне. Я даже, было дело, видя, что моя вещь расплывается вширь, выходя за рамки рецензии, хотел сменить жанр и озаглавить эти пятнадцать страниц размышлений так: "Критический очерк о том, как я хотел написать критический очерк о повести Гончаровой «Персеиды»". А всё потому, что моим размышлениям нехватало главной идеи! Была задача, был смысл, были важные мысли, было восхищение её талантом и желание этим восхищением поделиться, но не было центральной идеи. Когда есть идея (о ней, кстати, можно и не писать!), она задаёт любому произведению тон, настроение, темп, ритм, направление развития и точный смысл. Чаще всего мы пишем безыдейно, пишем так, как дрался Портог ("Я дерусь, потому что я дерусь!"), но идея всегда есть, просто мы её ещё не знаем. Часто мы можем её сформулировать, как говорится, лишь задним числом, постфактум, а ещё чаще её нам объясняют наши читатели или наши критики. Но она всегда есть! А если она открывается автору изначально, он тогда творит осознанно Великую Вещь — так ему кажется! — а в результате получает или Шедевр, или Полную... О, эвфемизм мне в помощь!.. Полную ерунду. Имея идею, Моцарт писал «Реквием», а Горький — «Мать»... Оба имели ИДЕЮ, но первый сотворил музыкально-духовный МОНУМЕНТ, а второй соорудил грубый постамент, то есть — буквально — «место для ног»... Правда, наверное, я не слишком удачное подобрал слово — «идея»... Скорее некое внутреннее зерно вещи. Ядро! Не важно! Суть в том, что, исписав чёртову дюжину страниц, я не мог понять, что ценно в моих высоких оценках, в моих находках и разборах, а что не имеет никакого значения. Что важно, а что второстепенно, а то и вообще

неуместно... Чего-то мне не хватало... И вдруг! Это прямо магия! Магия творческого поиска! Случилось! Озарение! Не иначе!

В чём основная прелесть всех книг Гончаровой? Книги ведь хоть и очень похожи друг на друга, но абсолютно разные. И при этом — заметьте! — эти разные книги нам нравятся. Что-то больше, что-то меньше, но каждая книга нам нравится. Почему? Ответ прост. Но простой ответ потянул за собой следующий вопрос, а ответ на следующий вопрос тянул за собой следующий, и так я, находя простые, очевидные совершенно ответы на самые лёгкие, почти банальные вопросы, пришёл к оригинальному и поразительному выводу. Я совершил открытие, не меньше. Нет, открытие ещё впереди! Но я нашёл ключик к пониманию её жизни и творчества. Так мне кажется! Я почти уверен! (Хотя обычно не уверен даже в том, что живу, а не вижу кошмар о моей неудавшейся жизни!) Этот ключик и будет моим подарком... И он стал основной идеей моего эссе. Теперь я могу установить центральный стержень моих писаний и нанизывать на него большие и малые кружочки моих записок о Гончаровой. Что-то лишнее я всё равно, даже понимая теперь всю ненужность этого лишнего, оставлю, но многое придётся выбросить, ибо оно категорически не встраивается в и без того нестройную конструкцию моего эссе...

Вот так забегая вперед и возвращаясь назад, размышляя о той, чьи произведения пытался, как Сальери музыку, разобрать на математические формулы, на мелкие молекулы, дабы понять, в чём прелесть и очарование её книг, я вдруг решил написать ей лично. Решил и все, не смог удержаться!

«Здравствуйте, многоуважаемая Марианна! (Добавить «Борисовна» требует элементарное воспитание, но не поворачивается язык, настолько Вы молодо выглядите!).

Давно хотел познакомиться, но моя тактичность, под маской которой наверняка скрывается элементарная нерешительность, не позволяла мне до сих пор сделать первый шаг! Надеялся, что когда-нибудь судьба сама сведёт. Ну, может, опять же, когда-нибудь нас кто-то представит друг другу. Ну, на крайний случай, Вы напишите мне. В наше время женщины стали мужественней, а в мужчинах всё чаще проклёвывается женское начало. Психологи утверждают, что нынешние мужчины ведут себя так, поскольку росли без отцов, раздавленные культом матери-одиночки. Не могу с этим объяснением согласиться. Дети войны тоже росли в период тотальной безотцовщины, но это привело лишь к некоторой инфантильности мужчин, а не к стиранию ярких различий между полами, хуже того — обмену свойствами и манерами и, как следствие, — к тому, что огромное число людей меняет не только сексуальную ориентацию, но и пол. Стоп! Куда-то меня понесло в сторону! Я по натуре своей больше скромный молчун, незаметный, угрюмый, тихий интроверт. Но в

хорошем настроении и в хорошей компании я расхожусь и превращаюсь в яркого, говорливого, неугомонного экстраверта. Но это в жизни, в прямом эфире, онлайн... А вот в эпистолярном жанре, особенно если пишу вот так, без черновика, тогда всё зависит от ситуации. С незнакомыми я сух и краток. Не я, а мой стиль письма. А с товарищами или добрыми знакомыми общаюсь свободно и легко. В результате чего бесконтрольное, неуправляемое и непредсказуемое поведение письма увлекает меня настолько, что я то серьёзен, то шучу, то и сам не пойму, «когда где какой»... А Вам, кстати, я пишу как старой знакомой, поскольку прочёл кучу Ваших книг... Но главная проблема в том, что меня частенько заносит: хочу лишь коротко и серьёзно поблагодарить, написать короткий комментарий, а начинаю философствовать или фонтанировать бог знает чем... Вот как теперь! И это опять же говорит о том, что после прочтения стольких Ваших книг и статей Вы мне стали ближе и родней, чем это есть в реальности. Ведь формально мы почти не знакомы, хотя имеем массу общих контактов и, подозреваю, массу общих интересов. Мне даже кажется, мы очень похожи. Оба пишем. Оба предпочитаем «телеграфный стиль». Не выносим длинных цветастопёстрых периодов. Имеем склонность к иронии, сверх того, к самоиронии. Оба получили «Русскую Премию». Любим Одессу! Наши предки оттуда родом. У Вас — бабушка и дедушка, у меня дедушка был коренным одесситом. Вас в Одессе знают и любят, Вы почти что родились в Одессе, а я в Одессе был зачат, буквально у самого моря (да простит меня моя покойная матушка за разглашение таких интимных подробностей). Вы любите животных, как и я, но сильнее и безграничнее... Вы играли в театре, были (и, кажется, остаётесь и поныне) художественным руководителем независимого театра, а я до сих пор являюсь ведущим актёром театра импровизации «Чёрный квадрат», чем и зарабатываю себе на хлеб, дабы иметь возможность писать исключительно что и как хочу не ради денег, а по зову души, не заботясь о том, понравится ли это редакторам, издателям, публике и критикам, или не понравится. (Кстати, благодаря тому, что я такой несколько неуправляемый культурный раздолбай в литературе, издателям и редакторам вроде бы чаще нравятся мои опусы, читателям вроде тоже — они мне часто пишут, а критикам вроде нет — они, во всяком случае, почти и не пишут ни мне, ни обо мне... [Быков, правда, — тот самый Быков! — написал мне, что я «умён, образован, обладаю навыками наблюдения и самонаблюдения, но всё губит вторичность темь». Имеется в виду, что я пишу о том, о чём до меня уже много раз писали. Бог с ним, с Быковым! Как он не понимает, что ОБО ВСЁМ уже давно всё

написали. И теперь главное не столько о чём, сколько — как!] И меня это почти устраивает...) Словом, мне кажется, мы родственные души! И мы оба немного чокнутые! Не обижайтесь, я пишу искренне, как думаю! Мы явно ненормальные: нормальные не станут так самозабвенно заниматься тем, что не приносит стабильного дохода.

Но есть между нами и различие! Вы более гуманны, а я скорее мизантроп. Ваш юмор добр, мой, наверное, жесток... У Вас, наверное, много друзей... У меня больше врагов... И даже сумасшедшие мы по-разному. Вы ближе к шизофреникам, как и большинство талантливых людей, я же — типичный параноик...

Я очень надеюсь, что не обижаю Вас своими «шуточками»... Я ведь как Чендлер из сериала «Друзья»: когда волнуясь, тоже много шучу, хотя признаю, что мое остроумие часто бывает неуместным... Просто я верю, что Господь одарил нас юмором, чтобы приблизить к себе. Ведь мы сделаны по его образу и подобию. Вряд ли имелась в виду только внешняя оболочка, наверняка тут и разум, и чувства... А юмор в табели о рангах человеческих чувств, думаю, занимает не самое последнее место... У тиранов, маньяков, садистов и всех прочих звероподобных существ юмора нет или он находится на очень примитивном уровне... Юмор, как и поэзия, а равно и музыка — язык богов и ангелов... Так мне кажется... Ладно! Заговорился! Утомил Вас уже, должно быть?

Очень рад нашему — пусть пока виртуальному — знакомству! Вы знаете, мне доверили написать статью о Вашей книге. Нет, не доверили, а просто спросили, а не хочу ли я написать рецензию на книгу талантливого автора современной прозы. Я ответил: «Как-то неудобно писать рецензии на собственные тексты». Мне сказали: «А Вы прочтите повесть «Персеиды», вдруг Вам захочется что-то, по прочтению, и другому автору сказать». А кто он — этот другой автор? Мне сообщили. И я вспомнил, что такого автора читал. И был приятно удивлён, что его (точнее, ее) повесть раз дочитал до конца. А это обо многом говорило. В Вашу пользу. И я сказал: «Настоящему литератору всегда есть, что сказать о том, кто хорошо пишет. И ещё больше есть сказать тому, кто пишет плохо!» Так я сказал! Ибо люблю блеснуть словом! Больше мне, кроме ранних зальсин и протёртых брюк, блистать особенно нечем! Но не ждите от меня дифирамбов, предупредил я. Не будем, сказали мне. И если мне не понравится, я себя насиловать не стану! Во-первых, простите, я не в моём вкусе, а во-вторых, я противник всяческого насилия. А потом я прочёл Вашу книгу! А потом другие. И решил, что обязан о Вас написать. И вот пишу уже несколько суток! Мне это приятно. И

для меня это честь, так как Вы единственная женщина-литератор (Тэффи не в счёт), чьи работы вызывают у меня уважение и даже восторг. Но я не люблю писать «правильные» академические статьи. Если Вас моя манера письменно изъясняться покоробит, Вы скажите, я не стану продолжать. Я очень уважительно к Вам отношусь, мне бы не хотелось ненароком Вас обидеть или как-то задеть. К тому же, мне кажется, я расскажу Вам и Вашим читателям кое-что интересное и новое и о Вас и Вашем творчестве. Всё! Я, собственно, написал Вам этот бред, только потому, что хотел кратко поблагодарить за то, что Вы есть и за то, что Вы так пишете! Это письмо должно было быть коротким, как супружеский долг, после десяти лет брака... Но что-то я разошёлся... Итак, спасибо за Ваш талант!

С уважением, Куришко».

Это всё была правда. Написал, чтобы поблагодарить. И проверить, каков будет ответ. Она ответила в тот же день:

«Какое прекрасное (чуть не написала «надгробное слово») письмо! Вы замечательный собеседник. И никакой не мизантроп. Помню, Ваша одна повесть растопила мое сердце. Рада, что и мои книги Вам по душе! Но если кто Борисовной окликнет, тому являться буду ночью, водить бровями, шморгать носом, качаться зыбко и грозить, клюкой кривою потрясая. Шепча с угрозою: Трикаарты! Ааахахаха!!!

Обнимаю. Ваш брат Маруся Гончарова».

Даже по этому короткому ответу видно: Гончарова поразительно похожа на свою героиню. Возможно, ей действительно столько лет, сколько сообщает бестактная Википедия, возможно, она руководит театром «Трудный возраст», и наверняка сидит часами за письменным столом и составляет из букв слова, а из слов — предложения. Но я себе её такой слабо представляю, зато прекрасно и чётко вижу, как она взбирается на крышу дома, чтобы загадывать всю ночь желания для тех, кто не имеет такой возможности. Вижу её упрямо сидящей в зале на подоконнике, хотя строгий дядька уже неоднократно делал ей замечание. Вижу создавшей целый театр только для того, чтобы сын захотел что-то прочесть из классики... Вижу играющей с мальчишками в футбол... Вижу, как играя в «городки», она вдруг остановиться и задумается... Вижу, смертельно заболев, будет придумывать себе кучу игр, и при температуре за сорок будет врать, что чувствует себя хорошо, только для того, чтобы не расстраивать доктора... Вижу сидящей за пианино, но вместо нот смотрящей в открытую книгу... Вижу всерьёз разговаривающей с животными... Влюбляющуюся в картинку.... Говорящей со звездами вслух... Вижу ту, что не носит очки, хотя близорука до такой степени, что всё видит не таким, как мы, и в пря-

мом смысле, и в переносном... Вижу ту, что вполне готова терпеть неприятный чесночный запах, исходящей от незнакомой попутчицы, и даже готовую проехать собственную остановку, лишь бы не будить эту попутчицу, уснувшую у неё на плече... И вижу ту, что упрямо будет отстаивать права, но не свои, а чужие... Вижу ту, что готова пожертвовать многим, ради счастья других... И верить людям на слова... И вполне допускать, что кошки «начали учить ноты»... Вижу... ребёнка! Девочку!

Девочка? Не просто девочка, а маленькая леди... Она знает как маленькой воспитанной леди надо вести в себя в обществе, но будет спорить и со злой королевой и с недобрым вахтёром...

Девочку, которая знает, что надо хорошо учиться, но не способной запомнить «таблицу умножения»...

Девочку, что любит путешествовать...

А не имея такой возможности, о путешествиях фантазировать...

Девочка, с непослушной чёлкой...

Та, что всегда глядит на мир с любопытством, но не удивляется тому, чему удивились бы взрослые, и, удивляясь тому, к чему взрослые давно привыкли...

Я вижу маленькую, культурную и воспитанную, но непоседливую леди, которой никогда миледи не стать...

Девочку вижу ясно, но ту, что не повзрослела... или, вернее, сохранила в себе эту девчонку... Умную, благоразумную, казалось бы, добрую и воспитанную леди... но вполне способную полезть за котёнком в кроличью нору и провалиться...

А падая, беспокоиться не о том, что она разобьётся, а совершенно о, казалось бы, неуместных и посторонних вещах...

Что хотите мне говорите, а я знаю, что героиня прозы Гончаровой это Алиса из Зазеркалья и Страны Чудес... И её книги — это её путешествии в страну взрослых...

Вы скажете, что она не так уж похожа внешне. Ну, во-первых, она изменилась, конечно. А во-вторых, мы же знаем, что рисунки в книге это одно, как и фото автора, а образ — совсем другое! Кстати, Кэрролл, чтоб вы знали, в качестве основы «художественной» версии Алисы решил использовать не Алису Лиддел, у которой как раз были тёмные коротко стриженные волосы и чёлка на лбу. И не так ли, вслед за подругой, постриглась наша героиня в повести «Дракон из Перкалаба», и носившая эту стрижку весьма долго.

Они обе — и Алиса и Маша (Мария, Марианна, Маруся) — считают себя некрасивыми и каждая может говорить со всеми, кто попадётся на пути, но лучше всего ей удаются внутренние диалоги — когда она говорит сама с собой.

Обе они обожают не только путешествовать, но «слоняться» без дела. Просто ходить и разглядывать прохожих.

Она — точно Алиса! Об этом говорят её тексты! На это сравнение наводит и интонация тех самых внутренних монологов! Такая же как у Алисы!

Да, тексты говорят, но ещё красноречивей они об этом молчат!

К примеру, Гончарова ни разу не упомянула ни себя в сравнении с Алисой, ни свою героиню!

Может, сознательно хранит эту тайну. Но скорее всего, не подозревает о ней!

Мы ведь больше всего удивляемся, когда нас кто-то со стороны сравнивает с кем-то знаменитым. Не сразу это видим, хотя другим это так явно бросается в глаза, что прямо диву даёшься. А если признаём сходство, то никогда сами об этом не кричим, а лишь ждём, что нам об этом в который нас напомнят. А мы смутимся и так деланно отмахнёмся: «Да ну, какое там?»

Это если нам льстит такое сравнение, но Марианна Гончарова, наверное, не признаёт сходства, ведь она столько раз признавалась, что не любит своего отражения. Если это так с внешними данными, то что говорить о внутреннем сходстве образов?

Кто внимательно читал прозу Гончаровой? А кто читал о приключениях Алисы?

Те, кто читал и то и другое, а ну-ка, угадайте, о ком я сейчас напишу:

Верит чудесам. Принимает их как данность. Верит в необходимость, целесообразность и неизбежность победы добра над злом. Честна! Но ради спасения готова пойти на невинную ложь. Обидчива! Но столь же быстро способна простить того, кто покается и пообещает измениться. Импульсивна! Легко отвлекается! Выше дисциплины, для неё своё или чужое желание. Легко нарушает правила, но склонна чтить традиции. Всё хочет попробовать сама. Доверчива. Наивна. Спонтанна. Решения принимает либо на основе эмоций, либо под давлением собственной, несколько парадоксальной логики!

О ком я написал? Нет! Я написал о том, что их объединяет. Это их общая, абсолютно точная, характеристика!

Разве нет? «А? Э... Так-то, дружок, в этом-то все и дело!»

Что-то очень знакомое всё время мелькало в образе главной героини. Не явно! Какие-то мелочи, штрихи... Знакомые и приятные, милые... Эти, даже не поступки, слова — не мысли, а тени других слов и поступков, делали симпатичный образ главной героини ещё симпатичней, ещё добрее, ещё милее, прямо до очарования.

Но я долго не мог её поймать, ведь героиня хотя и рассказывает много о своей жизни, но наше внимание заостряет не на себе, а на окружающих её живых существах — от большого соседского пса до «мелкого руководителя хора».

Но вот, наконец, я лицом к лицу столкнулся с архетипом героини, точнее разглядел черты того лица.

Нет, Гончарова скорее всего сама не знает, кого она, когда садиться сочинять, выпускает из себя погулять, попутешествовать?

Вот ей или её героине снится преинтересный сон. А мы, хоть и не учились на психоаналитиков, но помним, что ещё юный Юнг подозревал (а вскоре и убедился сам), что «сны, творческая работа, фантазия и мечты людей содержат символы и идеи, которые нельзя объяснить только их личным опытом», что они являются собственностью некоего общего архетипа, к коему принадлежит этот человек — он сам или его внутреннее «я», и этих «архетипов» он насчитал штук шестнадцать. А другие — чуть больше. Но слово Гончаровой:

«И снится мне как-то ночью упоительный сон. Будто плыву я по морю, а навстречу мне плывет заяц. Ну как в кино: такой целеустремленный, суровый, нелепый заяц, уши висят по бокам унылого лица. Энергично шлепает по воде, подгребает одной передней лапой и отфыркивается. А в другой лапе держит, высоко приподняв над водой, счета — старые бухгалтерские счета с деревянными костяшками.

— А зачем тебе счета? — поинтересовалась я.

— Не «тебе», а «вам», — огрызнулся заяц, продолжая шлепать по воде.

— Вам... А вас много? — завертела я головой, надеясь увидеть стаю умалишенных зайцев с бухгалтерскими счетами в лапах.

Заяц закатил свои косые глаза и прошипел:

— Где ты воспитывалась? К незнакомым людям надо обращаться на «вы»!

— А зачем вам счета? — осторожно переспросила я, проигнорировав воспитательный момент и то, что зайца этого с натяжкой можно было назвать «люди».

— Счета? Хм! — презрительно хмыкнул заяц. — Чтобы считать! — отрезал он и зафыркал еще энергичнее.

Мы продолжали плыть рядом, в одном направлении, и было как-то неловко молчать. Тем более я заскучала: все же это был мой сон, и, значит, я виновата в том, что он скучный.

— Э-э... А... — только заикнулась я.

— Можешь не утруждать себя светской беседой. Ты все равно ничего умного не скажешь! — оборвал меня заяц и поплыл еще быстрее, ловко перебирая свободными от счетов тремя лапами.

Плыву я рядом с этим высокомерным зайцем и думаю, какой странный мне снится сон. К чему бы это? Тем временем заяц ловким движением швыряет счета на берег, гневно на меня взглянув, разворачивается и, фыркая и сплевывая, удаляется в открытое море.

Выплываю на берег в полном недоумении, а на берегу стоит... Фрейд, Зигмунд, в ленинском каноническом жилете. Стоит, перебирает костяшки на счетах. Ну, думаю, как кстати! И рассказываю ему, что снился мне только что заяц со счетами, грубиян, и с ушами. А Фрейд мне с ходу:

— Это к замужеству...»

И скажите мне после этого фрагмента, что я не прав?

Ассоциативный ряд всегда работал на руку тому, кто правильно его выстраивал. Но часто мы не можем угадать, какие ассоциации вызовет у читателя тот или иной фрагмент. Для кого-то «голубоглазый блондин» - это чуть ли не главные признаки ангельской внешности, бог Аполлон, а для кого-то — едва ли не на генетическом уровне — это враг, жестокий завоеватель, «белокурая бестия», т.н. арийской крови.

Сказки можно любить. Можно ненавидеть. Можно относиться к ним равнодушно.

Но архетип Алисы из Зазеркалья или Страны чудес не может не вызвать доверия, умиления, ощущения праздника, баловства...

Нам приятен такой герой. Ведь его проявления раздражают только людей угрюмых, самовлюблённых, злых... Только бесчувственные остолопы и слишком «сложные», много о себе возомнившие, натуры, примут в штыки того, кто считает, что жизнь прекрасна и удивительна, кто открыт ко всему новому, любит юмор, ценит свободу, готов экспериментировать, и всегда и во всём видит только хорошее...

— Секундочку! — воскликнет какой-нибудь мерзкий толстячок, обиженный, что был вынужден так долго кого-то слушать, вместо того, чтобы все слушали его. — Гончарова ваша что — совсем уже оторвана от жизни. В чём она видит хорошее? Как может любить людей? Чего она радуется, как психически ненормальная?..

Я его прерву, вступившись за леди:

— Если вы стараетесь её обидеть, то напрасно торопитесь использовать психические диагнозы. Она сама написала, а я с ней полностью согласен: «есть такой закон природы — кто талантливый, тот обязательно немного чокнутый».

— Вот я и говорю, она сдурела, считая мир таким уж прекрасным. Кругом льется кровь, а она видите ли порхает... Люди — звери, мир — бардак и мусорник... Две трети населения страны живёт в нищете... Какая, к чертям, Алиса? Какие радости? Какие чудеса?

В том-то и дело, в том-то и ужас... Мир, действительно, катится в тартарары... Люди зачастую действительно злые, жестокие, жадные, страшные... И сказки рассказывают только политики...

Гончарова сказки не пишет!

Но её героиня просто принадлежит к такому типу людей, которые надеются на лучшее... И верят в то, что хороших людей намного больше...

И что намного светлее станет потом, когда туман рассеется... И станет тепло, когда встанет солнце...

Алиса в Зазеркалье и в Стране Чудес и представить себе не могла, что она увидит, услышит, узнает, когда попадёт в страну взрослых...

Но если Гончарова сумела сохранить в себе ребёнка, то и мир сумеет сохранить в себе всё хорошее — веру, любовь, надежду, дружбу, преданность, взаимовыручку, улыбку, смех...

Мир страшен! В нем теперь много смерти, крови, секса, наркотиков, лжи, коварства, насилия, предательства, оружия, мата, хамства, пошлости, грязи, тупости, зависти...

Это если смотреть с вашей точки зрения...

А героиня Гончаровой глядит на небо и утверждает, что небесная канцелярия никогда ни для кого исключений не делает. Там наверху всё продумано, и для каждого есть время. Небесная канцелярия всех готова выслушать. И помочь! Там ничего и ни на ком не экономят. Хочешь солнца — «н-на тебе солнца! Хочешь звезду — н-на тебе звезду! Хочешь сирени — н-на тебе сирени!»

Мне такой взгляд не скажу более близок, но, безусловно, более приятен...

Да, Гончарова верит в чудо! А тот, кто верит, с теми чудеса и случаются! И Гончарова за такие чудеса готова благодарить... Но вы сперва узнайте, что для нее является чудом. И учитесь такие чудеса принимать с благодарностью:

«Чудо — это рождение моих детей, Боже мой, за что?! Как благодарить?!

Чудо, когда в субботу, холодным дождливым ноябрьским утром, в семь тридцать утра мой младший ребенок, собирается и шагает к своему преподавателю по истории. Учиться. И не раскрывает зонг, потому что такой ураганный ветер, что может унести девочку, как Мери Поппинс. Ничего героического. Она просто очень любит свою учительницу и ее предмет. Чудо — все мои родные и друзья, чудо — новые люди, дети, коты, собаки, птицы, ежи, приходящие в дом на правах дорогих сердцу родственников. Чудо — этот ночной снежный свет в окне, восхитительная зимняя предрождественская сказка, чудо — горящий на солнце купол храма, стоящий в пяти километрах от нашего дома, но посылающий сюда, мне, солнечных зайцев.

Чудо — жить, уважая своих читателей: и тех, кому нравятся мои книжки, и тех, кому — нет.

Жить, любя всех моих персонажей. Жить, из минуса извлекая плюс, и верить, что, как сказал кто-то мудрый, даже черная полоса может быть взлетной»

Тут уже вижу я не только умение писать, но и редкое умение правильно жить, жить чудесным образом... жить счастливо, что должно, наверное, быть нормой, жить по-человечески, по-людски...

Да, я уже знаю, убеждён, что на мир глядит именно Алиса, или Мария, Маруся, Мыха, а вот описывает этот мир уже Марианна. И нас приглашает глядеть на мир глазами её восторженной и неунывающей героини. Вот такое творческое сотрудничество! Отсюда и волшебство! И секрет успеха! И абсолютная гармония!

Однако пытливый читатель, а с ним читатель въедливый, а за ним и вредный, и скептически настроенный, словом, какое-то число читателей может справедливо полюбопытствовать: «Ну неужели у Гончаровой как у писателя нет слабых сторон? Неужели все её тексты настолько хороши? Неужели Гончарова не совершает ошибок? Разве у этого прозаика нет недостатков?»

Дорогие мои, хорошие... Ваши вопросы уместны и своевременны. Отвечаю. Есть и слабые стороны, и некоторые промахи! Поскольку любое достоинство, если посмотреть с иной стороны, является недостатком. Поэтому всё, за что хочется похвалить Гончарову, всё это можно поставить ей и в упрёк.

К примеру, неизменность авторской манеры повествования можно назвать нежеланием или боязнью экспериментировать и осваивать нетипичные для автора новые интонационные рисунки, расширять диапазон авторской речи...

Реалистичность и поразительный дар воссоздавать, поддерживать достоверность событий можно трактовать, как неумение раздвигать горизонты фантазий.

И даже постоянное присутствие лирической героини, чья личность всегда катастрофически близка особе автора, можно обозвать чрезмерным самолюбованием и патологической нескромностью. И поставить диагноз: эгоцентризм на фоне хронического латентного нарциссизма.

Но это если нарочно стараться акцентировать внимание на том, что в достоинствах при желании можно увидеть и недостатки. Господа, при желании и на кладбище можно увидеть сплошные плюсы, а в каждом плюсе, при большом желании можно узреть всего лишь перечёркнутый минус. Да и тогда пришлось бы слегка кривить душой, допускать натяжки или точно выяснять ту грань, после которой достоинство становится пороком, как день ночью, лето осенью, милосердие жалостью, осторожность трусостью, а простота примитивизмом...

Пока я писал эти заметки, вышла новая книга Гончаровой — её первый роман, с загадочным названием «Аргидав». И я хочу сказать, что после прочтения романа даже мои условные придирики полностью потеряли свою актуальность. Как выяснилось, ей удаётся и самое сложное для любого успешного автора, артиста, художника — не эксплуатировать собственные, вполне успешные, работающие на узнавание, удачные находки

и личные изобретения. Это требует смелости. И желания — не останавливаться на достигнутом, превращая собственную манеру в штамп, а экспериментировать. Но, опять же, не ради эксперимента, а исключительно, как и прежде, для более высокого и точного результата.

И вновь проглотил всю книгу в три подхода, за четыре дня, примерно.

«Аргидава» — роман, насквозь пропитанный любовью и мистическим светом добра и грусти. Это всё та же Маруся, но это, на мой взгляд, новый виток ее творчества. А также превосходная попытка превзойти себя, не теряя себя, не предавая собственного голоса. Удачная попытка. Гончарова не меняется, но растёт. Её мастерство усовершенствуется настолько, что сильные яркие ходы, не успевшие стать штампами, она не просто видоизменяет, она заменяет их более сложными. В результате, этот роман, не теряя лёгкости, присущей её прозе, намного глубже, написанных ранее вещей. А сколько новых ярких красок?! Правда, этой книгой она немного смешала мне карты в сложившимся пасьянсе моего эссе! (Но по другому и невозможно! Истинный автор с каждым разом должен развиваться и удивлять, а иначе он начнёт медленно деградировать, бесконечно повторяться. До тех пор пока ему самому не опротивеет штамповать и копировать некогда штучные, а ныне поштучно продаваемые подделки собственных творений!). Она для меня теперь не просто замечательный талантливый писатель, она — большой писатель. Я многое передумал, но свою работу о ней уже переделывать не стану. Только что подобранным ключом к ней и её прозе, я «Аргидаву» не открою. Теперь Алиса где-то в глубине неприступной крепости. Гончарова опять проговаривается о себе, говоря о крепости. «Могущественная, властная, загадочная, никому никогда не сдавшаяся, с тихой нежной душой и крепким сердцем, бьющимся в подземельях своих гулко, ритмично через все времена. Всё видящая и знающая, распознающая, кто с миром пришёл, кто с войной <...> Молящая, чтобы те, кому предназначены её знаки: человек то или дерево, собака или птица, невидимые никому сущности или обыкновенные, не имеющие дыхания предметы, - пусть они её любовь, её тайны да услышат, да поймут, да разгадают. Потому что она уже не в силах сказать. Не в силах открыться. И хочет спать. И очень хочет спать. Но не может».

И скажите мне, что это Гончарова не о себе написала. Она столько раз открывала доверчиво душу, а многие лишь смеялись, или относились пренебрежительно: «подумаешь!», или, хуже того, плевали туда... Она и решила написать о той, в кого постепенно превращалась... Не в Машу! Маша и в «Аргидаве» всё та же её героиня, Маша, Мария, Маричка, Марианна, Маруся, её любимая героиня, но впервые она приоткрыла и то, где Маша нашла защиту, поддержку, источник силы, память, знания, силы, время, любовь... Там все это и хранила и время от времени выносила на свет, людям... И теперь решила рассказать о ней, о своей хранящей тайны и чудеса, крепости. В которой когда-то кипела жизнь, бушевала страсть, таилась смерть, хранились тайны. И с которой давно уже сродни-

лась. Она же назвала её «сестра моя»... Сестра, что «одаривает знаниями, мудростью, умением чувствовать и любить», «способностью видеть хорошее даже в самом плохом», да? Но ведь всё это и раньше делала Марианна Гончарова!! А вы этого даже не замечали...

Можете обвинить меня в том, что я слегка перемудрил... Но там и «мудрить» не надо. Там все и так и мудро, и глубоко, просто... Только немногие могут всё это гармонично соединять и смешивать! Всё в цель бьет в этом романе! Филигранное воссоздание давно ушедших времён! Мысли! Образы! Сравнения! А какое наслаждение получаешь от красоты и легкости грамотного и простого языка... И это высшая степень моей похвалы! Ибо я согласен с Пушкиным, справедливо заметившим: «Первый признак ума есть просторечие!» А кто ясно мыслит, тот ясно излагает, а всё остальное — понты «и томление духа».

Видимо, Алиса попутешествовав по стране взрослых, загрустила, только теперь осознав, что назад, в детство пути нет... И одна надежда — на сон! Ведь первые путешествия были во сне! Алиса мечтает уснуть... Но, как и Аргидава, Алиса не может уснуть. Потому что хотя бы кому-то нужно неусыпно беречь свои детские тайны. Чтобы вновь поделиться ими, когда понадобится... И поделиться светом, любовью, весельем, верой в чудеса. Всем тем, чего так мало сейчас В СТРАНЕ ОЧЕНЬ ВЗРОСЛЫХ И ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫХ ЛЮДЕЙ...



Игорь Ефимов
ЗАКАТ АМЕРИКИ
САРКОМА БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ

(продолжение. Начало в №1/2015 и сл.)

13. ПСИХИАТР

Вся безумная больница
У экрана собралась.
Говорил, ломая руки,
краснобай и баламут
про бессилие науки
перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на ча-
сти,
все извилины заплёл —
и Канатчиковы власти
колют нам второй укол.

Владимир Высоцкий

«Бог умер!» — воскликнул один немецкий гений в конце 19-го века.

«Души нет, — поддержал его другой. — Есть только либидо и подсознательное».

Раньше последним арбитром в деле нашего познания мира и самих себя была церковь. Но, начиная с Века просвещения, естественные науки делали такие наглядные и блистательные успехи, что церковь была вынуждена уступать им рубеж за рубежом в этом важнейшем деле. По сути, наука сделалась новой религией для миллионов людей. А там, где возникает религия, непременно должны появиться и еретики.

«Тысячелетиями мужчины и женщины избегали ответственности, передоверяя моральные проблемы теологии. Сегодня они избегают её, передоверяя мораль медицине. Раньше, если Бог одобрял какое-то поведение, оно считалось хорошим; если нет — плохим. Откуда люди знали, что Бог одобрял, а что нет? Библия и священники разъясняли им это. Сегодня, если Медицина одобряет определённое поведение, его считают хорошим, если не одобряет — плохим. Откуда люди узнают об этом? Медицинские эксперты, именуемые докторами, говорят им».¹

Эта цитата взята из книги одного из еретиков, поднявших свой голос против новой религии, особенно против догматов, взятых на вооружение медициной и психиатрией. Его звали Томас Сас (1920-2012). Венгерский еврей, сбежавший в 1938 году от гитлеровской чумы из Будапешта в Америку. Медицинский диплом получил в 1944 году, в 1951-1956 работал в Чикагском институте психоанализа, в 1962 году получил постоянное место в Университете штата Нью-Йорк в Сиракузах. Оставшиеся 50 лет своей жизни он посвятил борьбе с недопустимым, по его мнению, вторжением психиатрии в личную жизнь граждан, в судопроизводство, политику, экономику.

Названия его книг говорят сами за себя:

«Миф о помешательстве» (1961)

«Закон, свобода и психиатрия» (1963)

«Психиатрическое правосудие» (1965)

«Фабрикация безумия» (1970, на русском издана в 2008)

«Век сумасшествия» (1973)

«Анти-Фрейд: Карл Краус и его критика психоанализа» (1976)

«Психиатрическое порабощение» (1977)

«Помешательство: идея и её последствия» (1987)

«Жестокое сострадание: психиатрический контроль неугодных» (1994)

Чтобы дать представление о состоянии психиатрии в сегодняшней Америке, я мог бы ограничиться цитатами из его книг и статей, из публичных заявлений, из выступлений на общественных форумах, из часового интервью, которое он дал мне, когда я навестил его в Сиракузах летом 2000 года. Следовало бы также добавить отрывки из критики и брани, раздававшейся в его адрес со стороны членов Ассоциации американских психиатров. Но это заняло бы слишком много места — отсылаю интересующихся к Интернету.

В 1974 году доктор Сас выпустил переработанное издание своего классического труда «Миф о помешательстве». В аннотации на обложке его главный тезис был сформулирован таким образом: «То, что называют помешательством, на самом деле является отклонениями от обычного поведения, подвергнутыми осуждению. Это не медицинский диагноз, но моральная стигматизация. Однако если не признать болезнь, значит нечего лечить. Тогда придётся признать душевные проблемы тем, чем они являются на самом деле: страхом и беспомощностью, завистью и гневом, и прочими понятными эмоциями... Некоторые психотерапевты могут помочь людям, которые приходят к ним *добровольно*. Но принудительное вмешательство психиатра не будет терапией, а только порабощением и пыткой. Они морально неприемлемы в обществе, которое ценит свободу и осуждает принуждение, не контролируемое законом».²

В своих книгах доктор Сас многократно обращается к истории христианской церкви, к её трансформации и проводит параллели между возникновением инквизиции и возникновением психиатрии наших дней. В книге «Фабрикация безумия» он цитирует немецкого члена ордена иезуитов, Фридриха фон Шпее, которому довелось исповедывать многих «ведьм» перед костром и который, в конце концов, восстал против этого варварства:

«Результат будет одинаковым, независимо от того, сознается обвиняемая или нет. Если сознается, её вина подтверждена, и её казнят. Если станет упорствовать, пытка будет повторяться дважды, трижды, четырежды... Она никогда не сможет обелить себя. Инквизиционный трибунал считал бы себя посрамлённым, если бы его вынудили оправдать женщину, уже арестованную и в цепях».³

Доктор Сас видит здесь прямую параллель с судьбой человека, объявленного умалишённым. «Если он признает, что его поведение демонстрирует симптомы умственного расстройства, как это утверждает психиатр, значит, он действительно болен и нуждается в лечении в психбольнице. Если он станет отрицать болезнь, это только подтвердит, что он “неспособен” осознать своё состояние и, значит, тем более нуждается в принудительной госпитализации и лечении».⁴

Охота за ведьмами и карательная психиатрия наших дней имеют один и тот же источник: страсть рационального ума подчинить своему контролю непредсказуемость свободной воли человека. В каждую эпоху эта страсть будет использовать в качестве оправдания религиозные догматы и теологическую терминологию своего времени. В протестантской Америке конца 17-го века Салемских колдуний судили со ссылками на Библию. Но сто лет спустя рациональный и образованный доктор Бенджамин Раш, друг Джефферсона и Адамса, мог объявить сумасшедшим собственного сына, поведение которого его не устраивало, и запереть его в психбольнице до конца дней.⁵ А ещё 130 лет спустя прагматичный и верящий только в доллар Джозеф Кеннеди (бывший посол в Англии и поклонник Гитлера), когда его взрослеющая дочь Розмари (сестра будущего президента) стала убежать по ночам из монастырской школы и смущать семью другими эскападами, подверг её лоботомии, даже не спросив согласия матери. Операция превратила девушку в беспомощного ребёнка, едва владеющего речью. На медицинскую сестру, участвовавшую в процедуре, увиденное произвело такое тяжёлое впечатление, что она навсегда оставила свою профессию.⁶

Доктор Раш, чей профиль помещён на медали Психиатрической ассоциации, шёл так далеко, что объявлял даже уголовные преступления — воровство, поджоги, убийства, лжесвидетельства — формами душевных заболеваний, подлежащих лечению. «Убийства и грабительство являются не по-

роками, а симптомами расстройства волевого начала. Когда люди осознают это, мы сможем изъять страдающего данным недугом из-под жестокой власти закона и передать заботам доброго и понимающего врача».⁷

Как ликовал бы доктор Раш, если бы ему довелось попасть в сегодняшнюю Америку! В судах над убийцами, чья вина не подлежит сомнению, у ловкого адвоката всегда остаётся карта: «невиновен по причине временного помешательства». А если у подсудимого есть деньги, будет приглашён эксперт-психиатр, который подтвердит этот диагноз с использованием таких заковыристых терминов, что присяжным останется только устыдиться своего невежества и вынести приговор «невиновен».

Джек Руби к моменту суда над ним в марте 1964 года был без гроша, да ещё должен Налоговому управлению около сорока тысяч долларов. Видимо, нашёлся неизвестный покровитель, который согласился оплатить дорогостоящего защитника и приглашённых им «экспертов». Примчавшийся из Калифорнии Мелвин Беллай изображал своего подзащитного чудачком, потерявшим разум от горя по поводу гибели любимого президента. Он писал потом в своих воспоминаниях: «Руби нравился мне... Этакий деревенский простака. Такие есть в каждом городке — неудачники, объекты насмешек, клоуны. Мы терпим их, пока дело не обернётся бедой. Никогда не встречал такого искреннего чудачка... Наши отношения больше были похожи на отношения врача с пациентом, нежели адвоката — с клиентом».⁸

Увы, далласские присяжные не поддались юридической и медицинской словесной виртуозности, вынесли обвинительный вердикт, а судья присудил «деревенского простака» к смерти. Адвокат Беллай даже отказался пожать руку судье, воскликнув патетически: «Я вижу кровь на ней!». Однако в последующие десятилетия формула «невиновен по причине безумия» сделалась любимым трюком защиты в безнадежных делах, а выступать в роли экспертов на суде превратилось в мощный источник доходов для психиатров, причём у каждого появился свой прејскурант.

Оправдательный вердикт, обременённый диагнозом «сумасшедший», вовсе не означает победу подсудимого. Он попадает в психбольницу, где условия немногим лучше, чем в тюрьме. Статистика показывает, что половина таких «оправданных» остаются в больничном заключении до конца жизни.⁹

Однако Джону Хинкли, ранившему в 1981 году Рональда Рейгана и ещё четверых, посчастливилось попасть в другую половину статистического расклада судьбы. Получив приговор «невиновен, но безумен», он был заключён в психиатрическую лечебницу. Нет, актриса Джоди Фостер, внимание которой он хотел привлечь своими кровавыми подвигами, не носила ему передачи. Но условия содержания постепенно улучшались. Ему разрешили время от времени навещать своих родителей в Виргинии. Потом — водить машину. Потом — гостить у родителей неделю и больше, хотя и с контрольным радиобраслетом на лодыжке.

В марте 2011 года больничный психиатр объявил, что «Хинкли излечился настолько, что больше не представляет опасности ни для окружающих, ни для себя». Министерство юстиции не разрешило выпустить его, но согласилось удлинить его визиты домой. В августе 2014 года умер Джеймс Брэиди, раненый пулями Хинкли и проживший тридцать три года инвалидом. Его смерть была квалифицирована как убийство, но новое обвинение не было предъявлено стрелявшему.¹⁰

Другой знаменитый убийца, Марк Дэвид Чепмен, застреливший певца Джона Леннона в декабре 1980 года, категорически отказался использовать «защиту по причине безумия». В многочисленных интервью журналистам он утверждал, что на преступление его толкнуло чтение романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Однако в одном из заявлений мелькнуло признание больше похожее на правду: «Я просто устал быть никем». Судья присудил его к распывчатому сроку: «от двадцати до пожизненного». Срок истёк, но общественное мнение и вдова Леннона, Йоко Оно, категорически возражают против его выпуска на волю. Летом 2014 года его прошение об условном освобождении было отклонено в восьмой раз.¹¹

Ещё один знаменитый преступник не дал заработать на себе психиатрам — «унобомбер» Тед Качинский, рассылавший самодельные взрывные устройства по почте людям, символизировавшим в его глазах засилье индустриального общества. 18 лет почтового террора, трое погибших, 23 раненых — после ареста в 1996 году ему грозила смертная казнь. Назначенные судом адвокаты пытались спасти его, объявив сумасшедшим, но он категорически отказался идти по этому пути. Он предпочёл пойти на сделку с судом: признать себя виновным и получить не один, а восемь пожизненных сроков.¹² (Этот загадочный приговор заставляет предположить, что судья верил в реинкарнацию и хотел, чтобы в будущем енот, верблюд, кошечка, пингвин, дельфин и другие существа, в которых предстояло переселиться Качинскому, тоже провели свою жизнь за решёткой.)

Конечно, предыдущая жизнь унобомбера была подвергнута подробному изучению и описанию. И оказалось, что в юности у него был довольно опасный контакт с американской психиатрией. Будучи шестнадцатилетним студентом математического факультета в Гарварде, он, сам того не ведая, оказался в группе, на которой профессор психиатрии, ученик Юнга, Генри Мюррей, ставил, по заказу ЦРУ, рискованные эксперименты. Их целью было изучить, как люди ведут себя в ситуации психологического стресса. Профессор Мюррей подвергал подопытных студентов граду насмешек, осыпал оскорблениями, угрозами, издевательствами, изобретательно унижал, смешивал с грязью. Эти эксперименты длились с 1959 по 1962 год. Исследователь Алстон Чэйс считает, что участие в программе напрямую связано с тем, что взрослый Тед Качинский стал на путь преступлений.¹³

На решение суда можно подать апелляцию, но «приговор» психиатра изменить практически невозможно. Доктор Сас рассказывает горестную историю ветерана Второй мировой войны, мистера Перрони. За свои сорок лет он ни разу не совершал противозаконных поступков, честно управлял своей заправочной станцией в окрестностях Сиракуз. Но однажды местная контора по торговле недвижимостью взяла и установила на территории его заправочной рекламный щит. Ветеран убрал щит и предупредил контору, что не потерпит таких вторжений. Контора не послушалась и снова прислала рабочих установить щит. Мистер Перрони вышел с ружьём и выстрелил в воздух. Рабочие исчезли. Но вскоре явилась полиция и арестовала стрелявшего.

Дальше начинается эпопея, которая могла бы стать сюжетом для голливудского блокбастера в духе превосходного фильма «Пролетая над гнездом кукушки». (Кстати, автор знаменитого романа, по которому был поставлен фильм, Кен Кизи, писал доктору Сасу, что в большой мере он вдохновлялся его трудами о психиатрии.) Судья почему-то даже не предъявил обвинения мистеру Перрони, а приказал отправить его на психиатрическую экспертизу. Два психиатра, назначенные судом, встретились с арестованным, поговорили и объявили неспособным предстать перед судом. Потекли тягостные недели, потом месяцы, потом годы, заполненные рассылкой, с помощью родственников и адвокатов, протестов, петиций, прошений. Шесть лет несчастный провёл в психиатрическом заключении, прежде чем ему было разрешено предстать перед судом.¹⁴

По сути, тысячи подобных случаев являются тюремным заключением без суда. Они могут произойти, если человек вступил в конфликт с сильными мира сего и те избрали такой способ избавиться от неудобного. Но ещё чаще собственная семья может подать в суд петицию «об оказании психиатрической помощи» кому-то из своих членов. Это может быть зажившийся на свете старик, чьё наследство украсит жизнь его родственников, или капризная невестка, не сумевшая понравиться родителям мужа, или бабулька, заводящая романы с молодыми людьми. Опыт показывает, что подобные петиции удовлетворяются почти безотказно. Уж если родные считают человека безумным, назначенный государством психиатр с готовностью подтвердит это.¹⁵

Много горьких слов и убедительных разоблачений было направлено в адрес советской карательной психиатрии, использованной Кремлём для борьбы с диссидентами. Мне довелось быть знакомым, по крайней мере, с тремя её жертвами: Иосифом Бродским, Юрием Ветохиным, Натальей Горбаневской. Их рассказы о пережитом буду помнить до конца дней. Но и для многих американских политиков такой способ подавления неудобных казался неудержимо соблазнительным.

Взять хотя бы историю американского поэта Эзры Паунда. В 1920-х годах он был близок с Хемингуэем, Томасом Элиотом, поддерживал Джойса. Но его разочарование в британском капитализме, который он считал ви-

новным в развязывании Первой мировой войны, толкнуло его присоединиться к фашистам Муссолини. Антиамериканские выступления Эзры Паунда, транслировавшиеся по итальянскому радио, привели к тому, что после победы союзников в 1945 году он был арестован и обвинён в измене. Но, видимо, судить американского гражданина открытым судом кому-то показалось неудобным. Его объявили невменяемым и поместили в психиатрическую больницу, где он провёл 12 лет.

Лечение не способствовало изменению политических взглядов поэта. Он продолжал обвинять во всех бедах мира капиталистов и евреев, советовал навещавшим его литераторам читать «Протоколы сионских мудрецов», дружил с ку-клукс-клановцами. Тем не менее, влиятельные литераторы продолжали хлопотать о его освобождении. В 1958 году его выпустили с диагнозом «Неизлечим, но опасности не представляет». Прилетев в Италию, Эзра Паунд приветствовал собравшихся на аэродроме журналистов фашистским салютом.¹⁶

Другой пример — отставной генерал Эдвин Уокер.

Он смело сражался против немцев в Италии, против коммунистов в Корее, командовал американским гарнизоном в Германии в конце 1950-х. Выйдя в отставку в 1961 году, активно включился в политическую борьбу на стороне защитников сегрегации, возглавил их демонстрации против принятия чернокожего студента в Университет Миссисипи и против использования федеральных войск для подавления протестов. Всё это вылилось в бунт на студенческом кампусе 30 сентября 1962 года, в результате которого несколько человек были убиты, многие ранены.

Что было делать с таким опасным реакционером?

Генеральный прокурор Роберт Кеннеди приказал психиатру, находившемуся в его подчинении на службе в Министерстве юстиции (Отдел управления тюрьмами) объявить отставного генерала сумасшедшим. Уже 2 октября доктор Смит, никогда не встречавшийся с Эдвином Уокером, сочинил документ, в котором, на основании имевшихся у него газетных сообщений о поведении генерала на политических митингах и демонстрациях, вынес диагноз «параноидальное психосоматическое расстройство». Этот документ был немедленно переправлен в федеральную прокуратуру в штате Миссисипи, и генерал был взят под стражу и помещён в психиатрическую больницу для обследования сроком на 90 дней. (Как раз достаточное время, чтобы внедрить чернокожего студента в университет для белых.)¹⁷

Благодаря протестам Американского союза гражданских свобод (ACLU) и лично доктора Саса, Эдвина Уокера удалось вызволить из заключения и он уехал к себе в Даллас. Но там его поджидала новая опасность. 10 апреля 1963 года юный борец с мировым капитализмом по имени Ли Харви Освальд подкрался ночью к его дому и выстрелил из ружья через окно. Пуля прошла в нескольких дюймах от головы борца с мировым коммунизмом, осколки стекла поранили руку. Семь месяцев спустя, выстрелом

из того же ружья Освальд тяжело ранил губернатора Техаса, Джона Коннели, ехавшего в одном лимузине с супругами Кеннеди по Дейли-плаза.¹⁸

Следуя примеру доктора Смита, американские психиатры вошли во вкус и начали выносить заочные диагнозы «реакционным» политикам. Осенью 1964 их послание, объявлявшее республиканского кандидата в президенты, Барри Голдуотера, страдающим «параноидной шизофренией», собрало 1200 подписей.¹⁹ Умственное состояние кандидата от демократической партии, Линдона Джонсона, не вызывало у них никакой тревоги.

А на днях в новостях мелькнуло сообщение о том, что, опираясь на «Акт о свободе информации», журналистам удалось получить доступ к очередной порции секретных документов Пентагона. И выяснилось, что уже с 2000 года психиатры, нанятые Министерством вооружённых сил, вели наблюдение за российским лидером Путиным и находили у него то болезнь Асбергера, то шизоидный синдром, то симптомы аутизма. Остаётся только узнать, заготовлена ли уже для него «Палата № 6» в больнице на военной базе в Гуантанамо.

Заочного «диагноза» удостоился даже доктор Сас. Однажды на заседании Славистского семинара в Колумбийском университете меня познакомили с психиатром, разрабатывавшим тему «Фрейд в Советской России». Я спросил его, знаком ли он с книгами Томаса Саса. «Нет, — ответил он. — Кому они нужны? Он ведь сумасшедший».

В историю психиатрии 20-й век войдёт как «Век психоанализа». Невероятный успех фрейдистских теорий и возникновение огромной сети практикующих психоаналитиков внимательно исследовано доктором Сасом в книге «Миф о психотерапии».²⁰ С его точки зрения, психоанализ по отношению к медицине занимает такое же положение, как астрология к астрономии или алхимия к химии. Но массовый характер этого поветрия явно показывает, что оно откликлось на какие-то важные запросы человеческой души.

Сразу бросается в глаза важное разделение: психоанализ пользуется популярностью среди иудеев, протестантов и атеистов, но гораздо меньше — среди католиков и православных. То есть он не нужен людям, которым их вера даёт утешение *исповеди*. Видимо, порыв излить кому-то все тайны души и встретить сочувственное понимание является общечеловеческим свойством, потребностью, которая не может остаться неудовлетворённой.

Так как вера в науку повсеместно теснила веру в Бога, психоанализ, прикинувшийся медицинской наукой, втягивал в свою орбиту миллионы уверовавших. В Средние века христианской церкви удалось убедить свою паству в том, что покупка индульгенции увеличивает шансы на вечную жизнь, а покупка свечей и заказные молебны спасут от любых несчастий. В наше время пациенты, идущие к шринку, верят в то, что

только покупка нескольких часов беседы с внимательным «врачом» поможет вернуть им душевное здоровье и способность радоваться жизни.

Среди свято уверовавших в психотерапию был знаменитый кино-режиссёр Вуди Аллен. Этот неверующий еврей впадал в тоску от мысли о смерти уже в восемь-девять лет. Ему не было двадцати, когда он начал визиты к шринку, тратя на это последние деньги, заработанные шутками, смешившими посетителей кафе и печатавшимися в газетах. Потом пришёл успех, богатство, но депрессия не исчезала, и ежедневные сеансы продолжались. Если съёмки вынуждали его покинуть на время Нью-Йорк, он проводил беседы по телефону. Когда его трёхлетний сын, участвуя в детском спектакле, попросил роль Синдереллы, а не Принца, встревоженный отец увидел в этом опасный симптом и нанял шринка и для сына тоже.²¹

Близкие отмечали, что этот гений комедии, смешивший миллионы зрителей во всём мире, сам почти никогда не смеялся и не плакал. Однажды в порыве откровенности, он признался, что сорок лет почти ежедневного общения с психоаналитиками не принесли ему никакого облегчения, не спасли от неодолимой тоски. И что свои filmy он снимал только для того, чтобы хоть немного развлечь себя.²²

В конце 15-го века в Германии, по приказу папы Иннокентия VIII, был написан и напечатан солидный труд двух членов Доминиканского монашеского ордена, профессоров теологии Кёльнского и Зальцбургского университетов, под названием «Молот ведьм». В нём подробнейшим образом описывалось, какую опасность ведьмы представляют для правоверных христиан, какими сатанинскими приёмами они пользуются, чтобы скрыть свою суть, по каким приметам их следует обнаруживать, как вести следствие, какие пытки и в какой последовательности применять. Эта книга сделалась главным и обязательным руководством в «охоте за ведьмами» в течение двух веков, она выдержала 28 изданий.²³

Сегодня в США ни один психиатр не может оперировать без справочника «Руководство к статистическому диагностированию умственных заболеваний»,²⁴ который переиздаётся каждые пять-семь лет. В нём все известные нам колебания человеческих эмоций — ревность, гнев, страх, сомнения, агрессивность, неуверенность и так далее — охарактеризованы как симптомы болезни и рассортированы по таблицам и категориям, снабжены номерами, и только с помощью этих номеров вы можете установить диагноз и затребовать у страховой компании оплату лечения.

Вообразите, что вас заставили предстать перед психиатром и вы честно рассказали ему о своих настроениях и переживаниях. Что вас, допустим, огорчает холодность вашего начальника, что сын-подросток пропадает по вечерам неизвестно где, что неумение выяснять отношения с женой вызывает её упрёки в замкнутости. Каково же будет ваше удивление, когда вам покажут заключение психотерапевта, сделанное в соответствии со справочником DSM: «Психопатический синдром, окрашенный

манией преследования (кодовый номер 297.1), шизофрения параноидного типа (код 295.30), общая депрессия, усугублённая манией замкнутости и ситуативно-социальной фобией (коды 291.0 и 296.36).

«При помощи этого руководства вы сможете диагностировать даже кошку. На бумаге всё выглядит убедительно, и система могла бы даже работать неплохо, если бы каждый психотерапевт был идеально объективным. В реальности же, когда 200 тысяч психиатров Америки должны трудиться под цепким взглядом администратора, заинтересованного, прежде всего, в доходности лечебницы, многие случаи наверняка обернутся бедой».²⁵

Лечение каких-то душевных недугов будет оплачено страховой компанией, а каких-то — нет, и это в огромной степени влияет на вынесение диагноза. «Проблемы семейных и брачных отношений редко признаются страховальщиками. Чтобы обойти это препятствие, психиатры выносят одному из супругов диагноз “психоз неприспособленности”, лечение которого разрешено компенсировать... Иногда сами пациенты требуют вынесения более сурового диагноза и даже могут подать в суд на терапевта, который недооценил серьёзность их недуга и лишил возможности основательно подлечиться».²⁶

В пятое издание справочника, вышедшее в 2013 году, были внесены дополнения, которые вызвали протесты даже у самих психотерапевтов. Обычное горе было характеризовано как «усиленный депрессивный психоз», вспышка раздражения свидетельствовала о «disruptive mood dysregulation disorder, старческая забывчивость — о «minor neurocognitive disorder», беспокойство — о «generalized anxiety disorder».²⁷

Страх человека перед всевластьем врача-психиатра так ярко отразили Чехов в «Палате № 6», Вирджиния Вулф в «Миссис Даловой», Теннесси Уильямс в «Трамвай желание», Кен Кизи в «Пролетая над гнездом кукушки», Иосиф Бродский в поэме «Горбунов и Горчаков». Но уверен, что всем этим авторам поднаторевший психиатр сможет подобрать подходящие диагнозы из руководства DSM, с соответствующими кодовыми номерами и положенным сроком лечения.

Суд инквизиции почти никогда не снимал с арестованного обвинение в ереси или колдовстве.

В кабинетах НКВД бытовала весёлая присказка: «Был бы человек, а дело на него найдётся».

Может ли сегодня американский психиатр поставить пациенту диагноз «здоров»? И тем самым лишить себя и клинику возможности заработать? А если впоследствии пациент совершит какое-нибудь преступление, на кого падёт вина за недосмотр? Если психиатр претендует на глубокое понимание душевного состояния человека, почему он не способен предвидеть и предсказать насильственные акты, совершаемые его пациентами?

«Брайан Габорилт, житель Массачусетса, который зарезал своего маленького сына и его мать, был на очередном сеансе у психиатра за день до убийства... Синеду Тадессе, студентка Гарварда, которая нанесла многочисленные удары ножом своей соседке по комнате, а потом повесилась, до этого два года ходила к психиатру в больнице для студентов. Приближение убийства и самоубийства явно не было замечено психотерапевтом».²⁸

К сожалению, американская психиатрия, возведя на пьедестал Зигмунда Фрейда, не стала развивать идеи его соратника, а впоследствии — серьёзного критика: Карла Юнга (1875-1961). Введённое Юнгом понятие «коллективного бессознательного» бросает свет на сложные социальные и политические процессы, загадочным образом взрывавшие изнутри многие, казалось бы, стабильные страны в 20-м веке.²⁹

Также были оставлены без достаточного внимания труды французского историка и социолога Густава Лебона (1841-1931). В своей работе «Психология народов и масс» он писал: «Благодаря своей теперешней организации, толпа получила огромную силу. Догматы, только что нарождающиеся, скоро обретут прочность старых догматов, то есть ту тираническую верховную силу, которая не допускает никаких обсуждений. Божественное право масс должно заменить божественное право королей... Апостолы толпы говорят во имя истин, которые они провозглашают абсолютными... Догмат верховной власти большинства невозможно доказать на философском уровне, но, как и религиозные догматы прошлого, он обладает сегодня абсолютной силой».³⁰

Как знать: если бы «коллективное бессознательное» Юнга и «психология масс» Лебона были глубже исследованы американскими психиатрами, возможно, им удалось бы научиться предупреждать политиков о назревании кризисных ситуаций в других странах. А может быть, нашлись среди них и такие талантливые, что смогли бы удержать тысячу последователей Джима Джонса от самоубийства в Гайане (1978), а сотню последователей Дэвида Кореша — от самосожжения в Техасе (1993).

Корни любой религии уходят в страх человека перед неведомым и непредсказуемым. Догматы, обряды, жертвоприношения, богослужения складываются в оборонительную стену, которую люди строят для защиты от непостижимого. Наука, занимая место религии, переходит от обороны к наступлению. «Каждый день мы отвоёвываем у неведомого какую-то часть, — гордо заявляют учёные. — А это значит, что рано или поздно всё перейдёт в царство познанного».

Логический разум сегодняшнего человека отказался внимать предостережениям Канта, отказался подчиняться дисциплине мышления, преподанной им. Но страх сильнее логики. Там, где религия отступает, человек начинает искать другие способы защиты. Былая власть священ-

ника над душами вытесняется властью психиатра. Мы сами вручаем ему эту власть в надежде, что он защитит нас от непредсказуемости нашего ближнего и от неодолимости наших страстей.

Однако неведомое многолико. И именно из нашего страха перед ним выросли в сегодняшней Америке четыре гигантских дракона, пожирающих изнутри государственный организм.

Из нашего страха перед непредсказуемостью судьбы вырос ДРАКОН СТРАХОВОГО БИЗНЕСА.

Из страха перед загадочностью и неумолимостью болезни выросли ДРАКОН ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и ДРАКОН ФАРМАКОЛОГИИ.

Из страха перед могуществом и безжалостностью закона вырос ДРАКОН АДВОКАТУРЫ.

Это и есть имена четырёх всадников грядущего Финансового Апокалипсиса Америки. (Некоторые американские исследователи называют их «Банда четырёх».)

И хотя они действуют в тесной кооперации и взаимодействии, взглянемся в каждого из них по отдельности.

(продолжение следует)

Примечания:

1. Szasz, Thomas S. *The Theology of Medicine* (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1980), pp. xiv-xv.
2. Szasz, Thomas S. *The Myth of Mental Illness*. New York: Harper & Row, 1974.
3. Szasz, Thomas S. *The Manufacture of Madness. A Comparative Study of the Inquisition and the Mental Health Movement* (New York: Harper and Row, 1970), p. 30.
4. Ibid.
5. Ibid, p. 153.
6. Leamer, Laurence. *The Kennedy Men* (New York: William Morrow, 2001), pp. 169-171.
7. Szasz, *The Manufacture*, op. cit., p. 142.
8. Moscovit, Andrei. *Did Castro Kill Kennedy?* (Washington: Cuban American National Foundation, 1996), p. 35.
9. Szasz, Thomas S. *Psychiatric Justice* (New York: The Macmillan Company, 1965), p. 51, note.
10. Wikipedia, John Hinckley Jr.
11. Wikipedia, Mark David Chapman.
12. Wikipedia, Ted Kaczynski.
13. Chase, Alston. *Harvard and the Unabomber: the Education of an American Terrorist*. New York: W.W. Norton, 2003.
14. Szasz, *Psychiatric Justice*, op. cit., pp. 86-88.

15. Ibid., p. 74.
16. Wikipedia, Ezra Pound.
17. Szasz, *Psychiatric Justice*, op. cit., pp. 180-181.
18. Moscovit, *Did Castro*, op. cit, p. 205-206.
19. Szasz, *Psychiatric Justice*, op. cit., p. 224.
20. Szasz, Thomas S. *The Myth of Psychotherapy. Mental Healing as Religion, Rhetoric, and Repression*. Syracuse: Syracuse University Press, 1978.
21. Meade, Marion. *The Unruly Life of Woody Allen* (New York: Scribner, 2000), pp. 14, 46, 99.
22. Ibid., pp. 107, 318.
23. Encyclopedia Britannica, 1988, v. 7, p. 740.
24. DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
25. Hamstra, Bruce. *How Therapists Diagnose* (New York: St. Martin Press, 1994), p. 121.
26. Ibid, p. 125.
27. http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual.
28. Hagen, Margaret A. *Whores of the Court. The Fraud of Psychiatric Testimony And the Rape of American Justice* (New York: Regan Books, 1997), p. 125.
29. Carl Jung (1875-1961). Britannica, 1988, v. 6, p. 653.
30. Le Bon, Gustave. *The Psychology of Peoples* (New York: 1912), p. 89.



Журнал «Семь искусств» № 12 (69)/2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 374 с., 19,8 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка: Марина Жукова



Семь искусств
Ганновер 2015

Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.

Аристотель. "Политика"

